

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

7

2003

2003

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

В 2003 И В НАЧАЛЕ 2004 ГОДА «НОВЫЙ МИР»

ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Кандидат (повесть);

ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);

ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

НАТАЛЬЯ ВАНХАНЕН. Одни наречья (стихи);

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Новая повесть;

АННА ВАСИЛЕВСКАЯ. Книга о жизни (предвоенные главы);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;

ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. Избранные места для переписки с друзьями (роман);

БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;

ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Возвращение в Кандагар (повесть);

АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин (исторический роман);

ЕЛЕНА ИСАЕВА. Первый мужчина (театр.doc);

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;

ГЕОРГИЙ КАЛИНИН. Пробуждение (рассказы);

АНАТОЛИЙ КИМ. Сеть (повесть);

НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);

ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);

ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ. Ненадежное солнце (стихи);

МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);

АЛЕКСАНДР КУШНЕР. Заболоцкий и Пастернак (эссе);

ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Белый дом без политики (повесть);

АННА МАТВЕЕВА. Небеса (роман);

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ. Реабилитация, или Письма из Испании;

(См. на обороте)

АЛЕКСАНДРА МОЧАЛОВА. На грани стекла и огня (стихи);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);
АЛЕКСАНДР ОБРАЗЦОВ. Ночной дозор (эссе);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Пустырь (повесть);
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Избранник (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. На солнечной стороне улицы (роман);
РОМАН СЕНЧИН. Вперед и вверх на севших батарейках (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. Новая проза;
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания; Этюды из «Литературной коллекции»;
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. Бабушкин спирт (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Прощание с гармонистом (роман);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч (повесть);
АНТОН УТКИН. Новый роман;
ЯН ШАНЛИ. Под ногой у цапли (стихи);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Откос (повесть);
ГУСТАВ ШПЕТ. «Я пишу как эхо Другого...» (письма к жене);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Новая повесть;

а также стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ТАТЬЯНЫ МИЛОВОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНА ШВАРЦ, статьи, обзоры, эссе СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ИРИНЫ СУРАТ, ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО, ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2003 году: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

*(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)*

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, гор д, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2003. Пресса России». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталожная стоимость подписки на второе полугодие 2003 года — 414 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА — Непобедимый, стихи	7
ЮРИЙ БУЙДА — Кёнигсберг, роман	14
БОРИС РОМАНОВ — Забытые пепелища, стихи	69
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР — Рассказы	73
СВЕТЛАНА КЕКОВА — Пленение инеем, стихи	83
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ — Игры на свежем воздухе, рассказы	88
НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ — Потаенное, стихи. Публикация Д. Чуковского. Вступительное слово Татьяны Бек	102
МАРИНА СТЕПНОВА — Рассказы	106
СЕРГЕЙ ХОМУТОВ — Летящие версты, стихи	115

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Города и годы

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН — Средокрестия Москвы	118
--	-----

МИР ИСКУССТВА

ЖАННА ГОЛЕНКО — Гармония в пределах ноты. Новые постановки Михаила Лавровского	133
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПОПОЛНЕНИЕ НАБОКОВИАНЫ. Светлана Чекалова. «То слава прошлое, то запросто ругая...»; Николай Мельников. Повесть о том, как Алексей Матвеевич поссорился с Владимиром Владимировичем; Сергей Костырко. Набоков по-американски	140
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Мария Ремизова. Любовь в прозрачном и пористом мире	164
Алексей Смирнов. Дождитесь опоздавшего стрелка	168
Гасан Гусейнов. В подкладке — шелковая нить	172
Михаил Бутов. Вечные льды	175
Павел Крючков. Выпрямление курсивом	179
Сергей Цирель. О мнимой дефектности русской природы	182

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ИРИНЫ РОДНЯНСКОЙ	187
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО	195
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	197
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	202

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

А. С. СЕРГЕЕВ — Возвращенный Минск	208
------------------------------------	-----

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	210
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	214
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО КОЛЛЕГУ
ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИРИНУ ПРОХОРОВУ
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА СОЗДАНИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»!**

**Ирина Прохорова была выдвинута на соискание этой премии
журналом «Новый мир».**

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА

*

НЕПОБЕДИМЫЙ

Памяти Юры Беличенко.

* *
*

Разве, миленький, все это было со мною,
ну а если со мною, то что это было?
Вавилонская башня ты, счастье земное, —
так беззвучно упала, весь свет завалила.

И Терскол, и Дюрсо — разве всё под зловещий
скрылось глиняный пласт, троекуровский гравий?
Ты умеешь сдвигать невесомые вещи
типа чёлки моей и своих фотографий.

Что ты хочешь сказать? Я встаю, где стоял ты,
и ложусь, где лежал... И огни под Батайском,
и Кубань, и Тамань, и миндаль нашей Ялты,
и Пенайский маяк, и Никола с Можайском...

И дыханье твое, расточённое в мире,
претворяет его постепенно — в желанный;
так царит в пыльном воздухе, зимней квартире
желтый донник засушенный благоуханный.

Ты станичный малец, ястребиное зренье;
ты столичный жилец; ты горячий любовник.
Помню миг обмирания и восхищенья:
с бесконечно прелестным лицом подполковник

на прудах Патриарших... Из нас двоих — пленным
был не ты, разумеется, не обмиравший,
так легко козыряющий встречным военным...
...Быть пришипленным к юбке моей не желавший.

Истра, Бронницы, и Верея, и Коломна,
васильков и цикория в поле цветенье, —
раз за разом тебя воплотят неуклонно —
все музейные залы, церковное пенье...

Надо быть в твою честь по возможности твердой,
удержаться в ревущей воронке гигантской,
если так же из Крымска твой двести четвертый
будет в двадцать часов приходить на Казанский.

Я должна постоянно следить за собою,
не казаться по-вдови несчастной и робкой
и не плакать над снятой своей головою
в мерзлый день с новогодней конфетной коробкой...

11 — 14 января 2003.

* *
*

Вот только были у меня
Черны виски.
Да у тебя на платье
Были васильки.

Владимир Луговской, «Майская ночь», 1957.

Если о плачущих — это теперь обо мне;
кроткий, блажен ли и ты под церковным покровом,
под оснежённой сосною, в чудовищном сне,
не озаряемый больше восходом багровым?..

Тип той мужской, роковой для меня красоты,
что воплощали, пожалуй, Вавилов и Бунин:
чистые, чуточку рысьи степные черты —
ты у нас мог быть и кавалергард, и игумен.

Яркий лучистый цикорий за створками век —
вечный цветок пустырей хуторских и армейских...
Как за Высоцким сигал его верный Абрек¹,
так же пластаюсь я в плазменных волнах летейских

к тайным орбитам, изнанке привычных кулис...
Все-то, смешливой, мне было с тобою забава.
Рукоплескала, смеясь: «Повтори же на бис!» —
слыша, как про Балаклаву сказал «Баваквава».

Так же в ночи водосточною жестью гремит
ветер Петровского парка (прости за цитату!).
Я при тебе и не знала, как плачут навзрыд.
Жаль, никогда не кричала вдогонку: «Куда ты?»

Что ж ты оставил чабрец под настольным стеклом,
благоуханную, Господи, эту тельняшку?
Ставшую белой на солнце, все более злом,
эту штормовку, афганскую эту фуражку...

Все nota bene, все птички на книжных полях...
Страшным ножом, не забывшим афганские горы
(с предположительной вязью «аллах бисмиллях»),
остро чиненные «фаберы» и «кох-и-норы»...

Светлым донским табаком продымивший усы,
длинные пальцы по-детски пятнавший в чернилах,
мне не в пример, никогда не боялся грозы.
Нитку сушеных грибов позабыл на стропилах...

¹ Имеется в виду фильм «Служили два товарища» (1968).

...Я неизменно, мой нежный, тихонько в углу —
 музыку эту, уж точно, не мы заказали.
 С бражником да игроком не присяду к столу:
 только начни, а уж полный набор всякой швали.

Непобедимый, не будь недоступен и строг,
 не осуждай за назойливость и за отсталость
 бабулю... Как будто любимый ушел педагог,
 а для него лишь старалась, его лишь боялась.

28 — 31 января 2003.

* *
 *

«Здравствуй моя милая, дорогая мамочка. Я очень по тебе соскучился и часто плачу по тебе. Мама! в воскресенье у нас будет открытие лагеря. Родителям можно будет приехать. Масаловы поедут. Приезжай и забери меня. Жду до вторника если во вторник не приедешь в воскресенье не приедешь то во вторник уеду с машиной которая возит того, что захочет обратно или уйду пешком. Дорогу я знаю. Еще раз прошу. Возьми меня отсюда

Юра».

*Письмо к матери, В. И. Железниковой, из пионерского лагеря
 в поселке Джанхот, 1 августа 1953 года.*

Мир неприбран, подозрителен:
 а еще бы! — ткнула носом
 та в свой черный полиэтилен —
 и заткнись, матрос, с вопросом.

Машинально стройность замысла
 Божья, плача, отмечаю...
 Как ребенка, душу вынесла
 Юрину, ношу, качаю.

Кто тут помнит твой овал лица,
 золотистые ресницы?
 Детская твоя чернильница
 в виде деревянной птицы.

В ней зеленая, муаровая
 соль на каменных чернилах.
 Вся узорная, кустарная,
 с головою на шарнирах,

слева капелек свечных разбрызг.
 Кто ее к себе не двигал!
 Долгий клюв ее ты, что ли, грыз,
 видно, ручкой тыкал...

В зале подзеркальник с зеркалом.
 Львят на темной раме
 видел вдруг, когда позыркивал —
 притворившихся цветами.

...Это год кончины Сталина.
За Геленджиком палата
сплошь кроватями уставлена
пионерского отряда.

Как попервости ты мучился —
вот из писем, наудачу:
«Очень по тебе соскучился,
часто плачу».

Ночью ветер в щель под рамой дул,
и в душе тоска сквозная:
«Забери меня. Пешком уйду,
я дорогу знаю».

От расстройства и волнения
в письмах две ошибки.
Но смирился тем не менее:
факельщики, море, читки.

Вот поведал ты станичникам
(так и август минет!) —
стих «К советским пограничникам»
хорошо был принят.

Ужин с блинчиками, булочками,
новых фото глянец.
С мальчиками танцевал и девочками
«конькобежцы» — танец.

Я таким тебя, мой миленький,
и не знала бойким:
чардаш танцевал, мой маленький,
польку-тройку.

Из какой-то книги тут про сбор
списано советской:
«Весело треща, горит костер».
Ах же, кот подлецкий...

...И в Джанхоте бьет ночной прибой,
твои камни взмокли.
Было время и у нас с тобой
покупать бинокли.

Переходы чрез хребет Маркхот,
с держидеревом ночевки.
Было время чуть не каждый год
покупать штормовки...

...Консолидой ли, глядичеей,
бессемянкой-грушей,
мать ушла, во всем величии,
бедной агрономшей

на поля ли, ко своей волшбе,
иль в левады, огороды...
«Все равно скучаю по тебе,
несмотря на красоту природы».

...Восемь факельщиков с факелами
за парадной аркой
тьму твою, совместно с ангелами,
освещают ярко ль?..

...Захмелевший ты, удаленький...
Во дворе у нас — граффити:
«Оля дура. Юра маленький».
Не врубалась. Не взыщите.

8 — 10 февраля 2003.

* *
*

Когда я умру, без меня осиротеет моя стоянка
на южном склоне перевала под Свинцовой горой.
Но если есть переселение душ — моя переселится именно туда.

Юрий Беличенко. Из прозы.

Я так же, как ты, от стыда опускаю ресницы,
когда что-то лепит, как, рухнувши с дуба, Москва
по ящику... Знаешь, уже перешло все границы
твое невниманье ко мне. И «Спартак» — «ЦСКА»

навряд ли приманят тебя таксебешной игрою...
Еще бы, еще бы, что в обществе тусклом земном
тому, чья стоянка теперь под Свинцовой горою,
кто, видно, освоился там, в измеренье ином.

...В беспамятном счастье сквозные качаются кроны
бегущих вдоль насыпи лесозащитных полос,
слоящийся воздух на шпалах, сухие перроны,
и палом весенним причудливо выжжен откос.

И ваш постоянно взволнованный, радостный ветер:
он с моря, он перевалил за Маркхотский хребет!
И твой, из Терскола, овечий подвытертый свитер,
и хатка на синем до рези бела — это солнечный свет...

Слоистые мергели, в складку косую все склоны,
белы обнажения скал... Хоть бы пыльный самшит...
Я так же, как ты, старомодные одеколоны
люблю в хуторских магазинах: какой-нибудь «Шипр».

Хоть пыльный самшит посадить бы на холм материнский.
Волшебные Гайдук, Темрюк — твой кубанский Эдем.
По вашей дороге — Афипский, Ахтырский, Абинский,
и, верно, адыгские, дикие: Хабль и Энем.

Степные походы — естественно, в самое пекло,
по рисовым чекам — искать, где лежит Тиховской.
В молочно-зеленой Кубани, нырнувши, ослепло
(Пржевальский с Арсеньевым!) поцеловались с тобой.

Тогда, в посрамление лермонтоведу-невежде
(который сим фактом и не был нимало смущен!) —
открыли, что Ольгинка там, на морском побережье,
не то же, что Ольгинский в адской степи тед-де-пон.

Иконы из Хортицы, быт в турлуке и самане,
полоскою Крым с маяком розовеет в заре.
Фигура поручика. Глины обрывов Тамани,
сигнальные бакены в сером морском серебре.

Там Ялта пылью кипарисной усеяна щедро,
и след оставляешь зеленый, в нее заступив.
Твои щегольские, с немислимим запахом кедра
тебе же носила точить я, нещадно ступив

твои карандашики...

...Что, из Табаковхоза
идут серпантинном машины на твой перевал,
а горный родник — беглых друз его метаморфозы
тебя утешают ли так, как того ожидал?

Живая субстанция, коей присуща и память,
и вечный обмен информацией с внешней средой.
О родоначальница! Хоть изваять, хоть обрамить
ту вечную странницу, что, простецы, называем водой.

Вот так и душа твоя, то ослабляючи узы,
то вдруг приникаючи в бестолочь и разнобой
к сидящей с безвременником аметистовой друзы:
ее с геологии часто ношу я с собой.

22 — 24 февраля 2003.

* *
*

Вот сойдешь с ума и станешь Юрия
ждать из гарнизона ежедневно...
Он не там, где в мареве Даурия
как в хрустальном — мертвая царевна.

И не там, Барса-Кельмес, и Хасавюрт,
где у полигона, под Долонью,
бережно недорогое пиво пьют
с астраханской вяленой чехонью.

И не он, смеясь, глядит на физию
новобранцев в форме разгильдяйской.
Нет его, как не было, в дивизии
прежде им любимой, Шяуляйской.

Он не там, где синяя пестра копна,
вспыхивают перья кур от света,
а свое отжившему — герань с окна,
два выдавших виды табурета,

и проводит сани дрововозные
лишь Иртыш с лесным казачьим войском...
...Нет, не он на дозаправке в воздухе
там, в ракетноносце над Тобольском.

И не он, опалово светясь, возник
из морской волны, родной забавы,
и не с ним оливковый играет блик
там, у ржавой стенки Балаклавы.

Он не там, где, одинок, зимует сад,
нарастив из снега постаменты.
Там у нас так желто-полосат закат,
как фрагмент георгиевской ленты.

Верно, он в Юрье, где по нему служил
батюшка в Великорецком храме.
Там дорогой грейдерною, не жалея жил,
волк бежит меж снежными горами.

Где же мальчик мой... а нагулялся, спит,
хоть плоска, со стружкой, подушка...
...Скоро год, как на участке дачном спит
кошка, моя милая подружка.

Ангел наш домашний. Сторож. Эскулап.
Умница. Красавица. Медея.
Спит с нарциссом первым меж скрещенных лап.
Расточились все, кто были ею...

...Ну а он, с задуманной скворешнею?
Зная, как я плачу втихомолку,
в именины, на Егорья вешнего,
может быть, сорвется в самоволку.

28 февраля — 6 марта 2003.



ЮРИЙ БУЙДА

*

КЁНИГСБЕРГ

Роман

Am fernen Horizonte
Erscheint, wie ein Nebelbild,
Die Stadt mit ihren Türmen
In Abenddämmerung gehüllt.

Heine¹.

1

Каждую субботу Вера Давыдовна Уурсова доставала из крошечного кошелька строго определенную сумму и выдавала своему мужу Макс, который уже был одет по всей форме — в кителе с золотыми шевронами на рукавах и фуражке офицера торгового флота, которую он долго и тщательно выравнивал на аккуратно вылепленной седой голове. Поцеловав мужа в щеку, холодно пахнущую недешевым одеколоном, она запирала за ним дверь и, выждав минут пять-десять, отправлялась на балкон, в укрытие, сооруженное из старых зонтиков и ветхой брезентовой куртки. Отсюда ей было хорошо видно, как Макс, быстро шаркая начищенными старыми башмаками и то и дело проверяя, правильно ли сидит фуражка, присоединялся к мужчинам, пившим пиво у известного всей округе киоска на углу улицы Каштановая Аллея. Вера Давыдовна боялась, что Макс попадет под трамвай, пролетавший всего-то в пяти-семи шагах от киоска с узким окошком, в котором смутно белела фартуком продавщица по прозвищу Ссан Ссанна (ее звали Оксаной Александровной, но к вечеру, после десятка кружек пива, да еще с водкой, язык слушался ее плохо, да и отвечала она подчас глухим голосом из угла, где стояло эмалированное ведро с сиденьем от унитаза, колокольно звеневшее и ухавшее в ответ на ее усилия) и было поставлено множество деревянных одноногих столиков с крышамизонтиками из покоробленного дерева. Макс, придерживая одной рукой фуражку, с кружкой бродил между столиками, пока не находил пристанища либо в компании бичей — списанных на берег за провинности моряков, — либо в обществе студентов из ближайших общежитий.

Бичи шумели и пили пиво с «мальком», разливая водку в кружки, и на спор выжимали из опорожненной бутылки последние капли. Чемпионом был огромный молчаливый парень по прозвищу Неуловимый Джо с вытатуированным на лбу пауком: он выжимал из пустой бутылки ровно тридцать три капли.

Буйда Юрий Васильевич родился в 1954 году в Калининградской области. Закончил Калининградский университет. Автор романов «Дон Домино», «Ермо», «Город палачей», многих повестей и рассказов. Лауреат премии им. Аполлона Григорьева. Постоянный автор «Нового мира». Живет в Москве.

¹ На дальнем горизонте,
Как сумеречный обман,
Закатный город и башни
Плывут в вечерний туман.

Гейне. (Перевод А. Блока.)

Неуловимый Джо, Музон, Старина Питер в бескозырке без ленточек, которую он носил даже зимой, да неразлучная пара, Дима и Сима, — вот, пожалуй, и весь постоянный контингент, зимой и летом норовивший выпить на халяву, но лучше с водкой. С другой стороны улицы, напротив угловой парикмахерской, зимой и летом за ними молча наблюдал тощий, как собственная тень, Андрей Сорока, тоже бич, но при деле: он работал кочегаром в студобщежитии, а когда отопительный сезон заканчивался — куда-то исчезал. Все знали, что когда-то он ходил на одном судне с Максом, но это и все, что о нем знали. Их большой морозильный траулер затонул у шведских берегов во время шторма, и многим были памятли грандиозные похороны, ползущие один за другим катафалки и тупо-напряженные лица милиционеров, которые по приказу начальства делали вид, что ничего экстраординарного не происходит: хоронят сразу девяносто моряков во главе с капитаном, погибших из-за дурости наших властей, запретивших терпящим бедствие принимать помощь от капиталистов. Андрей выжил в ледяной воде, но после скандала с начальством был списан на берег и быстро оказался на дне, без семьи и жилья (с осени до весны он и жил в кочегарке).

Макс был штурманом на том траулере. И он был единственным, кто приходил сюда каждую субботу в семь вечера. Пятьдесят две субботы в год. Ни одной пропущенной. Выпив пива или водки, он нюхал баранку — вечную закуску, пришитую к изнанке лацкана, — и начинал что-то рассказывать на своем тарабарском наречии безумца, которого никто не слушал, потому что разобрать в его булькающей речи отдельные слова стоило немалого труда, а кто ж из бичей или случайных любителей пивка станет трудиться, чтобы понять сумасшедшего. Завсегдатаи, впрочем, знали, что Максу нельзя перечить и вообще беспокоить, чтобы не вызвать у него припадок ярости со слезами, переходящий в эпилептический. Поэтому ему отвечали подчеркнуто дружелюбно и соглашались со всем, что он говорил. Постепенно Макс успокаивался, сникал, и тогда Вера Давыдовна покидала свой наблюдательный пункт на балконе и вводила его домой. Иногда она кивком здоровалась с Андреем Сорокой, который, едва завидев ее, непременно вставал, чего он не делал даже тогда, когда Ссанна, после закрытия киоска, просила его об одолжении: он просто движением подбородка разрешал женщине спуститься в кочегарку, откуда она выбиралась через полчаса-час, раскрасневшаяся и взмыленная, но довольная.

Вера Давыдовна брала мужа под руку, и он послушно выпрямлялся и следовал за нею, всякий раз, однако, бросая публике одну и ту же фразу:

— A moveable feast. И пусть не кончается.

Странно, но английскую часть фразы — о празднике, который никогда не кончается, — он выговаривал довольно внятно, тогда как русскую мы разобрали только с третьего или четвертого раза.

Тогда-то нас и позвал Андрей Сорока.

Прихватив недопитое пиво, мы присоединились к кочегару.

— Не обижайте его, ребята, — сказал он невыразительным голосом человека, отвыкшего от общения с людьми. — Он Божье дитя.

— Ты веришь в Бога, Андрей? — спросил Гена Конь, осторожно пристраивая свой стодвадцатикилограммовый круп рядом с кочегаром. — Или так, к слову пришлось?

— Не верю. Просто я люблю Его. Хотя и не знаю ни одной молитвы. Наверное, потому и люблю, что не знаю о Нем ничего. — Он с хрипом вздохнул. — Да и не осталось у меня никого, кроме Бога и Макса.

— А Вера Давыдовна? — спросил я. — Святая? Говорят, она больше десяти лет ухаживает за ним и за все эти годы никому никогда не жаловалась на жизнь. Она похожа на ожившую статую... я хочу сказать, в лучшем смысле...

— Не святая, — сказал Андрей без выражения. — Жена. И просто Господь Бог для него. В женском обличье, конечно. Никто ведь не знает точ-

но, какого Он пола. А Макс... Он же офицер. Мужчина. Чего тут слезы с соплями жевать? Мужчины уходят в море и иногда не возвращаются. Вы же не видели океана в шторм. И жены моряков не видели. И как смывает человека за борт в ледяную воду, в которой самый здоровый здоровяк погибает через три-четыре минуты. Ну — через десять. От переохлаждения.

— Похоже, вы любите еще и Хемингуэя, — предположил я.

— А, вы про это... А *moveable feast*. Когда-то мы играли в его игру, это правда. Для многих она кончилась плохо. Как и для самого Хемингуэя. Я не брал его в руки давно. А когда снова взял, уже после того случая у шведского берега, меня чуть не стошнило. Видели мемориал на городском кладбище? Девяносто стел с портретами и именами. Родственники погибших каждый год — и вот уже который год — разбивают молотком портреты капитана и старпома. Третьим мог бы стать Макс. Ему здорово повезло: его портрет не разбивают молотком. О каком празднике можно говорить? — Он скривился. — Дайте закурить, что ли. А фуражку Макс сберег. Я свою выбросил. В топку бросил. Сгорела, как бабочка. Да у меня в топке даже дерьмо сгорает, как бабочка. Вдова капитана и старпома каждый год восстанавливают портреты погибших мужей, а другие приходят и разбивают их молотками. До сих пор. Я был офицером. Если бы погиб, мой портрет тоже разбивали бы... У нас под килем не было даже трех футов. Я не хочу быть похороненным на этом кладбище.

— Умирать вообще невесело, — утешил его Конь.

— Мы живы, пока бессмертны, — сказал я, глядя себе под ноги — от смущения. — Так говорил мой покойный отец.

— Странно, — задумчиво пробормотал Сорока.

— Что? — спросил Конь.

— А когда подумаешь, все ясно, — сказал кочегар.

Мы поделились с ним табаком и попрощались.

Сухопарый Андрей Сорока, бывший стармех большого морозильного рыболовного траулера, и Гена Конь, который при своих двух метрах двадцати был центровым сборной Белоруссии по баскетболу, любили музыку и ножи. Гена даже подарил Андрею свой нож, выкованный из рессорной стали и украшенный наборной ручкой с медной звездой на торце. Это была память о службе в военно-морских силах. Нож был так велик и страшен, что Гена хранил его в коробке из-под большой готовальни, рядом с боевым орденом, полученным неизвестно за что. По праздникам Гена надевал его под рубашку, «чтоб народ не пугать и не смешить». Единственное, что я знал о его флотском прошлом, так это факт службы в отряде адмирала Захарова и краткосрочном пребывании где-то «южнее Кипра» (спустя двадцать пять лет стало известно, что адмирал командовал созданными им же флотскими отрядами водолазов-диверсантов, но в своих интервью ни разу не упомянул о каких-либо боевых операциях).

Впрочем, музыку они любили больше.

Тихими вечерами Андрей выносил из кочегарки аккордеон, и они по очереди играли с Конем, а бичи пели про берег турецкий, про жену французского посла и про Запад, где не пот — а запах, и прочие глупости. Макс подпевал без слов. И пока звучал аккордеон, бичи были другими людьми. Они не становились лучше, и никакого просветления на их лицах и в душах не случалось, — просто они становились людьми, чья жизнь не сводилась к погоне за длинным морским рублем, но и видевшими другой мир, наблюдавшими океанские закаты, эти вселенские пожарища вполнеба, когда человек, вцепившийся руками в поручень суденышка, переживал — не мог не переживать — божественное и даже, может быть, болезненное чувство высокой любви, отчаяния и одиночества, но главное — любви, позволявшей и самому распоследнему негодяю хоть на несколько мгновений — чаще против его воли — возвыситься до полного, без остатка, растворения в Творце, творчестве и творении...

Во время шторма в Датских Проливах, закончившегося трагедией для девяноста членов экипажа и оверкилем — для траулера, двадцатидевятилетний красавец штурман Макс Урусов получил страшный удар сзади и сбоку по голове концом оборвавшегося троса. Он выжил, но стал почти беспомощным безумцем, лишившимся дара связной речи и поначалу не узнававшим ни жену, ни дочь. Врачи сказали Вере Давыдовне, что Макс безнадежен, и предложили помочь определить его в дом инвалидов. Она отказалась, улыбнувшись при этом так, что у главврача чуть не отнялись ноги. «Как это у нее получается? — удивлялся он потом. — Я вообще не понял, что случилось. Понял только, что что-то случилось». Когда Вера Давыдовна поднимала ресницы и взглядывала человеку в лицо, казалось, будто в ярко освещенном зале наконец-то включили свет. Который светит где хочет.

Красавицей была и их дочь Катя. К тому времени, когда я впервые увидел Макса, ей исполнилось девятнадцать. Она училась на втором курсе русского отделения, а я — на четвертом английского, и разница в возрасте между нами была — если учесть, что я отслужил в армии, — всего-то шесть лет. За нею ухаживали парни не чета мне. Но иногда я ловил ее взгляд, глубокий и какой-то темный, как у красавиц утопленниц из ночных кошмаров моего детства, превращавшихся в моих сновидениях в прекрасных змей. В детстве я боялся утопленниц, красавиц и змей.

В университете было много разговоров о замужестве Кати: ее мужем стал какой-то парень из комсомольских работников, сын высокого гэбэшного начальника, подарившего молодым на свадьбу новенькую «Волгу». А вскоре молодые въехали в собственную квартиру — благодаря тому же влиятельному папе, как все понимали.

Когда Вера Давыдовна привезла мужа-инвалида домой и все поняли, что ради него ей придется оставить работу и отказаться от многого из того, что принято называть радостями жизни, Катя, тогда еще подросток, с изумлением спросила: «Ма, зачем он тебе? Конечно, он мой папа, но ты же видишь...» Вера Давыдовна повернула шею — одно это движение сводило с ума мужчин — и сказала: «Некоторых вопросов не существует. И не потому, что их неприлично задавать. А просто не существует, потому что их нет в жизни. Во всяком случае, в моей».

Они жили в особняке, который пришлось обменять на трехкомнатную квартиру, чтобы облегчить жизнь больному. Вдобавок особняк требовал ухода, на что Макс был уже не способен, а тратиться на рабочих Вера Давыдовна уже не могла себе позволить: от былых штурманских заработков почти ничего не осталось. Макс платили пенсию. Машину и дачу тоже пришлось продать. Вера Давыдовна ушла из Главного аптекоуправления, где занимала какой-то высокий пост по фармакологической линии, и стала брать работу на дом. Она зарабатывала перепечаткой на машинке студенческих дипломов, чужих диссертаций и рукописей местных писателей.

Поначалу друзья навещали их каждую неделю, но не прошло и года, как Урусовы остались одни. Вера Давыдовна твердо отказала всем мужчинам, которые предлагали ей руку и сердце или хотя бы «хотя бы», после чего телефон в их квартире перешел почти в полное распоряжение дочери. Остался только круг друзей — человек пять-шесть, которые изредка навещали Урусовых не только ради Веры Давыдовны.

Раз в два-три месяца они приходили в свой бывший особняк, во дворе которого, с разрешения новых хозяев, фотографировались, чтобы на несколько месяцев успокоить Макса, любившего этот дом, любившего его корабельные запахи, любившего ухаживать за ним — тем более, что топором, рубанком и молотком он владел мастерски. А в новой квартире он чувствовал себя чужим и долго, очень долго привыкал к новым звукам,

масштабам и виду из окна на вымощенную булыжником кривую улочку и особняки напротив, чьи островерхие черепичные крыши тонули в зелени и золоте деревьев с ранней весны до поздней осени.

Она стала сиделкой и медсестрой при муже. Уколы, таблетки, капли...

Вечерами, если Макс чувствовал себя сносно, они гуляли под руку по булыжным улочкам, вдоль которых тянулись невыразительные трех-четырёхэтажные дома старой казарменной архитектуры, выкрашенные в желтый цвет, или в районе неподалеку, где теснились одинаковые уютные особняки — осколки города королей. Иногда они забирались аж к самому порту, и Макс, не обращая внимания на жену, которую беспокоили эти пустыри вокруг, кое-как застроенные местами кособокими гаражами и сараями, вслушивался в звуки, доносившиеся из темноты вместе с запахом рыбы, мазута и моря. Он начинал взволнованно дышать, раздувая ноздри, и Вера Давыдовна поспешно уводила его домой — подальше от приглушенного грохота и звона портовых кранов, парходных гудков и лязганья судового железа, от запахов морской гнили — прошлой и безвозвратно утраченной жизни бывшего штурмана Макса Урусова.

Иногда они выезжали к морю. Она помогала Максиму устроиться поудобнее где-нибудь среди камней, песка и сухих водорослей, и муж почти сразу впадал в оцепенение и засыпал, дыша глубоко, ровно и бестревожно. Летом Вера Давыдовна снимала туфли и, придерживая юбку рукой, бродила вдоль кромки прибоя, то и дело оглядываясь на Макса и игнорируя восхищенные мужские взгляды и пьяненькие приставания. Перед отъездом домой Макс ловко сворачивал из газеты кораблик, и Вера Давыдовна ставила его на волну. В древности так поступали китайские моряки, жертвовавшие буре бумажные кораблики, чтобы она набросилась на них и не тронула настоящие. Зимой они кормили лебедей хлебом. Грязные большие птицы выходили из прибоя на берег, покрытый пятнами снега, и жадно хватали еду, вызывая у Макса смех. Домой они возвращались раскрасневшимися, а ночью муж спал спокойно и не будил ее стонами и тихим своим беспричинным плачем.

3

Их странный и печальный *moveable feast* продолжался годами без особых тревог, да и случай, немного изменивший их жизнь, тревожным назвать Вера Давыдовна не решилась бы. Хотя поначалу разволновалась и даже заплакала, когда вдруг среди ночи Макс встал, подошел к окну и отчетливо заговорил по-английски. Через несколько мгновений она поняла, что это были стихи, но что это были за стихи, почему Макс вдруг их вспомнил, а главное — почему так чисто заговорил, — вот этого ни она, ни врачи так и не поняли.

Когда все повторилось, а потом стало повторяться регулярно и днем, она попыталась понять чужую речь. У них был старенький магнитофон, и Вера Давыдовна записала стихотворение в исполнении мужа на пленку.

В первую же субботу, когда Макс выпил свою порцию пива и успокоился, она спустилась вниз и подошла к нам (мы всегда приглашали его за свой столик, хотя угостить могли только крупной серой солью, в изобилии насыпанной в общепитовскую тарелку, какие стояли и на других «грибах»: ее полагалось выложить на край кружки и выпить пиво, пропуская его через соль, а уж потом, отплевавшись, пить, чередуя глотки с затяжками крепким дымом дешевых кубинских сигарет «Partagas», — это называлось почему-то «пивом по-рижски»).

— Мне нужна ваша помощь, — сказала Вера Давыдовна, державшая в руках бобину с магнитофонной пленкой. — Мне нужно понять, что это... о чем он говорит... Тут все по-английски, а я плохо знаю язык. Очень плохо.

Мы даже не успели переглянуться, как Гена Конь взял меня своими стодвадцатикилограммовыми руками и поставил перед Верой Давыдовной. Она с улыбкой протянула бобину мне.

— Я заплачу, — сказала она. — Правда, немного. Сколько вы возьмете за работу? Вот это номер телефона.

— Вы всем смотрите в глаза вот так? — спросил я. — Я сглотнуть боюсь. Но я не лучший на английском отделении.

— Не прикидывайся валенком, — посоветовал Конь. — Он лучший из лучших и делает бесплатно, — сказал он Вере Давыдовне. — Это ж для него тренировка. Разве что накормите его бесплатно. — Он задумчиво кивнул на меня. — Кожа да кости.

Это была ложь, но я промолчал. Вера Давыдовна, еще раз улыбнувшись мне, и только мне, и никому другому на свете, взяла Макса под руку и повела домой.

— Маг достанем, — пообещал Конь. — Жертвую себя на алтарь Сикильдявки.

Для него это и впрямь была жертва. Сикильдявкой прозвали хорошенькую рыжеволосую белокожую девушку с биофака, которая при каждой встрече — а жила она в нашем же общежитии, занимая комнату напротив, — донимала будущего юриста Коня дерзостями, которые он воспринимал как приставания и поэтому лишь вздыхал и отмахивался от малышки: «Я ж тебя в постели изувечу, не дай Бог». После таких слов Сикильдявкино смазливое личико приобретало розоватый оттенок, и Конь в страхе убегал от нее семимильными шагами, от которых с потолка сыпалась иссохшая штукатурка. Теперь он решил: у Сикильдявки был лучший магнитофон в общежитии.

Уже на следующий день, облачившись в пиджак и белую нейлоновую рубашку с нейлоновым бордовым галстуком, с букетом цветов, который он держал как выхваченную из ножен саблю, и бутылкой шампанского, купленного на последние деньги (да, собственно, других денег у нас и не водилось, разве что иногда: я подрабатывал переводами, а по ночам мы с Конем разгружали в порту пароходы, набитые крафт-мешками со шведской сажей), Конь отправился в гости к Сикильдявке.

Результат превзошел ожидания всех, кто знал Ксению Арбатову по прозвищу Сикильдявка и Гену Стрельцова по прозвищу Конь. За десять минут она научила его пить чай без сахара — обычно за чаем Гена схрупывал коробку пиленого рафинада, и не только затем, чтобы запивать им водку (это почему-то называлось «чай по-польски»). Когда я спросил его о роковой встрече, он лишь задумчиво улыбнулся.

— Так ты ее поял или нет? — цинично поинтересовался я.

— Худой, но полный дурак, — сказал Конь. — Она поила меня чаем с медом. Конечно, этот напиток сильно отличается от той цейлонской смолы, которой ты угощаешься по утрам и вечерам, — ты бы назвал ее чай пиясьми сиротки Хаси, — но ничего вкуснее я не пробовал даже дома.

Через несколько месяцев они поженились, но главное — тем же вечером я был строго проинструктирован насчет пользования магнитофоном катушечным «Грюндиг», затворился за полночь в читальном зале общежития, выключил верхний свет, оставив зажженной лишь настольную лампу, откинул клапан новенького блокнота и нажал кнопку.

Магнитофон почти не шипел, но качество записи было неважным. Видимо, Вера Давыдовна, побоявшись спугнуть мужа, установила микрофон довольно далеко от Макса — его голос звучал приглушенно. Вдобавок на пленку попал и уличный шум: окно было, по всей видимости, открыто, и было отчетливо, до рези в ушах, слышно, как тормозил на повороте трамвай и лаяли на него собаки из особняка, стоявшего фасадом к трамвайной линии. И все же голос Макса звучал внятно — не пропало ни одного слова.

That time of year thou mayst in me behold
 When yellow leaves, or none or few, do hang
 Upon those boughs which shake against the cold,
 Bare ruined choirs, where late the sweet bird sang...

Я тупо смотрел на чистый лист блокнота. Хватило бы и первой строки, чтобы понять, какого поэта вдруг вспомнил несчастный Макс. Но я дослушал до конца.

«Ты не замерз? — раздался из динамика мягкий голос Веры Давыдовны. — Ну, не волнуйся, милый, ложись... я сейчас... Не волнуйся».

Запись оборвалась.

И великий покой снизошел в мою душу.

Я подошел к открытому окну и закурил. Была поздняя и уже жаркая весна, пахло тесаным булыжником, просыхающим после бурного дождя, и отцветающей сиренью. С проспекта доносились шипящие звуки автомобилей, а когда машины останавливались на светофор, было слышно, как на судне в порту выбирают якорную цепь.

Этому поэту — одному из немногих — удалось объять день и ночь, добро и зло, любовь и ненависть во всей их полноте, объять и сочетать мощь стихий с мощью англосаксонской речи. Жаворонком назвал его Мелвилл, а на самом деле он и был тем Богом людей, которого не знал, но любил кочегар Андрей, и не только он. Что-то сладостно-темное и горячее поднялось в моей душе. Хотелось любви, слез, вина и одиночества. Я понял, о чем должен рассказать Вере Давыдовне, хотя и не понял — почему, и почему именно ей, и вообще — зачем все это, но — понял. Абсурд.

Щелчком отправив крошечный окурочек на мостовую, я вернулся к столу и с лету написал в блокноте первую строчку: «Шекспир. 73-й сонет». Потянулся и вдруг сообразил, что это был за покой, внезапно снизошедший в мою душу, и что это было за чувство, зажегшее мою душу. Это было счастье, черт побери. Счастье. Удивительнее же всего было то, что я ничуть не испугался, на минуту почувствовав себя счастливым. Я был счастливо счастлив. Наверное, и такое счастье бывает, пусть и минутное. Да и можно ли больше?

— Тебе двадцать пять, — сказал я своему отражению в оконном стекле, смотревшему на меня сбоку. — Ей сорок, и она замужем. А ты счастлив. Что может быть прекраснее?

4

Несколько дней я не отваживался звонить Вере Давыдовне, а когда наконец позвонил, трубку взяла дочь Катя. Я объяснил, в чем дело.

— Как вы познакомились? — изумилась Катя. — И почему она меня не попросила это сделать?

Я терпеливо объяснил девушке, что лучше меня эту работу в этой жизни и во всем подлунном мире никто выполнить не сможет и именно поэтому ее мать обратилась к лучшему из лучших.

— Меня зовут Борисом, — завершил я свой монолог.

— Да это-то я знаю, — разочарованно протянула она. — Наслышана.

— О чем?

— Ну, что вы чуть ли не чемпион Союза по плаванию и фамилия у вас как у Фолкнера...

— Сейчас я плаваю только в ванне, — заверил я девушку, — а фамилия моя — Григорьев-Сартори. Без «эс» в конце. В точности как у Фолкнера. Ударение на предпоследнем слоге. Впрочем, как пожелаете.

— И это вашего брата...

— Моего.

— Извините, я не хотела вас обидеть, — резко сменила тон Катя. — Но сейчас ваша встреча невозможна. — Она сделала паузу, а я молчал. —

Вчера мы похоронили папу. Сердце. Ну и вот... Впрочем, мы же с вами видимся иногда в университете — можете передать бобину мне, а я...

— Спасибо, — холодно отказался я. — Я позвоню, когда поуляжется... Может, через месяц. Или через два.

— Это так важно? — удивилась Катя. — Речь ведь о какой-то...

— Важнее, чем вам представляется. До свидания.

В первую минуту мне даже понравилось, что вместо «кажется» я употребил слово «представляется».

5

Впервые после смерти Макса мы встретились с Верой Давыдовной в зале заседаний суда, и к тому времени я уже знал, что мы встретимся там, и знал — почему. Рассказал Конь.

Стоял холодный октябрь, прошел почти месяц со дня смерти Макса, но я все не отваживался набрать номер и поздороваться с нею. Я не знал, кем, а точнее — чем в действительности был для нее муж. Романтический миф о преданной супруге замечательного парня, всеобщего любимца и отличного штурмана, волею судьбы ставшего калекой, спасал, может быть, от цинизма бичей и прочих опустившихся завсегдатаев киоска Ссан Ссанны. Тешил он и хлебнувших лишку первокурсников, приходивших сюда, на угол Каштановой Аллеи, чтобы дожидаться финальной реплики Макса насчет праздника, который всегда с тобой, и поглазеть на его загадочную красавицу жену, что, конечно же, имела полное право сдать инвалида в больницу для опытов или в дом инвалидов, — и кто бы ее осудил? — но не сделала этого, жертвуя — факт! — жизнью (а ее жизнь — это красота) и всем-всем-всем ради мужчины, который и умел-то — с таким многозначительным видом — выговаривать название известного романа, занюхивать водку вечной баранкой, пришитой к изнанке лацкана, и носить форменную фуражку флотского офицера. А что еще он умел? Бог весть. Мне пришлось побывать в психиатрической больнице и пообщаться с тяжелыми больными, помутившееся сознание и существование которых поддерживалось лекарствами из списка А, и знаменитый коктейль из галоперидола с аминазином, которым по приказу Андропова глушили диссидентов (а что мы знали о них в своей глухой провинции?), был для многих спасением. Во всяком случае, для моего отца. Я вспоминал его тупой, отсутствующий взгляд, плохо выбритую дрожавшую нижнюю губу какого-то бумажного — белесого — цвета, его замедленную скачкообразную речь, иногда становившуюся бессвязно-торопливой, — и, думая о Вере Давыдовне и Максе, представлял их один на один в полутемной квартире, среди убогой мебели, — красавица и чудовище? — и сердце мое сжималось, как при виде окровавленного топора, которым только что убили человека. Близкого, родного человека. Эти вечера, наполненные немой отчаянием... Эти бессонные ночи рядом с человеком, который плачет во сне или вдруг начинает внятно декламировать Шекспира, как кукла, упавшая за диван, забытая и вдруг ни с того ни с сего напоминающая о себе тоскливо-плаксивым вскриком «ма-ма!», и ты вдруг замираешь в полуиспуге и тотчас понимаешь, чей это голос, и со вздохом достаешь игрушку из-под дивана хоккейной клюшкой, чтобы вернуть ее на место и долго вспоминать — сигарета за сигаретой — о том дне, когда зачем-то вынул ее из шкафа, где хранились вещи матери, но так и не вспомнишь, почему захотелось увидеть это реснитчатое чудовище с большой головой и детскими пластмассовыми ногами...

По субботам мы с Конем по-прежнему пили пиво у Ссан Ссанны, которая подливала в кружки горячей воды из чайника и жаловалась на свой мочевой пузырь: «Сейчас он у меня величиной с сердце, а раньше был не больше теннисного шарика». Озадаченные ее спортивно-анатомическим

сравнением, мы устраивались за своим столиком, посреди которого, как всегда, стояла щербатая общепитовская тарелка с серой солью, и меланхолически тянули пиво, пытаюсь вообразить сердце размером с мочевою пузырь, переполненный кисловатым пивом.

— У нее глисты, — сказал Конь. — Бабушка говорила, что все печали оттого, что глисты умеют добираться до сердца. — Он прижмурился. — Ты же можешь вообразить сердце, источенное глистами и напоминающее с виду трухлявый пенек... — Испытующе смотрел мне в глаза и со вздохом констатировал: — Не можешь. Я тоже.

— Давно не видел Сороку, — сказал я, глядя на лавочку у входа в чегарку. — Запил?

— Я спустился как-то к нему, а там — баба. — Конь показал мне свою левую ладонь. — Голая, пьяная и с лицом как моя ладонь.

У него была очень выразительная, даже пугающе выразительная ладонь с глубокими кривыми линиями судьбы, пересеченными тремя лиловыми от холода шрамами, и с багровыми буграми, которые знатоки натальной науки называют холмами.

— Говорят, он исчез. Никто не знает, где он живет. — Конь залпом допил кружку и придвинул вторую. — Наши ребята с юрфака, которые проходят практику в милиции, вчера рассказали мне о ней, — (он кивнул в сторону балкона, где догнивали черные зонты и брезентовая куртка), — и Максe. Когда они гуляли вечером, на них напала шпана. Двое или трое бугаев отобрали у нее сумочку и попытались изнасиловать на глазах у мужа.

Я сжался.

— Когда подъехал наряд, Макс был без сознания и с пеной на губах после припадка, а она — совершенно голая и, кажется, избитая. — Лицо Коня было задумчиво-бесстрастным. — Ей повезло. Но она наотрез отказалась писать заявление о покушении на изнасилование. Ни в какую. Однако побои, порезы и прочие детали были официально зафиксированы в больнице. Да и то не сразу согласилась. Менты чуть не силком затащили ее в травмпункт. В конце концов, надо же было оказать ей и мужу первую помощь. — И внушительно добавил: — Это наш долг, мадам. И прочее.

— Дело об украденной сумочке? — попытался я пошутить.

— Пока квалифицировали как «разбойное нападение». Одного из придурков она описала очень живо — известная ментам личность, — и его сразу взяли. Даже не отпирается насчет сумочки.

— Ну да, — кивнул я. — Отпирается насчет изнасилования. За сумочку дадут полгода исправработ, а за изнасилование — сколько?

— Вообще-то верхняя планка — расстрел. Высшая мера социальной защиты, как говаривали наши деды. В этом случае, конечно, никакого расстрела, но, я думаю, не меньше пяти лет при хорошем раскладе карт. Однако она...

— Наотрез, да. — Я закурил. — Суд будет?

Конь зачем-то посмотрел на часы и сказал:

— Через месяц. — С жалостью посмотрел на меня: — Изнасилования нет, поэтому дело слушается открыто. Дежурное блюдо. Две раны на ее теле признаны ножевыми ранениями. Скорее — царапины. Так что исправработами и шестью месяцами этот гад никак не отделается.

— Этот?

— Остальные убиты. — Конь тщательно размял папиросу и со смаком закурил. — Оба — ножом. Очень большим. Очень. Двумя ударами — один в сердце, второй — в горло. Или наоборот. — Он спокойно выдержал мой взгляд. — Ссан Ссанна не знает, где он живет. Скучает без него. После встреч с Андреем у нее прекращалось жжение в мочевоом пузыре, он даже сжимался до размеров теннисного шарика.

— Кто? — тупо спросил я, бросая окурок в тарелку с солью.

— Мочевою пузырь.

Спустя месяц я отправился в суд, не предупредив Коня. До районного суда — двухэтажного невзрачного зданьяца — я добрался пешком: оно располагалось в пятнадцати минутах ходьбы от нашего общежития. Дело слушалось на первом этаже, где сизолицыые рабочие в коридоре лениво обдирали со стен и потолка штукатурку, вяло поругиваясь с судейскими и пришлыми вроде меня.

С утра шел серый дымный дождь, в зале было сыро, холодно и сумрачно, но включать лампы из-за ремонта было нельзя. Милиционер курил у приоткрытого окна, но дым упрямо слоился в зале. Я устроился у двери и стал разглядывать Веру Давыдовну с дочерью, а когда толстый милиционер с пухлым детским лицом ввел подсудимого, переключился на него. Это был молодой человек моих лет, невысокий, с ярким румянцем на щеках и чахлой льняной бородкой, которую он непрерывно почесывал, оглаживал и всячески теребил. Он был сыном известного в городе художника-графика Самсонова, незадолго до этого покончившего с собой — как утверждали, после чудовищного скандала с женой и многодневного запоя. Выяснилось, что это был второй день процесса, накануне в суде уже слушали свидетелей, потерпевшую и подсудимого. Прокурор в форменном мундире и косоплечий адвокат в очках на кончике утиного носа бубнили по бумажке: один требовал примерно наказать, другой — переквалифицировать дело из «разбойного нападения» в «злостное хулиганство». У меня болели уши, и иногда приходилось напрягаться, чтобы разобрать их слова — тоскливо-необязательные, тусклые и будто отдающие вчерашними щами или прогорклым мылом. Судья — женщина дородная и вся в бородавках — казалось, дремала. Мужчина в долгополом плаще с длинными рукавами (явно с чужого плеча) — в зале все сидели в верхней одежде, включая судью, — бесшумно встал со своего места в темном углу, неторопливо проплыл между рядами и медленно, словно преодолевая сопротивление мутной стоячей воды, приблизился к подсудимому, рядом с которым дремал со склоненной к плечу головой милиционер, — только тогда я узнал в нем Андрея Сороку, — передернулся, словно от внезапного приступа озноба, и ударил человека с льняной бородкой ножом в горло. Удар был такой силы, что кровь брызнула на дремавшего милиционера. Сорока изогнулся, проворачивая лезвие — что-то хрустнуло на весь зал — в горле подсудимого, и отшатнулся. Замер на мгновение. Потянулся рукой к милиционеру — тот отшатнулся, ударился боком в поручень ограждения и стал сползать в обмороке на пол.

— У вас же кровь на лице, — проговорил Андрей укоризненно.

Судья закричала.

Вера Давыдовна встала, прижав к груди что-то белое (кажется, носовой платок).

Милиционер у окна прижался к стене, и даже с моего места было видно, как его бьет крупная дрожь.

Я замер, вцепившись в деревянную спинку кресла, стоявшего передо мной.

Сорока в три прыжка оказался у двери — хлоп — и исчез.

— Да поймайте же его! — крикнула судья.

Сержант у окна вдруг очнулся и трусцой побежал к выходу. На лице его истерически билась жалкая улыбка. Одной рукой он вцепился в кобур, а другой размахивал перед собой, словно разгоняя дым.

Когда он выбежал из зала, я встал и подошел к Вере Давыдовне. Мы поздоровались, но, кажется, она не узнала меня. Катя испуганно улыбнулась и протянула узкую руку, с интересом разглядывая меня.

— Здравствуйте, Борис. Ну и мажор, а? Спасибо, что пришли. Не ожидала... Мама...

Судья вдруг с грохотом опустила в кресло и захохотала басом.

— Я поймаю такси, — предложил я, стараясь не смотреть на сжавшуюся и утратившую дар речи Веру Давыдовну.

— Да нам идти-то... — начала было Катя, но я уже торопливо шагнул к выходу.

В коридоре без энтузиазма матерились строители в грязных своих балахонах. Их коллега с заляпанным краской ведром спускался со второго этажа. В глаза мне бросились его ботинки. И плащ с чужого плеча с тусклым якорьком, вышитым в углу воротника.

— Проходи, проходи, глазастый, — проворчал рабочий голосом, похожим на голос... — Давай-давай! — оборвал он меня на полумысли. Но на прощание подмигнул: — Мы живы, пока бессмертны.

Я сделал рожу.

Он ухмыльнулся.

Похоже, он был здорово пьян, но водкой от него не разило.

И, помахивая ведром, скрылся в серой полумгле за поворотом коридора.

Я вышел из здания, возле которого бестолково суетились милиционеры, все, как один, придерживавшие рукой кобуру. Ну да, разумеется, преступник должен бежать с места преступления. Кто бы сомневался.

— Такси! — закричал я дурным голосом, размахивая руками. — Мотор!

6

— Моп твою ять, — сказал Конь, выслушав мой рассказ о судебном заседании и поступке Андрея Сороки. — Вот зараза. — И добавил тоном ниже: — Пригодился, значит, мой ножичек.

— Я так думаю, что сейчас этот ножичек надежно заделан цементом в какой-нибудь щели под носом у судей и ментов, — предположил я. — Ты будущий юрист...

— Но и большой дурак, — перебил меня Конь, — и мне хотелось бы на какое-то время в этом качестве и остаться. Ага?

На следующий день в университете только и разговоров было что о «диком процессе» и героическом поступке неизвестного мстителя, вступившегося — «пряма как у Фолкнера» — за поруганную честь женщины, презрев законы человеческие — «пряма как у Клейста» — ради высшей справедливости.

В общежитии к нам в комнату ломились любопытные, и Конь велел мне собираться: «Пиво пить пойдем».

По пути к киоску Ссан Ссанны он только раз открыл рот:

— Ты говоришь, что подсудимый этот даже не захрипел?

— Ни звука. Только хрустнуло что-то.

Заказав четыре пива, мы пристроились за столиком, который лучше других был освещен уличными фонарями. Конь достал из кармана бутылку водки, из другого — химический карандаш, лизнул свою жуткую ладонь и написал: «Он сюда явится». Я машинально кивнул, боязливо поглядывая на поллитровку. Гена покачал головой:

— Не-ет, брат, сегодня мы с тобой будем говорить на отвлеченные темы, что в переводе на русский означает...

— Напьемся, — мрачно завершил я его тираду. — Я ж не против. Но при условии, что за героя нашего мы пить не будем. Не надо ему почестей и чести, Гена, — что случилось, то и случилось. Не литературу.

Он кивнул.

Первую мы выпили молча и не чокаясь, как на поминках.

— Знаешь, какие дела в основном рассматриваются в судах? — начал Конь, задумчиво жуя корку хлеба, посыпанную серой солью. — Девяносто девять с половиной процентов — мелкие хищения да драки. За весь прошлый год по области — шесть убийств, четыре изнасилования, одно разбойное нападение. На самом деле, конечно, чуть больше, статистику пра-

вят, и ты знаешь — кто и почему, но не сильно правят. И вот на твоих глазах серая статистика...

— Мглистая, дымная, серная, — вставил я.

— ...превращается в ад крошечный. Преступник зарезан в зале суда. Милиционер в обмороке, другой — намочил в штаны. И судья хохочет, как какая-нибудь второсортная оперная дьяволица. Преступник же, поймав на миг судьбу за узду, дышит где хочет, и в эти мгновения он — прав, черт возьми, а мы со своим правом — не правы. Но ведь это мгновения! Разумеется, незабываемые и все такое прочее. Я понимаю, почему ты не хочешь поднимать тост за Сороку. И я понимаю, почему мы с тобой не в силах его осудить. С одной стороны, случился фарс в аду на смех всем чертям, а с другой — настоящая трагедия. Количество перешло в качество. И самое удивительное во всей этой истории — свершилась юстиция в том виде и смысле, который нам достался от предков, из темного прошлого. В прошлое не плюют. Тому, кто плюнет прошлому в лицо, оно плюнет в могилу. — Он запнулся, вытаращился: — Ты почему не записываешь, брат?

К нам подошел Старина Питер в бескозырке без ленточек. Сгорбленный, руки в карманах черного бушлата, он смотрел то на водку, то на Коня.

— Как служба? — заискивающе поинтересовался он. — Греетесь?

— У тебя стакан с собой? — деловито осведомился Конь. — Давай налью — и сваливай. Ага?

Питер выхватил замызганный граненый стакан, с которым никогда не расставался, и Конь не глядя плеснул ему водки.

— Зараза. Забыл... а, нет! Мы же не о героях, правда?

Я кивнул.

— Я понял, что происходит, — сказал Конь. — Андрей сейчас чувствует себя новобрачным. Женихом смерти пред лицом Господа. В высях горных тихо и спокойно, темно и хладно, и перед алтарем лишь двое, он и она, а Он, — Гена ткнул пальцем вверх, не сводя с меня взгляда, — присутствует всем весом своего отсутствия. Ну не явится же Он им — не по чину. Однако они знают, что Он здесь, и ждут лишь знака, чтобы сочтаться узами и распахнуть дверь в спальню, каких на земле не бывает...

— Могил-то? — Я усмехнулся. — Хотя, конечно, могила — это уже не земля. Это что-то третье.

— Третье состояние души, — торжественно подхватил Конь. — Ни жив ни мертв. Вот что чувствует он. И не может — и ни за что не захочет уже — остановиться: назвался груздем — продолжай лечиться. А?

— Резонно. — Я выпил третий стакан. — Можешь еще разок свою ладонь лизнуть?

Конь лизнул и протянул мне карандаш. Я написал: «Он здесь».

И пока Гена шарил взглядом по толпе, я смотрел на окна Веры Давыдовых. Они были темны. Неужели одна в темноте? Скорее — у дочери, которая жила с мужем где-то в районе Военно-инженерного училища.

— Они тоже тут, — тихо сказал Конь. — Ментура.

Я очнулся.

Из подъехавших с трех сторон джипов высыпали милиционеры в толстых куртках, но не успели они приблизиться к толпе, как грохнул выстрел. Десятка два мужчин, бросая недопитое пиво, кинулись врассыпную, оставив на ярко освещенном месте — у столика близ киоска — лишь одного человека в долгополом плаще. Правая рука его была вытянута в сторону милиционеров, которые прятались за машинами.

— Сорока! — раздался голос из мегафона. — Бросьте оружие и поднимите руки над головой! Высоко над головой! Предупреждаю: иначе мы будем стрелять!

— Больше у меня ничего нет! — закричал Сорока. — Я не бессмертен! Кто-то громко выругался.

Андрей — лицо его в свете фонарей было лиловатым — выстрелил на голос, и тотчас в ответ зашелкали пистолеты.

Сорока уронил обрез и пошатнулся.

Мы с Конем сидели враскоряку под столом.

— Мор up!² — выдохнул я.

И тотчас раздался последний выстрел.

Сорока упал боком и скатился с асфальтового пригорка на тротуар. В киоске визжала Ссан Ссанна. Милиционеры вышли из-за машин и медленно двинулись к телу.

— Быстро! — сказал Конь. — Пошли!

Мы бросились через улицу к кочегарке, нырнули в подвал, пробежали через пустой и слабо освещенный зал бойлерной, где кисло пахло горелым углем, и через незапертую дверь ворвались в душевую. Остановились лишь в коридоре. Переглянулись.

— Только не в комнату, — сказал я. — Деньги при тебе? Хотя, черт, уже поздно! Где теперь достанешь? В ресторане если, а?

— Не достать? — сказал Конь. — Я знаю Ари! Ты не знаешь, а я знаю. У него есть все, и он добрый человек. Итак, в стихию вольную!

7

Таксист за десять минут довез нас до площади у Южного вокзала, где под боком у павильона похоронных принадлежностей стояла будка единственного на весь город холодного сапожника — Ари. Это был маленький армянин со смоляными коленями и лицом, будто вылепленным из сырой глины. Даже клочковатые брови его казались кусочками засохшей глины.

Мы поздоровались. Конь молча отсчитал деньги, и армянин выдал нам две бутылки водки.

— Сколько лет прошу его: продай картинку, а не продает, — сказал Конь, тыча пальцем в изображение Джоконды, вырезанное из «Огонька» и приклеенное к стене за спиной сапожника. — В цене не сходимся. — Он одним движением отвернул пробку и глотнул из горлышка. Протянул мне. Я попытался повторить эту манипуляцию, и мне это удалось со второй попытки. — Тридцать копеек, Ари.

Армянин поднял свои глиняные веки и посмотрел на него укоризненно:

— Это же Мона Лиза, Гена, кисти великого Леонардо да Винчи. — Он вздохнул: — Пятьдесят.

— Да весь тот сраный журнал, из которого ты выдрал эту мазню, столько не стоит! — закричал Конь.

— Это — красота, Саша, — не повышая голоса, возразил Ари. — Пятьдесят копеек. И убери бутылку — мусора на горизонте.

Мы спрятали бутылки в карманы и поплелись пешком в сторону центра. Конь бурчал что-то себе под нос.

— Хочется этого, — вдруг сказал он, останавливая меня на эстакадном мосту через Преголю. — Почему, Борис? Я деревенский парень, который всю жизнь ссал с крыльца во двор, а первой моей бабой была сеструха. Двоюродная, правда, — уточнил он не особенно убедительным голосом. — Но ведь хочется! Угадай — чего.

Я кивнул.

— А как звали коня Александра Македонского — Буцефал, Цеденбал или...

— Задолбал! — закричал Конь во весь голос. — Я про Ари и Джоконду. Ты понял теперь, почему я люблю эту жизнь, а не ту, я Ари люблю, и

² Добейте же его! (англ.)

тебя, и Джоконду за тридцать копеек и не хочу быть женихом и пить за героев, даже если они нас с тобой возвышают хрен знает куда? Понял? Это и есть моя юстиция, моё её мать!

— Да. Пойдем-ка отсюда.

8

Всю вторую половину декабря мы с Конем по ночам разгружали пароходы в торговом порту, а днем сдавали зачеты, поэтому ходили слегка очумелые. Мы зарабатывали деньги, чтобы встретить Новый год в лучшем ресторане города, где когда-то возвращавшиеся из десятимесячных походов китобой прикуривали от сторублевки и пили шампанское, закусывая его обмокнутыми в сахар розами. После расформирования китобойных флотилий знаменитые гарпунеры подались кто куда, но в большинстве своем поспивались и оказались среди бичей, появлявшихся иногда у киоска Ссан Ссанны.

За несколько дней до праздника меня разыскала Катя с поручением от матушки:

— Вера Давыдовна хотела бы встретить Новый год с вами. Будем только мы с Павликом, мама и вы. То есть вы с другом, — безжалостно уточнила она. — Он всегда носит золотое кольцо в ухе?

— Он родился с этим кольцом в зубах, вот и приходится носить его в ухе. Каждая его мысль стоит столько же, сколько кольцо.

— И столько же весит? — Она улыбнулась, показав красивые желтые зубки. — Значит, договорились.

Катя ушла, пританцовывая на высоких каблуках, а я закурил у окна в коридоре и сказал себе, что, если эта дрожь внутри не уляжется, к Новому году у меня случится приступ пляски Святого Витта...

В полдень тридцать первого, подремав после тяжелой ночи в порту (разгружали химвудобрения в мешках), приняв душ и побывав в лучшей парикмахерской, надев лучшие костюмы-тройки и повязав свежие галстуки, два лучших в этом мире парня, то есть мы с Конем, отправились перекусить в лучший ресторан, поскольку до урочного часа — девяти вечера — нам просто нечем было заняться. В кармашек жилета я сунул часы-луковицу — настоящий Павел Буре чистого серебра, полученный моим дедом в 1915 году за отличную стрельбу из рук генерала Брусилова.

К обеду мы заказали водки и помянули моего непутевого брата Костяна, годовщина смерти которого приходилась на предновогодье.

— А я ведь плохо его знал, — сказал Гена, когда мы отобедали и заказали еще один графинчик. — Знал, что он тебе двоюродный, что малахольный, что стихи пишет, что незадачливый картежник, что вы росли вместе...

— На самом деле он вырос в библиотеке, — сказал я. — И первой его женщиной была библиотекарша, пожилая девушка в шерстяных носках и вязаных перчатках, из обрезков которых высывались пальцы с обкусанными ногтями. Она жила в том же доме, где и библиотека, и единственным существом, о котором она заботилась, был огромный черный кот кавалерийской стати. Похоже, она его побаивалась. И чтобы избавиться от этого страха, Костян как-то пришел к ней в гости с бутылкой красного крепленого и коробочкой пилюль для страдавшего какими-то там глистами котяры. Хозяйка держала кота, а Костян засовывал ему под хвост пилюлю с ниточкой... Да я правду говорю! Наконец он поджег ниточку — и ровно через четыре секунды (мы с ним рассчитывали время по хронометру) котяру разнесло на мелкие кусочки, которые безутешная хозяйка при помощи безутешного друга отскребали от стен до самого утра и так устали, что утром им ничего не оставалось, как соединиться, подобно другим мил-

лионам мужчин и женщин, и это у них так здорово получилось, что через неделю библиотекарша надела белоснежный костюм, умопомрачительную шляпу кремового цвета с широкими полями, украшенными живыми вишенками, туфли на недосыгаемых каблуках, купила билет и отбыла в неизвестном направлении — то есть в новую жизнь. А Костян поступил вскоре в университет...

Конь посмотрел на меня с подозрением.

— Ты приготовил эту историю к новогоднему столу у Урусовых?

Я приложил руку к груди и фальшивым голосом честно ответил:

— Нет. Клянусь сердцами всех моих подружек.

— Допустим, — сказал он. — Я не придаю этому никакого значения. Как говаривал старина Киплинг, женщина — это всего-навсего женщина, а сигара — это все-таки дым. — Он выпустил дым колечками. — Сейчас мы пойдем гулять и купим у Ари эту чертову Джоконду за полтинник. Я просто сгораю от нетерпения сделать эту глупость. А?

— Я плачú, — предложил я. — Или уже плачú?

— Не надо, Борис. Не играй ударениями. Русский язык мягок, как пластилин, но коварен, как первый лед. Провалишься.

— В бездну. — Я рассмеялся. — Let it be!

И поднял бокал. За нас и за битлов...

— Ну что ж, — усмехнулся Конь, чокаясь со мной. — You gonna carry that weight!

9

Нет ничего тоскливее, чем слякотная, промозглая, тухлая зима в Калининграде. Но нет ничего прекраснее, светлее, головокружительнее, чем зимняя ночь в Кёнигсберге, да еще безветренная и со свежим снегом, вдруг повалившим с темных небес, когда мы с Конем — пальто нараспашку — вышли из ресторана. Подморозило. В вышине снежинки были неотличимы от звезд. Дышалось легко и свободно, и только сладостный страх, не затрагивавший сердце, но лишь слегка бередивший душу, напоминал о смертности человеческой. На улицах еще не улеглась предпраздничная бегодня, но снег и тьма, свет множества фонарей и окон, звезд и автомобильных фар сделали свое дело: привычный кошмар нового города стремительно угасал, уступая место древнему, устоявшемуся, иллюзорному, но оттого еще более привлекательному и неожиданному и незнакомому чувству, которое забирало душу при виде этих островерхих черепичных крыш, узких улочек, вымощенных плоским булыжником, фахверковых домов, — мы вышли в широкий створ между Домом профсоюзов и строившейся гостиницей, и сквозь снежную мглу, колыхавшуюся тяжело и торжественно, как на похоронах, навстречу нам всплыл из поймы Преголи Кафедральный собор, убожество которого — руина и руина — тонуло в наступающей ночи, скрадывалось оптикой, размытой русским снегопадом. Мимо нас пронесся, глухо погромыхая на стыках рельсов, узкий ярко освещенный трамвайчик, нырнувший к основанию моста и тотчас взбежавший на горб эстакады, — мы остановились под кроной тополя, странным образом не сбросившего свои жестяные листья, Конь извлек из нагрудного кармана две сигары «Белинда» и чиркнул шведской спичкой. Аромат кубинского табака смешался с арбузной свежестью снегопада и запахами дорогих мужских духов, накрывшими нас с головой, когда по тротуару мимо прошла державшаяся за руки парочка красивых педерастов со счастливыми, ослепительно белыми лицами, яркими блестящими губами и черными провалами глаз...

Я любил приходить сюда дождливыми осенними вечерами. Садился на лавочку и подолгу курил, глядя на Кафедральный собор и стоящую на другом берегу ганзейскую Биржу, что встречала гостей Дома культуры мо-

рыков широким лестничным маршем и двумя львами, державшими в лапах рыцарские щиты, с которых по приказу властей были аккуратно сбиты гербы Ганзы и Кёнигсберга. Я не был историком и знал о семисотлетней предыстории Калининграда немногим больше, чем другие, да и если бы даже меня допустили в старые архивы, вряд ли я долго выдержал: меня мало интересовал реальный Кёнигсберг, где сходили с ума Гофман и Клейст, а во время русско-японской войны некий университетский доктор Шаудинн поразил мир открытием бледной спирохеты. Меня притягивал скорее образ утонувшего в вечности города королей, и в эти минуты жизнь моя представлялась мне путешествием в прошлое, в миф, и зыбкость существования между реальностью и этим иллюзорным прошлым вовсе не пугала, но вызывала озноб и даже что-то похожее на радость, на счастье — самое безотчетное, а нередко и самое беспричинное из чувств, ощущений, состояний человеческих. Я это остро чувствовал, оказываясь вдруг в этом историческом зазоре, в этой экзистенциально напряженной метафизической неопределенности бытия, — воображение мое сливало образы чудес и чудовищ в некое целое, *das Ganze*, в мир превыше всякого ума, в котором я ощущал себя центром и средоточием необозримой и невообразимой сферы космоса. Я находился во власти двух равносильных инстинктов — инстинкта выживания и инстинкта поиска смысла, и ценность смыслу моей жизни, как казалось мне тогда, придавала именно зыбкость состояния мыслей и чувств путешественника в ирреальный Кёнигсберг, открывавшийся в створе между Домом профсоюзов и строившейся гостиницей, — утонувшие, исчезнувшие панельные пятиэтажки, черепичные крыши, оголенные кроны деревьев, блеск бульжных мостовых, звяканье и ляг корабельных цепей, доносившиеся сюда из порта, перезвон узких трамвайчиков, словно переламывающихся на горбатых мостах за Кафедральным собором, по ту сторону острова, где когда-то и зачинался город королей...

Жить этим было, конечно, нельзя, но и прожить без этого — невозможно.

— Перед смертью мой отец попросил книгу, — вдруг сказал я. — Он лежал в своей комнате и замерзал под двумя пуховыми одеялами, но никто не думал, что на следующий день он умрет. Я принес ему первую же попавшуюся под руку книгу — я забыл ее название и историю ее появления в нашей библиотеке. Он раскрыл ее на середине, и в этот миг на страницу села бабочка. Яркая, с красно-коричневыми и светло-карминными разводами на крылышках. Я склонился над отцом, чтобы прогнать бабочку, но он вдруг резко захлопнул книгу. Она и до сих пор хранится у нас дома, перевязанная красной шерстяной ниткой, но я боюсь открывать ее, мне страшно, Гена. Увидеть раздавленную иссохшую бабочку, безобразным пятном расплывшуюся на страницах, — ей-богу, пока мне это не под силу. Но прежде чем отец захлопнул книгу, я успел выхватить взглядом первую строчку какого-то стихотворения и дату его создания. *Только пепел знает, что значит сгореть дотла.* Дата же — 1986 год. Я даже не удивился...

— Кто знает, что будет с нами через десять лет, — уклончиво проговорил Конь. — Книга из будущего? Почему бы и нет. Может быть, она уже написана, просто мы об этом не знаем, да ведь и ты узнал о ней лишь благодаря смерти. Ты же сам говорил не раз и, прости меня, даже не два: единственное будущее, которым мы владеем, — это наше прошлое.

— Поэтому я так странно и замедленно вспоминаю все, что случилось в моей жизни. — Я пыхнул сигарой, приходя в себя. — Задом наперед, куврыком, из ниоткуда в никуда... Давай не пойдем к Ари. — Я взглянул на часы. — Прийдемся по Кёнигсбергу, празднующему кислород и время, и вовремя явимся в гости...

Конь протянул мне монету — 50 копеек.

— Отдашь Ари или сохранишь на память о красоте. — Он сунул сигару в нагрудный карман. — Теперь я понимаю, почему ты не рассказываешь о смерти родителей и брата: все это случилось недавно. Тебе не хочется вспоминать...

— Я вспоминаю каждый день. Но пока не могу рассказать об этом. Нет у меня новых слов для новой истории. Итак, в стихию вольную? На угол Каштановой?

— Трезвые и голодные, — уточнил Конь, хищно улыбаясь. — Вблизи ты похож на ее второго мужа... Кого она мне напоминает? Какую-то актрису...

— За что ты ее не любишь, Коняга?

— Некоторые любят погорячее, — уклонился он от прямого ответа. — Я помню, на что ради нее пошел Сорока, и мне становится не по себе. Кстати, наша несчастная героиня подарила дочери автомобиль «Волга». Это сделала она, а не ее гэбэшный свекор, как все думают. Бедная женщина...

— Зависть, мой друг, сиречь Invidia, числится среди семи смертных грехов, — наставительно проговорил я. — Возлюби нижнего своего.

Проверив, застегнуты ли у нас ширинки, мы двинулись извилистым маршрутом — напрямиком в гости.

10

К дому мы подошли за три минуты до назначенного времени и столкнулись с Катей, поджидавшей нас у закрытой палатки Ссан Ссанны в обществе рослого молодого человека с лицом добермана и собачьими же умными глазами, представившегося Павлом, ее мужем. Катя весело сообщила, что в доме выключили свет, но они с мамой все успели приготовить, и как это чудесно, что мы догадались насчет живых цветов — мама так любит живые цветы, особенно чайные розы, и это замечательно...

— Гиацинты, — сказал я. — Чтобы вырастить хорошие гиацинты с насыщенным запахом, луковицы перед посадкой выдерживают в формалине. Или в нафталине? Забыл.

— Только не говорите этого маме, ладно? — попросила Катя. — При слове «формалин» она вспоминает о морге. Да пойдете же!

Вера Давыдовна встретила нас с ярко горевшей керосиновой лампой в руке. Лицо ее то и дело пропадало в тени, и тогда она напоминала женщин с картин Латура, которого я только недавно открыл для себя. На ней было облегающее серое платье тончайшей шерсти с серебряной вышивкой — тонкой строчкой — вокруг неглубокого выреза. При свете свечей и керосиновой лампы глаза у всех мерцали ртутным блеском.

Вера Давыдовна устроила лампу посреди накрытого стола, при виде которого мы с Конем многозначительно переглянулись. Впрочем, Вера Давыдовна тотчас объяснила, что этих дорогих напитков у нее скопилось немало: друзья Макса навещали их часто, ему было нельзя, а ей довольно бокала вина — вот и образовались запасы.

После ужина мы приступили к дегустации напитков. Конь сосредоточился на французском коньяке, я же предпочел шотландский напиток. Женщины убрали со стола, и мы расселись в кресла перед столиком у хладного телевизора, рядом с которым — Вера Давыдовна: она ждала какого-то важного звонка, судя по тому, как была напряжена. Мужчинам и Кате было разрешено закурить, Вера Давыдовна, как я и предполагал, заинтересовалась происхождением странной моей фамилии. Я рассказал о своем предке Грегорио Сартори, который был учеником великого Вобана, в одной из книг благодарившего «благородного сына Милана» за помощь и сочувствие: после королевской опалы за книгу «Королевская десятина» незадачливый гений и публицист дорожил немногими оставшимися друзьями. Впрочем, благородный Сартори вскоре перешел на службу к курфюр-

сту Восточной Пруссии, где и встретился с Петром Великим, которому впоследствии служил вместе с сыновьями-близнецами и отличился при взятии Нотебурга, а также под Полтавой. За преданность и доблесть Сартори были пожалованы земли в Виленской губернии. Один из вконец обрусевших Григорьевых-Сартори служил при Екатерине Великой дипломатом и в Париже встречался с маркизом де Садом...

К слову о де Саде. Вера Давыдовна рассказала о свекрови, у которой выросла Катя, — известной актрисе Ядвиге Цикутовне — шутка — Урусовой, которая и в старости не снимала дома туфли на высоченных каблучках, курила сигариллы и читала непристойные романы Генри Миллера и маркиза де Сада в подлиннике.

Кстати о непристойностях. Я поведал историю о черной меланхолии, охватившей меня однажды во время дежурства по общежитию. Все обязанности дежурного сводились к проверке документов у незнакомцев, норовивших проникнуть в гарем, где их, впрочем, с нетерпением ожидали хищные девственницы. И еще — я отвечал на телефонные звонки. Меланхолия посетила меня за полночь, когда усатая могучая старуха по прозвищу Державин уснула в кресле, загородив своей тушей входную дверь. Шел дождь. По водосточным трубам карабкались — мне хорошо было слышно — отчаянные гости девственниц, и я взялся за телефон. Тупо набирал случайные номера и после обмена приветствиями произносил одну и ту же фразу: «Вчера я забыл у вас свое счастье. Не закатилось ли оно за диван в гостиной?» Каждый третий обещал немедленно приступить к поискам счастья, если я подожду у телефона, — я ждал полминуты и клал трубку на рычаг: мало ли что подразумевают люди под счастьем. Гораздо понятнее — «закатилось под диван». Эта плоскостопая шутка затянулась и уже надоела мне до чертиков, как вдруг, набрав очередную случайную комбинацию цифр, я услышал в трубке: «Ленин слушает». Я опешил. «Левин? — попытался уточнить я. — Яков Аронич? Или Моисей Иваныч?» — «Ленин, — уточнил нетрезвый голос. — Который памятник. А меня зовут Василием Никитичем». Слава Богу, человеку, выпивавшему на пару с бутылкой, хотелось излить душу. Выяснилось, что в цоколе памятника Ленину на центральной площади была устроена комната с туалетом и телефоном, включавшимся лишь перед 7 ноября и 1 мая, когда на трибунах собиралось высокое начальство, надзиравшее за прохождением праздничных демонстраций и военных парадов. «Когда им надоедает стоять на трибуне, да еще если в холод, — расписывал мой собеседник, — они спускаются сюда, якобы по нужде, а на самом деле — тяпнуть коньячку или водочки: здесь накрывают на этот случай маленький столик с закусками. А я дежурю по связи и на звонки должен отвечать паролем „связь“. Надоело. Замерз». Я мог лишь посочувствовать бедному памятнику...

Муж Кати вдруг спокойно сдал своего батюшку-гэбэшника, любимым выраженьицем которого было: «При слове „коммунизм“ моя рука тянется к кобуре». «Ничего удивительного, — добавил Павел, прихлебывая виски. — Мы живем в эпоху тотального анекдотизма. Надо же народу хоть чем-то защищаться от промывки мозгов, вот он и защищается анекдотами. Долго это не может продолжаться. Если даже ничего экстраординарного не случится, к власти все равно вскоре придут циники и лицемеры вроде нас, и тогда многое изменится. — Он поднял указательный палец. — Никого не хочу обидеть. Циники и лицемеры — лишь термины, а не оценки за поведение. Кому не нравится, тот может заменить циников на киников. Или на эпикурейцев и стойков». Мы с Конем переглянулись: парень нам понравился. И он это почувствовал, потому что предложил наполнить стаканы и перейти на «ты».

— А вам нравится маркиз де Сад, Борис? — вдруг спросила Вера Давыдовна, наклоняясь ко мне — блестящие глаза, запах маслянистых духов, тепло полного красивого тела... — У меня есть, но только по-французски.

— Я кое-что читал, — сказал я. — Непристойности — на них наплевать. Важнее то, что маркиз вздернул себя на дыбу, испытывая терпение Бога, точнее, пародируя подвиг Иисуса. И потом, в конце концов — у французов ведь не было Достоевского. А только с ним и полезно сравнивать творчество маркиза: тогда многое у де Сада становится ясным и понятным.

— Французы, слава Богу, не так увлечены идеями, как русские, — подала голос Катя. — Мы жили — да и живем — в словах, как будто они и есть наш дом. Французам довольно Декарта и Паскаля.

— Может быть, мы и впрямь страдаем чрезмерным увлечением идеями, — заметил понравившийся нам Павел, — но в этом не было бы ничего дурного, будь у нас идеал. Помимо того, который навязан именем Памятника.

Вера Давыдовна рассмеялась, не сводя с меня взгляда.

За полночь мы вышли прогуляться.

Конь, извинившись, попрощался: его ждала Сикильдявка. Набравшего Павла и Катю — «Хватит, довольно, пора баиньки, у меня и без того ножки бантиком!» — мы посадили в такси — и остались вдвоем.

Откуда-то из чернотелых небесных глубин падал редкий снег. Ярко светили уличные фонари. Я взял Веру Давыдовну за руку — она была в детских варежках — и повел куда глаза глядят.

— Каким чудом вы попали в погранвойска, Борис? — спросила она. — Ведь вы пловец, да еще какой. Мне Катя говорила...

— Да. Но как всякий нормальный человек, я предпочитаю dry death — сухую смерть, как выразился Просперо в «Буре». И потом выяснилось, что я не ошибся: я служил в Уссурийской тайге и впервые увидел, как тигр выходит из тени в полосу света — именно в этот миг у него вспыхивают глаза, и ничего красивее я не видел в жизни. Я вдруг понял, хотя это и покажется смешным, — понял *физиологически*, почему Блейк сравнил подлинного Христа с тигром... Он и есть тигр для всех, кто верит в существование Копенгагена больше, чем в существование Бога. Побывав там, я, кажется, начал догадываться, почему мой прадед — у нас в семье его называли Другой Прадед или Другой Сартори — искал страну счастья в тех краях... Бабушка говорит, что я выдался в него, в этого прадеда-бродягу.

— Бродягу?

Я рассказал ей о своих путешествиях в чужой и чуждый мне Кёнигсберг, признавшись, что ни там, ни здесь, невзирая на сохранившиеся признаки — обломки — древнего города королей, я не чувствую себя собой. Может быть, потому, что я не уверен в возможности чуда на пути в Дамаск, а Кёнигсберг и был для меня неведомым градом Дамаском. Только я не был Савлом...

— Кёнигсберг — это мечта?

— Нет. Это скорее авантюра для травоядных, не желающих ничего знать о бездне, которая может разверзнуться в любой миг в любом месте. Я имею в виду ту бездну, которая скрыта в каждом человеке.

— Бр-р! — Вера Давыдовна взяла меня под руку. — Расскажите мне лучше о своем прадеде.

Я рассказал об Адаме Григорьеве-Сартори.

Он родился в краю, где земля была пропитана невинной кровью не меньше, чем потом и дерьмом, а страдания людей были намного старше их, но, в отличие от людей, никогда не умирали, где люди впадали в мрочу — сон, длившийся иногда до самой их кончины, и болели колтуном, при котором волосы на голове превращались в войлок, но срезать его было опасно для жизни, а носить всю жизнь на голове — мучительно.

В его семье восемь мужчин были повешены или расстреляны за участие в Польском восстании. Война, грабежи, пожары и повальная гибель людей запустошили край, где после восстания каждому дворянину пришлось вновь доказывать свое право на дворянство, и многие не могли этого сделать, поскольку документы их превратились в пепел. Поэтому сотни шляхетских сыновей лишились права на наследственное дворянство и попались кто куда — кто в города на чиновничьи должности, кто — крестьянствовать, гнать самогон из гнилой пшеницы, настаивать его на еловых шишках и вспоминать о будущем, отнятом у них навсегда.

Он появился на свет горбатым и с костями мягче воска, поэтому до года ему позволяли только лежать, а через двенадцать месяцев после рождения мальчика обрядили в костюм из деревянных брусев, накладок и шипов, скрепленных коваными железными скобами, зажав его тело в тиски в двадцати четырех местах. Передвигаться он мог только при помощи специальных коленчатых костылей, а спал на двадцати четырех разновысоких кольях, сунув голову в широкую кожаную петлю, к которой была прикреплена веревка с противовесом — камнем, весившим ровно столько же, сколько и болезнь, — сто двадцать восемь килограммов. Его мучили головные боли и кошмары, и чтобы избавить сына от мучений, мать клала на его лоб перед сном маленькую жабу с бело-розовым животом, которая к утру превращалась в тысячелепестковую розу, обещавшую исцеление от страданий физических и душевных, но источавшую запах соблазна и греха.

В день его рождения на вязах и дубах, плотным кольцом окружавших их дом, поселились черные вороны. Они не покидали деревья ни зимой, ни летом, и мальчик вырос под их немолчный грай и диковатое мурлыканье их брачных песен. Ворон не пугали ни ружья, ни палки — место погибших тотчас занимали новые птицы, — а срубить деревья люди не рисковали: дубы еще не достигли возраста, когда их было принято спиливать и топить в семейных озерах, где они вымаривались иногда до ста лет, с каждым годом становясь все тверже и дороже.

В шестнадцать лет мать помогла сыну добраться до церкви, где уже собрались, помимо священника и пономаря, все окрестные костоправы, знахари, травники и простые колдуны. Под непрерывный колокольный звон мальчик читал вслеп за священником молитву за молитвой, тогда как знахари и колдуны освобождали его от тисков и оков, а когда он, беззащитный и почти голый, в страхе попытался лечь на пол, священник грозно возгласил: «Встань и иди!» И он встал и пошел. Только тогда мать отважилась крестить сына и дать ему имя — Адам.

Впрочем, еще два или три года ему предстояло ходить с колодками на ногах, ярмом на шее и в тисках, сдавливавших грудь и спину, спать на голых досках и засыпать с жабой на лбу.

Священник принес ему две книги — Новый Завет и Послания Апостолов, научил его грамоте и уходу за зубами. И уже через три месяца юноша заявил, что ему тесно в родной деревне, тесно в навязанной ему жизни, где мужчины при встрече с ним отступали на обочину, а девушки прятались от его взгляда за деревьями, крестились наоборот и плевали через оба плеча. Поэтому однажды утром он собрался и ушел из деревни, шатко ступая на костылях, по-прежнему в колодках, ярме и тисках, — случилось это рано утром, и только мать проводила его за околицу. На прощание они поменялись нательными крестами, чтобы не забывать о любви, которая ничем не отличалась от нестерпимой и нескончаемой мучительной боли.

Он двинулся в сторону Москвы, и во всех деревнях, где он останавливался, женщины кормили его из сострадания, но не пускали на ночлег в свои дома. Он каждый день тридцать три раза расчесывал волосы, боясь колтуна, однако после того, как он пересек Волгу, льняные его волосы выпали, за одну ночь сменившись каштановыми, а водянисто-голубые глаза приобрели глубокий зеленый оттенок. Перевалив через Уральский хребет,

он освободился от деревянных тисков, сдавливавших грудь, и выбросил костыли — теперь он мог обходиться простой клюкой. Он пил из самого глубокого в мире озера Байкал хрустевшую между зубами священную воду, вскипавшую в сердце обновленной кровью, после чего без опаски освободился от ярма, угнетавшего шею. Зима застала его на Алтае, где он остановился в деревне, жители которой пропускали девятерых странников, а десятого убивали, не спросив даже имени. Когда-то их предки, следуя древнему обычаю, точно так же зарубили топорами Иисуса Христа, оказавшегося десятым, и с тех пор жители деревни были твердо уверены в том, что новым десятым может быть только дьявол. Они отвели Адама в пещеру, где были брошены останки Иисуса, и путник провел ночь среди гниющих отбросов жертвенных животных и *десятых*, но лишь навсегда избавился от терзавших его сызмальства головных болей.

Он пил из сибирских рек, преодолевал клокочущие нефтью и газом бескрайние болота, видел, как тучи комаров за полчаса обгладывали до белых костей бегущего оленя, и огромные муравейники, в которые бросали приговоренных к смерти. Он зарабатывал на хлеб, помогая лесорубам и сплавщикам леса, которые трудились без перерывов и устали, посмеиваясь в смольные бороды: «Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз — инеем».

Наконец, уже свободный от колодок и клюки, он вышел к океану и положил руку на всплывшее из восточных пучин солнце.

Жители его родной деревни подняли на смех темноволосого бродягу с бирюзовыми глазами, утверждавшего, что он и есть Адам Григорьев-Сартори, и только мать сразу признала сына — по скрещенным пальцам на ногах и глазам, которые она во сне выиграла в карты у русалки. Они продали дуб, заложенный в их семейное озеро за восемьдесят лет до рождения мальчика, и на эти деньги поставили новый дом и сыграли свадьбу Адама с самой красивой в округе девушкой. На свадьбе молодые танцевали на лугу, усыпанном сырими перепелиными яйцами, и не раздавили ни одного яйца. Жена принесла двойню — мальчика и девочку. Мальчик умер, а при вскрытии из его сердца извлекли золотой ключик, и Адам понял, что семейная жизнь и покой не суждены ему Богом. Положив ключ от Врат Счастья в карман, он ушел на восток, чтобы больше никогда не возвращаться домой. Он обрел дар отличать дьявола от простого смертного. Говорили, что скиталец встретил однажды Агасфера — им было о чем потолковать, — и с той поры они путешествуют вдвоем, тайно свидетельствуя о скором втором пришествии Спасителя на Русь. Иногда им попадаются ворота, к которым подходит золотой ключик, но всякий раз за воротами открываются новые дороги, пустоши, перелески и речные дали зеленой страны...

— Вот эти следы, — я махнул рукой в сторону цепочки следов под уличным фонарем, — могут принадлежать Адаму или Агасферу.

— Они ищут Бога? — тихо спросила Вера Давыдовна.

— Не знаю. Бабушка говорит, что я удался в прадеда. Именно в этого — в Другого Прадеда. Но мои путешествия в Кёнигсберг — лишь попытка обжить чужую раковину, как это делает осьминог. Настоящий Кёнигсберг — не страна счастья, не мечта, — это город королей, которого больше никогда не будет. Только и всего. Я не могу там поселиться, да и никто не сможет. Потому что давным-давно иссякли источники той жизни, и язык ее невнятен ни мне, ни даже тем, кто родился здесь и еще жив. А нового языка у нас пока нет...

Мы вернулись к ее дому, и Вера Давыдовна, откинув пушистый капюшон, потащила меня за руку к себе: «Время пить кофе и чистить зубы!»

На площадке у ее двери я опомнился и схватил ее руку обеими своими. Странно улыбаясь, она молча смотрела на меня.

— Пора, — сказал я, отчаянно проклиная себя и всех Григорьевых-Сартори с их тиграми и золотыми ключами и не выпуская ее рук из своих.

— Ну хорошо, — севшим голосом вдруг проговорила она. — Если ты не осмеливаешься поцеловать мне руку, обойдемся поцелуем в губы.

11

С этим ключом надо было что-то делать. Я остановился под фонарем и разжал руку. На ладони блестел плоский маленький ключ от английского замка. Я напрягся, пытаюсь разглядеть цифры на головке ключа, и в этот момент уличные фонари разом погасли. Утро. На часах — четверть одиннадцатого. Искусанные в кровь губы. Запах духов. Приятная вялость набухших мышц. Мгновенная картинка: любовный поединок мужчины и женщины, огромных, как океанские лайнеры, и жадных, как воробьи. Кажется, мы чуть не подрались в постели. Я искусал ее бедра. Еще картинка: огромная нагая женщина с сонной улыбкой натягивает белые трусики с узкой полоской кружев, разглядывая следы моих губ и зубов на своем теле. Поглаживая их. «Можно мне называть тебя любимым?» Тьма. «Любимый».

Я захлебнулся утренним морозным воздухом, закашлялся и, сжав ключ в кулаке с такой силой, что побелели костяшки пальцев, — нужды в этом не было, но мне хотелось, чтобы костяшки побелели, — почти бегом направился к общежитию.

В читальном зале на втором этаже горел свет. Я заглянул. Кто-то спал за столом, уставленным бутылками и тарелками, полными окурков. На полу валялся погнутый штопор, вонзившийся в винную пробку. Пахло мочой.

Отперев дверь своей комнаты большим железным ключом с почерневшим кольцом, врезавшимся в ладонь, я с порога предупредил, что убью всякого, кто посмеет...

Включил свет. В комнате не было никого. Значит, Конь тоже ночевал в другом месте.

Голая лампочка под потолком — сколько раз я предлагал Коню купить плафон или абажур! — освещала две узкие железные койки, разделенные тумбочкой, маленький стол треугольной формы и два стула. Бутылка коньяка на столе еще вписывалась в обстановку, а вот высунувшиеся из-под кровати домашние туфли создавали впечатление загроможденности комнаты. Я ногой запихнул их поглубже. Стало легче дышать.

Провожая меня, она дала этот ключ и напомнила о пленке. Только сейчас я вспомнил об этой пленке с записью голоса ее покойного мужа. Почему она вспомнила об этом? Господи, это намек? Нет, ответил мой внутренний голос, это паранойя. У меня взмок загривок, стоило мне вспомнить, как она прижалась ко мне всем своим большим упругим телом, навалившись сверху, и хрипло проговорила: «Я сто лет не называла никого любимым». Паранойя, куда ни кинь. Ясно: надо сейчас же бежать назад, раздеваясь по пути, швыряя вещи в снег, бросая на лестничных площадках, чтобы как можно скорее прижаться к ней и вдохнуть волнуемый, тревожный запах ее кожи, провести влажной ладонью по ее бедру и ягодице. Она вся задрожит — я тоже — и еще сильнее прижмется...

Я выдвинул из-за своей койки чемодан, щелкнул замками. Видел бы меня сейчас Конь. Ну и бог с ним. Четыре рубашки. Четыре майки. Носки. Не дырявые? Труссы. Два галстука. Два свитера домашней вязки. Лыжная шапочка. Плавки. Костюм. Сверху несколько книг — остальные заберу позже. Бритва. «Твое лицо старше тебя, — сказала она. — Нет, все дело в твоих глазах».

Запер чемодан. Сел за стол, откупорил бутылку и сделал три глотка. Закурил. Так.

Интересно, она удивится при виде чемодана или нет? Ведь мы ни о чем таком не договаривались. Она лишь напомнила о пленке, и все. Даже

не сказала «жду» — просто вручила ключ. Но это может означать что угодно. Проще простого: мне понравилось с тобой коротать время в постели, приходи еще — когда вздумается. Твоя Н. Но чемодан? С трусами, носками и книжками? Брови ползут вверх. Вот они сливаются с волосами, вскарабкиваются на затылок и складываются островежкой крышкой... Носки? Паранойя. Ключ не для этого. Не чтоб с носками и книжками. Для другого. Просто — мужчина и женщина. Постель, болтовня, сигарета. До новой встречи. Кино. Музыка Лиграна. Кадр за кадром. Взрослые люди, ясное дело. Только позвони, прежде чем. Нет, она так не говорила. «Любимый» — из пересохшего горла. Она произнесла это слово таким голосом, что мне захотелось пить.

Я снова глотнул коньяка.

Ключ. Она взяла связку с подзеркальника в прихожей, сняла с кольца ключ и протянула ему. Молча. Поймала его взгляд. «Третий у Кати». Конечно. Ведь не может же быть, чтобы она бросалась ключами направо и налево. Ну, успокойся. Может быть, только направо. Тьфу. А если я приду, а там — Катя? Длинноногая красавица в каком-нибудь домашнем халате. Удивленные глаза. А я — с чемоданом. Труссы-носки-рубашки-бумажки. А, родственничек, значит, папаша. И сделает глазами так. Или так. Глупости: Катя так не сделает. Где ключ? Узкий блеск на столе. Рядом с пепельницей. Ключ. Цифры — 080. Бесконечность в пустоте. Зачем я извожу себя, стервенея от одного вида ключа? Превращаясь в существо, живущее безжизненной жизнью. Лучезапястный сустав — сам по себе, ахиллесово сухожилие — само по себе, нервы раскалены и извиваются ошпаренными червями в черной массе моего мяса, и руки дрожат. Вытянул перед собой. Тремор. Но это еще не синдром Корсакова. перевозбуждение. Я не спал ни минуты. «У меня никогда так не было даже с Максом». — «А с кем было?» — «С тобой. Почему ты так спрашиваешь? Не надо. Поцелуй меня сюда... и сюда... а теперь я... нет, не мешай, ничего стыдного в этом нет, если нам нравится...»

Значит, так. Сейчас я возьму чемодан и уйду. Уйду. Уйду? Это не то же самое, что — пойду. Потому что пойду не на все четыре, а — в одну. От которой ключ. И пусть хоть сто Кать там дежурят. Я — с ней. Со всем своим багажом. С трусами-майками-Вебстером-хренобстером. С Другим Сартори и прабабушкой — Хозяйкой Черного Дома, с безумным отцом, с мамой и ее французским пальчиком, с братом Костяном, со всем-всем-всем, что есть я.

12

Дом. Ко времени же я вспомнил о доме. Я залез на шкаф, вытащил замотанную в тряпье и газеты трубу, из которой легко выскользнул стеклянный цилиндр с закругленной крышей, внутри которого и находился мой дом. Тяжелый, потому что фундамент и стены отец изготовил из мореного дуба. С черепичной крышей. С несколькими деревьями вокруг, наклонившимися под ветром в одну сторону и теряющими последние жаркие листья. И что-то еще — что-то вроде мглистого мелкого дождя, пропадавшего, стоило лишь снять стеклянный колпак, чтобы зажечь огонь в камине, у которого в уютном развалистом кресле с вязаньем на коленях дремала моя бабушка. Вернув колпак на место, я возвратил и мглу, окружавшую дом, но она уже не была так холодна, непроницаема и враждебна: свет из каминного проема пробивался в окошки, освещая мощные выступы фундамента и сложное из тесаных валунов крыльцо перед надежно запертой дверью.

Дверь за спиной скрипнула. Я поднял руку и, не оборачиваясь, твердо проговорил:

— Геннадий, это — мой дом. Я обещал рассказать о нем только тебе.

Дверь снова скрипнула, и напротив за столом обнаружился Конь в костюме-тройке и с сигарой в зубах.

— Любезный гуингм, — обратился я к нему. — Не изволишь ли ты принять более человеческий, черт возьми, облик, а улыбку свою вместе с зубищами повесить рядом с подковой?

— Тогданими пальто и пиджак, капитан, — выставил встречное условие Гена. — И никто да не помешает нам отворить источник слов.

— Я не знаю, где он. — Я снял пальто, пиджак, развязал галстук и закурил предложенную Конем сигару. — А поскольку мы вдвоем, я только процитирую:

Без слова Слово и без меры Мера.
Они стремятся обрести предел,
Но беспредельность — вечный их удел,
Как и стремленье вечное к пределу.

Гена положил свою лапищу на выпуклую верхушку стеклянного цилиндра и вполголоса проговорил:

И не согреться. Так чужого дара
Горение нам не дает тепла.
Само в себе заключено, долга
Оно отпышет — светом, но не жаром.

Мы молча помянули моего брата, чьи стихи только что втуне прозвучали в общежитской комнате, и я попросил Коня вырезать из газетной бумаги три человеческие фигурки — такие, чтобы поместились в домике. Он сделал это быстро и ловко. Я твердой рукой расположил фигурки вокруг очага и нажал кнопчку в основании — фигурки вспыхнули, оставив на полу сизый след. Бабушка продолжала дремать над вязаньем.

— Но ведь они погибли не в огне, — возразил Конь. — То есть, я хочу сказать, пожара не было.

— Был. И еще какой! Сгорело все — все-все-все. Я бы до этого не додумался, если бы не Шекспир с его семьдесят третьим сонетом. Дай прикурить. — Я пыхнул ароматным дымом. — Вообще-то красоту этого сонета может оценить только знаток английской речи. Поверь мне на слово. Поэтому — вопреки или благодаря Шекспиру — перед моими глазами богатый жаркий осенний лес, новенький, как из ювелирного магазина, — с ярко-золотыми ясенями на опушках, буроватыми дубами, мелкой медью осин и яркими монистами берез. После дождя колеи дороги наполнились синей прозрачной водой, на поверхности которой плавали листья орешника — золотисто-коричневые, и мы — отец, мама и я — шагали по обочине. С корзинкой — папа. А я с рюкзачком. Мама смешила нас, прыгая на одной ножке, а я с улыбкой смотрел на нее, вдруг вспомнив, как обрадовался, когда вдруг выяснилось, что у моей мамы — французский пальчик. Это всего-навсего фасон женских туфель такой — с открытым мыском. French toe. Французский пальчик. Но я был мальчонка, и я радовался этому пальчику и всем в школе говорил, что у всех мамы как мамы, а у моей мамы — французский пальчик, и первый заливался смехом от счастья. Хотя чего здесь такого? Не пойму. Мне было смешно, радостно, мне было счастливо: у моей мамы — французский пальчик. И она хохотала, и посмеивался отец. Мы оторвались от грибников и шли своей дорогой — к старой заброшенной, полусгоревшей немецкой церквушке в лесу, площадка вокруг которой была вымощена круглым булыжником и окружена густейшими зарослями орешника, малины и черт знает чего еще. Иногда в хорошие дни мы выбирались туда на пикник. Слова такого не было. Говорили: «Посидеть у костра». Километра через полтора, миновав тоннель под узкоколейкой, мы свернули налево и вдоль насыпи спустя полчаса вышли к церквушке. У нее был купол такой — резной. Двенадцать узких

стрельчатых окон. Ловушка для солнца. Был октябрь, бабье лето, солнце держалось низко — как раз в прорезях стрельчатых окон. В углу двора у нас был выложенный булыжниками очажок — скорее огороженное кострище. Мы наломали тонкого сушняка, постелили брезентовую плащ-палатку, разожгли костер и, сказав маме «ку-ку», отправились за дровами для настоящего костра. Сидя боком, она помахала нам рукой. Не успели мы свернуть за выступ ореховой роши, как я вдруг ни с того ни с сего остановился и сказал: «Будет дождь». Отец посмотрел на небо и рассмеялся. «Почему ж тогда так темно?» — не унимался я, торопливо шагая за ним. «Дождя не будет, — сказал отец, выбирая путь к поваленной сосне. — Да и темно — слишком сильно сказано. До настоящих сумерек далеко». Мы занялись делом. Отец укладывал в ровную кучу толстые сосновые ветки, которые ловко перевязывал ивовыми прутьями. Получились две солидные кучи. «Через орешник не продеремся, — сказал отец. — Пойдем-ка сразу на дорогу». Мы выбрались на дорогу и зашагали к церквушке. Мы издали увидели маму. Она лежала на боку и будто спала. Отец остановил меня и опустил свою вязанку на землю. Зачем-то взглянул на наручные часы. «Стой здесь, — приказал он. — Понимаешь? Ни с места». А сам спокойно зашагал вверх по булыжнику к дымившемуся костерку. Сколько мы отсутствовали? От силы полчаса. Ну, сорок минут. Я сел на свою вязанку. Отец присел на корточки перед мамой, зачем-то потрогал рукой ее шею. Оглянулся. Я встал, понимая: что-то случилось.

И вдруг из зарослей малинника выскочил мужик — в шапке-треухе, чернобородый, в коротком пальто на голое тело и в резиновых сапогах. В руках у него был топор. «Тутейшие! — закричал он диким голосом, словно вот-вот захлебнется смехом. — А я тутее!» И бросился на отца. «Беги!» — крикнул отец.

Мы вломились в орешник, слыша за спиной дыхание и суматошные, какие-то бабьи всхлипы мужика, — отец схватил меня за руку и увлек за собой к давешней сосне, поваленной буреломом, и не успел я ничего сообразить, как уже летел кубарем вниз, в яму, под осыпавшееся корневище. «Тутейшие! — завопил визгливым голосом мужик. — А я тута! А ну-кась — с одного маху!» Он потерял нас. Мы слышали, как он метался по лесу. Отец снова посмотрел на часы. «Мы ее бросили, — вдруг проговорил он. — Боже. Никогда не прощу... Сиди здесь!» Он снял поясной ремень и в два прыжка выбрался из ямы. Чуть выждав, я тоже выкарабкался наверх. Пригнувшись, отец шел как-то боком, быстро поворачивая голову, обшаривая взглядом лес. Мужик снова подал дурной свой голос, и отец бросился к нему. Мне не было видно, что там случилось, — я только слышал визг и дикий крик за деревьями, — а потом появился отец. Ремня в руках у него не было. Он посмотрел на меня и сказал: «Пойдем туда».

Мы вышли на дорогу и остановились. В грязи застрял автомобиль с жестким кузовом и окошечками, как в автобусе. Несколько разгоряченных милиционеров напирали сзади с уханьем, и мы с отцом присоединились к ним. «Сергей Григорыч! — закричал офицер. — Ну, теперь пойдет!» Машина и впрямь выскочила из колдобины. Отец подозвал милиционера — от них ото всех пахло водкой — и стал что-то вполголоса ему рассказывать. «Мы без оружия, конечно, — словно оправдываясь, сказал офицер. — Лентулов и Кизяй — бегом к церквушке, описать место происшествия. — Повернулся к отцу: — Ремнем за шею?» Отец сухо усмехнулся. «Я же во фронтовой разведке служил, — сказал он. — А этот просто идиот какой-то. Никуда он не денется. Когда он на меня бросился, о собственный топор споткнулся... сустав, кажется, поранил...»

Я сидел на корточках поодаль и видел, как милиционеры, переглядываясь, исчезли в лесу. Когда отец остался один на один с офицером, он сказал: «Однажды мы тащили троих важных шишек на себе, а нас эсэсовцы преследовали. Пришлось двоих спрятать в яме, а чтобы не ушли, мы

им ступни отрубили». Офицер отвернулся. «Личутин! — крикнул он шоферу. — Принеси-ка!» Коренастый водитель на удивительно кривых ногах принес флягу, обтянутую чехлом цвета хаки, и мужчины выпили.

Вернулись Лентулов и Кизяй с большим блокнотом, который они на ходу пытались засунуть в полевую сумку. Оба были бледные. «Голова пополам... — начал было Лентулов, но, взглянув на отца, запнулся. — Все описали как положено».

В это время в лесу раздался треск, и милиционеры вытащили на дорогу обвислое тело. «Похоже, кирдык ему, — сказал усатый сержант. — Болевой шок. Так и висел на ремне, а из ноги кровища...» Офицер сделал строгое лицо. «В брезент его! И в машину, ну! — Отцу: — Сергей Григорьевич, я понимаю... Я сейчас пришлю какую-нибудь машину, вы не беспокойтесь... Хотите — здесь обождите, а хотите — там».

Отец взял меня за руку, и мы пошли вверх — к церковке. Солнце садилось, роскошествуя закатом в осеннем лесу. Не доходя до опушки, отец снял пиджак, свернул и велел мне лечь на охапку сушняка. «Закрой глаза, — сказал он. — Ты не заснешь. Но я прошу тебя: полежи с закрытыми глазами». Я лег, натянув пиджак на голову. И тотчас уснул. Я видел сон. Нет, я слышал сон. Слышал! А потом приехал грузовик лесхоза, мужчины погрузили маму в кузов, где стояла печка (грузовик был газогенераторный), а меня усадили в кабину. С шипением и тихим рокотом мы поехали домой.

Я выпил, обрезал сигару и вновь прикурил...

Вслед за смертью матери последовала смерть отца. За год с небольшим он спился. Полгода его держали в лечебнице, но с каждой неделей ему становилось хуже. Когда один из санитаров на вопрос об отце сказал со смехом: «А, вон ваши сорок тысяч братьев!» — я избил его... Потом он захлопнул книгу с бабочкой и скончался. А тут еще Костян...

Мы помолчали.

— Но ведь у тебя был замысел, — понизил зачем-то голос Конь. — Ты рассказал мне это неспроста, Борис. А в связи.

— Просто безо всякого кокетства и придури хотел тебя спросить, Геннадий: ты пошел бы к любимой женщине со сгоревшим домом в руках? С семьдесят третьим сонетом, в чащобе которого притаился Лесной Царь? Я люблю ее. Из двух сгоревших домов можно сложить разве что груду угольев.

Жевнув сигару, Конь сказал:

— Гуингмам не положено знать ответы на такие вопросы. Это раз. Вторых, посмотри на себя в зеркало: ты не сгорел, ты жив. И наконец, я помогу тебе донести вещи до ее двери. Она откроет дверь. Вы обменяетесь какими-то словами. А потом начнется другая жизнь. Может быть, мы тотчас же с тобой и вернемся в общагу. А может, и нет. Я не знаю. Надо что-то делать. Это будет хорошо подготовленная импровизация. Хотя вообще-то я привлекал бы за любую импровизацию к уголовной ответственности. Ответ тебя устраивает?

Но я уже спал, откинувшись на спинку стула и машинально пережевывая горьковатую густую кашу, в которую превратилась недокуренная сигара «Белинда».

На следующий день после экзаменов мы отправились по знакомому адресу. Вера Давыдовна взяла у Коня чемодан и с маху поставила его в угол прихожей.

— Гена, как я понимаю, вы — в роли кота, которого первым пускают в новую квартиру, — проговорила она. — Так проходите же. — Она улыбнулась мне. — Я жаждалась.

Я кивнул.

— Я готовлю ужин. — Она скрылась в кухне. — Я думала, ты придешь позавчера...

Я кивнул — своему отражению в зеркале.

— Дела, дела! — Конь помог мне снять пальто, прошипев на ухо: — Ты чего язык проглотил? Тебя что — левым членом делали? А ну!

Я вошел в кухню — пахнувшая корицей и жаркая, Вера откинула со лба прядь прилипших волос и склонила голову набок.

— Сегодня мы будем говорить через переводчика?

— Я люблю тебя.

Мне ни разу не доводилось видеть, как люди мгновенно бледнеют. Руку готов дать на отсечение: она поняла или почувствовала, что я произношу эти слова впервые в жизни.

— Я ждала тебя, — еле слышно повторила она. — И я — тоже.

— Я принес тут... мне многое нужно рассказать...

— Сейчас? — Она прерывисто вздохнула. — Мне тоже. Очень. Сгорит или нет?

— Что? — испугался до полусмерти я.

— Пирог! — испугалась она. — Почему ты так испугался?

— Потому что черт его знает...

Гена занял весь дверной проем своей импозантной внешностью, половину которой составляла его ослепительная улыбка.

— Вы мне нравитесь, ребята, — сообщил он. — Но у вас что-то подгорает. Ей-богу. Но я люблю вкус и запах подгорелого пирога. С мясом?

— С рыбой, — упавшим голосом ответила Вера. — Но вкусный.

— Так за чем же, черт, дело стало! — заорал Конь, хватая с крючка матерчатую рукавицу. — К орудию! Да выключайте же вы свою духовку к чертям свиначьим!

У нас были просторная прихожая, поместительная кухня, большая гостиная и уютная спальня.

Еще у нас была комната Макса, вход в которую был задернут ковром. Она запиралась на массивный запор с толстыми стальными накладками и замок, вделанный в дверной блок, — двумя разными ключами с длинными резными бородками. Грохота, однако, при отпирании почти не было. То ли замки были так смазаны, то ли — так устроены.

— Если хочешь, мы заколотим ее насовсем, — сказала Вера. — А можем сделать здесь твой рабочий кабинет. Как? Поставить письменный стол — и готово. Да решетки снять, конечно.

Зазвонил телефон.

— Иди, — сказал я. — Я посижу тут.

Комнатка была узкая, маленькая, у одной стены стоял застеленный суконным одеялом раздвижной диванчик, рядом с ним низкая тумбочка с синей лампочкой под цветастым абажуром. Напротив двери было окно, забранное решетками изнутри и снаружи. А справа, рядом с миниатюрным креслом, виселась пустая птичья клетка.

Я заглянул в тумбочку: металлическая эмалированная кружка, накрытая свежей салфеткой, на нижней полке — альбомы для рисования. Я листнул один наугад: это были какие-то детские каляки-маляки, но выполненные с таким остервенением, что при внимательном взгляде начинало мерещиться что-то, скрытое за этими изломами цветных линий и в яростно скрученных шарообразных лабиринтах.

Единственная вещь, которая заслуживала внимания, висела в простой рамке — без стекла — на стене, и мне пришлось подойти вплотную, чтобы в деталях разглядеть эту гравюру.

На ней была изображена комната с низким потолком, с кроватью под балдахином в левом углу и спинетом с нотами, с брошенными подле высо-

кого табурета шелковыми туфлями, — справа же была видна половинка длинного стола с бесформенной тенью от предмета, стоящего, судя по всему, либо на отсутствующем на картине конце стола, либо на подоконнике. Точно в центре — дверь, которую закрывает за собой женщина — зрителю виден только край ее уплывающего в дверной проем платья да рука, уже отпустившая край двери — она вот-вот захлопнется. Листок нотной тетради отогнулся и дрожит, не успев занять свое место, брошенные туфли по-настоящему, кажется, не улеглись и еще не остыли после женской ножки, спинет звучит, угасая, и улетает тихое шуршание платья и теплый блик полной немецкой ручки, — и во всем, во всем ощущалось смятение, тревога, угроза, и в поисках причины взгляд снова возвращается к столу, на вычищенные доски которого падает свет из невидимого окна и бесформенная тень чего-то, что, возможно, и таит в себе угрозу. Ваза? Человек? Демон? Гравюрка была украшена рамочкой, выписанной из затейливо сплетенных цветов и зверей, между которыми была искусно вписана фраза «Als ich Kann». Так подписывался кто-то из известных малых голландцев, кажется, но это была копия, да и не был я знатоком или хотя бы любителем живописи, чтобы оценить гравюру по достоинству или отыскать в ней изъяны. Она мне понравилась. Я перевернул ее и прочел на гладком, как кость, картоне: *Königsberg, 1900*. Надпись была сделана черной тушью с золотым блеском. Или этот блеск — лишь свидетельство старости? Не знаю. Еще один осколок, чудом сохранившийся от города королей и залетевший в эту комнатку-тюрьму для душевнобольного Макса.

Эта гравюра скрывала тайну — либо же, что вероятнее всего, таила немудреное наставление непослушным девушкам, норотившим во все времена нарушать запреты и ускользать на зов любимого? опасного? Лесного Царя?

— Это почти все, что осталось на память об отце, — сказала Вера. — Макс мог часами разглядывать ее. Ну и как?

Она развела руками, словно представляя комнату.

— Годится, — солидно ответил я. — Ничего не нужно менять. Только письменный стол. А гравюры такие я и сам в детстве любил разглядывать. Кажется, напряжешь зрение — и вот из полутьмы проступит Оно...

— Бр-р! — Вера схватила меня за руку. — Но ничего не проступает, а Оним оказывается обман зрения. Кстати, звонила старинная знакомая, и мы договорились, что я приду на собеседование. Я ведь столько лет не работала! Надо переаттестацию пройти и все такое прочее. Ты не против?

— Нет, конечно.

14

Я не стал интересоваться у бабушки, как она разузнала мой номер телефона, только предупредил, что приеду не один.

— Как ее зовут? — спросила бабушка. — Вера или Катя?

— Вера, — сказал я. — А почему Катя?

— Это все карты, Борис, — серьезно ответила она. — Так в пятницу же вечером.

И в пятницу вечером мы отправились электричкой через по-февральски расквашенные поля, сквозные тощие леса — домой, к бабушке, которая отмечала свой день рождения несколько раз в году, как только почувствовала приближение гнетущей меланхолии.

Мне понравилось, что Вера не стала рядиться девочкой-подростком, но лишь как-то по-особенному уложила волосы, сняла тяжелые золотые серьги, оттягивавшие уши, и надушилась какими-то редкостными духами, запах которых то возникал вдруг, будоража мое испорченное воображение, то становился едва-едва ощутимым, словно дразня и вызывая раздражение памяти, а то и вовсе исчезал. Когда я спросил, как называются духи, Вера

пожала плечами: «Катя говорит — cache-cache, но она врушка. Я никогда про такие не слышала». — «В переводе с французского — игра в прятки, — сказал я. — Кстати, среди множества бабушкиных причуд есть одна уникальная. Она свободно владеет французским, однако не может ни прочесть, ни написать хоть слово на этом языке. Она учила язык на ходу — у матери, которой было недосуг научить дочь даже писать по-русски. Это я ее научил, когда отец привез ее к нам. Мне было семь лет. Помню, когда ей объяснили, как пользоваться уборной, она с изумлением и негодованием воскликнула: „А la maison — срать?!”»

Вера уткнулась носом в мое плечо, вздрагивая от смеха.

Узнав, что бабуля курит трубку, она собрала в картонную коробку несколько десятков непечатых пакетов с ароматным трубочным табаком, который дарили Максу друзья, — в подарок бабушке.

— Ей будет приятен сам подарок, — предупредил я ее. — А курит она махорку. И водку пьет стаканом. Граненым стаканом, изобретенным, говорят, еще Верой Мухиной.

Анна Сигизмундовна Григорьева-Сартори встретила нас у пылающего камина, налила по рюмке коньяка «с дороги» и сразу стала называть Веру девушкой и Верочкой. Меня же отправила наверх («Я постелила вам в твоей комнате, разберись-ка, пока мы накрываем на стол»). Поднявшись на второй этаж, я сел на низенькую табуреточку под часами, висевшими рядом с дверью в детскую, и закурил.

— Он перестал считать этот дом родным, — грустно проговорила бабушка внизу, раскуривая трубку. — Но он любит меня и ради меня готов смириться... со всем этим... Но пойдете-ка, Верочка! Угощение готово, теперь надо подобрать напиток... выпивку то есть...

Бабушка выпила больше обычного, сыграла на гитаре что-то разудалое, а когда часы в соседней комнате пробили два пополночи, вынула из кармана металлическое яйцо, сдвинула что-то и поймала в ладонь перстень.

— Надевай, — велела она. — На мизинец. Это мужской перстень, Верочка, кто знает, сколько я еще...

— Ну! — нахмурился я. — Будешь каркать — не возьму.

— Откаркала свое, — проворчала бабушка, раскуривая трубку.

— Она почему-то считает, что этот перстень — наша родовая реликвия, — пояснил я Вере. — И не дай Бог усомниться! Последует такая лекция по генеалогии...

— Расскажи тогда сам! — сердито сказала бабушка. — Генеалогия! Это были живые люди с живой кровью, которой их родословные и написаны. И будут писаться. В том числе твоей кровью, — с ехидной улыбкой добавила она. — Отныне ты — владелец перстня фон Лихтенштейна.

Я закурил последнюю сигару и поведал Вере историю этого странного рыцаря-чудака, которого бабушка почему-то числила среди наших предков. Впрочем, с тех пор прошло столько веков, что в одном из дождливых столетий наши семьи волею случая могли и не избежать смешения кровей.

Великий рыцарь Ульрих фон Лихтенштейн родился, жил и умер в Штирии. Будучи пажом Маргариты, жены правящего герцога Леопольда Штирийского, тринадцатилетний юноша влюбился в нее так, что пил воду, в которой она мыла руки, и поглощал содержимое хрустальной вазы, которую утром выносили из спальни герцогини. Она же не обращала на него ровно никакого внимания. Шли годы, а Ульрих служил своей взбалмошной Даме. Поседевший, он участвовал во всех турнирах — на одном из них ему и отрубили мизинец.

И лишь после этого Маргарита согласилась принять его на службу. В знак своей благосклонности она прислала рыцарю золотой перстень, изготовленный точно по размерам отрубленного когда-то пальца. В соответствии с правилами рыцарь теперь мог провести ночь с Дамой, не нарушая ее чистоты. Вообразив себе ночь с любимой, рыцарь разразился следующей сентенцией: «Только глупец может до бесконечности служить там, где нечего рассчитывать на награду». После чего надел подаренный перстень на то место, где когда-то был палец, — тень от его руки, упавшая на пол, была *пятипалой*, — и сказал: «Держится. Это и есть любовь, остальное же — лишь тень ее».

Я вытянул руку перед собой — Вера взвизгнула вполне натурально, увидев на беленой стене тень моей *четырепалой* руки. Она потрогала мой мизинец, на который я нацепил перстень, и убедилась, что палец на месте.

— Это не мистика, — сказала бабушка, наливая всем по отвальшой. — Просто у вас еще все впереди, может быть.

— После смерти отца и матери она держится этими сказками, — сказал я, когда мы поднялись наверх. — Можно обойтись ночником — его сделал отец. Я к нему привык. Отец это поощрял. У него в директорском кабинете висела на видном месте цитата из дневников Льва Толстого: «Если спросишь, как можно без времени познать себя ребенком, молодым, старым, то я скажу: «Я, совмещающий в себе ребенка, юношу, старика и еще что-то, бывшее прежде ребенка, и есть этот ответ». Выключатель левее...

Вера зажгла ночник в форме шара, обклеенного картой звездного неба, и с сомнением уставилась на две железные койки, поставленные рядом.

— Выдержат, — успокоил я ее. — Только шума не оберешься.

Через час она попросила воды, и я принес коньяк и графин с газировкой.

— Бабушка играет в сказки, — сказала Вера, выпив коньяку. — А ты?

— После смерти матери я просто остервенел: школа — бассейн — школа. Я вскапывал воду часами — тренер уставал, а я — нет. И еще рисование... Да, когда-то я очень увлекался рисованием... Ходил на натуру, но только один. Мы все какие-то разные были. Мать была такая кругленькая, веселая, легкая на ножку. Говорила о себе: «Жрун, болтун и хохотун». Она так аппетитно облизывала пальцы после мороженого, что отец отворачивался, но тогда я не понимал, почему он отворачивается. А отец — сухопарый, широкоплечий, видом сосна, а внутри — вяз. Его все любили. После смерти матери он вдруг сказал: «А я ведь так и не убедился в смерти этого тутейшего. Мне сказали, что он сдох, и все. Эта вошь осталась в моих снах и отравляет мою жизнь денно и нощно». Он пил каждый день. Пил водку. А раньше только вино, да и то очень редко. Он просто сгорел за несколько месяцев. Он не мог себе простить того побега от дикаря с топором, каялся, говорил, что должен был сразу вступить с ним в схватку, а поддался инстинкту трусости... и так далее. Он же во время войны был разведчиком, а в конце войны служил в контрразведке СМЕРШ, таких зверей брал... А тут — испугался психа с топором...

— Он и твои сны отравляет?

— Лесной Царь. Ничего вроде бы не происходит, только убыстряющийся топот копыт, конвульсии ребенка, непонятный, но усиливающийся и неостановимый страх, никаких вампиров и духов, — и вдруг на тебе: смерть. Смерть из ничего. Из глубины глубин. Этот плоскостопый юморист каким-то волшебным образом чувствовал потаенное зло в самой душе...

— Плоскостопый — кто?

— Гёте.

Я выпил коньяку и закурил.

— Нарисуй меня, — попросила Вера. — Не спится. Света хватит?

— Духа тоже, — неловко пошутил я, берясь за бумагу и карандаш. — Одалиска. Выдвинь коленку чуть... ага, вот так! Утром отредактируем. А то получится какое-нибудь сплетенье труб, скрещенье шлангов... Знаешь, в наших женщинах — в белорусских старухах — всегда обнаруживалось что-нибудь металлическое. — Грифель карандаша приятно шуршал по бумаге. — И откуда оно бралось в женском организме, никто не мог понять. Например, у всеми любимой прабабушки оказалось металлическое сердце. Как все горевали! Оно было из чистого золота.

— Борис, у твоей бабушки железная душа. То есть железо в душе. Она так держится...

— Душа не может быть ни железной, ни какой бы то ни было еще. Она, как и человек, не имеет собственной сущности, поэтому любовь может свергнуть человека в ад либо же вознести в рай. Но я о прабабушке с золотым сердцем... Чтобы разбойники не осквернили ее могилу, пришлось рыть яму глубже двадцати пяти метров, и рыли, и докопались до ревушего потока, который унес гроб в Мореный Город, где люди такие же, только вместо мяса у них древесина мореного дуба, а глаза...

— Он мигнул, — сказала Вера, глядя на перстень, лежавший под ночником. — Как будто это глаз.

— Штирийскому герцогу, которого придумала моя бабушка, однажды принесли выловленную рыбу, очень похожую на монаха. Богобоязненный правитель велел похоронить рыбу по христианскому обряду, а один глаз у нее вырезали и оправили в золото. Иногда он мигает.

— Когда врут?

— Или говорят святую правду. На нейтрально окрашенные сообщения глаз не реагирует. Например, если я скажу, что я люблю тебя, этот глаз и носом не поведет. Потому что у любви, как и у души, нет ни запаха, ни веса, ни... Слушай, а черт с ней, с этой вопящей кроватью, а? Неужели мы вдвоем ее не перекричим? Да мы ее в узел скричим!

15

Назад ехали по затянутой туманом Генрихсвальдской равнине. Туман, наползавший со стороны Куршского залива, сгущался, и электричка ползла еле-еле, а то и вовсе останавливалась. В вагоне было холодно, и мы с Верой спасались бабушкиной «отвальной» — это была водка на ста травах, а на самом деле самокрепчайший спирт. Запивали из термоса мятным чаем. Кроме нас в вагоне было еще человек пять-шесть, и вскоре всем надоело выходить в обледенелый тамбур, чтобы наспех дернуть сигаретку, — все закурили в вагоне, и стало как будто теплее.

— Мне было восемь лет, когда мама подарила мне куклу, — сказала Вера. — Тряпичная кукла с головой из папье-маше. Я сама выкроила и пришила ей крылышки. Я слышала от взрослых, что куколка, когда приходит ее час, становится бабочкой, и восприняла это слишком буквально. Моя кукла не желала летать. Я разревелась. А мама сказала, что куколки становятся бабочками в другом мире. Я даже запомнила ее слова: «В преобразенном мире». Понять не поняла, а вот запомнила. И куклу сберегла. А за год до смерти Сталина мама ушла от нас. На память от нее осталась кукла... да та гравюра с девушкой, выбегающей в никуда... Я повесила гравюру так, чтобы ее было видно с моей кровати, и перед сном пыталась вообразить обратную сторону гравюры. Одежда на спине девушки — помнишь? — взметнулась, будто крылья... Лицо с той стороны было лицом мамы....

Я дал ей прикурить.

Она закинула скрещенные ноги в коротких меховых сапожках на противоположное сиденье, отхлебнула бабушкиной настойки и глубоко затянулась.

— Я оставалась куклой, а он был — Сталин. У нас в доме был портрет Сталина. В гостиной, где мы обычно обедали по воскресеньям. Отец сидел под портретом, я, Марина и редкие гости — по бокам. Генералиссимус был красив как бог. Прическа, тронутая сединой, усы, смугловатое лицо без морщин, ослепительно белый мундир с золотым шитьем на стоячем воротничке, погоны с большими мохнатыми звездами и с левой стороны груди — Звезда Героя. Золотые пуговицы мундира. Портрет в золоченой раме с резьбой — он начинался в метре от пола и упирался в потолок. Так это — под небольшим углом, словно нависал над отцом. Над столом. Отец не молился на него, но следил, чтобы портрет был всегда чист и ухожен. Он не снял его ни в пятьдесят шестом, когда Хрущев говорил о культе личности, ни позже. Когда Марина намекнула ему, что неплохо бы снять портрет, — он и бровью не повел. А вскоре я уехала в Питер, в фармакологический институт... — Она вздохнула. — Не знаю — почему. Подружки уговорили. Я поступила, а они нет. Шесть лет учебы, а вспомнить и нечего. Были два-три увлечения, но я вбила себе в голову, что у куколки должны вырасти крылья. Вырастут сами собой, и тогда я почувствую все, что и должна чувствовать свободная женщина... как мать... Я ведь никогда ее не осуждала, да и отец ни разу при мне не сказал о ней ни одного дурного слова. После института я вернулась домой и тут повстречала Макса... Что-то шевельнулось внутри, но я еще не понимала ничего... Все решилось в день-два, и все решилось благодаря отцу. Дай-ка!

Я протянул ей бутылку.

Она выдохнула и сделала глубокий глоток. Закашлялась — засмеялась.

— Пока доедем до Полесска, я уже назюзюкаюсь как последняя зюзя!

— От этого голова не болит, — сказал я. — А на вокзале возьмем такси.

— Ага. Я про что?

— Про решительный день.

— Необычный. Августовский. Жаркий-прежаркий. Это было воскресное утро. Я сидела с книжкой в тени под навесом, когда у нашей калитки остановился человек в черном костюме, белой нейлоновой рубашке, застегнутой на все пуговицы, и в вязаном нейлоновом галстуке. Или в капроновом. Их на резиночке носили. Осторожно улыбнувшись, — я заметила, что во рту у него не было ни одного своего зуба, все железо да золото, — он поинтересовался, не здесь ли живет Давыд Иосифович Усольцев. Здесь. Дома ли? Дома. Я знала, что в это время отец протирал портрет Сталина. То ли он с возрастом сбрендил слегка, то ли был слишком доверчивым человеком, но кто-то ему посоветовал регулярно протирать масляный портрет смесью эфира с водой. Портрет бледнел. Белый мундир вообще слился с фоном. Лицо — глаза и усы, а нос едва угадывался... и губы под усами... Золото стало бледным-пребледным... Тетка поругивала его за доверчивость и предлагала наваксить знаменитые усы и шевелюру, хотя я знала, что нет вернее способа вывести отца из себя. Но она давно вела себя как жена, да фактически и была ею, и даже однажды пожаловалась мне, что отец не хочет ребенка, а ей скоро уж и поздно рожать... отделяется подарками... Но тот гость в нейлоновой рубашке! По воротнику — вот помню и помню — градом катились капли пота с жилистой загорелой шеи. Да! На нем еще шляпа была — велюровая, вообрази! Я открыла калитку, провела его в прихожую, пропахшую эфиром, и позвала отца, а сама вернулась под навес. Минут через десять выскакивает Марина, хватая меня за руку и тащит в магазин. Я брыкаюсь, но она шипит по-змеиному: «Отец велел! Водки, колбасы, то да се, и еще раз водки!» Он вообще-то редко выпивал, а тут мы с Мариной набрали в магазине столько водки, что на десятерых хватило бы... Вот на обратном пути Марина мне и рассказала о госте — что успела расслышать. Увидев его, отец не удивился — сразу признал. Ломакин, говорит, значит, отпустили. Амнистировали, отвечает гость, то есть нет на мне никаких грехов, Давыд Иосифович, и не

было. Ты же не политический, говорит отец, ты детей зарезал. А дети чьи? Значит, политический, смеется железными зубами гость. Ну, давай знакомиться по новой. Я ведь не со злом пришел, Давид Иосифович. Мы вернулись — они сидят и мирно курят папиросы под портретом Сталина. Окна нараспашку. Ломакин этот посмеивается: «Что ж ты над батькой издеваешься? Да ты его эфиром скоро совсем сотрешь — одно белое полотно останется! И не поймешь — то ли Сталин, то ли Сралин!» Отец спокойно говорит: «Ничего, и белое полотно — знамя, и не обязательно для капитуляции». Нас с Мариной отправили в кухню, но разговаривали они не понижая голосов, и мы все слышали. Потом, когда мы на стол все поставили, нас выпроводили. Легли мы наверху, в моей комнате. А они всю ночь разговаривали, водку пили... однажды даже песню запели: «Увяли розы, умчались грезы, а над землею день угрюмый встает». Это ж, кажется, не блатная.

— Нет. Похоже, Звездинского творчество.

— Не знаю. Утром гость ушел. Они еще с отцом позавтракали, выпили довольно много — и распрощались. Марина даже глазам своим не поверила, когда за этим человеком калитка захлопнулась. Все трогала да ощупывала отца, а он от нее пьяно отмахивался. Раньше, говорит, трогать надо было. Я командовал охраной в их лагере, так эти суки меня в карты проигрвали, и этому Ломакину выпало меня убить. Да не получилось: меня срочно перебросили под Москву. И вот — вспомнил. Крестники, значит. Он двоих детей убил — девочку пяти лет и мальчика десятилетнего, ему вышка грозила, потому что дети активистов были, да что-то в машине не так сошлось, и дали ему статью политическую. Ну какому мудаку это в голову взбренило? И вот его вчистую амнистировали, как и не было ничего. И некому напомнить... Бога нет, суда нет, закона нет, а вместо Сталина — Сралин! — Вера передернулась. — Как же он смеялся, Господи! А потом вернулся в комнату — допивать. Цыкнул на нас, чтоб не мешали, и я вдруг Марине говорю: «Я боюсь. Я уйду к Макс. Позвони, если что». Марина меня перекрестила. Я позвонила Макс, и мы пошли в кино. А когда вернулись вечером к нему, как раз Марина и позвонила. Отец водку пополам с эфиром выпил. Внизу на портрете Сталина написал каллиграфическим почерком: «По кругу — арш!» Похоронили его с почетом. А мне потом тот мужик снился с железной своей улыбкой... и Сталин — без бровей и погон, но со щегольскими усиками, похожими на мышьиные хвостики...

— Куколка стала бабочкой, — сказал я. — Вот и Полесск проехали.

— Какое-то время казалось — да, стала. Катю родила — аж сердце радостью избурилось. А потом — Макс. — Она сняла ноги с сиденья, оперлась локтями о колени. — И все распалось. Он же Андрея Сороку от гибели спас — трос хлестнул по нему, да тут Макс подставился... может, и ненароком... И стала я снова куколкой... Друзья заходили... да и сейчас иногда... Сорока погиб. Самсон на себя руки наложил. А сын его решил, что — из-за меня!

Я обхватил ее за плечи, заставил выпить. Вскоре она уснула на моем плече.

Зимой случилось лишь одно происшествие, по-настоящему выбившее Веру из колеи: покончил с собой главный капитан рыбфлота, всеобщий любимец и красавец, покровитель и друг Макса — Никонов. Вскоре выяснилось, что он не успел застрелиться — в тот момент, когда он поднес пистолет к виску, его хватил инсульт. Предсмертная записка попала в следственные органы, и тогда заговорили о системе воровства и махинаций, которые Никонов покрывал или даже прямо санкционировал. А он тем временем ходил под себя, узнавал только жену и мычал, как теленок. По

счастью, это не протянулось и месяца: он умер. Тогда заговорили о том, что жена (врач) помогла ему уйти в мир иной, и когда Вере об этом сказали, она довольно зло ответила: «Если это так, то эта стерва заслуживает моего уважения. Безвыходные ситуации случаются чаще, чем мы даже вообразить себе можем».

Я же изо всех сил готовился к защите дипломной работы по «Эссе о драматической поэзии» Драйдена, и безгрудая Нина Александровна Пелевина написала своему приятелю в Питер с просьбой о помощи «подающему надежды студенту, а возможно, и коллеге».

В отъезд я собирался с тяжелым сердцем. И дело было не столько в расставании с Верой, сколько в проблемах, которые ее дочь-красавица со слезами приносила в материн дом все чаще. Катя, кстати, восприняла наш союз совершенно спокойно, даже безэмоционально, и я был польщен, когда она, собираясь в очередной раз рассказать «об этой сволочи», непременно звала меня. Когда же она явилась с тщательно заштукатуренным синяком под глазом, я молча стал одеваться и только усилиями женщин был остановлен на лестнице: «Ты набьешь Пашке морду — он все равно отыграется на Кате». В их семье происходило что-то смутное и мутное. Павел пил, несколько раз отцу пришлось выручать его из автоинспекции. Парень было пытался свалить все на Катю, не желавшую рожать, но та — я ей поверил сразу — сказала, хватанув коньяка у нас в кухне: «Не задумываясь родила бы, но боюсь — от него». Мне было жаль эту очень красивую и умную девушку, которая приходила в мою комнатку с решеткой на окне и, устроившись на коротком диванчике, тихо лежала, пока я вчитывался в Драйдена, слегка стервенея от комментариев советских авторов да и от самого Драйдена с его приверженностью «норме», которая была чем угодно, только не нормой в классическом смысле слова. Я запнулся на его проходном замечании *ars est celare artem* — «искусство — это скрытое искусство», и образ ложноклассического моралиста, поднявшего руку на Шекспира ради этой самой нормы, вдруг рассыпался в прах, в чем я совершенно искренне и признался профессору Пелевиной. Она наклонила безупречно уложенную прическу и протянула мне командировочное удостоверение в город Ленинград. Кате на прощание я сказал, что хотел бы видеть ее в нежно-зеленой короткой тунике и с душистым фетовским венком на голове и вообще порекомендовал задуматься о старой как мир сентенции: «Браки бывают полигамными и монотонными. И вообще — от кого у тебя персидские глаза? От Макса? Он подарил тебе лучшее, что у него было».

С Верой мы простились на перроне. Я поцеловал ее в ненакрашенные глаза и сказал, что Катя для меня слишком взрослая дочь — хотелось бы поменьше. Крошечную. Свою.

— О самом важном и страшном — походя! — оторопела Вера. — Сартори, ты серьезно?

— А ты подумай! — крикнул я с площадки уходящего поезда. — Лучше девочку!

17

По приезде домой я три недели не разгребался над пишущей машинкой с латинским шрифтом (другой, как вдруг выяснилось, в доме и не было, но тогда я не придумал этому ровно никакого значения), пока не поставил точку на сто пятой странице. Предъявил свой опус госпоже Пелевиной, сдал какой-то экзамен и увез женщин на море, велел Коню бросить зубрежку и присоединиться к нам в Светлогорске-Раушене.

Был жарчайший ясный май, наверху цвели желтые акации и каштаны, а внизу, на берегу, от холодного моря все еще тянуло чем-то нордическим и бореистым. Мы забрались в круг, образованный высокими камнями, заткнули щели одеждой, выпили рислинга и отдались солнцу. Павла мы с

собой, разумеется, не взяли: парень совсем взбеленился, когда Катя — это случилось в мое отсутствие — забрала матушкин подарок (автомобиль) и поставила его в гараже на Каштановой, причем, как передавали, тесть целиком одобрил этот поступок: ему надоело давить на милицию, прикрывая сына, да и карьере в КГБ это рано или поздно могло повредить. Кроме того, Катерина набралась храбрости и заявила о разводе. Чтобы не встречаться с «этим ублюдком», она перебралась к нам, то есть, конечно, к матери.

Когда мы с Конем отважились искупаться, он сообщил мне, что уезжает с женой в Москву.

— Ее папенька получил повышение, и было бы грехом...

— Не грехи, Гена! Ты будешь хорошим юристом и здесь, но через десять лет ты начнешь мало-помалу брать, потом — пить, станешь прокурором области вот с таким пузом...

— Это ясно, — сказал Конь, пробуя воду рукой. — За нами сверху вот уже часа полтора наблюдает какой-то хлюст с биноклем. Он в спортивных ботинках типа «Адидас», синих с красными лампасами спортивных штанях и белой майке. Седая шкиперская борода, белая кепочка. А бинокль чуть ли не театральный...

— И? — спросил я не оборачиваясь. — Мы купаемся или нет?

— Когда вылезем, я тебе кое-что покажу. — И, схватив меня за руку, обрушился в подспевающую волну.

В ледяной воде мы не выдержали и пяти минут и выскочили на песок, словно спасаясь от хищного зверя. Я на бегу толкнул Коня в спину, и он спланировал на руки, а уж потом мастерски изобразил приземление на пузо. Я брякнулся рядом, обвел взглядом откос, увидел мужчину в красных штанах наверху, среди акаций. Метрах в полутора под ним из глины торчала довольно чахлая береза, удерживавшаяся на крутом склоне лишь благодаря выпиравшему из глины валуну.

— Видел? — спросил Конь. — А теперь прочерти траекторию падения валуна вниз. Понял?

— В Агату Кристи разыгрался! Вера! Идите с Генкой за шашлыками! Очередь займите! А мы с Катей скоро подвалим!

— Борис, помнишь, ты пытался объяснить мне, что такое Кёнигсберг, — сказала Катя, переворачиваясь на живот и расстегивая бюстгальтер. — Похоже, когда я рожу, сиськи у меня будут мамины.

— Это еще не повод для расстройств! — расхохотался я.

— От тебя родила бы не задумываясь, — пробормотала Катя в сложенные перед лицом руки. — Извини. Про город королей. Ага?

Я перевел дыхание. Катя мне нравилась, и наши отношения, особенно после того, как она перебралась к матери, становились все более странными. Ничего предосудительного, конечно, — но когда ты каждый день видишь эту Катю в домашнем халате и плюшевых туфлях, сталкиваешься по утрам в ванной, когда она просит застегнуть лифчик или отвернуться, потому что надо подтянуть чулки, — что-то происходило само собой.

Мы говорили об этом с Верой. «Катя слишком большой для нас обоих ребенок, — сказала она. — Я думаю, Борис. Мне сорок, но я не допущу, чтобы через три-четыре года вы у меня на глазах занимались любовью. Похоже, я скоро повыбрасываю все презервативы к чертовой матери...»

— Кёнигсберг. — Я прокашлялся и закурил, краем глаза отметив, что человек в красных штанах переместился левее и откровенно пялится на нас в свой бинокль. Его фигура была поделена чахой березкой на склоне пополам. — Кёнигсберг — это сон, но гуще. Понимаешь? Сон наяву, но во сне... Не могу подобрать слов... Это как догнать себя на улице и похлопать по плечу, и ты — то есть я — обернешься, но не узнаешь себя. Мы говорим: а вот при немцах было так-то и так-то, — хотя никто не знает, как было в действительности при немцах. Мечта. Почти реальность, пото-

му что те же крыши, те же водопроводные краны, та же узкая европейская трамвайная колея... Некое пространство без земли и неба, но с реальными координатами: юг, запад, вчера, позавчера, Гельмгольц, Кант, Вальтер фон дер Фогельвейде... — Я перевернулся на бок, чтобы не выпускать из поля зрения мужчину в красных штанах, который повесил бинокль на шею и стал осторожно спускаться к березе. — Ты будешь смеяться, но мой Кёнигсберг — нечто среднее между непознанным и непознаваемым. Как женщина. Ведь она на самом деле не пара мужчине, а некая первая или вторая фигура на пути к идеальному существу, которое — исходя из характера любви — может стать что женщиной, что мужчиной...

— Идеальной? Ой!

Подхватив Катю на руки, я с места прыгнул вверх, целя между камнями, и покатился, не выпуская ее из объятий, к линии прибоя. Отпустил. Встал на четвереньки. Мужчина в красных штанах, только что обрушивший камень с березой точно в наше гнездо, рывком подтянулся на руках, влез на откос и неторопливо зашагал правее. Сел метрах в пятидесяти от места обвала. Закурил. Как ни в чем не бывало. Бинокль по-прежнему на груди. Как будто ничего и не случилось. Это правильно: паника пьянит.

— Так. — Катя приподняла голову и перевела взгляд с нашего гнезда на меня. — А т-теперь что?

— Взять себя в руки и не заикаться, — улыбнулся я, сворачивая из старой газеты пилотку. — Полежи минут пять и поднимайся в город.

— Гольшом?

— В купальнике. Присоединяйся к Вере, но ни ей, ни Коню — ни слова. Я скоро вернусь.

Фланирующей походкой я приблизился к толпе зевак, сбежавшихся к месту обвала. Милицию и «скорую» уже вызвали, потому что все же видели молодых людей, загоравших в каменном гнездышке. Я протиснулся между толстыми ногами, вытянул из песка большой белый платок и перочинный нож.

— Подъемный кран надо звать, — предложила толстуха, глядя мне в затылок. — Вылезайте из-под меня, молодой человек, а то я нечаянно могу не выдержать и...

Я мигом последовал ее совету.

Повязав платок на шею и надвинув газетную пилотку на брови, я зажал сложенный перочинный ножик в кулаке и бросился по песку к деревянной лестнице, по которой можно было подняться как раз на уровень обрыва. Не добравшись до последней площадки, я спрыгнул в заросли ежевики, снял платок и быстро вскарабкался наверх. Держась метрах в десяти — пятнадцати от среза обрыва, я на полусогнутых — как учили — бесшумно двинулся в сторону незнакомца в красных штанах. В ямах и ямках стояла вода после недавних дождей, а колеи автомобилей, подбиравшихся к самому обрыву, доверху были наполнены черной водой, на поверхности которой плавали желтые лепестки акаций. Красиво. Ровно дыша носом, я приблизился на метр к красным штанам и, схватив человека за шею, опрокинул на спину, тотчас стащил ниже, зажал ногами и перевернулся вместе с ним, чтобы он оказался лицом вниз.

— Вы что? — Он отплевался от листьев и грязи. — Шпана!

Я щелкнул ножом — получилось негромко, но убедительно. С силой разрезал сзади его спортивные штаны и сдернул трусы.

— На колени! Не жмись — ноги шире! — Сунул нож ближе к гениталиям. — Ты знаком с Верой Давыдовной Урусовой? Неправильный ответ — отрезанное яйцо.

— С Верочкой — да, — прохрипел он. — Отпустите!

— И, значит, хотел обеих этим камнем убить? Она была твоей любовницей? Я сейчас пушу нож в ход, сука такая!

— Да, — выдавил он из себя. — Щенок...

— Стой так и не двигайся! — сухо приказал я, опуская платок в лужу. — Это не так больно, как думают. Я просто одним движением отрежу твои гениталии. Ты услышишь, как они шлепнутся в грязь. А я тем временем вызову «скорую». Я не такой кровожадный, как ты, собака.

— Да вы с ума... Между нами давно ничего... Вас же посадят до конца жизни!

Он говорил сдавленным шепотом, быстро, лихорадочно, боясь поднять голову, — значит, боялся по-настоящему.

— Мне сидеть не привыкать, — мягко сказал я ему, — а вот тебе, хлощеному, не жизнь будет, а рай... — Шлепнул что было силы мокрым платком между его ногами. — А ты боялся!

И отбросил с силой — шлеп! — платок в грязь.

— Эй! Воду не пить!

Но он и не думал пить — он потерял сознание.

Я зашвырнул нож подальше, платок повязал на шею, одел бедолагу и потащил его к асфальту.

Из-за поворота появилась парочка теннисистов — где-то неподалеку слышались удары мяча и крики, — и я отчаянно замахал рукой.

— Нашел в луже... в лесу... губы лиловые — может, инфаркт? Возраст-то...

— Я сейчас! — Парень красиво сорвался с места и улетел за поворот.

— Побудьте с ним минуточку — я только своих предупрежу. И вернусь!

Вера с Катей ждали меня за столиком у шашлычной. Конь перехватил меня на полпути:

— Он? Кто он?

— Он. А кто — не знаю. Признался, что из-за Веры.

— Лиха беда... — Конь ловко сплюнул в урну, которую какие-то экологи изготовили в форме пингвинов с открытыми клювами. — Ладно, пошли шашлыками утешаться. И рислингом. Кстати, ты бы пошуршал старыми семейными фотоальбомами: вдруг да встретишь знакомое лицо. Они же были большие любители фотографироваться, правда?

18

Получив дипломы, мы решили отметить это событие в форме мальчишника: в первых числах июля Конь собирался сочетаться законным браком с Сикильдвяжкой.

— Помнишь Марго с его пророчествами? — задумчиво спросил он. — А ведь и впрямь: гнильцой пахнет. Один мой старинный приятель, благодаря которому я и выбрал юридический, говорил, что юристы — привратники у входа в хаос. Только-то и всего. Наш мирок уныл, сух и тесен, но уж таким мы сами его сделали, и главное — он наш. А вокруг бушует безбрежный океан хаоса, норовящего прорваться то, понимаешь, там, а то вдруг и сям. И все чаще мы ему это позволяем. Мне это не нравится. С этого и начинается распад. И чем мы можем на него ответить?

— Распадом, — наивно предположил я. — Потому что на Руси было сколько угодно бунтов, но ни одной революции. Ты меня понимаешь?

— Еще бы. — Конь завязал шнурки, потопал ногами. — Если закон всемирного тяготения открыли в Англии, то закон всемирного тяготения к глупости — в России. Ты меня понимаешь?

Я кивнул.

— Значит, гуляем — от рубля и выше!

И мы отправились гулять. Уже к вечеру я мог бы запросто проглотить бутерброд с гуталином — и ничего: язык распух и ошершавел от избытка горячих напитков, которые заедались и запивались без разбору и вперемешку и впережку яблоками, шпротами, крутыми железнодорожными яйцами, минеральной водой, чуть подтухшим балыком из жестянок, паюс-

ной икрой, пирожками с алебастром, сырым мясным фаршем с черным перцем и солью, черствым хлебом, греческим оливковым маслом, апельсиновым соком, сосисками, сухим яблочным пирогом, кетчупом пополам с водопроводной водой, зелеными яблоками, бананами, мидиями в уксусе, баранками с маком, горячим говяжьим бульоном, галетами, пенопластом, жареной курицей, спитым чаем, еще *черт знает чем черт знает из чего* и каким-то неописуемым напитком с немецким названием такой длины, что выговорить его или хотя бы дочитать до конца не смогла бы даже самая-пресамая отличница.

Через двое суток мы очнулись на берегу Верхнего озера, где отоспались, искупались, снова отоспались, привели себя в порядок и бодро зашагали к ресторану, встроенному в крепостной вал, окружавший озеро и составлявший единое целое с фортом Генерал-дер-Дона, на башне которого в апреле сорок пятого был поднят красный флаг в ознаменование падения страшной из крепостей — города королей Кёнигсберга. У Коня всюду были знакомые, и не успел он перемолвиться парой слов с привратником, как мы оказались в продыmlенном узком зале, где в самом тесном углу нас ждал — ба, какая неожиданная встреча! — Муравьед. Он был голоден, трезв и сердит, но выговаривать нам не стал — только ткнул пальцем в циферблат.

— Зато мы опять выговариваем слово Гибралтар, — возразил Конь, садясь и подзывая официанта. — А Борис... Ты какое слово вспомнил, Борис?

— Гвадалквивир, — без напряжения выговорил я. — Струит зефир.

Я уже понял, что встреча с Муравьедом была вовсе не случайной. Конь устроил ее ради меня. Я не испытывал к Муравьеду никаких чувств, кроме сдержанно-дружественных. Таких людей — с выступающей вперед узкой собачьей челюстью, близко посаженными глазами и высоким ясным лбом — лучше иметь на своей стороне. Он мне нравился, но только как партнер. И вот что рассказал партнер, вгрызаясь в шашлык и попивая холодную водку.

Когда мальчишка Самсонов заявил на первом слушании в суде, что эта женщина, Вера Давыдовна Урусова, разрушила его семью, погубив родителей, Вера Давыдовна по-настоящему упала в обморок, а пацан больше ничего не хотел говорить. Все знали, что известный график Самсонов покончил с собой, а потом и жена наложила на себя руки, но при чем тут Урусова — так и осталось тайной за многими печатями. Однако при возобновлении слушаний в зале суда возник Андрей Сорока — возник, убил и скрылся. Никаких следов. Но кто-то позвонил и предупредил, что вечером он будет на углу Каштановой у пивного ларька. На привычном месте. Взяли его мертвым. Да и стрелял он дробью номер четыре — не всякую утку сшибешь. По существу, это было самоубийство. При вскрытии, однако, обнаружилось, что в день преступления Сорока дважды вводил себе в вену наркотические вещества, а именно — кодеин. Один из врачей заметил при этом, что уколы сделаны, вероятнее всего, кем-то другим. И потом, незадолго до выхода к ларьку Сорока принял ванну, а перед тем побывал в парикмахерской. В кочегарке, где он и жил и служил, никаких запасов чистого — да и грязного — белья обнаружить не удалось. Значит, у него была какая-то запасная квартира. Выяснилось также, что он принимал наркотики и — что самое важное — торговал ими. Взяли несколько человек, которые признались, что он передавал им для реализации партии кодеина, морфина, эндорфина и других сильнодействующих препаратов в аптечной упаковке. Одного этого было достаточно, чтобы арестовать его банковские счета, но к тому времени обнаруженные счета, открытые на его имя, были пусты — под ноль. Каждый гражданин имеет право дарения или завещания средств, хранящихся на счете в сберкассе, другому лицу. Таковым лицом оказалась Вера Давыдовна Урусова. Она очень удивилась, узнав обо всем этом, да и улик-то против нее никаких не было. А суммы крупные, очень крупные. Одному Сороке, даже с учетом его многолетних

хождений в заграничье, столько все равно не собрать. Даже если он и торговал наркотиками направо, — но торговал он редко.

Конь велел принести еще графинчик, и мы перебрались на открытую веранду. Здесь было попрохладнее. У круглого цоколя веранды стартовали флотские экипажи-восьмерки, готовившиеся к большим соревнованиям.

— Вера Давыдовна была вне подозрений, — продолжал Муравьед. — Много лет не работала в аптекоуправлении, хотя и навещала подруг: нужны были лекарства для больного мужа.

Тем не менее за нею присматривали. Свадебный подарок — автомобиль дочери — она купила на инвалютные рубли. Квартиру, мебель для молодых — тоже. И себя не забывала. Шубки, шмотки... Штурман, конечно, мог за несколько лет накопить солидную сумму, но и она должна была бы иссякнуть, особенно если учесть, что основную работу Вера Давыдовна оставила, мужниной пенсии хватало на хлеб с молоком, а сколько могла заработать даже квалифицированная машинистка, перепечатывавшая чужие рукописи? Гроши.

Я вспомнил, что в доме у Веры не было никакой машинки, кроме той, на которой я лупил диплом, но та была с латинским шрифтом.

В последнее время, продолжал Муравьед, опять зашевелились торговцы наркотиками, появились курьеры с юга — запахло большими деньгами. Но именно в это время умирает от инфаркта один из друзей Максима Урусова, начальник таможни Ляпин, и его вдова, отвечавшая за роспись лекарств по аптекам, слегла в больницу.

Муравьед закурил и скучливо посмотрел на гребцов, вспахивавших воду метрах в пятидесяти от нас.

— Как не везет ей с друзьями, — сказал он, не глядя на меня. — Не сумевший застрелиться бог морской, главкапитан рыбфлота написал в предсмертной бумаге, что злоупотреблял служебным положением, в том числе и мухлевал с инвалютой. Начальник таможни помер. Самсонов покончил с собой. Сороку убили при задержании. Юрий Николаевич Нарбеков, известный наш писатель, не так давно подвергся хулиганскому нападению в Светлогорске, но, по счастью, отделался инфарктом. Лица и каких бы то ни было примет нападавших не помнит. Двое их было или пятеро — даже этого не может вспомнить. Только плачет...

Темнело. На веранде зажгли разноцветные фонарики. Вдали были видны трамваи — светящиеся голубым стеклянные кубики, огибавшие выступ Верхнего озера и один за другим валившиеся через горбатый мостик.

— Не там искали, — сказал вдруг Муравьед. — Аптекоуправление, склады, крупные больницы! А до меня дошло: искать надо по сельским больничкам и аптечкам, спецшколам-интернатам для умственно отсталых детей, по психбольницам в провинции, маленьким онкологиям... Туда шуруют ампулы и таблетки вагонами, а нужны они там? Кто проверит? А когда я доложил начальству, мне сказали, что я переутомился. Дали отпуск. А тесть намекнул: дело, мол, серьезное, и похоже, что у милиции его заберут туда... в контору глубокого бурения... — Он посмотрел на меня. — Среди друзей Макса числился Павленко — знаешь?

— Их дети поженились, — сказал я. — Пара вовсе не идеальная.

— Говорят, не сегодня завтра Павленко получит генеральскую звезду и станет совсем большим начальником. Уж он разберется со всеми своими друзьями, родственниками и свойственниками. — В голосе его не было и духу насмешки. — Это все, что я знаю, ребята. А детали — они вам не нужны. Они у многих под носом, да носы у всех разные.

Мы выпили по последней и усадили Муравьеда в такси. Он был важен и грустен.

— Хотел отличиться, а получил отлуп, — сказал Конь. — Жаль парня. Но когда его время придет, — а оно придет, — как бы такие чистые, честные, но обиженные дров не наломали... Пройдемся?

От Верхнего озера веяло прохладой и гнильцой. Гребцы пробурлили в последний раз к мосткам на противоположном берегу и понесли свои лодки в ангар.

— Lysis, — сказал я. — В переводе на русский — развязка фабулы. На других языках называется катастрофой. Что так, что этак.

— Значит, моему совету ты не последовал и семейными альбомами не пошуршал?

— Зачем? Я прямо спрошу у нее. Что это за друзья у нее... про пишущую машинку...

— Машинку?

— Мелочь одна. Да и про деньги, конечно. — Я остановился. — Конь, я люблю ее, хочу на ней жениться и хочу, чтобы она родила мне девочку. И я точно знаю, что она — не убийца. Насчет наркотиков — не знаю. Дома полно всяких коробок, ампул и прочего аптечного хлама. Иногда к ней приходят знакомые — одолжиться. Дает, но денег не берет. Ну да ладно, ладно, я не собираюсь прятать голову под мышку. Но с чего Муравьед так наехал на Павленко? От обиды?

— Мне бы отлить, а?

И скрылся в кустах на берегу.

Я закурил.

Мимо со звоном промчался трамвай с рыжеволосой красавицей в окне. Профиль юности бессмертной...

Я обернулся на звук тормозов. Между деревьями на пешеходной дорожке, тянувшейся вдоль трамвайных путей, остановился «уазик». Из него вышли трое в белых рубашках с коротким рукавом. Двое — сухощавые, около сорока, чуть ниже меня, третий — порыхлее, но движения уверенные, точные. Сейчас спросят, как пройти в библиотеку, а потом — который из них — ударом в переносицу...

— Вы как будто ждали нас, Борис Сергеевич, — насмешливо протянул толстяк. — Значит, можно без интродукций?

Его друзья с улыбкой переглянулись. Тот, что с узкой полоской усов (с первого взгляда не разобрал), подошел ближе и деловито проговорил:

— Борис, в последнее время вы сделали несколько неверных шагов. В шахматы играете? Понятно. Например, вы совершенно напрасно сменили место жительства. Необдуманный поступок. Я уж не говорю о том, что она старше вас на...

Я ударил без замаха — он сел на задницу, снизу вверх озадаченно посмотрел на меня.

— Слушай, снайпер, в наши планы это не входило...

— И поэтому вы второй день колесите за мной по городу, а поговорить решили втроем.

— Он не внял, — сказал толстяк, каким-то чудом оказавшийся у меня за спиной. — А ведь мы и впрямь по-товарищески...

На границе у меня был приятель-кореец, и времени не было вспоминать, как его звали, — я бросился грудью наземь, успел опереться на руки и со всего маха ударил ногами назад — на голос. Попал. Перекатываясь на бок, увидел долговязую тень, метнувшуюся к остальным. Я вскочил на ноги и выключил толстяка окончательно. Как учили. Конь кивнул.

— Дыши ровнее — все живы, — сказал он, извлекая из заднего кармана фляжку с коньяком. — Маленький цирк. Помогите.

Мы влили по глотку-два коньяка полубесчувственным мужчинам и втащили их в «уазик». И вовремя: мимо пролетел трамвай.

Конь запустил двигатель и въехал в озеро. Остановился, когда двигатель захлебнулся водой.

— Небольшая авария, три пьяных офицера в машине — подшить к делу, и амба. А теперь ходу отсюда!

— Свернем? — предложил я.

Мы в несколько прыжков пересекли пешеходную дорожку и трамвайные пути и обрушились в заросший сквер. Через полчаса блужданий выбрались на улицу с фонарями, сориентировались. Осмотрели друг друга: почти никаких следов. Конь разделил коньяк на две дозы, и мы выпили фляжку в два глотка.

— Это не милиция, — сказал я. — И не бандиты.

— Не думай об этом, — посоветовал Конь. — Из меня весь кайф вылетел, который мы с тобой так лелеяли два дня. Придется взять на последние и провести остаток вечера в общаге.

— А если к нам? У Веры выпивки уж на нас-то хватит.

— Нет, парень. — Конь вдруг взял меня лапищей за подбородок. — Прошу тебя, поговори с ней. Это и называется шансом. Вдумайся, Борис. Налево пойдешь — коня потеряешь, направо — головы не сносить... или как там?

Я кивнул. Было девять вечера — еще и не стемнело по-настоящему.

У общежития мы расстались.

19

Дверь открыла Катя. Обольстительно улыбнувшись, пропела:

— Маман решила, что вы пошли по полной программе, и потому сидит на работе. Позвонить?

Я поцеловал ее в щеку и попросил найти чего-нибудь покрепче — виски, например. А сам заперся в ванной и принял душ. Вообразил на минутку, как люди выше и ниже меня с таким же облегчением подставляют разгоряченные лица под режущие струи ледяной воды в предвкушении горячего чая либо стакана виски, и впервые испытал любовь ко всем делающим в эту минуту, что и я.

Босиком, в одних спортивных штанах, таким отюрбаненным турком я ввалился в гостиную, принял из рук красавицы гурии стакан пойла со льдом и выпил его одним махом, а лед схрупал, как лошадь пожирает сахар — звучно и смачно. Поэтому вторую дозу Катя налила мне безо льда. Себе — коньяку в чай. С тех пор, как она переехала к нам, Катя подуспокоилась, движениям ее вернулась хореографическая плавность и цирковая законченность, а взгляды ее, которые она бросала то на меня, то на мать, были снисходительно-благостными. Ее бракоразводный процесс шел полным ходом, она выигрывала имущественные споры пункт за пунктом — причем этому способствовал тесть, презиравший сына и любивший невестку, — и она вновь почувствовала вкус к жизни, к игре в полунамеки, кокетству и гаданию по картам, ахам, вздохам, томному взгляду и полураскрытому ардисовскому Набокову на превосходных коленях, которые я с удовольствием изображал карандашом в разных ракурсах, попутно рассказывая ей о целых коллекциях непристойностей, оставшихся после великих мастеров — например, после Энгра, — которые лишь изредка выставляются для избранной публики...

Что я искал в старых фотоальбомах, которые Катя грудой вывалила передо мной на пол? Ведь не лица же заочно знакомых людей, частью знакомых по рассказу Муравьеда, частью — по рассказам Веры. То, что мне нужно было, оказалось во втором же альбоме, и больше меня уже ничего не интересовало.

— Это что? — спросил я, тыча пальцем в воротник плаща Макса с вышитым на нем якорьком. — Форма одежды?

— Ну что ты! — Катя сидела в опасной близости от меня, раскачивая едва державшейся на кончике пальца туфлей. — Мамина работа. Ему нравилось.

Все, что было непонятно, вдруг стало понятно.

Я захлопнул альбом и налил себе виски с горкой.

— Мои исследования благополучно завершены, — торжественно произнес я. — Результат налицо. — Чокнулся с Катиной чайной чашкой. — Теперь я могу рисовать твои коленки хоть до посинения...

— Опять коленки! — разочарованно протянула Катя. — И это все, что у нее было интересного, решит будущий исследователь?

— Катя! — не очень твердым голосом предупредил я. — Я знал, что рано или поздно это случится.

— Я ведьма?

— Нет, конечно. Ты типичная змея подколодная.

Когда Вера вернулась, было около полуночи. Я спал на диванчике в комнате Макса, подложив под голову фотоальбом — тот самый. Катя, как выяснилось, уснула в ванне.

Вера Давыдовна энергично подняла нас, заставила привести себя в божеский вид, разлила по фужерам шампанское и предложила выпить за повышение по службе: с сегодняшнего дня она стала первым заместителем начальника аптекоуправления. Катя расплакалась и бросилась обнимать мать: ведь когда-то именно эту должность Вере Давыдовне пришлось покинуть, чтобы отдаться уходу за Максом.

После шампанского Катю вновь неудержимо потянуло в сон, а мы решили подышать ночным воздухом. В задний карман брюк я на всякий случай сунул фляжку с виски. В голове у меня еще пошумливало, и, я знал по опыту, из этого состояния надо было выходить постепенно.

— Ты даже представить не можешь, как для меня это важно! — возбужденно заговорила Вера. — Дело не в прибавке зарплаты, тьфу на нее... Слушай, ты какой-то заторможенный! С Катькой поругались? Или что?

— Или что, — сказал я. — Я рылся сегодня в фотоальбомах... ну, мы и вместе их разглядывали, но сегодня я искал одну вещь... И нашел. Нашел плащ с чужого плеча, в котором Сорока явился на судебное заседание и зарезал того мальчишку. Этот плащ дала ему ты. И похоже, что именно у тебя он провел время между убийством и самоубийством, то есть когда его менты застрелили... Это так, Вера? И это ты ему сделала укол кодеина?

Она взяла меня под руку и, мягко выгнувшись грудью вперед, сказала:

— Я. А теперь давай выпьем, и я тебе кое-что расскажу...

— Это касается не только тебя — нас.

— Именно поэтому я тебе и собираюсь рассказать то, что много раз пыталась рассказать себе. Перед зеркалом. В ванне. В пустынной аллее. Авось теперь получится.

Она выпила, закурила и уверенно повела меня в кривые улочки, вымощенные тесаным камнем, — узкие, обставленные невыразительными домами, между которыми зияли пустыри да вдали горели навигационные огни порта.

20

— Когда я впервые надела лифчик, за мною стали подглядывать мальчишки с нашего двора, каким-то чертом узнававшие, что именно в этот день я буду принимать ванну. Отец поймал их на месте преступления, пальцем не тронул, но сообщил их родителям. А окно ванной закрасил белой краской с двух сторон. Мне он не сказал ничего. Когда мы переехали в другой дом, я была уже хорошо пропеченной девушкой и первым же делом познакомилась с местной достопримечательностью — Бичилой. Это был дебил двухметрового роста, который подошел ко мне — я сидела на скамейке и скучала, — снял штаны и стал мастурбировать. У него был огромный лиловый член. Я испугалась и убежала домой. Он меня не преследовал. Но мой отец каким-то образом обо всем узнал, и через день или два Бичила исчез. Я не знаю, отправили ли его в больницу, посадили ли

на цепь дома, — не знаю! Но его больше не было. Я была защищена отцом, что бы я тебе о нем ни рассказывала...

— А ничего дурного ты о нем не рассказывала, — сказал я.

— Потом Макс... Тут и говорить не о чем! Как за каменной стеной. Да еще друзья — кто-то дружил с его отцом, кто-то — со старшим братом, военным моряком, погибшим на подлодке... Это все были люди хорошие, участливые и с положением. Мы ни в чем не нуждались. А потом этот случай с Максом... Дай еще.

Я протянул ей флягу.

— Никто не отвернулся от нас, — продолжала она, — но отношения стали иными. Они же понимали, что семья моряка ко многому привыкает, но у них ведь тоже были семьи... нужен был какой-то выход... компромисс... компенсация...

— Ты, — сказал я. — Компромисс и компенсация. И за это они готовы были платить. Но ты как-то умудрилась провести границу между дружбой и теми отношениями, за которые платят. Самсонов предлагал руку и сердце?

— И Нарбеков тоже.

— Ну ладно. А Сорока?

— Он вбил себе в голову, что обязан Максу жизнью. Не знаю, может, так оно и было. Он давал деньги и помогал всячески...

— Сбывал таблетки и ампулы? А Павленко знал об этом?

— Павленко? — В голосе ее прозвучал испуг. — Это же КГБ, милый, — нет, не думаю... Вот мы и пришли.

— Пришли?

— Здесь все и случилось, милый.

Я и не заметил, как мы обошли какой-то странный — кривой с носу — дом, похожий на узкий корабль, спустились вниз и оказались на довольно большом пустыре, кое-где по краям застроенном гаражами и сараями, между которыми виднелись огни порта. Сильно пахло морем, водорослями, слышался короткий, но частый шум прибора.

— Морем пахнет.

— Из-за этого он и водил меня сюда, — сказала Вера, оглядываясь. — А я боялась. Здесь вечно шныряли какие-то типчики, в гаражах варилась своя жизнь — скупали и торговали краденым. Место известное... И один фонарь — заметь — во-он там.

Далеко за гаражами и сарайчиками и впрямь горел тусклый из фонарей, болтавшийся под ветром с жестяным скрипом, и это был единственный громкий звук на всю округу.

— Странно и глупо, — медленно проговорил я, не глядя на Веру. — Столько мужчин, столько защитников, в том числе вооруженных и обладающих властью, и предположить не могли, что случится здесь... А Макс?

— Он бросился на них напролом, но его повалили, и он тотчас забился в припадке. — Вера вздохнула. — Он лежал вон у того гаража и рыдал. А потом начал икать.

— Вера!

— Он начал икать! — повысила она голос. — Мы же пришли сюда, чтобы не балет по памяти восстанавливать. Он начал икать и блевать. Кто-то из них стукнул его ногой в бок, и он затих, а я с ужасом подумала, что это даже к лучшему. Тогда Самсонов-младший и велел: «Раздевайся!» У них даже ножей не было, но другие двое с крысиными лицами... Я быстро сняла плащ и туфли. Кофту. «Кто первый?» — засмеялся тихонько первый крысеныш, положив руку на мое плечо. «Отвали!» — приказал Самсонов. — Посмотри в кошельке. А ты раздевайся по-настоящему, и быстро, сука!» Он даже голоса не повысил, но мне стало ужасно страшно — я его испугалась больше, чем крысят. Я стала раздеваться — быстро, торопливо, путаясь там... лифчик, трусики... Я только убыстренно дышала, мне и в голо-

ву не приходило, что можно кричать, звать на помощь, а когда вдруг такая мысль мелькнула хвостиком, я отчетливо, как душевнобольная, поняла, что люди сбегутся, но не на помощь, а — поглазеть, потыкать пальцем, ущипнуть, плюнуть, посмеяться...

— Это же не Двор Чудес, — пробормотал я, — да и там были свои правила...

— Я уже больше ничего не боялась, мне даже холодно не было, я думала: скорее бы! Скорее! А он взял мои трусики и, глядя на меня искоса, стал... стал мастурбировать... Я стояла и ждала. Крысята радовались, что в кошельке оказалась приличная сумма, а он, весь выгнувшись и напрягшись — может быть, чтобы и мне было видно, — продолжал свое дело, пока не выдохнул. Аккуратно сложил вдвое и бросил мне. «А теперь надевай!» Я, видно, замешкалась, и он закричал: «Надевай мои сопли на свою жопу! Привет от родителей!» Я была как кукла. Все надела кое-как, они вдруг ушли, исчезли, я бросилась к Максусу, дала ему таблетку под язык и повела между сараями к кривой улице мимо кривого дома. Вокруг не было никого. Ну, шныряли какие-то типчики, не обращавшие на нас внимания, кое-где в гаражах горел свет, и оттуда доносился то стук молотка, то будто червя железного крутили... шуруп, наверное...

Я взял ее под руку и повел наверх, мимо кривого дома, — да другого пути здесь и не было, — она всей тяжестью наваливалась на меня.

— Следующим был Сорока, — сказал я, когда мы наконец выбрались на ровное место. — Не милиция, а — Сорока. Отчаянный парень, сорви-голова, влюблен в тебя по уши — ну же, влюблен! Да вдобавок обязан Максусу жизнью. А из милиционеров с их бумажками и «стой, стреляю», а потом раза три пух-пух в небо, и эта волокита унижительная, и это при том, что случись что... ну, не средневековое, но уж бандитское, мужицкое дело, для людей с якорями на запястьях и волосами на груди, в которых мышьяк запутается. Вроде Сороки.

— Он просто впал в ярость, — тихо сказала Вера. — Он по моим описаниям узнал всю компанию и потребовал пистолет... у отца был именно — я его не сдала, когда потребовали... потеряли, то да сё... Но пистолет я Сороке не дала.

— На рукоятке — фамилия отца?

— Нет, вдруг испугалась. Там же уйма патронов — каких же ужасов Сорока с ними натворит! Не дала. Тогда он раздобыл нож. И вскоре прикончил крысят. А потом пришел ко мне, принял ванну, переделся и сказал, что ему нужен укол. Я сделала. Он не сказал, что пойдет в зал суда!

— Как сказал бы господин Смердяков, «вы-с и сделали». Догадаться же могла... Ладно. После суда снова пришел к тебе?

— Да. И сказал, что больше ни на что не способен. Он сказал, что увидел глаза того пацана и понял: все. Что все? Он снова принял ванну, дождался вечера. Выпил совсем чуть-чуть, куда-то позвонил раза два или три — не прислушивалась, не знаю...

— Один раз в милицию, — сказал я. — Место и время. А потом, не поцеловав, ушел.

— Не поцеловав. — Она испуганно посмотрела на меня. — Я никому из них не позволяла себя целовать... а он мог бы... Но не поцеловал.

— И дальше? — Я сел на пуфик в прихожей. — Дело Сороки, считай, закрыто. Остальное хуже, Вера. Наркотики. Через месяц, два или три они придут...

— Через две недели, — сказала она. — Это последнее дело. Люди с Кавказа. И я не пойду сейчас с повинной, Борис. После этого — пойду.

— Почему не сегодня?

— Я беременна. — Она медленно опустилась на корточки. — У нас с тобой будет ребенок. Может, и девочка.

21

Тем утром она осталась в постели и попросила Катю навестить Ядвигу. Катя безропотно оделась, наскоро мазнула меня по небритой щеке губами и сделала ножки бантиком.

— Это на счастье.

И исчезла.

— Теперь мне надо пять-шесть таблеток феназепама. Дня через два войду в форму, — бормотала Вера, думая, что я не вижу, как она прикладывается к бутылке. — На службу я позвонила — грипп-хрипп и прочие гарпии, терзающие душу.

Я высыпал в ладонь пять таблеток феназепама, не очень ловко подменив их двумя таблетками американского аспирина. Придвинул чай с лимоном.

— Пей. Сердцу полезно. Извилинам тоже. Кой черт тебя надоумил...

— Не обижайся. — Она взяла меня за руку и притянула к себе: от нее пахло валокордином и виски. — Я ревную тебя к дочери, и что ж тут такого. Гольдони какой-нибудь! Сказки-ласки-краски-глазки... Если у меня и тяжелое сердце, то эту тяжесть я почувствовала совсем недавно. Когда стала свободной от Макса. Я думала: вот они, крылья, вот она выкуклилась, взмахни крыльями, — ан шутишь! И чем дальше в лес, тем меньше света, охраны, один ты и остался... У меня есть именной пистолет, отцовский, я его спрятала — тяжеленная штука, вся с ног до головы никелированная и с надписью. Я сказала этим людям, что не знаю, где отец держал оружие. Я ничего не знаю про оружие. Зачем было врать? А — пригодилось!

— Зачем?

Она строго посмотрела на меня:

— Эти люди с Кавказа без оружия не приезжают.

— Ты сошла с ума. Прежде чем ты достанешь свою пушку, они сделают из тебя дуршлаг. Отдай его мне.

— В детстве я всегда делала ошибку в слове дуршлаг. На уроках писала «друшлаг». А пистолет я тебе не отдам. И не ищи! Это, в конце концов, подло: я тебе последнюю свою тайну открыла, а ты...

— Я не стану искать, — успокоил я ее. — Но почему тебя тянет в пасть дьявола? Одним делом все не кончится. Ты повиснешь у них на крючке — и поехали малина да калина!

— Я всегда думала, что и девушка на гравюре в Максовой комнате тоже в объятия нечистой силы бросается. Ведь Голландия... ну, Германия... Все чин чинарем: сватовство, шитье платья, перебор драгоценностей, контракт, церковь... Ведь так?

— В большинстве случаев. Но бывали же и исключения.

— Ага! Чтобы немка босиком бросилась в темную тьму, не прихватив с собой даже свечи, бросив свой спинет, уют, тени эти уродливые... Может, тени она и испугалась? Почему картина будто пополам разрезана? Художник испугался? Вряд ли он сочинял нравоучительное произведение. По памяти писал. Слезам обливался. И чертову морду просто не захотел намеком изобразить, ибо — мерзость! — Она выдернула из-под кровати бутылку и хлебнула. — Хочешь, без пяти минут? Или боишься этих самых пяти минут? Царь Лесной схватит за волосы, взнуздает и запряжет в свою повозку всех этих дурищ — и айда! айда!

Я взял ее за руку:

— Прошу и умоляю: не пей.

— Не могу! Расскажи про бабушку! Свет в окошке...

Я рассказывал ей о бабушке, пока Вера не уснула.

В какую тьму бежала та полнотелая девица с гравюры, бросив тувельки, недозвучавший спинет, тепло и уют своей крохотной комнатки, — ну не тени же она испугалась! — куда? Кто ждал ее там? Пригожий гвардеец?

Соседский бакалейщик со склеенными в колечко усиками? Или и впрямь — сам дьявол, Не-Знаю-Что, Тутейший...

Утром я осторожно поинтересовался у Кати, говорила ли когда-нибудь ее мать об оружии в доме. О пистолете. Именном.

— Она говорила, что папу таким наградили, — и амба. Я опаздываю. Бояться не будешь?

— Буду. Где она?

— Чулки стирает. — Чмок. — Я цинична? Раз уж задан вопрос, ответ не требуется. Ревет, наверное.

И улетела вниз, скользя рыжей vareжкой по перилам.

Я увяз. В чем? Точнее, конечно, в ком, ваше гнилейшество.

22

Когда я снова объявился в квартире, Вера ничуть не была похожа на реву-корову. На столике перед ней стоял узенький бокал с рислингом. Губы ее были слишком покрашены. Я посчитал последние деньги в кармане: на пристойный букет роз не хватит.

— Роз не хватает, — вздохнул я. — Ты молодец.

— Ночью вдруг разом раскрылись все розы, накрыв нас запахом густым, сладким и невыносимым, как запах разложившегося трупа. Мне это приснилось.

Она закурила тонкую сигарету.

— Ты не предатель, — сказала она. — У меня маниакально-депрессивный психоз. Это пройдет. Катя тоже не предаст. Остальные...

— Значит, — перебил я ее, — у тебя есть пистолет и ты не хочешь отдать его мне, лучшему в мире стрелку?

Она качнула головой: нет.

Я вышел из здания университета на улице Университетской и прислонился к одной из тех бетонных штук, которые не позволяли задохнуться в его подземелье генералу фон Ляшу, последнему коменданту Кёнигсберга. Где-то здесь и подписал он капитуляцию. Я понимал, что единственный способ спасти Веру жизнь — позвонить полковнику Павленко. Может быть, встретиться с ним и все рассказать. Но стать стукачом, предателем... Стоп! А разве ты уже не предал Веру, с наслаждением трахая Катю? Веру сдать Павленке — годика этак хотя бы на три, и на тебе — живи с красавицей Катей, в которой ты с каждым днем открываешь все больше достоинств, все больше будущего, а в Вере — только мрак, мрак и прошлое...

Я спустился в пивбар под гостиницей «Калининград», спросил две кружки светлого и, выслушав: «У нас в сортире курят», закурил сигарету. Никакой Конь тебе не подмога, и никакая бабушка — не в помощь. Собственного брата не уберег, одинокого лжеца, — чем ты лучше Костяна? Почему тебя — пронесит мимо? Почему-то вдруг вспомнилась собачка, прятаясь от нас в послевоенных развалинах, старая немецкая псинка. И пока взрослые вывозили мебель, бронзу, хрустали и вообще грабили Восточную Пруссию как хотели, мы, пяти-шестилетние мальчишки, отслеживали эту грязную собачонку, оставшуюся от немцев и наверняка знавшую про их главные клады. И это были не мельхиоровые супницы, не бильярдные столы, не книги на незнакомых языках, от которых при погрузке обычно избавлялись, — нет, это было настоящее сокровище. Мы видели, что она брюхата и голодна, и по очереди таскали ей еду, а один из нас — тоже по очереди — литровую бутылку молока. Что-то свыше надоумило нас: она будет рожать на том самом месте, где и спрятаны сокровища сокровищ. Она же не может на это время отлучиться со своего поста. И наконец мы ее застукали. Она забралась в полуразгромленный подвал с

покосившейся бетонной плитой, забралась на ватный матрас, и нам пришлось присутствовать — не отворачиваться! — при появлении всех четверых щенят. Мы подтолкнули к ней огромную миску с литром молока, и такая маленькая собачка лизнула меня в знак благодарности языком — только меня. А я посмотрел в ее светящиеся в полумраке глаза и быстро-быстро полез наружу. Мои товарищи волей-неволей последовали за мной и тотчас набросились на меня. «Если кто хочет драться. — Я снял ранец. — Хоть вместе, хоть по одному». Они не понимали случившейся со мной перемены и переглядывались. Драться-то из-за чего? «Никаких там сокровищ нет, — продолжал я. — И никогда не было. Дело в самой собачонке и ее щенках. Мы спасли ее от холодной и голодной смерти. Когда-нибудь, как говорит моя мама, это нам зачтется, как зачлась одному отпетому бандюге луковка».

И я рассказал им веселую историю о злой бабе и луковке и о Боге, который дал несчастной последний — да уж куда! за последним шансом шанс! — а та, гадюка, им не воспользовалась. После чего мы пришли к выводу, что пятеро собак будут покрепче гнилой луковицы и в случае чего спасут нас как миленьких. Мы носили им еду, какую удавалось урвать от школьных завтраков, псы подрастали, делили городок на районы, как это у них принято, и только старая Немка долго еще бегала только за мной, пока не померла от старости. Я уж и думать забыл о луковке, но однажды вдруг ни с того ни с сего — отец уже лежал в больнице — вспомнил эту детскую историю, и старик — после смерти матери он в полтора года стал старым стариком — расплакался, и извинялся, и сказал, что это мир спасет, и вообще я дурак-дурачина, а плакал он светлым-светло, и значит, есть Бог, и мама жива, и собака Немка жива, и живо оно, живо! «Что — оно?» — спросил я на прощание. «Оно — так, мусор, слезы, память, жизнь, убийства даже, грязь всякая да вон кусок хлеба под ботинком, жизнь дурная, любовь уничтожающая — тоже оно, а живо! живо! живо, Борис, живо-о-о!»

— Что будем? — раздался скрипучий голосок ангела сверху.

— Четыре пивка — для рывка! — прогудел Конь. — Отвальная?

— Почти. — Я испытал огромное облегчение при виде этой слегка исхудалой человеческой лошади с набрякшими подглазьями. — Красный диплом?

Гена горделиво повел плечом:

— Кто бы сомневался! Один Артем Аршавинович Гатинян задал философский вопрос: зачем?

— А ты?

— А я говорю: чтоб. Понимаешь? Ну, ты понимаешь? Как насчет большого маршрута?

— Маршрут отменяется.

И я довольно откровенно поведал Коню историю последних месяцев, не умолчав даже о мыслишке-хвостишке сдать Веру гэбэшникам.

— Катя — на твоей, брат, совести, а вот насчет ребят из конторы не волнуйся: дураков там, прямо скажем, маловато, и я буду удивлен, если Вера с твоим Кавказом у них не под колпаком. Все равно возьмут. Ну а ты... Ты хоть видел плакат с твоей фотографией на весь первый корпус?

— Его разыскала милиция?

— Утвердили диплом в качестве диссертации, кандидат ты мой наук филолукических. Уипьем уодки, как говаривал Черчилль. — Он вынул из кармана пол-литра и налил в пивные кружки. — Ну-с!

Выпили. Заглотнули пивом.

Официантке, двинувшейся было к нам с решительными намерениями, Гена только вяло махнул. Буфетчица поймала ее за нарядный передник и что-то энергично объяснила.

— Объясняй дальше! — Конь закурил папиросу. — Тесть научил — а приятно бывает «беломорину» всадить под выпивку. Ну? Ты, главное, скажи: одна она дома или нет?

— Это не главное! — взвился я. — Главное через неделю начнется.

Гена встал.

— Такси! Лимонад! — Он схватил только что вошедшего мужика за тельняшку. — Для меня — сейчас — Каштановая Аллея — молнией!

Лимонад оттянул тельняшку на пузе и кисло кивнул.

— Она тебе рада будет, — сказал я, кланув при этом зубами.

Милицейский патруль остановил нас на перекрестке.

Гена выскочил из машины к сержанту: «Жареха!» Объяснив, что малыш (то есть я) этот ее муж, мы подошли к подъезду, когда сверху кто-то крикнул:

— Четыре машины «скорой» — со свистом!

— Помнишь Верхнее озеро... с усиками...

Мы уверенно вошли в подъезд и поднялись на этаж.

— Я здесь живу, — сказал я усатому.

— Документы!

— Кто ж с документами на рынок ходит! — попер Гена.

— Пусти его, Рагоза. — В гостиной на полу сидел полковник Павленко. В углу, лицом к батарее отопления, двое скованных наручниками — лицами вниз. Третий повис в пробитой раме балкона. Из носа у него капала черная кровь. Угол балконного стекла вошел глубоко в живот. На лбу чернело пятно от выстрела в упор. — Дни считали, по часам мерили, а она им свой домашний телефон сообщила — и ваших нет! Вера там...

— Все! — Павленко встал, врач подставил плечо. — Думаешь, сам не дойду до машины?

— Плюсну соберем — ручаюсь, — сказал врач. — Но стреляли-то голубчики разрывными. Так что держите ногу на весу и не дай господь наступить на пятку...

— Гниль. — Павленко протянул руку. — На свадьбе вроде с тобой знакомилась — второй раз не повредит. — Стиснул руку Гене. — А ты, боец, и нам бы пригодился. Захаровские и на суше в цене.

— Два сквозных в легкое, — вытянувшись, доложил Конь. — С тех пор арабского солнца терпеть не могу.

— Где Вера? — наконец спросил я.

Полковник взял у врача полотенце и принялся тщательно отирать лицо.

— Повторяю: в ванной.

Она лежала в ванной, полной крови.

— Нервы, — сказал тихо врач за моей спиной. — Какая красивая...

— У нее гравюра есть одна, — зачем-то сказал я, — девушка бросается вон из комнаты в темноту. К кому? К чему? Зачем? Однажды она сказала: женщины уходят навсегда — это только мужчины возвращаются. Меня рядом не было. Куколка...

Врач отвел глаза.

— Разрешите, у нас тут...

Конь толкнул меня к выходу:

— Катю перехватить! Ну!

Кто в юности не писал стихов? Я не писал. За меня все глупости Костян написал, мой двоюродный — почти родной — брат, полагавший, что годика через три он заткнет рты всем графоманам. И будет нелюбезен он народам!

— Борис! — Катя вытянула ножки на полке в купе. — Скажи честно, а ведь ты вообще первый раз в жизни поездом едешь?

— А на армейскую службу в Уссурийский край я бурлаком дошел? Вагоны были похуже, но не телячьи, с деревянными полками. Ну а в такой благодати, ваше превосходительство, впервой, ой впервой!

— Кибартай проехали. А какие стихи писал Костян?

— Плохие, разумеется!

— Это я давно поняла. Не Данте, если верить тебе. Он читал тебе их?

— Я всегда бывал первой жертвой его логорреи... Но я любил его, Катя. И до сих пор не понимаю, на каком я свете без Костяна.

— Без Веры. Без Коня. Без и есть бес: в поле водит, мы — одни. Но ты поклялся рассказать о Костяне. Весь коньяк в твоём распоряжении, а мало будет — свистни: на цыпочках принесут. Это ж вагон СВ.

Я лихо скрутил пробку с «Арарата», налил в две рюмочки — Кате символически, глотнул из бутылки, потом опрокинул в рот из рюмки.

— Годится. Только я — лежа. Не возражаешь? Оповести храпом, когда скучно будет...

— Да чтоб я хоть раз в жизни захрапела...

— Ладно, тогда опусти ногу — складочка под коленкой мне навевает вовсе не эпические настроения.

Я поднял руки, закинул их за голову и закурил. Дымок струйкой потянул в узкую щель приспущенного окна.

Вообще-то Костян поселился в нашем доме задолго до своего рождения и появления своего отца. В сорок первом его отца за что-то там здорово посадили, и он вышел только в пятьдесят пятом, а на крыльчке его встречала жена с годовалым малышом на руках. Иван задумчиво вздохнул и спросил: «Хоть не от немца?» Жена тотчас соврала: «Да ты что!» Это когда отец его уже исчез, а мать спилась, Костян перед походом в милицию на всякий случай поинтересовался, кем ему писаться — верблюдом безрогим или скотиной стоеросовой (этими прозвищами чаще всего и награждала его мамаша), — женщина вдруг подняла голову от кухонной клеенки и сказала: «Родился ты от немца, а рос с русскими, вот и решай как хочешь». Поковыряв в носу, Костян решил: во что бы то ни стало добьется от вечно пьяной паспортистки, что в его паспорте против графы «национальность» будет четко выведено — «клеенка». Отец — русский, мать — русская, а сын — клеенка.

Иван Григорьев-Сартори был хорошим пловцом и еще лучшим — тренером. Уж сколько миль я по его воле пропахал — немерено. Он разработал специальную систему упражнений и даже изготовил из ржавой кровати и двух велосипедов что-то вроде тренажера, чтобы я каждый день — исключением стали похороны матери — занимался плаванием, плаванием и только плаванием. Когда военрук вдруг выяснил, что я стреляю из любого положения и всегда в десятку, дядя предложил решить спор по-честному — за картами — и выиграл меня в покер трижды. Костян утверждал, что сидел в это время под столом со специальным зеркальцем и подсказывал отцу нужные ходы. Узнав об этом, Иван устало хлопнул отпрыска по шее и сказал: «Мне, сынок, эти карты раза три жизнь в лагерях спасали. Я самого Червя Червивого завалил при свидетелях, а когда он на меня бросился, на чей-то нож напоролся. Ножи же у нас делали из уголка консервной банки — полукольцом: воткнуть воткнешь, а вынуть — только с кишками. — Он посмотрел на меня строго. — Плавать и плавать, Борис. Рыть воду, как говно, в котором сундук с сокровищами спрятан». Плавал я без шапочки, и у меня вечно были проблемы с левым ухом, сколько ни продавали его, сколько ни промывали, сколько чего ни делали. Когда я — уже после смерти отца — стал чемпионом Союза среди юниоров, боли стали невыносимыми. Оперировали по поводу доброкачественной опухоли среднего уха. Никакого плавания. Так и попал в пограничники, потому что острота-то слуха не снизилась.

А дядя Ваня скоро совсем спился. Ногу ему отрезали — повредил чем-то. А потом исчез. Через год жена получила официальное уведомление о пропаже без вести. То есть — стала вдовой.

— К генералу Котельникову подался, — шепотом поделился со мной Костян, который к тому времени совсем переселился в наш дом и жил в одной комнате со мной. — Которого он от пуза лечил.

История была такая. Году в сорок третьем, а может, и в сорок четвертом, когда наша победа стала делом времени, согнали в дельту Волги тыщи зеков. Они там все мерили-измеряли и потихохоньку двигались на север, отыскивая место для гидроэлектростанции. А командовал тыщами зеков генерал-лейтенант Котельников, страшный взяточник — отец рассказывал, как ему каждый месяц со всех лагерей долю свозили, — а главное — бабник. Но — колода. Уши, плечи, талия, жопа, ляжки, пятки — абсолютно правильный прямоугольник или даже параллелепипед. Правда, на настоящий пипед он не тянул — брюхо кубом торчало. А там же гарнизон, мамзельки, офицерские жены да и вообще вольных баб — как арбузов. Калмыцкие ж степи. А у генерала — зеркальная болезнь: чтобы посмотреть на своего любимчика, ему приходилось к зеркалу подходить. Кто-то надоумил его заняться плаванием, да всерьез, каждый день. Выбрали моего отца, потому что до войны он на всю страну был знаменитым пловцом. Реки там разные, но подходящей не нашлось. И тогда генерал спрашивает: «Бассейн нужен? Сделаем!» Представляешь, в песках полупустыни, где перекасти-поле больше самого поля, где верблюды не целуются, чтобы слюну не тратить, выкопали пятидесятиметровый бассейн, нашли мастеров для одновременной — другая не годится — заливки бетоном ванны, залили за одну ночь, установили разные там фильтры и вентиляторы, накрыли специальной двойной крышей — от жары, — нате! Через неделю поняли: не то. Генерал был человек дисциплинированный, сказали ему в пять тридцать шагом арш в воду, он и шагом арш. Но на нем же десять тысяч зеков, отчеты, то да сё. А после обеда или даже вечером в бассейн не сунуться — баня. И двойная крыша не спасла. Строить охладительную систему — прикинули — дорого, долго и до Сталина может пойти. Хоть стреляйся. И тут повстречался наш генерал с другим генералом, который тогда в районе Ахтубы испытывал наши вертолеты и прочие самолеты, поговорили по душам — и договорились. Теперь после обеда и до самой ночи над бассейном висели пять тысяч вертолетов — от такусеньких до такущих. Расположены они были искусно — спиральной пирамидой, как отец это называл, и самые мощные машины гнали воздух аж из стратосферы вниз, где его с лопасти на лопасть в целости и сохранности, ну, чуть потеплевшим, доставляли в бассейн через специальные воздухозаборники. Генералы плавают, отец ими командует, а наверху — вообрази! — пять тысяч вертолетов воздух гоняют сверху вниз!

— Жир согнал?

— Согнал, за что был к медали представлен, как только учредят тачую, — да ждать не стал, заболел: у него вместо мочи из крана песок сыплется, а взамен говняшек — булыжники и черепахи. Я говорю, ты черепах в зоопарк сдавай, вот и заживем. А он мне: они из третьего списка — их не возьмут.

— Что за список?

— Куда расстрелянных записывают и умерших.

— Костян, вот я уже в четвертом списке: где пятый сон начинают смотреть. Мне ведь все равно на тренировку — в шесть. Ать-два.

Самой известной в городке его проделкой была татуировка коня Фрица, черного, с белой грудью красавца, поджарого и диковатого, который слушался только татарина Сашки. Сашка на нем гарцевал по городу, картинно купал в Немане и вообще утверждал, что на небесах они с Фрицем

родились от одной матери и в одной люльке спали. Единственной слабостью Сашки были татуировки. Он был разрисован с ног до головы, но если вдруг встречал необычный рисунок, находил для него местечко. Костян не вылезал из конюшни, подлизываясь то к Фрицу, то к Сашке. Ему хотелось хоть разочек поразить воображение юных горожанок, явившись пред их очи верхом на Фрице. «Это он на тебе гарцевать будет! — смеялся Сашка. — А ты будешь только квакать и какать». Костян решительно воткнул шило для татуировки в дверь денника и сказал: «А если я ему весь член татуировкой изрисую — тогда что? Только, чур, ночью». Сашка так ошалел от этого сверхбезумного предложения, что взял да и согласился. Спал он в ту ночь снаружи у дверей конюшни, пока Костян упражнялся с Фрицем. Ровно в шесть Сашка стукнул в колокол и распахнул ворота. Костян смело подвел Фрица к хозяину, сбежался народ — все ахнули: татуировкой были покрыты даже самые такие места, к которым сам конь поостерегся бы прикоснуться. Под рев и аплодисменты публики Сашка оседлал Фрица, хорошенько его взнуздal и, держа татуированной ручищей за узду, провез Костяна по центральной площади и возле моста, где любопытных собиралось как мух на дерьмо, а уж потом вернул в конюшню. Фриц был возбужден, кобылы в денниках волновались, и Сашка погнал всех подальше, разрешив остаться одному Костяну. Но тот предпочел пойти в школу.

Вместе со звонком на большую перемену на весь город разнесся хищный рев Сашки. Костян, бросив портфель, выскользнул из школы и чуть не попал в Сашкины руки. Конюх размахивал чем-то вроде огромного чулка, норовя приложить им Костяна, но юркий братец скользнул в конюшню и скрылся вон через другие ворота.

Вечером во всех пивных городка только и разговоров что об утреннем приключении. В Кукольном домике, куда Сашка по вечерам ходил пить пиво, его взяли в плотное кольцо, и конюху пришлось признаться, что Костян хоть и обманул его, но обманул по правилам ветеринарной науки. В аптечке, куда конюх не заглядывал лет пятьсот, этот оголец обнаружил целую кипу конских презервативов, один из них разрисовал и нежно украсил Фрица. «То ли наши их понаделали, то ли от немцев осталось, не знаю, — горячился Сашка. — Но когда Фриц с кобылы слезает, а все у него в натуральном виде... пришлось искать причину глубже...»

24

— Как преобразается все и вся под влиянием времени, — сентенциозно заметила Катя. — Дай докурить. Одну затяжку. — Выдохнула дым и швырнула окурки в приоткрытое окно. — Сколько вам тогда было лет?

— Ты имеешь в виду несоответствие мира тогдашних подростков моему рассказу? — Я налил себе коньяку. — Это естественно. Я ведь тебе рассказывал не то, что было, а что было в действительности.

— Дома тебе еще многое предстоит узнать...

— Дома. Господи, как приятно ехать не в отпуск, не просто так к тетке на фу-фу, а — домой. На Дербеневскую набережную.

— Только благодаря твоим незаурядным бюрократическим способностям...

— Твоему стоическому спокойствию...

— И деньгам, если договаривать до конца. Я даже не предполагал, что в итоге у нас окажется столько... Кажется, мы должны поблагодарить за это некоторые правоохранительные органы. На прощание он сказал, что органы должны нежно любить интеллигенцию... нет, искренне любить интеллигенцию, и не на всякий чешский случай, а именно искренне... Большинство моих коллег, сказал он после пятой рюмки, твердо убеждены, что интеллигенты самые настоящие эмигранты в СССР. Граждане другого государства. Другой народ.

— Налей мне капельную капельку — хуже не будет, — попросила Катя. — Мужиком себя считал — тореро! Сын мой, говорит, мозгльк, а вот я...

— Слыхал. Извини. Я и без комплиментов генерала КГБ вижу, что не ошибся выбором.

— Борис... — Она растерялась. — Да наплюй ты... И вообще мы говорили о Костяне. Я ведь знаю только одну про него историю. Как он ворвался в гастроном с резиновым шлангом, торчавшим из-под плаща, тотчас его уронил и завопил дурным голосом, что у него хвост оторвали. Это что же за заведение такое, куда порядочный человек не может войти с хвостом! Дайте жалобную книгу и позовите заведующую! Бедная тетка идеально сыграла свою роль в театре абсурда. Она с извинениями поднесла уважаемому клиенту бумажный пакет, в котором оказался круг копченой колбасы и бутылка коньяка.

— Водки, — с усмешкой уточнил я. — Бред какой-то. До последнего не верил, что дураки, они и есть дураки.

Катя пересела ко мне и прислонилась к плечу.

— А потом — смерть?

— Странно: я думал, он просто рожден, чтобы прожить в этой абсурдной реальности лет хотя бы сто. Человек, который набил карманы лучшего пиджака лучшими своими стихами, залил их клеем и в случае чего велел его похоронить именно в таком виде!

— Под влиянием твоей безжалостной критики.

— Однажды он читал какую-то свою лабуду, и вдруг Конь, самое терпеливое животное на белом свете, размыкает уста и произносит:

Мню я быть мастером, затосковав о трудной работе.
Лить жеребцов из бронзы гудящей с ноздрями как розы.

— Это Павел Васильев, кажется. И сразил его Конь?

— Наповал. Он перечитал всего Васильева, не обнаружил ни одной равноценной строчки, расстроился, но и задумался. Я не хотел, чтобы он уподобился придуркам с филфака, которые сплошь пишут стихи, но на самом деле их причастность к поэзии ограничивается мелкотравчатой политической фрондой, грязными ногтями и невымытыми волосами. А весь их авангардизм — это совокупление слепых в крапиве, как сказал Андрей Платонов. Заметь, что по окончании университета в большинстве своем они избирают стезю, ведущую к благополучию и общественному признанию. Исключения же лишь подтверждают правила.

— Ты не считал его исключением?

— Я считал, что если он не сопьется, не сойдет с ума, не ссучится, то годам к сорока из него может что-нибудь получиться. И убеждали меня в этом вовсе не его сраные стихи, а тот случай с женщиной... с Афродитой Анадиоменой... Очень по-взрослому он тогда к этому отнесся. Во всех смыслах по-взрослому, как я сам позднее понял. Ему возврата ни в собственное детство, ни в детство наше общее — человеческое. На несколько недель эта женщина затронула в нем какую-то струну, которая толкнула его не к безудержному онанизму, но к размышлению, превышающему его мыслительные способности. Он молчал все эти недели, и это молчание в его возрасте дорогого стоило. А потом — шланг из-под плаща! Ему бы жить в какой-то другой жизни, по другим законам... что я разворчался, как бабка! — Я махом выпил рюмку. — Ему все время надо было придумывать какие-то ситуации, в которых он чувствовал бы себя по крайней мере собой. Вот он и придумал себе возлюбленную — эту Лану...

— Лана Хотилова? Которая...

— Да. Лана Хотилова. Умная, в очочках, не сказать чтобы красивая, даже неловкая.... На университетском вечере они разговорились, он проводил ее домой, наверняка думая о какой-нибудь распаленной телке в сосед-

ней комнатухе... А ведь у него была одна такая! Азиатская девушка со странным знаком на спине. Она утверждала, что их семь сестер и у каждой на спине вытатуирована — или от рождения так — часть фразы. По решению семьи девушек разбросали по всему свету, чтобы они даже случайно не встретились, потому что тот, кто прочтет на их спинах надпись целиком, уничтожит мир. Она ему, впрочем, наскучила. Да, а Лана — назавтра же про Лану ему сказали, что она неизлечимо больна. И вот тут в соломенной голове Костяна случается озарение: только любовь мужчины к безнадежно больной женщине может быть подлинным предметом поэзии. Ну, что-то в этом духе говорил и Эдгар По, но это не важно! Отныне есть оправдание для духа мрачности, запойных состояний и нечищенных ботинок.... зубы, правда, чистил каждый день... Смешно, но он стал поигрывать в картишки, и иногда ему везло. Впрочем, какой там преферанс в общаге — копеечный. Дело не в том. Они стали встречаться почти каждый день, и он вдруг обнаружил в этой девушке чертову уйму достоинств. Он мог подолгу рассказывать о ее воззрениях на Воннегута или Кафку, описывать ее пальчики на ногах и вообще нести чушь... да чушь ли это? Через месяц ее уложили в больницу. Опухоль головного мозга. Костян склеил коробку из картона вроде обувной и подарил Лане. Там жил щенок. Воображаемый щенок. Не важно, какой породы. Когда Лане позволяли гулять, они выходили в чахлый скверик на Монетной втроем — с собачкой. Они играли со щенком. Он путался у них в ногах — это были забавные балетные номера. Я стоял в оконном проеме на втором этаже и не отрывал от них взгляда. «Это ваш брат? — спросил меня какой-то врач. — Девочке совсем худо. А он хороший человек, ваш брат». Я же, признаться, думал о том, что станется с этим хорошим человеком, когда она умрет. Я даже пытался разговаривать с ним об этом, о том мраке, в который он сознательно себя вгоняет, а выгнать не может уже бессознательно, потому что это было бы бессовестно — взять и перестать к ней ходить. Мрак. Я ничем не мог помочь брату. Да и кто бы помог? Мне иногда казалось, что это именно та жизнь и та смерть, которых он искал чуть ли не от рождения. Если он и чувствовал себя тогда несчастным, то это было естественное, неизбежное и необходимое несчастье. Лента Мёбиуса. Сейчас — ну, то есть тогда — он писал чертову тучу стихов, рвал, жег, рычал и метал. В те дни я ни разу не сказал ему, что его поэзия никуда не годится. Ну... в конце концов, иногда в его стихах что-то промелькивало — *профиль юности бессмертной*, — и я молчал. Хотя, вот какая штука, и он в те дни не донимал нас своими виршами. Писал и уничтожал. Это был какой-то заговор молчания, прости меня.

Через полтора месяца она умерла — он даже на похороны не пошел. Сидел у себя в комнате с картонной коробкой — ее подарком — и молча смотрел на вспышки, срывавшиеся с пантографов проносившихся мимо общежития трамваев. На коробке ее рукой было написано: «Там худо нет». Но он ее так и не вскрыл. Мы возем ее с тобой в Москву — может, там и откроем. А может, и нет. Остальное — просто глупо и просто печально. Он ушел из университета, устроился в какую-то комиссию — по благу, через Коня, — которая принимала концертные программы в ресторанах и кафе. Вообрази. Сыт, пьян и нос в табаке. Да без удержу — деньги завелись — ударился в карты. Не учел только, что это не студенческая общага — игроки другие. Меня вызвали на опознание — я его опознал. Вспомнил его шуточку в ответ на вопрос, почему его в армию не берут: «У меня левая нога короче правой на шесть сантиметров, а правая короче левой — на восемь». На самом деле очки — десять диоптрий. Двенадцать ножевых ранений, да еще стулом били...

Я допил коньяк из горлышка.

— Вот и весь Костян. Не могу согласиться. Верить — верю: мертв. Согласиться не могу. Спатиныки?

— Ты хочешь открыть эту коробку в Москве?

— Я никогда не хочу ее открывать. Пусть себе, раз худого в ней нету.

Были хлопоты, были, разумеется, проблемы — кто с ними не знаком? Все. В конце концов все мало-помалу уложилось, я устроился преподавать английскую литературу в пединституте, подрабатывал переводами. Катя родила отличную крикливую девчонку Марусю, и о работе молодой маме думать было рановато. Хотя исподволь я учил ее понемножку немецкому: чутье подсказывало — язык перспективный в России. С Конем мы встретились позже — вся Москва в ржавых киосках, народу понавылезло изо всех углов — Боже мой! Кидалы, киллеры, проститутки, писатели, евреи и спирт «Рояль». Что это были за времена, Господи, — и какой *Zeitgeist* шибал в нос! Это была пора слепой ненависти и безумных надежд, воспалявших разум русских людей, будь то евреи или нищие, водопроводчики или философы, — как то было, может быть, в Иудее во времена Иисуса, то есть на самом деле некую окончательную, непременно полную и окончательную русскую истину искали, но не находили и поэтому в голос обиженно кричали о пришествии века Иуды (сравнения были в моде). Призрак коммунизма играл в наперстки с призраком свободы. В ржавых хибарках у Красной площади торговали фальшивой водкой, американскими сигаретами из Польши и презервативами с усами «как у Буденного». Цены менялись быстрее, чем привычки, но не так быстро, как нравы милиционеров. Миллионы людей, русских и «гуских», враз эмигрировавших из империи в «эту страну», питались морожеными сосисками, ругали Чубайса, читали в электричках Евангелие от Иоанна и ждали чуда. Едва ли не каждый день возникали новые кумиры, но гораздо больший интерес и даже удовольствие особого рода доставляло ниспровержение кумиров старых.

В нашу редакцию приходил несколько раз сын легендарного героя Гражданской войны, репрессированного при Сталине, и я хорошо помню жалкую растерянность и горькое недоумение этого почти слепого старика в бедном костюме и черных очках, который после казни знаменитого отца ребенком попал в концлагерь и всего хлебнул: «При Горбачеве отца реабилитировали, и он стал героем, а я сыном героя, и вот он опять враг, большевицкий палач русского народа, а я кто?» Мы угощали его чаем, он вздыхал, наконец за ним приезжал внук на «мерседесе». Им на смену являлись кришнаиты со своими бубнами и гороховыми тортиками в пластмассовых коробках; великие русские писатели в черных косоворотках и итальянских ботинках ручной работы; семнадцатилетние епископы Белого Братства со свитой из некрасивых девочек, вооруженных гитарами и огромными наперсными крестами; бородатые академические филологи, сочинявшие под англосаксонскими псевдонимами женские романы; эссеисты, все, как один, инфицированные Розановым и в стремлении усть друг дружку изобретавшие крылатые фразы вроде: «Он не философ, а украинец»; шикарно одетая невразумительная девочка лет двадцати пяти, которая изящным жестом выкладывала на стол перчатки чудесной кожи, закидывала идеальную ножку на другую, тоже идеальную, закуривала умопомрачительную сигарету и рассказывала о своей жизни в провинциальном городке; бывшие агенты КГБ, работавшие за границами под крышей крупных газет и после развала Союза оставшиеся не у дел, с многозначительным видом выкладывали на стол мемуары, из которых явствовало только одно: рассказы о хитрости и коварстве наших спецслужб — жалкий миф для самых тупых обывателей; дельные люди и экстрасенсы; торговцы мумие из казеинового клея, зонтиками для подводного плавания и путевками в Антарктиду со скидкой для беременных, слабовидящих и слабоумных; американский профессор русского происхождения, предлагавший решить все экономические проблемы России путем продажи многотысячетонного слитка чистой меди, закопанного при Сталине между Москвой и Ярославлем; страшно популярный автор романа «Как закалялась шваль»;

председатели фондов опеки над несовершеннолетними императорскими пингвинами-сиротами; держатели акций компаний по реставрации канцелярских скрепок методом астрального гипноза; самоуверенные лесбиянки на содержании у заальпийских писателей транссексуальной национальности; очаровательные поэтессы, сочинявшие верлибры на предмет взаимопонимания с европейскими издателями и вечно путавшие хиатус с коитусом; люди, путавшие искусство с искусством жить... Наконец являлся наш дворник — поп-расстрига по кличке Овно — «Пьяница живет вдвое меньше, зато видит вдвое больше» — с букетом водочных бутылок и возглашал колокольным басом: «Чтоб выше и толще!» А мы хором отвечали: «Но глубже и слаще!» И все это время я писал. Писал как сумасшедший, как одержимый, по ночам, в метро, где поток моего беллетристического красноречия был остановлен жестом безусловным и абсурдным: сидевший возле меня тощий тип в белом плаще, белой шляпе и белых перчатках вдруг вынул из кармана опасную бритву, рванул шелковый белый шарф и всадил себе бритву в горло так, что кровью был забрызган даже потолок...

Я позвонил Кате, и тем же вечером Конь, отпустивший кудлатую растительность, обзаведшийся очками и хрипотцой в голосе («На митингах выорал себе наградку»), оказался у нас в гостях.

Опрокинув по рюмке-другой и закусив, мы пили чай, как в дверь позвонили.

На пороге стоял сапожник Ари с неизменным своим глиняным лицом и тысячулетней печалью во взоре. Он протянул мне свернутую трубочкой Джоконду, а я снял с шеи цепочку с пятидесятикопеечной монетой семьдесят какого-то года чеканки. От приглашения и угощения он отказался.

Я вернулся в комнату и показал Коню иллюстрацию, вырезанную из журнала.

— Ари, — сказал Конь. — Ари!

Мы распахнули окно и увидели странную троицу, пересекавшую наш широкий горбатый двор. Впереди широко шагал рослый мужчина в шляпе с опущенными полями и посохом, вырезанным из какого-то дуба в 1613 году, когда Вечный Жид последний раз посетал Москву. Рядом шел другой Сартори, Адам, который в каждом десятом встречном искал черты дьявола и до сих пор не обнаружил, но и не обессилел. Третьим семенил за ними глиняный Ари. А из-за куста вышмыгнул четвертый в странном одеянии, лицо явно клеенчатой национальности, с клоком соломенных волос на лбу, и когда разворачивавшаяся машина осветила четверку ярким светом, лица их вспыхнули, и особенно ярким был профиль юности бессмертной...

Он помахал мне рукой.

Они скрылись за углом. За ними юркнула собачка, на прощание тявкнувшая по-немецки.

Катя положила передо мною на подоконник знакомый том, перевязанный зачем-то толстой красной шерстяной нитью, и я сразу все вспомнил, сорвал нитку и открыл книгу там, где захлопнул ее отец.

— Дождь кончился, — сказал Конь. — А покоя в природе все нету. Не иначе — к снегу.

Расплывшееся на двух страницах книги пятно обрело очертания, шевельнулось и легко сорвалось в темноту, где навстречу ей с неба уже плыл пепел заката, превращавшийся на лету в мириады таких же белых бабочек ранней московской зимы...

Я посмотрел вдруг на перстень Ульриха фон Лихтенштейна, украшавший мой мизинец по настоянию бабушки и Кати. Перстень посмотрел на меня рыбьим глазом. Глаз мигнул.



БОРИС РОМАНОВ

*

ЗАБЫТЫЕ ПЕПЕЛИЩА

* *
*

Черноплодки куст лежит кудлатый —
нет его белей.

Иней тополей
желтоватый и оранжеватый
на погасшей плоской синеве,
в фонарях над колеей парящих,
серебро былинки сосчитавших
в снегом припорошенной траве.

Бесконечной осени посул
выморожен, и седой стрелю
пролетел мороз, как в соснах гул,
в оболонь впился, в хвою пахнул,
в каждой капле выглянул иглоу.

В старый век упал последний снег,
первый и последний. Всюду нами
вычернен под вечер, он поблек
и растаял вместе с временами.

К портрету Виктора Михайловича Василенко

Забывтый зек и одинокий
старик, не слышавший похвал,
скромнейшей музе в час жестокий
чуть слышно слово поверял.
И, посреди вопросов вечных,
на этот лишь ища ответ,
не всех ли встречных-поперечных
он вопрошал: — А я — поэт?

Прошаркав, провожая, к двери,
дежурный задавал вопрос,
в бессмертье цепкой рифмы веря,
скреплявшей жизнь его всерьез,

и простодушно ждал ответа,
и мешкал я, спеша домой...
О Боже, спрашивал он это
и у Ахматовой самой!

Скупые встречи вечерами.
Его двухкомнатный приют
в пыли и книгах. Вместе с нами
стихи витийствовали тут.
Гул коктебельского залива,
колючих пазорей эффект,
гудя за окнами тоскливо,
газил Мичуринский проспект.

И он, одышливо паривший,
поэзией, как мальчик, жил...
Не Вяземский, всех переживший,
словесности Мафусаил, —
изгой прокуренных редакций,
чужой ученый старикан,
что неуместен, как Гораций,
когда агитствует Демьян.

В Великом Устюге и Мстере,
в иконном Палехе, в Торжке,
с артельщиками в разговоре,
с природою накоротке,
он был так прост и так возвышен,
сей созерцательный поэт,
чей пафос трепетный излишен
глухим читателям газет,

истолкователь грез в узорах,
коньков безгривых мшелых крыш,
искатель мифов златоперых
в золе забытых пепелищ,
Руси кикимор и русалок
в затонах тинистой глуши,
в резьбе наличников и прялок,
в лесах языческой души.

Последний боковой потомок
Григория Сковороды,
в полярной прорези потемок
молившийся на свет звезды,
с которым Даниил Андреев
в зашторенные вечера
от Монсальвата эмпиреев
бросался в Индию вчера,

который ежился в бараке
и «Ворона» переводил,
а тот в окоченевшем мраке
«возврата нет» ему твердил.
И nevermore, что там звучало,
стучало клювом злым в висок;
неумолимо означало
двадцатипятилетний срок.

Где тундра небом так прижата,
 где и до дна промерзнув вспять
 Усе не течь... Но *нет возврата*
 устанет ворон повторять!
 Все удивительно! Но это —
 и лихолетье, и беда —
 лишь жребий русского поэта,
 который темен, как всегда.

Письмо

Мне друг прислал прискорбное письмо.
 «Сын на иглу посажен, я — в дерьмо,
 в долгах, в трудах и в ругани базарной.
 Кто наркоман, тот поневоле вор, —
 он „панасоник” из дому упер,
 с инсценировкой грабежа бездарной.

Был милый мальчик — рус, голубоглаз,
 но взвихренное время не для вас —
 не простодушных, но голубоглазых.
 — Господь, за что?! — Иовом вопиешь,
 и непонятно, как еще живешь,
 но ужаса не передашь в рассказах.

Гнус, посадивший парня на иглу,
 недолго помаячил на углу —
 с отрезанной башкой нашли в подвале.
 И мент, его сменивший, лейтенант,
 недолго жил — похожий вариант, —
 в разборке к рельсам насмерть привязали.

Но головы у гидры так растут,
 что сколько ни руби — мартышкин труд.
 Не нож точить пора, пора молиться.
 В подъезде мгла, окурки и шприцы.
 Феназепам и водку пьют отцы,
 а трезвому осталось удавиться».

* *
 *

Лишь слово может выжить. Потому-то,
 читая на побеленной стене:
 «Мы были здесь!» — с ремаркой: «Это круто»,
 я соглашаюсь с надписью вполне.

Мы были здесь! Мы пробежали мимо,
 мы оставляли мимолетный след.
 И миру объявить необходимо:
 «Мы были здесь! И здесь нас больше нет».

* *
*

Я полуспал. Кошачьи голоса
вонзались в тьму, как дисковые пилы.
И мертвецы вставали из могилы,
влетали в сны, припомнив адреса

своих друзей. Пожить хоть полчаса
во сне. Ну что ж... Нужны иные силы
на явь, в которой мы не многим милы,
где лишь любви доступны чудеса.

Вот почему, погибший молодым,
заносчивым, кудрявым и худым,
наивного не прекращает спора,

в предутреннем тумане сентября
меж сливой облетевшею паря
и черноплодкой согбенной у забора.



НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР



РАССКАЗЫ

ЗОЛОТАЯ ПОЛОВИНА

Она рукой отделила половину золота в шкатулке, сложила ее в пакет, который закуклила в черный свитер. Еще в сумку побросала что-то и выбежала из дома, крикнув: «Уеду к маме».

— Ира, ты не понимаешь... — кричал муж вслед.

— Малышонков, я сменю фамилию после развода! Золото твоей покойной мамы я не тронула. — Ее взгляд режет, как меч.

Кот Бойкот смотрел на убегающую хозяйку, и казалось, что он морщит лоб от раздумий над происходящим (лоб у него полосатый): «Вот, в очередной раз убедился, что я умнее всех! Она куда-то побежала из дома, как будто бы найдет еще что-то... Я вот не ищу, я сразу нахожу, как Пикассо, о котором мои хозяева часто говорят!»

Он много раз присутствовал, кот Бойкот, при том, как они вспоминали о знакомстве... Впервые налетели друг на друга, когда бежали в экскурсионном раже по Пушкинскому музею — вдоль целой стены Пикассо. И хозяин сказал:

— Пикассо просил у пермяков минерал волконскоит — у него зеленый особый цвет, в Очере только есть — у нас. Залегает. Мы послали ему... Так что Пикассо и Урал — это почти одно и то же. У меня дядя — геолог, он и отправлял посылку в Париж.

— Через кого просил? — уточнила Ира, уличающе-кокетливо поведя глазами.

— Через корреспондента газеты «Известия».

И еще больше у них загорелись глаза друг на друга, когда обнаружилось, что у каждого из них огромное наследство: детство. Ира в пять лет говорила матери, занявшей очередь: «Ну почему ты любишь так далеко вставать?»

— А я в третьем классе залез на шкаф, рядом с чучелом крысы. Учительница сказала: «Молодец! Тебе идет чучело».

...Ира себе диктовала: в поезд и к маме! Вдогонку за мамой, которая только вчера увезла дочку к себе на зимние каникулы. Мороз увидел Иру: какие плечи, какие губы, какая грудь! — и полез к ней за шиворот, защищал разнузданно. Она остановилась и подняла воротник дубленки.

У ссоры есть свое поведение, точнее, сознание. Ссора вырабатывает свои собственные антитела, сопротивляется примирению людей, то есть своему собственному уничтожению.

Ира не могла успокоиться: «Он виноват, виноват... Ты кто, крутой спецназовец? — обратилась она к мужу, хотя удалялась от него к остановке. — Сколько раз я говорила, чтобы ты не спрямлял путь через дворы,

Горланова Нина Викторовна и Букур Вячеслав Иванович родились в Пермской области. Закончили Пермский университет. Авторы «Романа воспитания», повестей «Учитель иврита», «Тургенев — сын Ахматовой», «Капсула времени» и др. Печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Звезда». Живут в Перми.

особенно после зарплаты, да еще плюс тринадцатая. В общем, улетело двадцать тысяч на дозы наркоманам!»

А кто еще впятером нападает? Только они. Как Виталий рассказывал, бросились с разных сторон, один тут же сделал подсечку, а другой сел на голову — и зашарили руками... Тут она недослушала, затопала ногами с отвращением, заплевала, а Виталий подумал с испугом: «Как хорошо, что я не успел рассказать, что я закричал, как заяц: „Ребята, берите все, только не убивайте!”»

В автобусе Ира увидела известного телеведущего П. Он сидел рядом с женщиной, которую называл мамой.

— Мама, вы цветы куда везете? Не важно! А положите один цветок на тротуар — в память о погибших в Чечне. — Тут он засек Ирину: — А вы не будете возражать, если рядом с вами будет спутник, верный и мужественный? — И светски дохнул перегаром ей в лицо. И снова: — Мама, так вы положите один цветок на тротуар.

Время от времени он задремывал и вдруг, как проштрафившийся часовой, резко вздергивал голову и по очереди делал два своих предложения: маме и Ире. При этом он выглядел старше их обеих, вместе взятых.

В купе Ирина увидела, что у попутчицы было выражение лица попутчицы, готовой рвануться вперед со своим рассказом о жизни. Она даже улыбнулась, сигнала о начале рассказа... А что она может рассказать-то? У нее такой узкий лоб, что на нем помещается всего одна морщина. Спасаясь, Ирина сунула сумку на антресоли купе и залезла на свою верхнюю полку. Через минуту зашли два, кажется, студента, вырабатывающие громкую жизнерадостность:

— Тогда был ритмичный медляк...

— Нет, тогда погнались уже быстряк!

Потом эти студенты, кипя, утекли — кажется, гоняться за поездными нимфами. И попутчица все же вступила:

— Молодость! Наверно, в ресторан ушли: не понимают, что нынче все риск. Не прижмется им, не сидится. В одном институте этой весной я хотела устроиться гардеробщицей... Все бегут мне навстречу, кричат: бомба, бомба заложена, кто-то позвонил. А одна студентка остановилась перед зеркалом и поправляет шапочку: так, эдак. То ли нервы крепкие, то ли красота дороже жизни.

Ирина свесилась половиной лица и сказала:

— Но ведь в Перми никакого взрыва не было.

— Неохота кому-то зачеты сдавать, вот и звонили. А вы до самой до Москвы?

— Да, и еще дальше, в Молдавию к маме.

— А я тоже дальше и тоже к маме. На могилку. Представляете, всю неделю ее видела во сне, будто она хочет что-то сказать. Мужа не взяла с собой, хоть мы и живем с ним душа в душу, но не тело в тело.

Или он первый сделает шаг к примирению, или я, думала Ира. Слово ИЛИ читается одинаково слева направо и справа налево... не все ли равно, кто первый! Эффект будет одинаковый. Самое точное слово! Нет, никогда!

А попутчица между тем продолжала свою работу попутчицы: смотрела в окно, расстегнула сумку, достала огурцы, орехи, самогон. Ира включила радио.

— В человеке все должно быть прекрасно, говорил Чехов. Псориаз нынче излечим...

Ира выключила радио.

— Так рекламируют лекарства, что хочется заболеть и попробовать, — сказала попутчица. — Давайте помянем мою маму.

Осторожная Ира отказалась. Что за странная женщина эта попутчица? В купе ездит, а хочет только гардеробщицей работать, да и еда какая-то слишком интеллигентная — орехи, курага... Последним попутчица извлек-

ла монолит пахучего слоистого копченого сала. И Ира подумала, теряя окончательно сопротивление от голода: а может, у нее муж, как у меня отец, тоже работал в Афганистане по контракту, золота там накопил, потихоньку продают и тем живут. Сочинив такую жизнь, она резво опрокинула стопку взрывчатой самогонки и рассказала все о заразе муже, который не слушается и так и норовит ходить через дворы со второй смены, все потерять...

— А что он может потерять, кроме зубов? — спросила попутчица.

— Надо быть в этой жизни зорким, бдительным, правда ведь, Леночка? — с невероятным жаром говорила Ирина, даже не удивившись, что узнала, как зовут попутчицу. — У него фамилия Малышонков, а я сменю фамилию. — И она захохотала.

— А дети есть?

— Дочь, когда выйдет замуж, тоже сменит фамилию. — И она опять захохотала: что, съел, Малышонков. — Знаете, Лена, меня до сих пор там, в Тирасполе, любит один однокурсник. Он, правда, женился недавно, слушайте, как говорят: шли три девушки, две красивые, а одна из политеха. Вот на этой третьей он и женился. Выйду за него, не выйду, все равно устроюсь работать, сколько можно быть домохозяйкой? Тем более, что у него тоже фамилия-то... не очень. Пятилетка — разве это фамилия?

Эх, куда ты такая побежала от мужа, думала попутчица, сидела бы на одном месте.

Ира же была полностью уверена, что про свое золото она Лене ничего не брякнула, только подробно объясняла ей, на примере кольца на руке, как искусно кабульские ремесленники выделывают из золота украшения. Она не заметила, как заснула, а потом снова выбрела из сна в явь. Только вдруг она опять лежит на верхней полке, во рту наждак, в голове — цех по выпуску чего-то гремящего. А сумки нигде не видно. Утро обличающе заглядывает в окно, студенты бредят нимфами, которых они не догнали... Ира сразу поняла, что попутчица и Ирина сумка едут сейчас в своем направлении.

В Москве повезло: сразу дали обратный билет (места были, а обычно перед Новым годом все неспросто). И уже через сутки Ира была на Пермивторой. Купила небольшую елку. Она только вошла, жестко держа в голове два варианта: сразу не говорить, что золото украли, или сразу сказать... А он, дурак, смял ее своими ручищами вместе с елкой — одна ветка уколола прямо в глаз! Конечно, Ира много чего может сказать мужу об этом. Но... ничего она не может сказать. Он:

— С Новым годом!

У них это имеет свой смысл. Когда венчались четыре года назад, дочке было три года, священник сказал ей: «Поздравь родителей!» Она смотрит: венцы. И говорит: «С Новым годом!»

Тут Ира набралась смелости и выдохнула:

— Половину золота украли!

— Не может быть! — удивился муж. — Вот одна золотая половина. — Он покачал на руке шкатулку. — А вот и другая! — Он стиснул другой рукой так стремительно нашедшуюся жену.

Вскоре кот Бойкот уже играл игрушками на елке, словно понимая, что они сделаны для игры. Лапой их трогает и слушает, как звенят. Здесь мы и оставим этого умного кота, что счастливо проживает во вновь сросшейся семье.

ПОКА ДОЖДИК БЕЗ ГВОЗДЕЙ

Цесарки были взяты на перевоспитание, говорил Лев Львович. Их привезла мамина подруга Маша (Мария Аверьяновна), которая на две недели сбежала от своих крылатых питомцев и укрылась на курорте Усть-Качка. Три цесарки носились по квартире, кричали, делали свои дела где попало — в общем, курицы, но не простые, а аристократы... И вот летают

эти потомки гадов теплокровных, а в дверь звонок: приехал из Подмосковья Сарынин, он же Вован, единоутробный младший брат. С семьей!

— Вот и хорошо, сынок, что приехал к своему дню рождения! — радостно повторяла Валерия Валерьевна. — Завтра все вместе отпразднуем.

Целый день готовились и в пять часов сели за стол. Час справляли, два. Пили водку «Русский размер», которую тут же стали называть «Русским безразмером». На третьем часу пылающий от выпитого Вован признался:

— А нам тут надо на дно лечь... Мафия здесь, мафия там.

Не успели как следует все расспросить, раздался длинный — гепеушного оттенка — звонок в дверь.

— Это за мной, — сказал Вован, сел на пол и шумно завозился в поисках оружия.

Но вбежала всего лишь соседка снизу. А соседка, она как река: хорошо, если вода чистая, ну а если она несет шумно мусор и муть, все равно ведь ее нужно терпеть.

— Валерия Валерьевна! Кто у вас барабанит по полу не первый день? Вы думаете, если я одна, то меня некому защитить! — И она могуче зарыдала.

Цесарки в это время светски выбрали в коридор.

— Это они стучат носами, когда едят!

Да, это мы, гордо кивали мудрые птицы.

— Их скоро увезут, — чистила Валерия Валерьевна.

От соседки избавились, смыв ее парой-тройкой рюмок (а может, и пятью).

А жена Вована Женя после третьей рюмки превратилась в какое-то тесто и повторяла:

— Я просто не понимаю нашей круглой Земли. Эти разборки, войны...

Лев уже вторую ночь мостился на диванчике в кухне. Длинное его тело недоумевало: для кого построены такие кухни? Лев пытался сократиться, под разными углами укладывая большую ногу. А когда-то — после удачной охоты — на сутки отключался, и теща каждый раз говорила: «Спит крепко — хоть яйца ему мой».

Жене Люсе (Пупику) он месяц тому назад оставил квартиру. Точнее: жене и своему приятелю Саше, который в общем-то спас Лева.

— Александр-освободитель ты мой! — выдохнул тогда Лева.

А когда-то жена так любила дичь, которую он, журналист обкомовской газеты и участник краснобаярских охот, приносил домой. Но однажды его судьба решила измениться. На охоте медведя подняли из берлоги, а он, как какой-то диссидент, возмутился: «Ни за что не сдамся коммунистам!» — и заломал Льва.

Порой Лев тосковал по ушедшему здоровью, но если бы вместе с могучим телом вернулась его прежняя жизнь, то, пожалуй, лучше пусть все остается так, как случилось.

Люся (Пупик) и такого его приняла — инвалида, только иногда говорила, когда был совсем край терпению:

— Жаль, что мишка перепутал тебя с первым секретарем обкома!

— Я ему не успел документы показать, — стойко отшучивался Лев.

Все бы можно было стерпеть, если бы он не стал мешать проституткам заниматься своим делом. Люся (Пупик) начинала каждый скандал со страшного далёка. Например:

— Гумилев говорил Ахматовой: «Аня, если я когда-нибудь начну пасти народы — отрави меня»... А ты паси народы, но без меня.

— Ну Пупик, Пупичек, остановись.

— Дон Кихот нашелся, МЧС! Библиотека по закону — наша общая. Зачем ты продал альбом Дали? О ребенке вообще не думаешь.

Их ребенок — замужем в Питере, поэтому не участвовал в беспощадной семейной разборке. А Лев с каждым словом жены удалялся навсегда от когтей Люси (Пупика), но они вытягивались хитрым образом до горизонта...

— Ну и иди к своим злобучим магдалинам! — закруглила семейную схватку Люся (Пупик).

И он пошел. На улице Ленина стояла Валентина, которая появилась совсем недавно. Она делала первые шаги в древнем занятии и голосовала. Машина затормозила резко и всю ее окатила из лужи. Валентина отбросила пропитанную грязью сигарету, заплакала и начала оттирать первым снегом пальто. Мужик вышел из машины и стал ей помогать. Тощими руками Валентина толкнула его изо всех сил, но он даже и не пошатнулся. Она сама отскочила рикошетом и пошла искать место, где нет луж и там ее подберет первый попавшийся. Лева решил: ну вот сейчас и время, и место подойти, она будет слушать — есть у нее, остались... крошки гордости, чувство непотери себя. Он подошел и только открыл рот, как она ему прямо обратно в рот вогнала его слова (струей терпкого мата). Ну, пока с ней все, заход сделаем еще через неделю. Но... вряд ли будет удачным и следующий разговор. Валентина сама рассказывала, как в их деревне учительница говорила в духе крепостного права: «Тургенев БЫЛИ хороший писатель».

И в очередной раз Лев встретил качка ростом ему по желудок, с буквально квадратными скулами. Он вздувал дополнительные углы под глазами и говорил:

— Если тебе женщину хочется, мы тебе по доброй душе ее и так дадим! Скучняк-то сгоним с лица! Зачем притворяться и уговаривать их идти в хорошую голодную жизнь? Отстань от наших девочек!

А девочки горько усмехались: «Ромыч нас никому не отдаст — стена!»

С лица дядьки Левки (так его здесь называли) они снимали такую информацию: этот крышелет-крышеход — единственный, кто хочет их передвинуть на более безопасное место. Но мало ли кто и чего хочет! Где они — безопасные места-то? А ведь он трех уже уговорил! Аня с легкого ума пошла работать в кафе, Фая и Лада, тоже с большого ума, — на рынок, где получает всего 5 уев в день. Лев платит за комнату, в которой все трое живут.

Ну и что вышло? Анька без сапог, хотя уже конец сентября, а Файка так занята занятоухой, что нет времени вылечить зуб, глотает анальгин и ходит с флюсом... Того не понимают, три каскадные дуры, что нужно здесь лет десять пахать, подкопить денег, а потом — иди себе в большую жизнь!

Все Нелли-Настя-Наташи стали ему сочувствовать две недели тому назад: известные ребята, видимо посланные квадратным качком, побили Льва, и с тех пор он не только приволакивает ногу, но и ходит с палочкой. Но все равно ходит и разговаривает с ними. Уговаривает. Сутенеры больше пока не бьют, и не потому, что убедились в его несгибаемости, а просто подсчитали: коэффициент этой болтовни мал, пусть его... У них в очереди стоит полно девок из деревень.

Но тут милиционеры ему сказали: у нас здесь все схвачено, не лезь не в свое дело. И девушки начали ему говорить, а сквозь накрашенную красоту их просвечивал натуральный ужас: да не связывайся с ментами, они еще хуже наших пастухов, мы милицию тоже обслуживаем, черные субботы это называется.

Да, некоторые милиционеры стали здорово походить на преступников: с кем поведешься... Но фагоциты тоже иногда начинают пожирать здоровые клетки организма, а не больные. Менты не хуже и не лучше других. Мент, он и есть мент обыкновенный, ментос вульгарис...

Лев увидел: две дворничихи закидывают лопатами мусор в машину с высокими бортами. Как же у них вечером будут болеть руки! Что же это у нас получается: равенство выражается таким образом, что у женщин отваливаются руки.

Когда Наташу он позвал на работу в соцзащиту, она громко захохотала: «Счас! Побежали босиком, пока дождик без гвоздей?»

А Настя таинственно затагнулась сигаретой и рассказала:

— В Древней Греции гетеры носили сандалии, на подошвах которых зеркально было вытиснено: «Иди за мной!» Представляете? Идет, а на пыли оттиски: «Иди за мной». Красота!

— Это были не гетеры, — объяснял Лев. — Настоящие гетеры никого не искали, к ним сами приходили: философы, поэты, атлеты...

— А у нас тоже попадают всякие интересные люди! К одному села в машину, а он привез меня знаешь куда? На ракетную шахту! — В голосе Насти были словно подснежники, но уже современные подснежники, которых все боятся, потому что там — клещи кровопийные. — А другой кормил крошкой, которая была сделана... на шампанском! Вот.

— Ты бы лучше нам помог, — трезво обратилась ко Льву Оля, юная щучка такая, — профсоюз организовать. Пора отчислять на пенсию. Тогда бы эти коты только полетели у нас! Они ведь с нами как разговаривают: «Ты слушай меня, курица потная!»

— Наши сестры... на Западе... имеют... права, — неуверенно сказала Неля, у которой была особая органика: она говорила по четыре слова в час.

В общем, только журналисты поддерживали Леву, может, по старой дружбе. Но статьи — это хорошо, а деньги за них они получали сами. А Лев Львович во что бы то ни стало решил купить Ане сапоги! Что из маминой квартиры еще можно нечувствительно продать? Валерия Валерьевна с утра, не предчувствуя убытка, в своей комнате вела телефонную беседу с подругой из Усть-Качки:

— Маша! Витамины им сама будешь давать, как приедешь... Я при встрече тебе расскажу, сколько тут проблем навалилось... Кыш с колен! Это цесарки с тобой хотят поговорить... Маша, ну что тут сделаешь: он не понимает, что древнейшая профессия потому и называется так, что она — навсегда! Левушка весь в отца... романтик, мягко говоря.

— Мама, прошу тебя — не надо! — вошел и сказал Лев Львович.

— Если бы твой отец был умным, он никогда бы не застрелился из-за того, что его исключили из партии!

— Ну верил человек в рай на земле... Как папа мне говорил: «Когда я вижу красные руки женщины, такую нежность чувствую к ним ко всем». А еще он говорил, что, работая в облисполкоме, дает и дает квартиры матерям-одиночкам, но не может всем женщинам вернуть белые руки. Но в будущем-то, восклицал он, при коммунизме, красных рук не будет!

— Вот тебе и руки женские! Если бы он не раздавал квартиры, оставлял часть для своих коммуняк, его бы не выгнали из КПСС, он бы не застрелился, а мне бы не пришлось... выйти замуж за другого такого же умника, этого Сарынина, который спился буквально за десять лет!

Тут за Сарынина вступился его сын Вован, и спор разрастался во все стороны. Только цесарки сохраняли оптимизм в любой ситуации: много ели, кокетливо вскрикивали и абсолютно никого не осуждали. Мама — Валерия Валерьевна — не то чтобы осуждала сыновей, она просто недоумевала: как же так случилось, что дети были такими, а стали вдруг другими. Ей уже за семьдесят, поэтому привыкать нелегко. Хотя была у Валерии Валерьевны и университетская широта взглядов (проработала всю жизнь преподавателем английского), и врожденная доброта. Лев бы вообще ничего не имел против цесарок, если б они так не загадили альбом с открытками о войне 1812 года. С помощью «Фэйри» придется оттирать.

— Слушай, ты что — хочешь продать альбом? И так уже все размаркеданил.

— Могу продать пианино, если ты не против, мама.

— Ты что! Это же пианино! Я в нем — внизу — храню обувь. Привычка. Ты знаешь, что такое старость? Старость — это привычка к привычкам.

— Тогда альбом...

— Левушка, по этим открыткам снимали «Войну и мир», посмотри: вот мизансцена с Кутузовым!

— Ну и чудно: все есть в фильме.

— А что у тебя останется на память об отце?

— Память и останется.

— Говорила тебе: баллотируйся в мэры! Тогда ты был бы на виду, денег бы сейчас у тебя хватало, чтоб спасти эти падшие создания...

Цесарки начали взлетывать, как бы показывая: вот так бы взлетели твои девки, если бы ты стал городским головой. Однако... курицы, они и есть курицы: изнеможенные, они тут же падают с шумом, сшибая вихрем от крыльев газеты и фарфоровую статуэтку Достоевского, словно испуганного, что роман его вот-вот пустят на рекламу топором. Но не разбился Федор Михайлыч! Косит под нервного, а крепко!

Да, лет десять тому назад многие советовали Льву баллотироваться в мэры, он тогда был видным деятелем демократического движения. Только... ведь даже Гавриил Попов ушел из мэров Москвы. Демократам не дают ходу, но мама этого не понимает.

— Отлично я все понимаю, Лева! Ты хочешь изменить мир, но я прожила жизнь и думаю, что жрицы панели не променяют тысячу долларов на три тысячи рублей зарплаты! Да и никого изменить невозможно.

— Мама, нет у них тысячи зеленых: большая часть денег уходит сутенерам, на взятки, на лечение. Россия не устоит, если превратится в бордель. А за ней и весь мир... Мы же не можем существовать по пословице: «Провались земля и небо, мы на кочках проживем».

— Февралик ты мой, крыша в пути! Бандиты избили, милиция угрожает, а ты свое...

Цесарки налетели на сидящего в кресле Льва и закрыли живым шевелящимся ковром, чтобы никто из преследователей не смог найти его...

Вован вышел из ванной и вставил свое веское слово:

— Брат, а ведь ты случайно стал таким святошей, мишка помог: свернул тебе кости-то. Если бы не он, ты бы сейчас был мэром и принимал подношения от капитанов секс-индустрии (чувствовалось, что Вован подумал про себя: и мне бы помог в разборках).

— Ни один миг не случаен в жизни. Даже то, что я был как будто под наркозом, когда медведь встряхивал и мял меня... Но понимал каким-то соевым чувством, что зверь — это и есть то мохнатое, что во мне раньше было.

— Дальше знаю: злодея пристрелили. — Сарынин подумал про брата: «А все-таки ты, Левка, лейтенант, вообразивший себя генералом».

— Пошла, пошла со стола! — закричала Валерия Валерьевна на цесарку.

Птица степенно спрыгнула и зацокала роговыми когтями.

Васька, сын Вована, включил телевизор.

— Астрологи советуют: сегодня полезно для здоровья начать день с прогулки по росе...

— Двадцать третьего октября по росе, а в ноябре будут загорать призывать, — дала бой телевизору Валерия Валерьевна, так что звездный маг в ящике затуманился, затрещал и спрятался за мелкими волнами.

Васька надавил на пульт, прекратив мучения звездочета, и забасил:

— У вас тут компьютерные клубы наклеиваются или только все птичек разводят?

— Сейчас нам не до стрелялок-ходилок, надо глубоко на дне лежать, — еще на полтона ниже забасил Сарынин-старший.

— Что вы травмируете ребенка! — И Валерия Валерьевна мелко заходила, как ее три голенастые подопечные, вокруг бедного, почти ростом с нее, внука.

— Такого травмируешь! — Сарынин был уверен, что Васька будет непременно генералом (а кому еще генералом-то быть?).

А у Льва в это время подергивались синеватые губы, и он сказал заковыристо:

— Сейчас я... идти в центр. Создать прецедент. Нужен прецедент. На днях... пойти в администрацию, а они не слушают: «Разговор окончен, господин Преклоненский». С господами так не разговаривают. Я идти!

— Лев, ты сегодня принимал свое лекарство? — встревожилась Валерия Валерьевна, положила в сумочку английский любовный роман и ушла в парикмахерскую. (При этом у нее появилось воздушно-лишее выражение лица: вы как хотите, а я на некоторое время ускользну от цесарок и прочих проблем).

Одной из прочих проблем была жена Вована — Женя, которую Валерия Валерьевна называла не иначе как Некоторые. «Некоторые меня доводят! Лева, как могут Некоторые готовить салат из редьки? Редька пахнет потными носками».

Когда Вован метался в Подмоскowie между Перстищами и Волобуем, жена его Женя не позволяла пыли долетать до стола, а тем более до пола: она еще на лету ее подхватывала. А здесь! Если бы всех трех цесарок построить в шеренгу да заставить хором испражняться, она бы приспособилась на лету подхватывать их гуано, не дав долететь до пола. Но живые твари разрушают любые мечты. Так всегда было в жизни Жени, и ей хотелось, чтобы изредка вокруг было меньше живого: чистоты бы больше стало...

Когда Валерия Валерьевна улетела, Женя стала бороться с результатами кишечной деятельности цесарок, шепча: «Бесполезно все это, бесполезно». А эти самодовольные птицы посматривали на нее круглыми свекровыми глазами, словно вот-вот начнут недоумевать: «Почему это в английских любовных романах постельная сцена всегда на сотой странице?» Женя уже знала, что свекровь покупает любовные романы на английском языке в секунд хэнде по пятерке штука. Она стесняется обсуждать их серьезно и поэтому пересказывает по телефону с иронией то одной, то другой приятельнице. Но так долго и подробно, что Женя понимает: это для нее не шутки и навсегда.

— Вова, без мамы ты можешь рассказать мне все? — спросил Лев у брата.

У Сарынина в груди что-то дрожало, когда он слышал, как его называют Вовой. В прошедшее десятилетие вокруг него только и звучало: «Вован! Вован!» И вроде бы даже приятно слышать «Вова», но ведь нельзя расслабляться (чувствуешь себя маленьким и голым, когда ты — Вова, а Вован — это крепкий панцирь, и его еще надо наращивать и наращивать)... Время — непонятный партнер, с ним не договоришься... Позавчера только получил паспорт, а вчера уже отпраздновали тридцать четыре годика.

Да, Вован был когда-то Вовой. Признаки Вовы: он выпускник среднего авиационного училища, где его научили лепить квадратные сугробы из снега. Дежурный офицер всегда проверял, одинаковой ли высоты и ширины эти белые монолиты. Но Вова сумел сохранить в себе кое-что человеческое, потому что был раздолбай. Жена появилась внезапно (приехала заведовать клубом). До этого она год работала завклубом в Частинском районе, и Валерия Валерьевна за глаза называла ее: «Заслуженная артистка... Частинского района». Не успел Вова прослужить в Восточной Германии и полгода, как спешно началось выведение (оно же разворовывание) советских войск. Мыкались по стране, пока не осели в Перстищах под Москвой. Вова, в глазах которого еще можно было разглядеть квадратные сугробы, в конце концов устроился на частную фабрику воздушной куку-

рузы. Это бывший гараж, который раньше не мог и подумать, что в нем развернется такое производство: выработка денег из сладкого воздуха. Теперь уже Вова резко переменялся в Вована. И месяц так на пятый, обоняя слашавую кукурузную пыль, просчитал: произвести пакетик воздушной кукурузы обходится в рубль, а выручаешь за него четыре! И какая песня: для этого нужны всего лишь крупа да сахар!

Тут Вован вспомнил про свое образование. Он разобрался в станках, сделал их чертежи и заказал в Питере. Деньги-то еще были. При расформировании войск в Германии отцы командиры не скупилась: гони вот машину к договорному немцу за сто километров, а в трехосном грузовике — тонны пайков НЗ, обмундирование, медикаменты. И платили наличными...

Станки и семью Вован перевез в Волобуу, за триста километров от Перстищ. Так пошли дела, что он каждый день взлетал с кровати как бы в сладком испуге. Через полгода в руках уже было пять миллионов — все же рублей, но все же миллионы! В последнюю неделю полсотни продавцов, как пчелы, приносили каждый день ему с подмосковных дорог сладкий денежный навар. Воздушная кукуруза — это ведь расслабление, отдых для водителя... И как же возмутился Вован, когда через дорогу в Волобуе открылась фирма «Кукурузина».

Оказывается, Балашут, один из самых бойких и дельных помощников, три месяца уже являвшийся его компаньоном, срисовал, егерь кошачий, чертежи станков!

— Я, — кричал Вован, — за триста километров отъехал от Перстищ, чтоб не мешать бывшему хозяину. А этот вор укоренился нагло через дорогу! Где у него была совесть, там хрен вырос! Доход упал вдвое... Он мне раньше говорил, что их род — из тех пугачевских отморозков, а я не насторожился...

— Их же Екатерина развесила по ветвям еще густых тогда уральских лесов, — заметил Лев.

— Молодец, матушка, молодец! Но не всех, видать, развесила...

Скрываясь у матери, Вован думал: дурак же я! И эти — упавшие вдвое — доходы... были хороши. Нет, зачем-то взбесился, не выплатил уже независимому Балашуту его долю за три месяца, а он и нанял бригаду! Включили счетчик, и там почему-то быстро набежала сумма гораздо большая, чем стоит вся фирмушка Вована.

— Фабрику отняли, но жизнь-то... ты спохватился — унес! — утешал брата Лев. — Конкуренты рано или поздно появляются.

— Конкуренты — да, но нужны какие-то правила игры. А тут пошел такой головняк!

— Может, вам на север уехать? Там вряд ли вас найдут — север большой.

— Лучше маленький юг, чем большой север, — сказала Женья.

Валерия Валерьевна вышла из своего подъезда и увидела объявление на двери. Хотела достать очки и прочитать: наверное, воду отключат — надо запасти. Но очков не было, они в другой сумке. Старость — это когда одни очки дома на столе, другие — в сумке, а хочется на запас еще пару очков в дупла деревьев спрятать — на случай, когда не ту сумку взяла. Подниматься на пятый этаж? Если в парикмахерской очередь, как она будет читать английский роман? Но нет. Сегодня так мало сил...

Парикмахерша Алевтина Сергеевна работала с ее волосами, как скульптор, отсекая от серебристого монолита все лишнее:

— Какие у вас густые кудри, Валерия Валерьевна, — придется от корней еще проредить, а то во все стороны они будут дыбиться... А ходок-то наш разыскал нас. Узнал, что мой Коля выучился на зубного техника: «Сынок, сынок». А сам все годы прятался от алиментов. И вдруг любовь такая, почему? Оказывается, ему зубы надо вставлять. Зубы ему Коля восполнил, а он не заплатил ни копейки: снова исчез...

Валерия Валерьевна взмахами ресниц (отнюдь не кивками) устанавливала ежесекундную обратную связь с парикмахершей — надо ее выслушивать! Но в узкую паузу втиснула свое озабоченное: «Сколько седых волос!» Алевтина Сергеевна глядела на нее несколько секунд с таким текстом во взгляде: «Посмотрите налево и направо — там у них на головах сплошные сугробы!» Затем вздохнула и сказала:

— Мы, парикмахеры, называем это: серебряная молодость!

Валерия Валерьевна за то и любила Алевтину Сергеевну, что та источала целебные слова. А то иные брякают пластмассовыми словами...

— А про вашего сына, Валерия Валерьевна, мы читали в газете «Планиета Урал». На фотографии он — копия вы, только с бородой.

— Я вам все объясню: у него жизнь перепуталась. Юноши бывают романтичны, а Лева сначала был отличник, с ясным умом, деловой... А теперь стал романтиком.

— Он в самом деле верит, что из курвы можно сделать... нормальную женщину?

— Ходит по такой слякоти, ноги каждый день мокрые... Бесперывно кашляет. Уговаривает их часами, а отдача за год какая? Три девушки согласились бросить это дело. Лева устроил их работать и считает, что хороший результат.

Тут все волосяные дизайнерши стали с жаром подсчитывать, сколько женщин он сможет спасти за десять лет, за двадцать.

— Ему сейчас сорок пять?! Эх, поздно он начал, но вполне может прожить еще лет тридцать. Значит, получается девяносто да еще эти три — в сумме девяносто три девушки.

— А может, еще кпд будет каждый год нарастать на одного человека? Опыт-то с годами приходит в любой работе!

Они заполнили шумом обсуждения весь тесный салон красоты. Одна парикмахерша села в освободившееся кресло и стала на обратной стороне квитанции подсчитывать прогрессивный рост спасенных: три, плюс четыре, плюс пять... Зазвучали астрономические цифры, и под эту победную арифметику Валерия Валерьевна тихо расплатилась и простилась.

У подъезда своего дома она увидела «скорую», на носилках спускали ее Леву с задранной бородой, которому через час уже не будут страшны ни сутенеры, ни промокшие ноги.



СВЕТЛАНА КЕКОВА



ПЛЕНЕНИЕ ИНЕЕМ

1

Ты помнишь, как с тобой мы по дороге шли?
Терялся край земли в сиянье и пыли,
томились листья ив под тонким слоем пыли,
и только облака легко по небу плыли.

Одно из облаков нас, как звезда, вело
по местности простой в знакомое село,
где перекинут мост кирпичный через речку,
где дерево стоит, напоминая свечку.

Там, у оврага, — дом, а в доме — тишина.
Лежит в густой пыли на чердаке икона.
Я знаю, что давно закончилась война,
остался только прах от стен Иерихона,
и рухнула уже Берлинская стена.

А мой отец-солдат через Европу шел,
молилась бабушка, и рыла мать окопы...
И память о быллом, как светлый ореол,
таинственно сквозит над картою Европы.

2

А мы все шли с тобой, и колосилась рожь,
и поле кое-где сияло васильками,
и теплый ветер дул, и пробегала дрожь
по зеркалу реки, и тонкими руками
касалась ива волн, взбегающих на брег,
лягушки квакали в своем речном Париже,
и стрелки на часах вдруг замедляли бег,
но только дом родной не становился ближе.

Мы шли с тобой и шли, и убыстряли шаг,
и щурили глаза от солнечного блика...
Вон там стоит ветла, вон там — растет овраг,
вон там журчит родник и зреет земляника.

Давай передохнем и спустимся к реке,
умоемся и руки вытрем полотенцем...
Вот-вот возникнет дом, где спит на чердаке
измученная Мать с Божественным Младенцем.

3

Я помню, как паук висел на волоске,
как утром шел народ к пустому магазину,
как пахла лебеда, как, сидя на песке,
мой дядя из ветвей зеленых плел корзину.

Где волны той реки, где ветви гибких лоз?
Увяли лепестки кроваво-красных цинний...
Их запоздалый цвет уже убил мороз,
и у корней волос чуть серебрится иней.

На мир спустилась ночь, и в облачном кремле
так тихо и светло горит луны лампада.
Раб Божий Николай давно лежит в земле,
оплакан и отпет, — и большего не надо.

4

Двух осторожных птиц я видела в окно:
сиял в снегу снегирь, как девичий румянец,
а в доме на стене — застывшее кино:
случайный блеск стекла и фотографий глянец.

Синица снег клюет и просится ко мне.
В каком прекрасном сне, в какой волшебной сказке
я вижу целый мир, висящий на стене:
Младенец в люльке, мать, солдат в железной каске?

Вот это — наш погост, а это — город Брест,
здесь — стриженный малыш отважно сел на санки...

У деда на груди — Георгиевский крест,
а у отца — медаль и орденские планки.

5

Росла в лесу трава, шумел колхозный сад,
скачали лопухи и пыльная крапива.
Ты помнишь, как тому уж сорок лет назад
ты перед сном меня святой водой кропила?

Потом гасила свет, и тихо я спала,
мне чудился во сне какой-то конь и всадник,
невидимых церквей сияли купола,
и свет лила луна на бедный палисадник.

6

Плачут птицы больные, вспоминают весну.
Я вас, тени родные, перед сном помяну.

Как рыдание арфы, птичий строится стан.
Спят Димитрий и Марфа, Параскева, Иван.

Никакого зазора нет в пространстве ином
между ангельским хором и провидческим сном.

Между сушей и морем, между ночью и днем,
между будущим горем и слезами о нем.

Мне как будто открыли старой хроники кадр:
в безымянной могиле спит солдат Александр.

Сколько воинов верных час свой смертный нашли
в развороченных недрах материнской земли.

Кто отпет и оплакан и Всевышним прощен,
кто невидимым знаком — красной кровью — крещен.

Снег ли в воздухе тает над молчащим селом,
или ива читает поминальный псалом,

или хочет оставить над пространством полей
крест и «Вечную память» вещей клик журавлей?

7

Вот ребенок на мир сквозь волшебное смотрит стекло:
там деревья омыты дождем, как душа покаяньем.
Каждый лист — изумруд, и прекрасно кругом, и светло,
мир наполнен до края каким-то нездешним сияньем.

Веселится ребенок и зеркальце держит в руке,
зная смысл Благодати, не ведает буквы Закона...
И не видит дитя, что на пыльном лежит чердаке
из разрушенной церкви спасенная дедом икона.

8

Мой ангел был мне дан, когда пришла весна,
прилипла к сапогам кладбищенская глина,
трава была нежна, вода была пресна,
и набивали цвет крыжовник и малина.

Мой ангел был нездешним светом осиян,
он был изображен с мечом и эдельвейсом.
Еще шумел в крови великий океан,
и сердца стук звучал, как стук колес по рельсам.

Но огонь, вода и Дух преобразили плоть,
и стала вновь земля лишь брэнной оболочкой.
Еще я научусь слагать персты в шепоть —
и сжалится Господь над капитанской дочкой.

9

Жизнь наша бедная — жалость и милость.
Ива к холодной воде наклонилась.

Плачет, голубка, а ветка одна
хочет коснуться песчаного дна.

В тихом сиянии, в центре вселенной
молится ива в одежде смиренной,

видит сияющий звездный поток,
плачет, надев свой узорный платок.

Плачет о тех, кто с войны не вернулся,
в гибель свою с головой окунулся,

в вечность ушел — и Господь их простил,
Кровью Своей перед сном причастил.

Как же слезам покаянья не литься,
как об усопших живым не молиться,
как не дарить им любовь и тоску
иве-красавице, ветром колеблемой,
воздуху стылому, птице серебряной,
дереву, камню, речному песку?

10

Будет куст рябиновый пылать,
дань отдав возвышенному слогу...
Дорогие, что вам пожелать —
Ангела-хранителя в дорогу?

За земные тяжкие труды
вы уже рукой коснулись неба.
Вам награда — блеск речной воды
и знакомый вкус ржаного хлеба.

11

Нам с тобою к лицу слабый ответ любви и страданья.
День подходит к концу, наступает пора увяданья.

Это в келью души открывается тайная дверца...
Здравствуй, тихий закат моего непокорного сердца!

Я не знаю, о чем в небе птицы кричат, улетаая,
как листва, на деревьях сквозит красота золотая,

нам ее не понять, мы еще не простились с весной,
и кого мы пленять будем инеем, льдом, белизною?

Нам пора хоронить то, что умерло в юности, в детстве,
кто нас будет винить в незаслуженном, горьком наследстве?

И сережки ольхи тихим светом горят на рассвете.
За былые грехи наши бедные молятся дети.

Вновь сияет луна там, на дне опрокинутой чаши.
От тяжелого сна отдыхают родители наши,

и тоскуют о нас, и лицо закрывают руками,
талым снегом, листвой, испареньями рек, облаками...



АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ

*

ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Рассказы

МОЛОТОЧЕК

Если спрашивали, моя няня Филипповна никогда не говорила, сколько мне лет, но всегда — который год. Не пять, а шестой, не шесть, а седьмой. Мне это нравилось. Я вырослел в собственных глазах, потому что шестой звучало почти как шесть, седьмой — почти как семь. Тем более, что прибавка одного года начиналась сразу в день рождения. Пятого февраля мне исполнилось шесть лет, а по-нянинному уже шел седьмой. Сам я на вопрос о своем возрасте отвечал, как принято: пять так пять, шесть так шесть. В том отсчете времени, который вела Филипповна, чувствовался какой-то подвох. Как будто все было честно, а впечатление создавалось завышенное. Семь лет мне когда еще будет, а я уже целый год хожу в сиянии своего грядущего семилетия. Но были в году два избранных дня, когда мне доставляло тайную радость переходить от своего исчисления времени к нянинному. Четвертого февраля я знал твердо, что мне пока пять лет, а пятого наслаждался тем, что пошел седьмой. В этом мнимом перескоке через год, в исчезновении шестерки таился какой-то секрет, пускай лишь словесный, но все же секрет. Дело в том, что зависить мой возраст русский язык позволял, а вот занижать отказывался. Можно сказать: «Мне шесть лет» — или: «Пошел седьмой...» А как выразить то же самое, употребив число пять? «Больше пяти»? Но сколько именно? «За пять»? Так не говорят. «За» относится к десятилетиям: «За сорок, за пятьдесят...» А «пошел такой-то год» применимо в любом возрасте. Няня и про себя говорила: «Да уж шестьдесят седьмой, почитай, пошел...»

В тот год, когда няне «пошел шестьдесят седьмой», к нам на участок стал захаживать дедушка Филимонов — настоящий дедушка моего приятеля Женьки Филимонова (Молоточка). Женька мечтал стать классным вратарем и по вечерам просил его тренировать. На майку он надевал ватник, «чтобы рыпаться не больно», а я бил ему «пендали» — пенальти, но не одиннадцатиметровые, а с семи шагов. Причем в их отмериванье Женька проявлял жуткую щепетильность. Вначале обсуждался вопрос, чей шаг принять за эталон: мой или его? Я считал, что мой, раз я бью, а он спорил, что его, раз он отбивает. Но дело было не в том. Просто Женька шаггал пошире. Я уступал, небрежно обещая Молотку забить хоть с центра поля. И тогда он начинал шагать, безбожно жухая. Во-первых, не с «ленточки», а потом шаг от шага все шире и шире. Такой переменчивый «эталон» меня не устраивал. Я бежал к воротам и, передразнивая Молоточка,

Смирнов Алексей Евгеньевич родился в 1946 году. Окончил Московский химико-технологический институт им. Менделеева. Автор книг «Спросит вечер», «Дашти Марго», «Время, полувремя, времена». Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы» и др. Живет в Москве.

ушагивал еще дальше, чем он, нарочито вытягивая шаги. Тогда уступал пристыженный Молоток. Он великодушно предлагал мне отмерить дистанцию нормально. Но едва я ставил мяч в след от своего седьмого шага, как Женька кричал, что «с такого расстояния только дурак не забьет», что пусть я сам тогда в ворота встаю, и швырял ватник на траву. Я отодвигал мяч на шаг в глубь поля. Тренировка начиналась.

В моем арсенале были три удара: самый сильный — «пыром» (носком), самый точный — «щечкой» (щиколоткой) и самый хитрый — «шведкой» (внешней стороной стопы). Я старался их чередовать, а Молоточек, екая селезенкой, плюхался по углам ворот. Женькина кличка и пошла от его спортивного рвения. Одобрительное «Молодец!» быстро переименовалось в ударное «Молоток!» и прилипло к Женьке как второе имя. Однако и здесь последовало продолжение. Когда вратарь парировал удар, бьющий кричал: «Женька, молоток!» А если мяч влетал в ворота, звучало: «Молоточек, Женя... Кувалдой будешь!» Всякий проходивший по еловой аллее и не видевший лужайки еще издали, по слуху мог отличить, отбил мяч вратарь или пропустил. Пророчество о кувалде означало верный гол. Не раз потом я убеждался, что для русского человека всякая игра, не говоря уж о деле, представляет интерес не сама по себе, а в связи с теми отношениями, которые она способна вызвать к себе и вокруг себя. Антураж подчас перевешивает игру, а вопрос о победе, бывает, вообще не ставится. Возможность, используя игру как повод, высказаться о жизни — вот что ценится, вот во имя чего затевается игра. Женька Молоток в толстом ватнике с оборванными пуговицами, семимильной поступью отмеряющий семь шагов «пендаля» и вырастающий в Кувалду не когда он точно бросается под мяч, а когда промахивается мимо мяча, — помню, помню тебя, вратарь моего подмосковного лета!

Где-то на «боковой линии» поля, там, где лужайка граничила с еловой аллеей, и познакомился, верно, дедушка Филимонов с Филипповной, когда она, не докричавшись меня из дома, вышла с тем, чтобы забрать ужинать, а он пришел за своим Молоточком. Дедушка был почтительный, почтенный, высокий, с пушистой бородой, расчесанной на два длинных дымчатых треугольника. Он ходил в легком шелковом жилете с карманными часами и опирался на тонкую трость с резиновым наконечником, опирался более из уставного щегольства, нежели по суставной необходимости. Прошлым летом я часто просил у него полированную светло-кофейную тросточку — поиграть. Я «стрелял» из нее по кустам, рисовал ею на песке, норовил сбивать яблоки с низких веток, а однажды решил испробовать на прочность. Третьего крепкого удара о ребро скамейки палочка не выдержала. Кривая трещина добежала до самой резиновой пяточки и клюнула в нее острым носиком. Няня принялась сокрушаться, а дедушка только улыбался, разглаживая бесподобные треугольники бороды то сверху, то с исподу и просил Филипповну не расстраиваться по пустякам. Я не мог поверить, что дедушке ничуть не жаль своей трости, был удручен и не находил себе оправдания. Не было мне прощенья на этом свете! И тогда произошло что-то особенное. Впервые изменив характер моего летоисчисления, няня сказала:

— Ить ему ишшо семи годочков нетути...

И я уловил, какая важная разница заключена в двух поименованиях одного и того же возраста: «седьмой пошел» или «семи нетути».

— Мне шесть лет, — подтвердил я тихо, словно спрашивая своим подтверждением прощения у дедушки.

— Он у нас ишшо несмысленный, — продолжала няня.

Старик Филимонов посмотрел на «несмысленного», как бы сравнивая развитие моего разума и мускулов, но результаты наблюдений публиковать не стал. Со стороны старика это было очень деликатно, поскольку читать я еще не умел, зато бегать целыми днями с мячом не ленился.

Вечером Филимонов-внук изменил эталонную меру.

— Шагать — фижня получается, — заметил он, подразумевая под «фижней» не столько свой переменчивый шаг, сколько мои голы. — Будем лаптями мерить, как ворота.

«Один лапотъ» считался у нас самой строгой мерой длины — пределом точности. Это был шаг длиной в ступню. Удлинять или укорачивать ступни, измеряя расстояния от штанги до штанги, Молоточек не умел. Поэтому теперь, когда он предложил отмерять лаптями «пендали», я согласился, и Женька пошел валко перебирать ногами от ворот в поле. Ставя пятку одной ноги к носку другой, он уверенно отодвинул штрафную отметку небывало далеко от ворот. Недаром на роль лаптей он пригласил разбитые дедушкины башмаки, в которых тонул, как клоун.

— Не жмут? — спросил я, давая Женьке понять, что его «эталон» слишком разношены.

— Нормально, — ответил вратарь, запахивая ватник.

Тогда я разулся и отметил столько же ступней, сколько Женька, но своих. Это вызвало протест.

— Пендаль на вратарских лаптях! — огласил Молоточек правило, которое, кроме него, никто не признавал.

— Ты что, ФИФА? — спросил я.

— Я не ФИФА, — строго сменил ударение Филимонов-младший. — Но пендаль на вратарских лаптях — это закон! — процитировал он себя, и теперь самовознесенное в ранг цитаты его утверждение показалось ему уже абсолютно правомочным. — Первый гол не считается, — на всякий случай добавил законодатель. — Стукай.

Левой штангой ему служила береза, правой — куст шиповника. Верхней штанги не было. Зная Женькину страсть к спорам, я рассчитывал только на березу. Ее ствол обозначен четко, не то что расплывчатый куст. Все удары по кусту, хоть с внешней стороны, хоть с внутренней, назывались у Молотка «штангой».

— И штанга вновь спасает ворота Евгения Филимонова! — восклицал он, даже если ближайшая к нему веточка дрожала от мяча, угодившего в нижний угол.

Молоток стоял, словно лев, но время от времени издавал страшный рык, катаясь по траве, как ужаленный, и я предвещал ему дорости до Кувалды.

Два лета дедушка Филимонов ходил к нам в гости, после чего стало известно, что моя няня выходит за него замуж. В обеих семьях возникло смущенное замешательство, сменившееся настоящим переполохом, когда Филимонов-старший объявил, что намерен справлять свадьбу «по всей форме». Будущее не обсуждалось, однако Филипповна заверила, что и не думает никуда от нас уезжать.

Во дворе филимоновской дачи расставили столы с угощениями. Народа собралось много, но это была среда, середина дня, когда мои родители не приезжали. Я сидел между няней и Женькой, который усердно потчевался, не помышляя о том, как тяжело ему будет вечером рыпаться по углам.

— Молоток, объеешься, из «шестерки» не вынешь, — шептал я ему, как брат брату.

— До вечера далеко, — отвечал Женька, с присвистом втягивая в недра скользкую малосольную молоку.

— Ну, я тебе сегодня наколочу, чует мое сердце...

Дедушка Филимонов был со мною ласков. Свадьба пила и шумела, как умеют пить и шуметь вырвавшиеся на дачный простор большие гулянья. Что же касается всего остального, способного возбудить читательский интерес и, по чьему-нибудь мнению, стать изюминкой рассказа — ясной или двусмысленной, с пассажами в адрес молодоженов, скромными умолчаниями или отступлениями в их былую жизнь, — то, по счастью, ничего под-

ходящего я не знал, не понимал, а потому и не помню. Поворот судьбы в жизни двух пожилых людей так и остался для меня тайной, которую мне меньше всего хотелось бы разгадывать. Дедушка Филимонов и няня понравились друг другу и решили пожениться. А о том, сколько им было лет, я даже и не думал.

Вечером после праздника мы вышли с Женькой на лужайку постучать по мячу. Молоточек так переел, что совершенно не мог рыпаться. Тоскливо стоял он в воротах, бросая взгляды то на шиповник, то на березу, словно заклиная свои штанги не подкачать. В бору с паузами раз от раза куковала кукушка: пятый... шестой... седьмой... Были сумерки. По дачам зажигались огни. Няня звала меня домой. Я набежал на мяч и легонько пульнул его Женьке. Прямо в руки.

ДИКТАНТ

Я болел. Кончалась третья четверть.

Когда мама проветривала комнату, отправляя папу докуривать папиросу на черный ход, форточка втягивала с улицы сырой, острый дух пробуждавшейся весны. Он мешался с синеватым дымком «Беломора», оттесняя его к дверному косяку, выдавливая сквозь щербатые щели в коридор. Место курившегося табака занимали запахи тающего снега, прошлогодней прелой травы, потоки бодрого холода, готовые разгуляться между окном и дверью.

Мама не любила духоты, но опасалась сквозняков.

— Закройся одеялом! — говорила она мне, томящемуся в простудной неволе.

Духота и сквозняк составляли неразлучную пару противоположностей, из единства и борьбы которых складывалось проветриванье. Недвижную прокуренную теплынь — папину дымовую завесу — следовало привести во вращение и расшеять струей холода, однако комнату при этом нельзя было выстуживать. Искусство проветриванья заключалось в обогревании домашним теплом свежего дуновения извне. Для этого использовался набор манипуляций форточкой и дверью. Они то осторожно приоткрывались навстречу друг другу, то распахивались во всю ширь, а то вдруг захлопывались порознь или вместе. Иногда это происходило без маминого участия — исключительно попечением порывистой природной стихии. Главное было не упустить момент, когда воздух уже свеж, а комната еще не выстужена. Поскольку проветривать случалось часто, мама достигла в этом деле большого совершенства. На руку ей было и то, что в нашем Соймоновском проезде постоянно, по ее словам, *дуло, как в хорошей трубе*, и дуло как раз по направлению к нам — в сторону Москвы-реки. Так что естественная циркуляция обеспечивалась розой ветров. Оставалось лишь подставлять под нее фортку и дверь.

Особенно неотступно вопрос проветриванья вставал тогда, когда я болел. Папа был философски подкован основательно. Он приветствовал диалектический метод проветриванья и не возражал против докуриваний на черном ходу. А вот совсем бросить курить не мог. Мама безуспешно воевала с этим его пристрастьем. Слабость была сильнее его. Без курева работа не шла. Чтобы вникать в статьи Уголовного кодекса, в хитросплетения ученой юриспруденции, ему требовалось как следует наникотиниться. Посему с малолетства «Беломоро-Балтийский канал» во все свои папиросные трубы окуривал меня едким дымом социалистической законности, который, однако, постоянно развеивался струями законной прохлады. Тогда я забирался глубже под одеяло и, откинув душный уголок, вдыхал крепкий отвар студеного московского марта.

В сущности, это была печальная пора!

Грязный снег на сквере; сырость; то тепло, то холодно; то солнце, то хмарь; наконец, моя собственная хвороба — какая уж тут радость, какое упоение? Природа восставала ото сна, пробуждалась от зимней спячки; она была еще полузаспанной, взерошенной, полной дремучими снежными снами. Никакого энтузиазма во мне это не вызывало. Людей, с лирическим рвением воспевавших весну, я понимал плохо. Грех уныния находил во мне слишком удобную жертву, но тут он вынужден был отступить, поскольку случилось событие, сильно меня взволновавшее.

По общему на все коммунальное царство телефону (Г 6-11-54) нам позвонила из школы моя учительница Софья Гавриловна, осведомилась о здоровье, узнала, что я пошел на поправку, и сообщила следующее: мне требуется выполнить контрольную работу по русскому языку — диктант за третью четверть. Она просит разрешения завтра после уроков прийти к нам — продиктовать и сразу же проверить, как я справился.

— Очень хорошо! — со странной для меня беспечностью откликнулся папа. — Подготовится и напишет.

— Ты хотя бы завтра с утра в комнате не кури, а то все мозги ему задымишь, — сказала мама. — Надо будет проветриться хорошенько перед диктантом.

— И обедом накормить Сохвю Гавриловну, а то небось придет апосля уроков голодная, — резонно предположила няня.

Таким образом, высказались все. Только я молчал. Но не потому, что мне нечем было поделиться, а потому, что хотелось сказать слишком многое.

Во-первых, я обожал Софью Гавриловну и догадывался, что мое чувство хотя бы отчасти разделяется ею. Я давно мечтал о том, чтобы она побывала у нас: познакомилась с папой, который, конечно, не ходил ни на какие родительские собрания, даже не помнил, в какой школе я учусь. Увидела дома маму. Узнала, какая у меня няня — настоящая смоленская крестьянка. Пообедала бы с нами... Но теперь, когда это свершалось, я смутился и оробел. В школе Софья Гавриловна входит в класс — все встают. А здесь? Она вошла — я лежу. Няня встречает ее очень радушно, но заставляет меня краснеть за свою деревенскую речь. Мы-то к ней привыкли, а Софья Гавриловна не вполне может понять, что это значит: «мол», «дескать», «ччас хворточку прихлопну, а то наш-то милок скока дён из болести не вылезить, почитай, с середи... ай нет, со уторника». Особенно возмущает меня этот «милок» («Какой я тебе милок?» — «А хто ж ты мне ишшо? Ну, пушай не милок, так птушенька». — «Я не пту-шень-ка!..»).

Несколько пропущенных мной по болезни параграфов так и остались недочитанными... Мама дает мне в кровать бумагу, чернильницу-непроливалку, деревянную ручку со стальным перышком, похожим на острый листок, свернутый полутрубочкой; листок, в чьей фигурной прорези посередине, истончаясь, лопается прозрачная чернильная пленка. Я сажусь спиной к подушке. Все на коленках: неудобно, тесно, горбато!.. Софья Гавриловна устраивается рядом, начинает диктовать, а я — ляпать ошибку на ошибке, ошибку на ошибке... Она переживает за меня, хочет помочь. Но как? Ей же совесть не позволит мне подсказывать, хотя никто, кроме домашних, не услышит. Диктант прислан из роно. Государственное дело. Страна проверяет мою грамотность. А списать не у кого. Даже если бы Софья Гавриловна смотрела на все сквозь пальцы, папа ни за что бы не подсказал. Из принципа. Мама по милосердию могла бы, но она сама иногда в словах ошибается. А няня и расписываться не умеет. К тому же смотреть сквозь пальцы Софья Гавриловна не будет. Она честно подчеркнет красным карандашом все мои оплошности, ужасно расстроится и как в воду опущенная выведет на полях косую единичку со сплюсненным носиком, словно втягивающим в себя нашу общую обиду; несчастный кол, одинаково унижительный и для меня и для учительницы. А что потом?

Что?! Мы все усядемся за торжественный пир?.. Да у меня ложка в рот не полезет! Папа в мундире военного юриста хлестко продернет португую под негнушимся серебряным погончиком на правом плече, сделает глубокую затяжку и жестко выдохнет в дверь горькую струю «Беломора». У няни задрожит в руке половник, стуча о край кастрюли. Маму бросит в жар. Она откроет форточку, а папа скажет:

— Поздравляю... Ну вот у него все из головы и выдуло... Доприветривались.

Будь я знаком с Бархударовым и Крючковым, написавшими учебник русского языка, я бы им признался, что без них никогда в жизни не догадался бы о том, какой русский язык трудный. Они заставляют меня учить его по правилам, как иностранца. Пока я полагаюсь на впечатление, ошибок нет. Как только вспоминаю нужный параграф — возникают сомнения. С другой стороны, мне понятно, что иногда интуиция может подвести, а грамматика выручить. Я думаю о том, что диктант похож на мамино проветриванье: надо исхитриться обогреть живым чувством дуновение правил. Но как?..

Эх, если бы Софья Гавриловна пришла к нам просто пообедать — я был бы счастлив! Мы собрались бы за круглым обеденным столом. Папа — в штатском. Мама ставит на стол свои любимые подснежники. Няня твердой рукой разливает горячий борщ. Я стужу ложку, выжидаю, снова стужу, и каждая проходит как по маслицу... Никто не славит шершавый мартовский снег, торчащий за окном корявыми сугробами, а все радуются тому, что скоро лето. Обед без диктанта — вот о чем мечтал я, засыпая! Но по скромности Софья Гавриловна может от обеда и отказаться. Тогда вообще останется один диктант...

Папа в полосатой шелковой пижаме сидит у окна за полированным финским столиком, по привычке подогнув одну ногу под себя. Окуриваясь дымом, он быстро-быстро, будто рыбьими чешуйками, зашелушивает чистые листы мельчайшими буквами будущей лекции. Они так и сыплются у него с перышка. Авторучек он не признает. Пишет простой школьная ручкой — такой же, как у меня, — каждую минуту прилежно обмакивая кончик пера в чернильницу. Почерк у папы аккуратный, разборчивый, но мелкий-мелкий: чешуйки, колечки, завитушки, подковки... Папа обложен книгами, брошюрами, вырезками из газет. Я знаю, что есть такой способ ночной ловли рыбы: на свет фонаря. А папа вылавливает цитаты, плывущие к нему на зеленый свет настольной лампы, и, словно налимов столовой вилочкой, накалывает их отточенным перышком бывшего школяра.

Как-то я выразил свое отношение к его труду:

— Легкая у тебя работа.

— Да что ты?

— Честно. Ты читаешь по-печатному, а переписываешь по-письменному.

Он засмеялся, дав мне подзатыльник:

— Ах ты шпингалет!..

Конечно, тому, кто исписал такие груды бумаги, перечел такие горы книг, никакой диктант не страшен. И почему только в русском языке не все слова пишутся так, как произносятся? Куда проще было бы: висна, акно, «Биламор», сквазняк... Нет, ищи проверочные слова: вёсны, окна, белый, насквозь... А если проверочного слова не найдется?

Мама спрашивает:

— Ты почему не спишь?

— Не спится.

— Считай про себя. Или представь, что едешь на электричке мимо телеграфных столбов. Их считай.

Я мысленно вижу скользкий за окном железнодорожный откос, вереницу просмоленных, черных столбов с белыми чашечками на рейках, но, опутанные проводами, они не хотят поддаваться пересчету, а превращают-

ся в вороных коней, ведомых под уздцы, скалящих круглые фарфоровые зубы. Ветер играет поводками; те трепещут, звенят, извиваются и незаметно вовлекают меня за собою в сон...

Раз в неделю маме полагался библиотечный день — редкая тогда привилегия, дарованная научным работникам для занятий в библиотеке или дома. Напрасно думать, что мама использовала это благо как-то иначе. Мой диктант пришелся на ее библиотечный день, но в установленном порядке не изменил ничего. Разве что не пошла в библиотеку, а работала дома. Пока я страдал в компании Бархударова и Крючкова, она вдохновенно выверяла вслух свою ботаническую латынь:

— *Humulus lupulus* — хмель обыкновенный...

Папа в коричневом костюме отправился по делам куда-то, только не в академию — туда полагался китель. А няня готовила на кухне званый борщ. Предстоящий визит учительницы произвел на Филипповну впечатление не меньшее, чем на меня. Она беспокоилась, что Софья Гавриловна не знает, сколько раз нам звонить во входную дверь, и заранее предупредила соседей:

— У нашего нонча диктант будить. Вучительница сама притить посулилась. Кады не так позвонить, вы уж откroyте, сделайте милость. Откуль ей знать, что нам три раза?

Соседи кивали головами и обещали непременно открыть, кому бы из них Софья Гавриловна ни позвонила.

Я представил себе, как она идет из школы моим путем: мимо церкви Ильи Обыденного; по рыхлому, мокрому от таянья скверу с прозрачными прутьями саженцев-тополей; пересекает Курсовой переулок и со стороны Соймоновского проезда подходит к нашему дому, к парадному, украшенному сказочной птицей Сирином. Птица выбита в медальоне, напоминающем плоскую луковку храма: женская головка, увенчанная маленькой короной; пышная перистая грудь; долгое крыло, из-под которого выглядывает птичья лапка с короткими, цепкими коготками.

Софья Гавриловна отворяет двустворчатую, отменно тонкую, наполовину стеклянную дверь в резной светло-дубовой оправе — дверь, скорее служащую красоте, нежели защите. Проходит наш звонкий, каменный, холодный вестибюль с огромным зеркалом у левой стены, с черными вешалками и золотыми крючьями для барских шуб — остаток былых времен, когда дом был доходным, жильцы богатыми, а гости подкатывали к подъезду на рысаках.

Минует дежурную:

— Вы в какую квартиру?

— В седьмую.

— Пожалуйста.

Поднимается по легким лестничным маршам, освещенным цветными витражами солнечных стекол, искрящимся сахарными крупинками, вмурованными в мрамор ступеней. Останавливается перед дверью нашей квартиры (сколько раз позвонить?) и отчетливо нажимает кнопку звонка: раз... два... три.

— Батюшки! Нам звонять. Никак пришла? — спохватывается Филипповна, потому что в дверь действительно звонят.

Пока няня спешит по длинному коридору, у входа учительницу приветствует уже целая депутация хозяек. И тех, кому звонить всего разочек, и тех, кому пять раз. Они же обещали... Но к нам в комнату Софья Гавриловна входит одна.

Сейчас, вспоминая ее приход, я испытываю нечто, похожее на недостаток решимости. Ведь именно здесь кончаются слова и начинается *слово*. Моя нынешняя неуверенность сродни той, что овладела мною тогда. Разница в том, что тогда меня ждал диктант, а теперь пришла пора передать чувства, вызванные приходом учительницы и самим диктантом.

Мысленно я обмакиваю деревянную с выдавленной звездочкой пера, поцарапанную ручку в чернильницу-непроливалку, опасаясь пережать надрезанное вдоль перо, чтобы по стальной расщелинке, вильнув хвостиком, не съехала на лист подвижная, как головастик, жирная клякса, и понимаю, что изобразительность моя, увы, не вполне помощница мне отныне, ибо не вечный мир открывается перед ней, а красота неуловимая, подобная облаку на закате, подсвеченному невидимым, запавшим за крыши солнцем. И прав будет каждый, кто скажет: «Так неужели это красота — полные вино-вато-влажной печали, уставшие смотреть на мир глаза под полупущенными складками век, легкая линия не тронутых кистью бровей? Или лежащая на белой бумаге рука с больным, искривленным, коричневым ногтем на указательном пальце? Или голос задумчивый и спокойный, как лесной родник, лишенный нетерпеливого раздражения, обидчивого дрожания, убежденного в собственной правоте жара? Разве способна обратить нас в свою веру эта тихость, эта мягкая кротость, за которой скоро почувствуешь сострадание, но не сразу угадаешь возвращенную им волю?»

И вот этот голос обращается ко мне, вовсе забывшему обо всех неудобствах домашней экзаменовки:

— Я прочту тебе текст полностью, а потом буду диктовать по предложениям. Хорошо?

«Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении...»

Мама осторожно вошла, прикрыла форточку и на цыпочках проследовала из комнаты.

«Зелеными облаками и неправильными, трепетolistными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе деревьев...»

Филипповна хотела было заглянуть из коридора, но дверь скрипнула, и няня, тут же плотно ее притулив, так и осталась снаружи.

«Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленный бурей или грозой...»

Телефон за дверью, всегда скупно слышимый в общих шумах, зазвучал вдруг на редкость отчетливо — так тихо стало в квартире, — но чья-то рука моментально поймала и укротила его певучую трель, чтобы ничто не мешало нам погружаться в дебри старого плюшкинского сада...

«Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу...»

Тут я почувствовал какой-то подвох для себя, но какой именно — не уследил.

«Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других деревьев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом».

Сделав паузу, Софья Гавриловна стала диктовать с начала по предложениям.

В одной руке она держала листок с текстом, в другой — чернильницу, куда я макал перышко, стараясь, чтобы оно не утопало слишком глубоко, чтобы фиолетовая пленка не схватывала узкую прорезь пера, а если это случалось, то лишние чернила я оставлял на бортике непроливалки движением, похожим на отдергиванье кошачьего коготка.

Учительница следила за каждой выводимой мною буквой, за регулярным чередованием нажимов и волосных линий. Школьное перышко позволяло вычерчивать буквы не только правильно, но и красиво. Когда я усомнился в слове «остроконечный» (через черточку или слитно?), она снова перечитала мне эту часть предложения: «косой, остроконечный из-

лом его» — с такой интонацией, что сомнение мое развеялось. Но на слове «честокол» я споткнулся капитально. После буквы «ч» возникла мучительная запинка. Признаюсь, что верный вариант я даже не рассматривал. Выбор колебался между «че» и «чи»: «честокол» или «чистокол»? От слова «честь» или от слова «чисто»? Я решил, что «честь» тут ни при чем. А вот «чистота» возможна. Например, гладко ошкуренные кольца. Я так и подумал про себя: «Чистокол — забор из гладко ошкуренных колебов». Простое возражение, что кольца могут быть и не ошкурены, я во внимание не принял. Хотя червячок сомнения во мне шевельнулся, я им пренебрег во имя «чистоты» своей неправой идеи и поставил «чи»...

— Ах!.. — вырвалось у Софьи Гавриловны, и щеки ее как будто слегка зарумянились.

Рука моя замерла на месте.

— Какое тут проверочное слово?

«Честь» в этом случае я отверг сам. «Чистота» заставила ахнуть Софью Гавриловну. Что же правильно?..

Все-таки я напоролся на «кол». Чего боялся, то и стряслось. Не часто чувствовал я себя так скверно. Можно сказать, впервые... «Часто!» Вот проверочное слово.

— Честокол?.. — сказал я полувопросительно, как будто размышляя вслух.

Софья Гавриловна молча повела рукой. Этот жест означал: «Ну конечно».

Я хотел зачеркнуть «и», а сверху надписать «а».

— Подожди, — остановила учительница. — Не надо зачеркивать. Сделай дужку. Надень на «и» маленькую шапочку — вот и будет «а».

Преодолев грамматическую преграду в лице «честокола», я утратил бдительность и забыл поставить за «честоколом» запятую. Причастный оборот остался невыделенным. А когда гоголевские крючья хмеля, колеблемые воздухом, завершили мою работу, Софья Гавриловна попросила внимательно проверить текст. Пока я проверял, нам позвонили. Наверное, это папа пришел к обеду.

— Все? — спросила учительница.

— Все, — ответил я, передавая диктант.

Она быстро еще раз проскользнула взглядом по моим старательным каракулям, знакомым ей до буковки, красным карандашом проставила пропущенную запятую и вывела внизу страницы: «5 —».

— К вам можно? — спросила мама, постучав в дверь.

— Можно! — ответил я, не скрывая радости.

— Софья Гавриловна, вы пообедаете с нами?

— Не знаю...

— Пожалуйста! У нас все готово.

— Хорошо. Спасибо.

Я ликовал. Диктант завершался обедом.

Мама и няня раскинули белую крахмальную скатерть с выпуклыми белыми цветами, стали расторопно накрывать на стол обеденную посуду. А папа по-военному бодро рапортовал в дверях:

— Акулина Филипповна! Разрешите обратиться? Прибыл в ваше распоряжение...

Подтрунивая, он любил говорить, что если бы няня кончила Военно-юридическую академию, то могла бы читать лекции не хуже, чем полковник Чиквадзе. А я мысленно представлял ее так: «Советник юстиции I класса генерал Акулина Ларичева!» Мое воображение охотно наряжало няню в генеральскую папаху, в галифе с двойными малиновыми лампасами и непременно нафабривало ей густые, курчавые усы, отливавшие фиолетовым колером школьных чернил!

Софья Гавриловна сразу уловила тот шуточный тон, который царил у нас в моменты праздничных сборов. Она любовалась мамой, годившейся ей в дочери, ее природным румянцем, подвижной статностью, жизнерадостным гостеприимством. Она, конечно, заметила уважительность, душевное почтение, с которыми няня — неграмотная! — наливала ей, учительнице, полную тарелку борща («срезь!») так, что ложку нельзя уже было погрузить полностью: борщ мог перелиться через край. Она ощутила ту внезапную стихию карнавала, что умел заверчивать вокруг себя папа, когда бывал особенно в духе, когда гости ему нравились, а Софья Гавриловна нравилась ему заранее — по моим рассказам.

— А у меня за диктант пять с минусом.

— Ну-у?.. Поздравляю!

Папа — в штатском, как я и хотел. За обеденным столом он не курит. На маме крепдешинное, в талию, темно-синее платье, окаймленное складчатой оборкой. Самое нарядное. Няня в шерстяной кофточке, тоже воскресной.

Не происходит ровным счетом ничего необыкновенного. Не распахивается сама собой форточка; не хлопает дверь; не взметаются, сквозняком подхваченные с письменного стола подковки, завитушки, колечки, чешуйки, усеявшие лекционные листы. Ничего подобного не случается. Но эта крахмальная скатерть с вышитыми белыми цветами и простой домашней снedyю; но эта желанная мною, долгожданная встреча; прежде затаенная, а теперь выплеснувшаяся радость; чувство сердечной близости — неуловимой красоты, перед которой меркнут слова, замирает разбежавшееся было по бумаге перо; но этот старый сад, цветущим, «трепетolistным» клином вступающий в комнату, и — хмель счастливый, завязавшийся кольцами, легко колеблемый воздухом, вольно висящий хмель!..

ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

На месте дома, разрушенного немецким фугасом, того самого, что стоял между нашим в Курсовом переулке и церковью Ильи Обыденного, был разбит сквер. Так и говорили: *разбит сквер*, хотя, по своему детскому разумению, я считал, что разбит дом, а сквер как раз создан: перекопаны и засеяны будущие газоны с табличками «Прохода нет!», расставлены тяжеленные, чтобы не унесли, ребристые скамейки, посажены тонкие топольки, привязанные морским узлом к ошкуренным колам, а в центре сквера сооружена высокая клумба с цветами.

И тогда появился сторож. Мы прозвали его *дедом*. Он ходил в голубой летчицкой фуражке с кокардой, в каких-то сплюснутых ватных портках, заправленных в сапоги на манер галифе, и посасывал желтый от никотина мундштук. В очередной раз выбив из него догоревший чинарик, сторож резко продувал мундштук, а тот в ответ тонко свистел. Но самое главное — дед был вооружен. Никогда не расставался он с крепкой палкой, наконечником которой служил мощный граненый гвоздь. Я удивлялся, как это деду удалось загнать такой гвоздище шляпкой в палку, чтобы острие торчало наружу? Осенью, бродя по скверу, дед, как чеки, накалывал на гвоздь опавшие листья и стряхивал их в жестяную урну. При этом он каждый раз заглядывал внутрь урны, словно сомневался: не дырявая ли она? И, убедившись, что нет, целая, сплевывал в нее с брезгливым и презрительным удовольствием.

К своему делу дед относился не просто добросовестно, а ревностно, истово. Зимой и летом, рано утром и в вечерних сумерках, обходил он вверенный его попечению участок. Если требовалось, перевязывал морские узлы, поправлял покосившиеся таблички, нанизывал на гвоздь бу-

мажрый мусор и — стерег. Больше всего досаждали ему мы, мальчишки. Лишь печальный Валека вынужденно вышагивал по дорожкам, когда мама и тетя под ручки вели его из школы, чтобы никто на него не напал. Но и Валека, гуляя после школы один (мама и тетя, сменяясь, дежурили у окна), даже Валека, погруженный, вероятно, в размышления о женской любви и постыдной опеке, с которой он ничего не мог поделать, заступал иногда за черту, дозволенную дедом, а то и склонялся в меланхолическом раздумье к цветку, чтобы его...

— Куда, куда?! — поигрывая желваками, сгущалась в воздухе невесть откуда взявшаяся охрана.

— Я понюхать, — оправдывался Валека.

— Вот я те щас понюхаю!.. — предупреждал дед, и Валеке этого предупреждения было вполне достаточно. Мамин всплеск в окне: «Валечка, немедленно отойди от этого человека!» — оказывался излишним.

Что же касается мальчишек, хотя бы отчасти освободившихся от строго родительского присмотра, то они вытворяли все, что им полагалось, доводя деда до белого каления.

В отсутствие сторожа (в обед) на газоне безотлагательно затевался большой футбол. Прямо после уроков, побросав в общую кучу портфели, мы, обнявшись, разбредались парами по траве, придумывая загадки «капитанам».

— Уругвай или Бразилия? — спрашивала первая пара.

— Бразилия, — выбирал кто-нибудь из «капитанов».

— Друг или портянка? — интересовалась вторая.

— Портянка...

Так делились на две команды. Стволы окрепших тополей изображали штанги. Особым шиком считалось забить гол от штанги в ворота... Траву не просто топтали — по ней с наслаждением катались, имитируя заслуженных мастеров симуляции и потешаясь над ними, а вратарские площадки лысели на глазах. Не подкованные в хитроумных футбольных схемах, мы полагали, что вратарь должен *рыпаться*, нападающий забивать, а защитник ложиться под мяч косями, лишь бы спасти ворота. Играли обычно не на время, а до десяти голов и увлекались настолько, что появление деда начисто прозевывали.

Между тем старый конспиратор, отобедав и отдохнув, со свежими силами подкрадывался со стороны Курсового переулка, сперва пригнувшись, на *полусогнутых*, держа палку сбоку, точно в ножнах, а затем, внезапно распрямившись и размахивая ею над головой, устремлялся на нас с проворностью хорошего конника, но бесшумно. И только тогда раздавался чей-то пронзительный крик над головой:

— Дед!

Он всегда действовал в одиночку, но сколько бы ни было нас — шесть, восемь, двенадцать школяров, — мы обращались в паническое бегство, расхватывая портфели — свои и чужие.

Вратарь метался в поисках оброненной кепки со сломанным козырьком и плоской пуговкой на макушке...

Кто-то никак не мог сдернуть с веточки повешенный туда школьный китель и, подпрыгивая, жалобно стонал:

— Ребят, меня подождите... Меня подождите!..

— Дурак! Рви вешалку! — кричал ему вратарь.

— У кого мой мяч?

Все знали, что главная цель деда не мы, а мяч. И пусть в угаре он мог *перепаять* палкой любого (потому мы и драпали), но это было, в конце концов, не смертельно, а вот мячу каюк наступал сразу: дед прокалывал его гвоздем и, воздев над собой, с видом победителя досылал нам вдогон первые и последние проклятья. До этого момента он не проранивал ни звука. Его торжество было полным, но недолгим. Через несколько дней мы добывали новый мяч.

Попривыкнув к дедовским атакам и осмелев, мы решили отработать с ним одну штуку. Замысел состоял в том, чтобы вовлечь деда в беготню по газонам, сделать его как бы своим соучастником. Теперь при вопле «Дед!» мы с той же поспешностью растаскивали портфели, но уже не удирали сломя голову, а лишь рассыпались с ними по траве. Когда стража вривалась на газон, прицеливаясь гвоздем в мяч, мы начинали точно перепасовываться, а дед — бегать за мячом, все более свирепея. То он пробовал остановить мяч ногой, красиво растягиваясь в полушагате так, что трещали плоские галифе, то силился зацепить его палкой. Но техники не хватало. Дед лютовал, пока наконец, плюнув на неподдающуюся добычу, не рассеивал нас по переулкам.

Если кто из взрослых и подавал голос в нашу защиту («А где им еще играть?»), то многочисленные бабуся — постоянные обитательницы насиженных ребристых скамеек — дружно ополчались на защитника («За *фулюганов* заступаться?»), и дед не унывал, имея на скамейках такое внушительное «лобби». Кроме того, иногда бабуся обращались за помощью к проходившим мимо военным из нашего дома. Но, слава Богу, армия сохраняла нейтралитет, хотя ее вмешательство на стороне деда не исключалось — особенно военно-воздушных сил, имея в виду защиту *чести мундира*, то бишь летчицкой дедовской фуражки. Вдобавок в запасе у «лоббисток» были еще и органы внутренних дел. Нас уже не однажды предупреждали: «Сейчас милицию позовем!» А для начала деду посоветовали купить свисток, поскольку мундштук свистел слишком тихо и для разгона игроков приспособлен не был.

Можете себе представить, как нас переполошила атака со свистком! Казалось, что сейчас, махнув рукой на свои посты, к нам отовсюду ринутся милиционеры: с Кропоткинской площади, из-под голубых елей Музея изящных искусств, от монгольского посольства на набережной. Крупная горошина перекатывалась внутри свистка под напором воздушной струи, выбрасываемой из самых дремучих дедовых недр. Эффект свистка был громаден. Дед чуть не захватил в плен все наши портфели, нашел в траве и конфисковал кепку со сломанным козырьком, поддел гвоздем за вешалку и снял с ветки несчастный китель, пока его хозяин драпал через весь сквер в одной майке, а потом, соблюдая приличную дистанцию, жалобно упрашивал:

— Дедушка, отдай...

И мы готовы были признать свое поражение, хором прося за пострадавшего:

— Отдайте китель...

— Пускай отец приходит! — отрезал дед.

Однако со временем мы убедились, что не только армия, но и милиционеры сохраняют железную выдержку, оставаясь на своих постах. И совершенно правильно поступает, например, сержант на набережной, когда вместо того, чтобы носиться за нами по газонам, выполняет прямую обязанность — бережет покой монгольского посла.

Удостоверившись в этом, мы снова вернулись к тактике «точного паса». Но отныне она стала приносить нам куда более зрелые плоды, ведь теперь дед гонялся за мячом не молчком, как раньше, а под собственные переливчатые трели. Он как бы выписывал в воздухе музыкальные вензеля, повторяя ими те фортели, которые выделял ногами, пытаясь прервать полет мяча.

Кто знает, сколько бы продолжался наш футбольный конфликт, если бы вскоре в сквере не произошли новые примечательные события.

В один действительно прекрасный солнечный день между клумбой с душистым табаком и бараками, рыхлые доски которых насквозь пропахли въедливым табачным дымом, появились люди, владевшие теодолитом и рулеткой. После тщательных измерений они таинственно удалились.

Вслед за ними приехал грейдер. Он выровнял промеченный участок. Далее шесть землекопов, обнажив мускулистые, лоснящиеся от пота спины, перелопатили землю и добросовестно укатали ее ручным катком. Тем временем мелкая металлическая сетка трехметровой высоты огородила площадку. Те же землекопы, просеяв сквозь частое сито тонкий золотистый песок, рассыпали и утрамбовали его, а получившийся идеально ровный желтый квадрат разлиновали ослепительно белыми полосами. Так московский Дом ученых построил прямо перед домом Перцова теннисные корты — может быть, первые из сооруженных в послевоенной Москве.

Днем площадки (а их было шесть) почти пустовали, разве что кто-нибудь разминался у стенки, ведь здесь тренировались не спортсмены, а ученые. Когда зной спадал, расторопный, хватистый мужик Михал Ильич — бывший гардеробщик и будущий метрдотель — разматывал шланг, свернувшийся в кольца, как змея, но вместо жала шланг, упруго изогнувшись, выпрастывал порцию ржавой водопроводной жижи, после чего фонтанировал хрустально чисто, с ровным шипением увлажняя нагретый песок.

— Дяденька, облей! Дяденька, облей! — веселились мы, цепляясь, как мартышки, за сетку ограды.

Михал Ильич великодушно разворачивал «удава» в нашу сторону и под дружный визг окатывал с головы до ног рассыпающейся радужной струей!

А вечером на сыроватых, дышащих свежестью кортах разгорались теннисные баталии. Мужчины и женщины в белом наполняли воздух звоном струн, возбужденными восклицаниями, ни с чем не сравнимой радостью изысканного по тем временам удовольствия.

Среди игроков были номерные перворазрядники и беспомощные новички, не попадавшие ракеткой по мячу, «Аполлоны» и толстяки, скромники и щеголи. Тишайшая девушка в заштопанных желтых носочках обыгрывала шумную, надушенную даму, изъяснявшуюся исключительно по-французски всякий раз, когда она попадала в сетку или в аут. Говорили, что это самые страшные французские ругательства, переводимые на русский язык выражениями типа: «Черт побери!» Все партнеры звали друг друга по именам-отчествам, были предупредительны, а то и галантны. Проигравшие в основном турнире непременно разыгрывали между собой утешительную «пульку». Пока опытные игроки молча боролись за победу, дилетанты, перекидываясь через сетку, обсуждали театральные новости, шутили, кто-то предлагал сопернику после партии выпить шампанского и отужинать в «Праге» — ресторане с чешской кухней, только что открывшемся неподалеку на Арбате. Чей-то приятель удачно баллотировался в академики, кого-то пригласили читать лекции в Пекин, а всякое упоминание о Китае в ту пору и в том кругу всегда вызывало веселое оживление... Одно время я — начинающий теннисист — оставался на площадке после детской секции, и моим соперником был плотный, коренастый мужчина с серебряным ежиком волос. Играя, он сохранял немногословность и сдержанность. Я знал о нем только то, что зовут его Павлом Алексеичем, что слева он бьет слабей, чем справа, а если «подрезанным» ударом выманить его к сетке, то до «свечи» на заднюю линию он не успеет добежать. Независимо от того, выиграл он мяч или проиграл, он оставался равно доброжелателен, словно утверждая, что в нашей игре имеет значение не результат, а взаимная радость. Как-то я пошел на Арбатскую площадь в «Художественный». Перед фильмом показывали киножурнал «Новости дня». И вдруг вижу на экране крупным планом своего постоянного партнера, а диктор читает: «Нобелевской премии по физике удостоен советский ученый Павел Алексеевич Черенков...»

Одним словом, дочатый домик-раздевалка на кортах в Курсовом переулке в иные часы вмещал в себя столько блеска, что сам, казалось, как светлячок, начинал светиться сквозь опутавшие его заросли дикого винограда.

Нам стало не до футбола. Пышно зеленели нетоптанные газоны, опушались листвой тополя, на клумбе благоухал душистый табак. Дед, подобно нам, должен был бы чувствовать себя на вершине блаженства, однако он разъярился пуще прежнего, озверел и решил проконсультироваться со своими советницами. Корты раздражали. Они выглядели слишком ярко, независимо, вызываяще счастливо. С этим надо было бороться: если счастье для всех недоступно, то пусть его не будет ни для кого. Это справедливо.

— Кормящим матерям сподынуть негде, а буржуи здесь жиры трясут, покою не дают никакого...

Однако долгое время у скамеечников не было лидера. Дед лишь сопел, ожесточенно прокалывая очередной окурок. Но ситуация назрела, и вождь явился. Им стала наша новая соседка — старуха с мучнистым впалым лбом и лошадиной челюстью, утыканной крупными, крепкими зубами. Такая челюсть могла перемолоть кого угодно. Старуха давно угробила мужа, упекла в тюрьму сына и теперь, оставшись как бы не при деле, искала, куда приложить свои дарования. Священным долгом почитала она проповедовать среди сограждан принцип равного распределения жизненных благ — как раз то, чего так жаждало «скверное» общество. Помимо того, Челюсть пылала классовой непримиримостью и была грамотна.

«Культура для народа, а не для элиты», — сказала она.

И настал один действительно несносный, пасмурный день, когда старуха, кипя черным гневом, приковыляла в сквер с корреспондентом «Советского спорта», представив его как «товарища Тариверди Худаверди». Товарищ Тариверди раскрыл перед бабусями коробочку с припудренными кубиками рахат-лукума и узнал потрясающие подробности о том, как «буржуи» оттяпали у народа половину сквера, как «ихняя машина» стерла с лица земли песочницу с детскими куличами, а подкупленные землекопы перекопали те куличики, смешав их с грязью.

— У нас в Баку такое нэвозможно, — заверил Худаверди — москвич с двухлетним стажем, в сердцах пробросив пустую коробочку мимо урны.

Скамеечники зашумели. Пресса возмутилась с ними в унисон. И половину кортов (три площадки) отдали народу. Революция, о которой так мечтал дед, свершилась!

Но не младенцы в колясках, не песочницы утвердились на отвоеванных кортах, а лохматый второгодник Блюма с допризывниками, а татуированная амнистия в кирзе, бессмысленной кучей с подзаборным перематом гонявшая спущенный, хлюпающий, как галоша, «пузырь».

Наспех запеленав грудничков, матери попрятались по дворам. А бабуся, разволновавшись, обратили свои взоры на Челюсть.

— Идея была правильная, — сказала та. — Но кто же мог предположить, что свергнем аристократию мы, а власть захватят уголовные элементы?

— У нас в Баку такое нэвозможно! — категорически заявил Тариверди Худаверди, вновь затребованный из редакции. — Позор! А что же предпринять?

Все на свои места поставило время. Дед вышел в отставку. Второгодника выгнали. Допризывников призвали. Секция возбудила вопрос о судьбе кортов, и он решился естественным образом — в ее пользу.



НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ



ПОТАЕННОЕ

Николай Чуковский (1904 — 1965) известен прежде всего как советский прозаик. Но мало кто помнит, знает, что он еще и оригинальный, своеобразный поэт. От отдал себя этой ст их и с ранних лет (тут и генетика, и просто влияние любящего отца — великого Корнея): в начале 20-х был душой Третьего Цеха поэтов и студии «Звучащая раковина», его ценил Гумилев, его дебют приветствовал сам строжайший Ходасевич! Впервые Н. Чуковский напечатал стихи в альманахе «Ушкуйники», изданном за свой счет, в кредит, — под псевдонимом «Н. Радищев». Портрет юного лирика мы найдем в книге Н. Берберовой «Курсив мой». 1922 год. «С Николаем Чуковским мы виделись теперь почти ежедневно. После лекции в Зубовском институте я заходила в Дом Искусств, где он поджидал меня. Ему было 17 лет, мне только что исполнилось 20. Я называла его по имени, он меня — по имени и отчеству, иногда нежно прибавляя „голубушка“. Это был талантливый и милый человек, вернее — мальчик, толстый, черноволосый, живой...» В 1928 году у Н. Чуковского вышел первый и последний поэтический сборник «Сквозь дикий рай». С тех пор писатель от публикации стихов (другое дело — блистательные переводы: Э.По, Петефи, Тувим) отказался, самоволокаясь на миру как прозаик, сокровенный поэтический дар пряча в глубинах экзистенции, в столе... Я наблюдала Николая Корнеевича в разговорах с моим отцом — беседовали они исключительно об истории и политике («Бекуша, не будьте карасем-идеалистом», — в детскую память врезалась именно эта реплика Н. К., осторожного скептика). А когда я прочитала ему свои первые рифмованные опыты: год 65-й, — он разразился столь страстным монологом о том, как Ахматова, позаимствовав, неузнаваемо преобразила строфу М. Кузмина (мой папа тем временем заскучал и ушел в иные мысли), что я с юной интуицией просекла: предо мной не советский романист, но «непреодоленный» тайный лирик!

...В архиве Николая Чуковского осталась дореволюционного формата, огромная «бухгалтерская тетрадь», которую автор в тринадцать лет печатными буквами нарек «ВСЕ МОИ СТИХИ». Листы в клеточку исписаны разного цвета чернилами, первая пьеса называется «Гений» и датирована «Масленица 1918». Последняя скоропись — карандашом: «Что желали, что любили...»; дата — январь 1942. Из этой тетради и отобраны неизвестные или накрепко забытые стихи Николая Чуковского, пронесшего поэзию светлого начала — сквозь воцарившуюся прозу.

Татьяна Бек.



Весь я — цветной, земляной, человеческий,
Выйдет, что создан я, как поглядишь,
Слушать дождей полусонные речи,
Видеть сияние окон и крыш.

Дома сижу — сколько песен упрямых,
 Выйду — навстречу поток грозовой
 Юбок, бумажек и кленов — тех самых,
 Возле которых гулял я с тобой.

Самое злое — не жестче крапивы,
 А и крапива у кухни — мое.
 Я ль не богатый и я ль не счастливый?
 Вот я и славлю свое бытие.

Только порой (что за странное свойство
 Душ человеческих), только порой
 Одолевает меня беспокойство,
 Словно, природа, я пасынок твой.

Что мне с того, что оно голубое?
 И голубой пустотой не прельстишь.
 Но мироздание — место глухое,
 Не перепрыгнешь, не перекричишь.

Апрель 1925.

* *
 *

Ты скажи, что он бедно и сумрачно жил,
 Что он много трудился и много любил,
 Сквозь вагонные стекла смотрел на закат,
 Как деревья пылают, как степи горят,
 Что он вскакивал ночью, к тревоге жильцов,
 Просыпаясь от гама и клекота снов,
 Что он гладил тебя по густым волосам,
 По щекам, по вискам, по горячим губам.
 Да прибавь, что, болея, он в крыши смотрел,
 Что он долго, тоскливо и тяжело старел,
 Умирая, у нас не просил ничего,
 Не просил ничего, не простил ничего.

Сентябрь 1928.

* *
 *

Г. Куклину.

Холмы. Ольха, ольха, ольха,
 Горячий тих откос,
 Земля песчанна и суха,
 И воздух полон ос.
 Трепещет лист, играет тень
 И ловит простеца,
 И даже паутину лень
 Уже снимать с лица.
 А ветер грянет на ольху
 И ну плескать листвою,
 Как будто озеро вверху
 Шумит над головой.

Ох, этих знойных вихрей злость!
 Ох, эта тяжесть дня!
 Я пуст, я выветрен насквозь,
 И нет во мне меня.
 Теперь я ломок и хрустящ,
 Как прошлогодний сук,
 Я как земля, как пыль, как хрящ
 Песчанен, тих и сух.

Октябрь 1930.

Закат

Казалось, все забыл и бросил навсегда,
 А глядь, опять душа волнением согрета,
 Вновь тучки алые зовут меня. — Куда?
 Вновь кличут в дальний край. — А где он? — Нет ответа.

Лето 1937.

* *
 *

Высокое небо прозрачно.
 Я болен; не выхожу.
 Я перед верандою дачной
 В соломенном кресле сижу.

Вверху возникают и тают
 Кудрявых стада облаков,
 Из леса ко мне долетают
 Мольбы паровозных гудков,

Прохладное катится лето
 В сиянии, в сини, в цвету.
 А вот наконец и газета!
 Спасибо! Ну что же; прочту.

Министры сбегают, бросая
 Народы на гибель и ад.
 И шляются, все истребляя,
 Огромные орды солдат,

В волнах, посреди океанов,
 Беспомощно тонут суда,
 Под грохотом аэропланов,
 Сгорая, горят города.

Хвастливые лживые речи
 Святош, полицейских, владык...
 А солнце все греет мне плечи,
 И я головою поник,

И вот уж уводит дремота
Меня за собой в полутьму,
Где вижу знакомое что-то,
Родное, но что — не пойму.

А, детство! Высокие ели,
И милой сестры голосок,
И желтые наши качели,
И желтый горячий песок...

Сентябрь 1940.

* *
*

Что желали, что любили —
Запорошило снежком.
В этой каменной могиле
Неприменно мы умрем.
В водянистом пухлом теле
Нарастает пустота,
А за пологом метелей
Снежных зданий красота.
Отлетело, отшумело,
Поутихло, — все пройдет.
Сквозь привычный гул обстрела
Уж незримый хор поет.
Все слышнее, все слышнее,
Все слышнее голоса,
Все яснее и яснее
И синее небеса.
В этом пенье, в этом тленьи,
В этом холоде высот
Мирный миг уничтоженья
Незаметно подойдет.

Январь 1942.



МАРИНА СТЕПНОВА

*

РАССКАЗЫ

ЧЕРНАЯ КОШКА

Честно говоря, я понятия не имею, как становятся богатыми женщинами. Месяц назад мне исполнилось тридцать лет, на безымянном пальце моей правой руки — обручальное кольцо из шести льдистых, породистым огнем горящих камешков, каждый из которых мог бы ненадолго спасти небольшую, но прогрессивную африканскую страну от голода и зловещего призрака социализма. Я объехала лучшую половину мира и могу с уверенностью сказать тем, кто собрался мне позавидовать, — больше я из Москвы ни на шаг. Если так хороша лучшая часть нашего бедного света, боюсь, худшая вдребезги разорвет мое нежное сердце.

Да, я то что говорится «удачно» вышла замуж. Мы с мужем вот уже пять лет любим друг друга с такой свирепой нежностью, с которой только очень одинокие люди умеют обожать абсолютно неодушевленные предметы — треснувшие фамильные чашки, засаленные галстуки и старых, жирных, невообразимо наглых кастрированных котов.

У нас прекрасная квартира в центре, необъятный загородный дом, постоянно меняющееся с четного на нечетное число машин, из которых я больше всего люблю блестящий, лакированный, как елочная игрушка, ярко-красный джип с надутой, как у рассерженного и балованного ребенка, мордочкой. У мужа постоянно растущий годовой доход, который делает все мои поездки по магазинам смертельно скучными, — трудно испытывать по-настоящему сердечное чувство к вещам, которые заведомо можешь себе позволить. Причем в неограниченном количестве.

Детей у нас нет и не планируются, зато имеется рыжий, веселый и похорошему упертый пес, который держит нас в черном теле и вполне обоснованно считает себя вожаком нашей маленькой дружной стаи.

И тем не менее у меня грустные глаза и старые родители, и не прошло еще десяти лет со дня, когда я стояла на площади Савеловского вокзала, сжимая в кармане пригоршню самых мелких и случайных денег, которые только смог найти в старых дырявых карманах давно не ношенной и пропахшей чужим шкафом одежды мой непутевый и нерасторопный ангел-хранитель.

Мне хватало набранной мелочи на хлеб. Вернее, на кусок хлеба. Или на четыре сигареты вроссыпь. Или на дорогу до института, где — с восковым, чудовищным, слегка оскаленным лицом — лежал и ждал, когда же я приду попрощаться, мой профессор, три дня назад окончательно разбивший свое сердце. Или. Или. Или.

Я не была тогда женщиной. Тем более богатой женщиной. Я была воином. Маленьким человеком. И я сделала единственно правильный выбор. И вот уже почти десять лет честно стараюсь забыть, как стягивало мне ви-

сок стылое, но начинающее наглотать весеннее солнце, как я купила четыре дешевые осыпающиеся сигареты и пошла в институт пешком, наступая на хрустящие седые лужицы. Как опоздала на гражданскую панихиду и навзрыд, утираясь и пузырем пуская сопли, расплакалась, случайно сломав в кармане одну сигарету. Как попросила у сокурсника, немолодого, с обезьяньим, въедливым, морщинистым лицом, денег на хлеб и как долго, часа два, акробатически отработывала этот хлеб в общежитской комнате — прямо на полу, на жидком бугристом матрасе, оставившем на груди, на лопатках и на коленях красные, почти кулачные отпечатки.

Все это в совокупности и еще то, что, уходя жить к мужу, я выбросила на улицу — на ту же самую помойку, с которой когда-то подобрала свою черную неласковую и облезлую кошку, — все это дает мне полное право утверждать, что я по-прежнему, оставаясь в твердом уме и ясной памяти, продолжаю наблюдать, мыслить и страдать от этого так же остро, как прежде — в те времена, когда я не была женщиной, но все еще оставалась человеком.

И если это не искупает моей вины, то по крайней мере позволяет считать себя услышанной.

Я была бессердечна и честолюбива, как змея, я хрустела чужими позвоночниками, я работала и пресмыкалась, как раб, но все-таки нашла себе в Москве ПРИЛИЧНОЕ МЕСТО. Пусть мне платили гроши, пусть я спала с кем попало, была всегда голодна до блеска в глазах и так артистично оборвана, что наивные люди считали мои обноски проявлением яркой индивидуальности, но зато у меня появилось общественное положение. Кабинет. Кожаные кресла. Стол. И голосистые, как новорожденные младенцы, телефоны.

Я уехала из общаги, целых пять лет простодушно гревшей меня на своей увядшей от пьянства и нехитрых деревенских пороков груди, трижды плюнув на порог своей комнаты и дав себе страшную, витиеватую клятву не видеть это угрюмое семиэтажное здание даже во сне. Я сняла квартиру, расплачиваясь с хозяином то случайной зарплатой, то, зажмурившись до кроваво-зеленых вспышек под веками, собственным бледным, угловатым, но одуряюще молодым телом.

Я упрямо не считала себя женщиной и не делала на это никаких ставок — только ум, только образование, только лед и яд, только чудовищный напор, который — я знала — рано или поздно позволит мне вынырнуть на поверхность этого взбаламученного дерьма. Женщины были мусором, они были заведомо вне игры, и с их мнением не считались даже изгой большого и настоящего мужского мира. Я хотела стать в этом мире пусть маленькой, но серьезной величиной.

Я была осторожна и во всем старалась брать пример со своего хозяина — тихого, вкрадчивого мошенника с застенчивым мальчишеским взглядом и удивительно честным, почти офицерским, прямым разворотом плеч. И вот что странно: давно стерлось из памяти его лицо, но иногда, присаживаясь с чашечкой чая в глубокое ласковое кресло какой-нибудь модной европейской приемной и дожидаясь, пока мне подберут новую оправу или рубиновую подвеску в пару к подаренным мужем длинным, тяжелого старинного золота серьгам, я вдруг прикасаюсь к прохладной скрипучей коже кресла чуть влажным, разгоряченным, загорелым плечом и сразу вспоминаю московский ледяной вечер, свой кабинет, слабо освещенный только неверным дрожанием компьютерного монитора, и холодок кресла под мокрой спиной, и стонущее мужское дыхание над ухом, и неурочный телефонный звонок, и унылый голос моего хозяина, придерживающего растегнутые брюки и в сотый раз врущего кому-то по телефону, что деньги непременно будут в конце недели, и гулкий пустой сейф, и гусиную кожу

на посиневших от холода бедрах, и ночное возвращение домой в облезлом вагоне метро, и беспредельную тоску, от которой нет спасения...

«Тебе не понравилось, девочка?» — осторожно спрашивает муж, едва прикасаясь большой ласковой ладонью к моим волосам, и я поднимаю на него черные от боли глаза и с трудом, как сквозь сон, понимаю, что на столике передо мной слабо догорают кровавые камни чистойшей, беспристрастной воды, и что у мужа самое родное в мире, сильное и усталое лицо и неповторимо — грустно и саркастически — изогнутые губы, что у него больное сердце и что все страхи моей прежней жизни — грязный сор по сравнению с этим больным, надорванным любовью и работой сердцем.

До сих пор не понимаю, как мне удалось сделать эту досадную ошибку. Стечение непроверенных сведений и непредвиденных обстоятельств — и вот передо мной на столе тонкий, скручивающийся, словно от страха, лист факсовой бумаги, подписанный фамилией, которую я вот уже пять лет считаю своей. Но тогда она звучала как настоящий гром.

В той области бизнеса, где я только начинала ставить свои бестолковые, наивные, убыточные эксперименты, мой муж давно был настоящим богом, возглавляющим, по молчаливому согласию остальных, почетную рейтинговую тройку. Я случайно, как полоумная помоечная кошка, метнулась ему под ноги и не то чтобы помешала, а скорее раздосадовала его своей ошибкой. «Прежде чем исковое заявление будет передано в суд, я хотел бы получить некоторые объяснения». Факс был адресован лично мне.

Я опоздала на полторы минуты. Мужчина, поднявшийся мне навстречу из-за идеального, сияющего рабочего стола и смеривший меня странным взглядом, значение которого я поняла гораздо позднее, от страха показался мне огромным, как гора. Он был похож сразу и на загорелого, чуть придымленного усталостью и испытаниями красавца ковбоя с рекламного щита крепчайших американских сигарет, и на присланную с фронта фотографию моего молодого, скуластого и шалого деда в бескозырке и широченных клешах.

Я не просто боялась — я испытывала физический, почти унижительный и одновременно почтительный ужас, который, наверное, испытывают болонки, нос к носу столкнувшиеся с волкодавом. Впрочем, муж мой скорее был волком — тяжелым, матерым, по-звериному хитрым и ловким в движениях и со своим особым — угрюмым, значительным — поворотом лобастой, умной головы.

«Пропала!» — обреченно подумала я и опустилась в предложенное мне кресло.

Почти год спустя, в разгар нашего медового месяца, муж, смущенно и заботливо кутая меня в яркую махровую простыню, признался, что влюбился в меня с первого взгляда. Всю жизнь проживший в эпицентре невидимой, но яростной войны, он в первый раз беззащитно поднял руки. Я показалась ему ребенком — перепуганным, неуклюжим, заблудившимся ребенком. Ребенком, которым я не была никогда в жизни. А мой муж не воевал с детьми.

Мгновенная тропическая ночь неуловимо, как чернильная капля в воде, превращалась в полупрозрачный, прохладный, совсем миндальный рассвет. Прямо под окнами нашего номера нежно и упруго вздыхало экзотическое море. И я вдруг глупо, словно героиня бессмертного и дешевого романа, мимоходом купленного на лотке и к утру забытого в электричке, расплакалась. От счастья. Оттого, что мама с папой больше никогда не будут молодыми. И оттого, что забыла вечером помолиться о том, чтобы ТАМ не перепутали и все-таки позволили мне умереть раньше мужа. Хотя бы на час.

Тогда, при первой встрече, мы проговорили не меньше двух часов. Шесть чашек отлично сваренного кофе тихонько, но настойчиво плескались у меня в животе. А мужу откровенно не хотелось отпускать меня, и

он лично — неслыханная честь для посетителя этого строгого и выверенного, как часовой завод, мира — взялся показать мне свое знаменитое хозяйство. К моему несчастью, слух, что у него процветающая фирма, огромный офис и не одна сотня сотрудников, подтвердился. Я бы предпочла, чтобы народу и кабинетов было поменьше и хоть где-нибудь мелькнула заветная дверь с двумя нолями, но увы! — туалет почему-то не входил в число местных достопримечательностей, поэтому с каждой минутой я становилась все печальнее и печальнее... К концу нашей увлекательной прогулки я почти перестала реагировать на внешние раздражители и только механически и затравленно улыбалась.

Простая и спасительная мысль тихонько и самостоятельно попроситься на горшок даже не приходила мне в голову. Уж слишком грозен был мой двухметровый спутник в безупречно сшитом костюме — даже на цыпочках я едва доставала ему до плеча, слишком почтительно вытягивались перед ним охранники, туго затянутые в черную форму, и слишком явно торчали у них под мышками скрипучие кобуры с настоящим мужским оружием.

Слегка пришла в себя я только в машине, любезно предоставленной мне для отъезда в родные пенаты. Президент фирмы, собиравшийся подавать на меня в суд, зачем-то стоял у парадного подъезда, закусив очередную сигарету, и с непроницаемым властным лицом наблюдал, как я неуклюже устраиваюсь в салоне, открываю окно и, жадно глотая сырой ноябрьский воздух, лепечу ему последние слова мольбы и жалкого привета.

Первый мелкий, грязноватый и какой-то сиротский снег летел нам навстречу, таял на моих ресницах, на седеющих волосах угрюмого мужчины с озорными, серьезными и едва уловимо тоскливыми глазами. Ему было сорок четыре. Мне — двадцать пять. Мы оба были одиноки и не одни. И нам обоим было тесно в этом смертельно перекошенном времени и пространстве...

«Смотри, Николаич, везешь драгоценный груз», — серьезно предупредил он шофера, и «мерседес», которому было велено отвезти меня восвояси, мягко присел и, урча, прыгнул с места. С этой минуты начался год, который должен был убедить нас в том, что мы непоправимо любим друг друга.

В августе, пригласив меня поужинать в ресторан, он, катая на щеках каменные, сухие желваки и глядя в стол страшными, абсолютно спокойными и белыми от напряжения глазами, сделал мне предложение. Ни на секунду не задумавшись и в клочья истерзав лежащую на коленях тугую льняную салфетку, я согласилась. Мы измучили друг друга за эти месяцы, как влюбленные школьники, боящиеся в первый раз взяться за руки. «Горько! — надрывалась за стенами нашего отдельного кабинета чужая неугомная свадьба. — Го-о-о-рько!»

Он встал. Чуть не опрокинув неестественно красивый, разноцветный, едва тронутый нами стол, шагнул мне навстречу. Я обреченно и облегченно закрыла глаза. Горькие, жесткие губы человека, который теперь должен был стать смыслом и центром всей моей бессмысленной жизни, впервые осторожно прикоснулись к моей щеке.

«Не так! — поправила я, все еще не открывая глаз и не решаясь сказать ему „ты“. — Не так. Поцелуйте меня по-настоящему...»

Теперь, спустя пять лет, я абсолютно счастлива — спокойным, полнокровным, жизнерадостным счастьем женщины, которая верит в то, что здорова и любима. И если я иногда и плачу по ночам, прижимаясь ухоженной щекой к теплой, чуть солоноватой, как солнечный морской камень, спине своего мужа, если я и прислушиваюсь с ужасом к тому, как медленно и неукротимо, обгоняя меня на повороте каждого года, стареет он там, внутри себя, куда не могу проникнуть даже я — всей тяжестью своей любви, если я и не могу ничего с этим поделаться, — так это из-за кошки.

Из-за того, как дико и бессмысленно посмотрела она на меня через черное плечо, когда я опустила ее на загаженную людьми землю возле мусорного контейнера и, поправив на плече нетяжелую сумку, деловито пошла к машине. Я шла неуверенно — на высоких, непривычных, нарядных ногах — мужу нравились тонкие каблуки, чулки, дорогое, электрической, синеватой белизны белье, небрежно сброшенное на пол, а мне нравилось нравиться ему, и я, привыкшая к потертым джинсикам и уродливым солдатским ботинкам, с удовольствием насилвала себя двадцатисантиметровыми шпильками.

Я шла медленно, выбирая, прежде чем шагнуть, место почище, — так медленно, что кошка поверила, будто я все еще человек, и закричала мне вслед. Она кричала испуганно, ни на что не надеясь, она боялась даже сдвинуться с места, потому что последний раз была на улице совсем крохотным котенком и совсем забыла, сколько кругом горя, шума и воздуха.

Воздуха, в котором навсегда растворялся мой единственно знакомый и доступный ей запах.

ТАТИНА ТАТЕЕВНА

После второй операции стало ясно, что она безнадежна.

Галина Тимофеевна поняла это, как только зеленоватый, прорезиненный от наркоза воздух вернулся в ее иссеченный швами живот. Тихонько жужжал обезжиренный свет палаты интенсивной терапии, расплывалось, неверно двоясь, доброе, округлое, словно бутон, лицо Тамары Алексеевны, ее лечащего врача, и, неторопливо, исподволь, осторожно трогая тяжелой лапой и опять выжидательно замирая на месте, возвращалась боль.

Болею то намученное место, которое раньше звалось желудком и которое уже унесли в эмалированном стерильном тазу — по прямым, безаппелляционным коридорам онкологического института — куда-то в сторону отделения патоморфологии, хотя и без дополнительного исследования было ясно, что у Галины Тимофеевны — рак, который в ближайшие месяцы словет ее окончательно, если только прежде она не умрет от голода.

У Галины Тимофеевны теперь не было желудка — крошечная культия, заботливо сшитая из лоскута пищевода, вряд ли могла бы прокормить даже новорожденного котенка. Но зато у Галины Тимофеевны было двое детей — двенадцатилетняя Лиза и четырнадцатилетний Герман, муж с аккуратной бородкой неудачника, старый больной отец, тридцать четыре года прошлого и — по самым оптимистичным прогнозам — три месяца непрекращающейся боли впереди.

И Галина Тимофеевна изо всех сил начала жить. Все как будто осталось прежним — она вернулась домой и привычно впряглась в уютное семейное ярмо, провожая мужа на работу, проверяя Лизины сочинения и мучась над физикой Германа. Галине Тимофеевне хотелось остаться в их общей памяти самой обыкновенной заурядной мамой, а не пожелтевшим невесомым телом, бесплотным распластным в полумраке спальни. И поэтому она, как и раньше, честно готовила домашним завтраки, ужины и обеды с тройным сюрпризом, когда у каждого возле прибора вдруг оказывалась толстая сдобная куколка с изюмными глазками или крошечный многоэтажный бутербродик, насквозь пронзенный цветной игрушечной шпажкой...

Это было очень трудно, потому что приходилось весь день двигаться в потоке вялой, густой, мутной боли, которая с незаметным ласковым постоянством все усиливалась и напирала, так что к вечеру Галина Тимофеевна обычно брела, погрузившись в болевой поток по самую шею. Боль

умела немного укрощать только Тамара Алексеевна при помощи дефицитных уколов и громоздких урчащих аппаратов, но к Тамаре Алексеевне можно было приходиться только два-три раза в неделю. И непрерывно хотелось есть.

Какое-то время Галина Тимофеевна еще могла проглотить немного жидкой каши или младенчески перетертого мясного пюре, но культяпка, играющая роль желудка, упрямо сопротивлялась, число глотков уменьшалось с каждым днем, и уже через месяц после второй операции Галина Тимофеевна перешла на воду и слабенький бульон. Еще через два месяца она была похожа на узницу лагеря смерти и ослабела так, что готовила сидя на табуретке — привалившись костлявым боком к теплой газовой плите и двумя руками пытаясь удержать невесомую алюминиевую шумовку.

Муж все чаще задерживался вечерами где-то на окраине своей собственной жизни, но Галина Тимофеевна, не жалуясь, ждала, покорно, раз за разом, разогревая ужин и понимая, что ей, собственно, давно уже пора, что даже врачи, встречаясь с ней в коридорах онкологического института, недоуменно и недоверчиво округляют глаза, и приходится, извиняясь и пряча лицо, объяснять — да, это все еще я. Все еще я. Простите.

У нее уже проступили челюстные мышцы, как у настоящего трупа или полубодранной гипсовой человеческой головы, по которой студенты-медики изучают анатомию, но вечером все так же мирно мурлыкал телевизор, переругивались в своей комнате вовремя накормленные дети и все так же — в ожидании хозяина — исходила тонким паром тарелка на обеденном столе. Синяя тарелка с большой, смуглой от жира котлетой и полупрозрачной, ломтиками обжаренной картошкой, от которой невозможно было отвести глаз.

Муж пришел в тот вечер совсем поздно и пьяный, хотя вообще-то не пил, не умел, — мигом перебирал положенную дозу и, хихикая, начинал петушиться, говорить дамам галантности и, промахиваясь, прикладываться к ручке. Галина Тимофеевна засуетилась. Поправила скатерть, торопливо пригладила полувылезшие от химиотерапии пегие жалкие волосы, пододвинула тарелку и потащилась, придерживаясь за стенку, на кухню за свежим хлебом и горчицей. Но не успела — муж поймал потемневшую косточку, которая теперь служила Галине Тимофеевне запястьем, и вдруг зашипел, мелко тряся пятнистым от ненависти лицом, — когда же ты наконец подохнешь... **КОГДА. НАКОНЕЦ. ПОДОХНЕТЬ.**

И тогда Галина Тимофеевна, задыхаясь, схватила с тарелки котлету и, давясь, принялась обеими руками заталкивать ее в рот.

Потом ее долго, мучительно и обстоятельно рвало. Перепуганный, мигом протрезвевший муж все совал к затылку переплескивающую через край чашку с водой, блаженно холодил лоб фаянсовый ободок унитаза, и Галина Тимофеевна, краем сознания ощущая, как в голос — на ыыы! — рыдает в комнате ничего не понимающая Лиза, все расстраивалась, что кафель в углу туалета совсем зарос липковатой желтой грязью, а сил дотянуться нету, и, значит, женщина, которую скоро приведет сюда муж, будет считать ее плохой хозяйкой.

Но больше, чем от голода и животной, изнурительной боли, Галина Тимофеевна страдала оттого, что не сможет разделить с детьми их будущее горе. Герман и Лиза оставались совсем одни. И хотя Галина Тимофеевна знала, что пройдут недели и месяцы долгой, кропотливой работы памяти, прежде чем они осознают, что случилось, у нее мелко-мелко и тяжело дрожало все внутри исполосанного живота при мысли о том, как будет больно Лизе найти в шкафу ее старенький халат или давно забытое платье, как она будет плакать и не понимать, почему от вещей по-прежнему пахнет мамой, а мамы больше нет, и как долгие годы — целую жизнь — Лиза будет одна перебиваться в неродном, никому не нужном мире.

Поэтому Галина Тимофеевна, собрав жалкие остатки сил, принялась методично уничтожать о себе всякую память. Одежду поплоче и постарее, мелкие пустяковые сувениры, студенческие конспекты и помутневшие от времени фотографии она, поминутно останавливаясь, чтобы перевести дух и проглотить огромное мучительное сердце, отнесла на помойку. Кофточка и платя олучше, купленные перед болезнью и едва надеванные, Галина Тимофеевна решила подарить знакомым. Она торопилась задобрить всех, кто знал и любил ее, чтобы хоть несколько капель всеобщей жалости перепало потом ее детям.

Галина Тимофеевна понимала, что выглядит плохо. Не просто плохо — а так, как не должен, не может, не смеет выглядеть живой человек. И старательно пыталась хоть немного приукрасить себя — чтобы не отпугнуть, не ужаснуть людей, которые, как она надеялась, не забудут после ее ухода Германа и Лизу. Поэтому она с кропотливым, неведомым прежде старанием подкрашивала бледные плоские полосочки, которые раньше были ее губами, старалась уложить невесомые пряди, чтобы не так жутко сквозила желтая, пятнистая кожа головы, и даже душилась из маленького флакончика, который подарил ей на последний день рождения муж. Тогда он еще поцеловал Галину Тимофеевну в губы и при гостях попросил родить ему — для количества — маленького Вовку.

В тот вечер так много смеялись и ели, что у Галины Тимофеевны впервые сильно разболелся живот, но все равно было очень весело, и гости шумно заплотировали, когда розовая от гордости хозяйка вынесла из кухни огромный, как тележное колесо, торт-«наполеон» в тридцать четыре коржа, а приятели все выспрашивали, как это Галочке — при эдаких кулинарных способностях — удалось так замечательно похудеть.

Галина Тимофеевна понимала, что ее уловки бессмысленны и унизительны, но упорно останавливала брезгливо шарахающихся соседок, звонила коллегам и бывшим сокурсникам — и все это жалко дрожа, обмирая, задыхаясь от тайного, но всем понятного речитатива — Герман и Лиза, Герман и Лиза, Лиза, Лиза...

Ее попытки сплести детям удобную и покойную сеть покровителей и друзей напоминали вязание — быстрое стрекотание суетливо сияющих спиц, мгновенный бросок воздушной петли и рождение сложного сквозного узора. Одна из петель этого узора захватила даже дочку Тамары Алексеевны, и, как это ни странно, Галина Тимофеевна возлагала на эту чужую, необыкновенно живую барышню, изучавшую в университете французский язык, свои самые отчаянные и большие надежды.

Галина Тимофеевна подружилась с Тамарой Алексеевной еще после первой, так много обещавшей операции. Операция лишила Галину Тимофеевну двух третей желудка и взамен подарила последнюю подругу, потому что Тамара Алексеевна — вопреки священной клятве Гиппократы — привязалась к своей тихой полупрозрачной пациентке окончательно и навсегда.

Подгоняемые напиранием на Галину Тимофеевну временем, они в считанные недели дошли в своей взаимной жалостной нежности до таких запредельных торжественных высот, что обе не знали, что делать дальше. Пытаясь хоть что-нибудь исправить, Тамара Алексеевна даже всякими полуголовными способами добывала для Галины Тимофеевны морфин, за каждую ампулу которого сначала расписывалась в бесконечных ведомостях, а потом тайком совала в молодые накрахмаленные халатики четверо сложенные купюры и долго держала под пересохшим языком шершавую ледяную таблетку валидола.

Иногда морфин помогал, получившая недолгую передышку Галина Тимофеевна, слабо улыбаясь, присаживалась на своей плоской клеенчатой кушетке, и они с Тамарой Алексеевной принимались взахлеб, всхлипывая и перебивая друг друга, разговаривать о своих детях.

Однажды, на самом пике их рыдающего диалога, дверь кабинета распахнулась и — ожившей подвижной иллюстрацией — ворвалась дочка Та-

мары Алексеевны, и, как и полагается настоящей иллюстрации, в жизни оказалось гораздо ярче и одновременно проще самых страстных материнских рассказов.

Вся сливочно-золотая, стремительная, она без тени животной и вполне ожидаемой брезгливости расцеловалась с Галиной Тимофеевной, поблагодарив ее за подаренную блузку. Блузка, опалово-бледная, с воланами, — лучшее, что нашлось в умирающем шкафу Галины Тимофеевны, — присутствовала тут же, туго натянутая бодрой молодой грудью и прямыми сильными плечами. Покончив с официальной частью знакомства и мимоходом потеревшись щекой о материнские волосы, дочка Тамары Алексеевны преспокойно бросила узкое модное тело на свободную кушетку и принялась уверенно и оживленно рассказывать о картавых и никому не известных версификаторах, которыми имела честь заниматься в своем институте.

Она болтала, то кусая за упругий бочок извлеченный из студенческого рюкзака бублик, то отбрасывая с лица тяжелые прямые волосы с каким-то фантастическим, гладким, ртутным переливом внутри, и время от времени — со дна журчащего необязательного разговора — улыбалась матери и Галине Тимофеевне влажными голубоватыми зубами.

Дочка Тамары Алексеевны не стеснялась, не играла, не кокетничала своей причудливой инопланетной красотой, она просто жила — с великолепной естественностью здоровой кошки, которая и не подозревает, каким сложным зеркальным блеском отливает на солнце ее праздничная шубка. Впервые за время своего затянувшегося рака Галина Тимофеевна видела существо, которое вело себя рядом с ней так, будто ВСЕ БЫЛО НОРМАЛЬНО.

От благодарности и сдобного запаха теста (дочка Тамары Алексеевны машинально предложила кусочек и Галине Тимофеевне, но тут же легко исправила оплошность одним теплым извинительным прикосновением ладони) Галина Тимофеевна испытала что-то вроде блаженного обморока. Она вдруг сразу и окончательно поверила в то, что нашла для своих детей идеальную гавань.

Вопреки всем законам природы, дочка Тамары Алексеевны охотно согласилась давать Лизе и Герману уроки французского языка, и теперь два вечера в неделю Галина Тимофеевна, затаившись от опасливого счастья, слушала, как переливаются в детской роскошные, грассирующие фразы и на дне каждой прыгает отчетливо дрожащий зеркальный смешок — не то французский, не то собственный, заводной и веселый, смешок молоденькой гувернантки.

Дети влюбились в проходящую красавицу с прозрачными и пушистыми, как крыжовник, глазами, со всем зоологическим бессердечием, на которое были способны. Герман, пятнисто рдея щеками и лбом, с неожиданно прорезавшимся мрачным, мужским пылом зубрил неправильные глаголы, а Лиза часами вертелась перед большим овальным зеркалом в прихожей, пытаясь заставить слабые прозрачные кудряшки лечь вожденной ртутной волной. Мать, почти с головой погруженная в темноту одинокой голодной боли, была забыта простодушно и навсегда. Галина Тимофеевна была счастлива.

Впервые в жизни проявив характер, она слабым свистящим шепотом запретила дочке Тамары Алексеевны, Герману и Лизе появляться в ее последней (три крайних окна второго облупленного этажа) онкологической палате. Галина Тимофеевна не хотела прощаться. И до последнего дня, уже едва способная шевелиться, при помощи набухшей от слез Тамары Алексеевны в назначенный час добиралась до окна и, вцепившись костенеющими пальцами в раму, покрытую грубой коростой осыпающейся краски, смотрела мокрыми невидящими глазами, как ее дети гуляют по роскошному осеннему парку онкологического института. Три крепко взявшие за руки фигурки в расплывающихся от слез ярких плащах. Ее дети.

Момент перехода Галина Тимофеевна едва ощутила — просто мгновенный и обморочный укол, словно во сне, когда всем оборвавшимся сер-

дцем оступаешься на чудовищной высоте и тут же мягко и упруго планируешь на невидимых крыльях — на самое дно разреженного сном воздуха. И никакого света в конце тоннеля, головокружительного полета и одушевленного шепота усопших — ничего, кроме бесконечного одинокого ожидания в пустом зальчике убогой привокзальной почты.

Первое время звонков было много, и Галина Тимофеевна едва успевала переходить из одной облупленной кабинки в другую, прислушиваясь к далеким, прерывающимся голосам, но телефонные мембраны становились все непроницаемее, а кабинки все призрачнее, и она подолгу застывала на неудобном казенном стуле с холодной пластмассовой спинкой, беспокоясь и схватываясь при каждом коротком переливчатом треньканье. Но связь барахлила, и Галина Тимофеевна со слабой, виноватой улыбкой опять опускалась на свой стул и все комкала в иссохшей лапке маленький влажный платочек с красным, похожим на паука цветком, который Лиза вышила на уроке труда в четвертом классе.

Потом звонки прекратились вовсе, и Галина Тимофеевна впервые почувствовала тихое, но безостановочное движение внутри и вокруг себя, словно она лежала на дне настойчивого ручья и погружалась все глубже и глубже, протягивая немые полуразмытые руки к зеленоватой, клубящейся поверхности и растворяясь в теплой, щекотной мути. Дольше всего держалось в памяти дрожащее изображение Лизы, но и она, вопреки логике все еще существующего где-то времени, не взрослела, а становилась меньше, бесцветнее, пока наконец не притаилась щекотной рыбкой внутри опустевшего материнского живота. И Галина Тимофеевна поняла, что больше не помнит своего имени. Тогда, сделав судорожное, отчаянное усилие, она встала и, тяжело раздвигая кисельный, загнивающий воздух, побрела к немой, струящейся телефонной будке.

Дочь Тамары Алексеевны проснулась, вздрогнув всем потяжелевшим, подурневшим от поздней беременности телом, и бессмысленными со сна глазами уставилась в медленно розовеющий прямоугольник окна. Томительно вздыхал подобранный к самому дому сосновый прибор, и в такт ему ритмично колыхалось загорелое плечо умаявшегося за долгий дачный день мужа. Едва слышно, на пределе ощущения, зудел в полумраке проглодавшийся комар.

Как же ее звали? Полина... нет, Альбина Матвеевна. Все-таки Полина, а не Альбина. Полина Матвеевна. Татина Татеевна. Или Татетеевна? Полина Татетеевна, Патрикеевна, Алевтеевна, перебирала женщина, нанизывая на невидимую нитку непослушные, забытые бусины.

Комар уловил волну мощного живого тепла и восторженно смолк, пристроившись у подножия рыжего волоска — поближе к зияющему темному кратеру поры. Патрикеевна, Фадеевна, Ти... Мужчина, не просыпаясь, дал себе оглушительно-влажную пощечину и скрутил комара в крошечный липкий комочек. Женщина вздрогнула еще раз, машинально прикрыв ладонями круглый живот. Спи, пробормотал мужчина, тяжело переворачиваясь и прижимая к груди ргутную, слегка светящуюся в предрассветной спальне голову жены. Еще рано. Рано, согласилась женщина, неотвратимо погружаясь в медленные, зеленоватые слои сна и чувствуя, как вращается, опускаясь, потолок, обшитый душистой вагонкой, как ходит, осторожно сужая круги, огненная лисица с огромным, тающим в темноте хвостом и все гуще, все тяжелее пахнет чем-то сладковатым, знакомым, родным...

В животе ее, засыпая, тяжело толкнулся неясный ребенок, связь со слабым щелчком разъединилась, и Галина Тимофеевна умерла.



СЕРГЕЙ ХОМУТОВ

*

ЛЕТЯЩИЕ ВЕРСТЫ

* *
*

Проснусь в переполненной бочке вагона —
на жестком устану.
Какого еще ожидать перегона,
коль всё не по плану?

Какого еще ожидать полустанка,
уж я и не знаю.
В соседнем купе продолжается пьянка,
печально внимаю.

Добро, за окошком бегут перелески,
холмистая местность.
И звездчаты встречные речки от блеска,
змеясь в неизвестность.

Летящие версты — прощальные строчки
за пологом дыма...
А жизнь, как и прежде, от точки до точки
неисповедима.

* *
*

Всё разумное в нас и безумное равновелико —
то бесценные ценности, то по углам черепки...
Две сектантки поют, завывают протяжно и дико
на заснеженной станции возле замерзшей реки.

Что сюда занесло эту пару неясного свойства
и о чем эти песни, подобные шуму в степи?
И душе не укрыться, не спрятаться от беспокойства —
всё в России по замыслу вроде и всё вопреки.

За платформой деревня, где сеют и пахут весною,
где еще уберется по нищенским избам уют.
Но какую-то жгучей, какой-то всесветной виною
переполнено завтра — а рядом сектантки поют.

Кто их бог — неизвестно и кто их кумир — непонятно
и бессмысленно спрашивать, ибо ответа не жди.
Далеко ль собрались или нынче ж вернутся обратно
и какие надежды в сухой сберегают груди?

Налетит тепловоз, оборвав с возвращением в город
размышленья твои о превратностях общей судьбы.
Но и там лишь острее сиротский почувствуешь холод
и ничтожность своей не дошедшей до Бога мольбы.

...За окном темнота, и, к стеклу приныкая глазами,
ты напрасно пытаешься высмотреть вечное дно,
что с рожденья до смерти привычно зовем небесами.
Но глядишь и глядишь, и другого тебе не дано.

* *
*

Апрель, на кладбище размытое
спешат машины и народ.
Уткнув в кашне лицо небритое,
с трудом пройдешь к могиле вброд.

Повернуты и опрокинуты
недавно врытые кресты,
водою памятники сдвинуты,
обсели вороны кусты.

А похороны продолжают,
не остановишь этот смерч —
в потоке мутном отражаются
одновременно жизнь и смерть.

* *
*

Память — грустное наследье,
столько горькой правды в ней.
Новое тысячелетье
от иных растет корней.

Омут темный, серебристый
с окуньками да плотвой,
луг пресветлый, бор пречистый,
вы остались в жизни той —

там, где утром с зыби синей
долетал к нам водный прах,
там, где кладбище святыней
было в розах и крестах,

где еще земная сила
мне сулила столько благ
и прабабкина могила
не осыпалась в овраг...

Реставрация

Декабрьское утро. Безликие стены столетья.
Навряд ли печальней возможно представить наследье.
И не с чем уйти, чтобы с чем-то обратно вернуться,
добро бы от сна — тяжелее от яви очнуться.

Кривые ступени, холодные серые плиты,
и камни разбиты, и мысли святые забыты,
и клетки лесов накренились до самого неба.
И мертвая память как несовершенная треба.

Под сводами Спаса невидимо Преображенье,
лишь темного снега наметы, морозное жженье.
Всё выше идем, а как будто спускаемся ниже,
и странно услышать почти позабытое «...иже»...

О, сколько еще нам шепотью крестить этот воздух,
чтоб снова исконный наш, отчий, почувствовать роздых,
увидеть, что паперть от ладана стала туманна...
И грешные губы молитвенно шепчут: «Осанна!»

* *
*

Слова, превращенные в пули,
возможно, уже не слова:
в сплошном демоническом гуле
они утерjali права
на музыку, что согревала
и души звала к небесам,
и вечную жизнь обещала,
и волю давала слезам.

Уйдем в тишину золотую,
в молчание далее цветных,
где губы молитву святую
прочтут, поминая родных.
И вечная тайна пробьется,
жестокую блажь отстраня.
И музыка вновь отзовется,
в согласных и гласных звеня.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ГОРОДА И ГОДЫ

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН



СРЕДОКРЕСТИЯ МОСКВЫ

I. Грунтовое

... На сем месте созиждется град превелик, и распространится царствие треугольное, и в нем умножатся различных орд люди.

«Сказание о начале царствующего града Москвы».

Боровицкая площадь. Начинается земля, как известно, от Боровицкой площади. В частности, от нее начинается Кремль, распространяется к востоку с каждым расширением, а наконец остановившись, образует за собой Красную площадь, откуда земля начинается снова.

Во всяком случае, если на Красной начинается Россия, то на Боровицкой начинается Москва, — и может отыскаться какой-то смысл в том, что эти два начала не совпадают. Между ними заключена дистанция Кремля, который, маскируя несовпадение, начинает землю собой.

Боровицкий ноль координат образовался скрещением дорог у слияния рек. Здесь, при впадении Неглинной в Москву, нашла свой брод Волоцкая, новгородская дорога — нынешняя улица Знаменка. За бродом она продолжалась дорогой, которую мы назовем, в реалиях XIII и последующих веков, ордынской: улицы Всехсвятская, Полянка и далее. Торг и город завязались подле брода: великие континентальные столицы начинаются у мелкой воды.

У брода же эту дорогу пересекала другая, шедшая вдоль Москвы-реки, дорога, соединявшая Ростово-Суздальскую землю с Киевом: бровка (или подол) Кремля — Волхонка.

Так, крестом, Москве было указано место.

Качели сил. Дороги, сбившиеся в эту крестовину, были путями к центрам власти — и значит, векторами силы, самой истории, линиями разломов и альтернатив. Здесь юго-западный, галицкий, впоследствии литовско-русский или малорусский путь народа мерялся с владимирским, великорусским, северо-восточным. Юрий Долгорукий из этой точки тянулся к Киеву, недаром и запомнился как повелитель московского начала, — а сын его Андрей вернулся через это средокрестие на долгое плечо Владимирской Руси. Качели решают

Рустам Рахматуллин (род. в 1966) — эссеист, москвовед. Куратор московского Эссе-клуба, участник литературно-исследовательской группы «Путевой Журнал». Лауреат премии «Нового мира» за цикл эссе из будущей книги «Облюбование Москвы» (см. «Новый мир», 2001, № 10 и 2002, № 11).

Цикл «Средокрестия» входит в первую книгу автора «Две Москвы. Опыт метафизического градоведения», которая готовится к изданию в этом году. Цикл включает кроме предлагаемых здесь эссе о средокрестиях водном (см. «Водопоец» — «Новая Юность», 1999, № 5), «явленном» (см. «Красная площадь» — «Октябрь», 2002, № 10), «морочном» (см. «Исход» — «Новый мир», 2000, № 1) и «потаенном» (см. «Точка F» — «Независимая газета», 1998, 16 октября).

шего выбора лежали на стволе пути из Новгорода в степь как между третьей и четвертой силами, то арбитрававшими двум первым, то заключающими союз с одной из них, то враждовавшими.

Четыре России — и каждая из боровицкого начала делает вечный выбор между прочим трех. Так что, идя в любую сторону от средостения Москвы, мы двинемся не как-нибудь, но по путям судьбы России.

Кремль, Занеглименье, Замоскворечье. Четыре дороги — да три суши, поскольку две реки. Кремль, Занеглименье, Замоскворечье — в точку боровицкого начала сбились три доли мира. Эти три суть Святая Русь, Запад и Степь, Орда. Чем не способ разгадки загадочного царства треугольного?

Загадочного тем еще, что меряно начетверо: по осям скрестившихся дорог. У средокрестия Москвы три превращается в четыре, и обратно. Эту арифметику необходимо понимать, чтоб понимать Москву.

На Стрелке. Мерцание тройки-четверки разыгрывается на Боровицкой как двоение Запада. Двоение на северный и южный, варяг и греков, Балтику и Средиземноморье, а в ближнем круге — на Новгород и Киев, позднее Русь Литовскую. Все это развилка Знаменка — Волхонка.

Двоилась и сама Волхонка: этот, древнейший, путь на Киев лежал через Смоленск. По мере возвышения Литвы на строгом западе и подчинения ей юго-западного Киева двоение Волхонки исполнялось новым смыслом — она вела во все литовско-русские столицы; впрочем, смоленская дорога тогда же начала свой переход на ложе Воздвиженки, а киевская, сделавшись прямой, пошла по броду и Замоскворечью, образуя ложе Якиманки.

На общий угол Знаменки с Волхонкой выходила церковь с Никольским посвящением. Словно заступник всех идущих сторожил на распутье. Церковь была построена стрельцами и прослыла Николою Стрелецким, но это имя отдается и значением развода стрелок. Еще один Никольский храм стоит в Старом Ваганькове, назади Пашкова дома.

Итак, двоящая Запада дана нам уже в точке московского начала. Как и единство Запада, обозначаемое принадлежностью обеих улиц — Знаменки и Волхонки — миру Занеглименья.

Два холма. Четыре дороги, три мира — да два холма. Боровицкий, холм Кремля, — и Ваганьковский, холм Занеглименья. Боровицкая мизансцена есть состязание двух гор при низменном Замоскворечье, в виду него или из него глядя.

Каким значением ни наделяй эту борьбу, — сейчас нам важно лишь, что в обстоятельствах начала города заложена от века болезнь двоения. Что торг и переправа охранялись с двух холмов на выбор, а выбор был не прост.

Остроугольный мыс Кремлевского холма был выбран тем верней, что подбивает клином к средокрестию Владимирскую Русь.

Ваганьковский же холм, уставившись в ответ предместной цитаделью, собственно Арбатом в первоначальном смысле слова, с тех пор стоит за совокупный запад мира.

Утопия. Два холма — или один, двоящийся, коль скоро цитадель Арбата с веками стала загородным государевым Ваганьковским двором, удвоилась двором Опричным, иносказалась царственным Пашковым домом и размножилась домами коллективного и самозванного царя — интеллигенции.

Здесь нам подсказка, что всякий извод кремля из Кремля означает утопию, утопия же сопрягается с Западом, и для начала с ближайшим, застенным.

Каменный мост. И снова: два холма — да три мира. Путь в третий мир — Орду — лежит мостом, а прежде бродом, и по Замоскворечью. Собственно, само Замоскворечье — острие ордынского пространства, клин степей, подби-

тый к самой точке боровицкого координатного поля. Еще в начале прошедшего века с любой из главных колоколен города Москва прочитывалась как граница леса и степей, сошедшихся в ней непосредственно. (Георгий Федотов в эссе о трех столицах еще видел это с колокольни Симонова монастыря.)

Но «непосредственно» не значит без архитектурного лица. Лицо Замоскворечья подле средокрестия дорог стало определяться с постройкой по-над бродом в конце XVII века Каменного моста — первого постоянного моста Москвы-реки. Тогда как мост от Красной площади все еще оставался наплавным и деревянным, «живым». Слово бы Боровицкой площади ко времени Петра вернулось первородство.

Изогнутый горбом и многоарочный, с архитектурно пышными бортами, Каменный мост стал новым фокусом старинного московского начала. Точнее, фокус раздвоился между надстроенной тогда же в виде пирамиды Боровицкой башней Кремля и тоже пирамидальной двухшатровой башней на заречном конце моста, известной как Шестивратная.

Вместе с береговыми фасадами Суконного и Винно-Соляного дворов, вскоре построенных по сторонам моста в Замоскворечье, Шестивратная башня встала во главе того угла, которым степная доля мира подбита к средокрестию.

Дом на набережной. Снос башни в середине XVIII века, замена самого моста еще через сто лет, уничтожение и нового моста, а с ним Суконного и Винного дворов при Сталине, наконец, постройка современного моста ниже течением, всем многорядным полотном прямо на Боровицкую, — все это опустошило вид на стороне заречья, и память о домах-кварталах встретилась с потребностью в какой-то вертикали.

Может быть, неразличение этих потребностей и породило Дом на набережной? Или замоскворецкий берег против Боровицкой площади всегда жил ожиданием того, что называется «дом-город» и что во времена доходного строительства на рубеже веков имело лучший шанс? Не эта ли потребность воплотилась в худшем и позднейшем виде как Дом на набережной, он же Дом правительства? С его отдельной идеологической программой, с непопулярной высотой вместо потребной стелющейся протяженности и с неспособностью дать впечатление господства многосоставности над целым, без чего никакой просто большой дом не станет домом-городом.

Кроме того, дом-город на замоскворецкой набережной должен бы представлять народное, а не правительственное начало. Многонародье — и в смысле населенности, и в смысле языковой пестроты от прирастания Поволжьем и Сибирью, и в смысле пестроты сословных состояний. Густое множество замоскворецкого домовья, прореженное купами садов и собранное вертикалями церквей, куда точнее воплощало эту тему.

И куда привычней взгляду с высоты Кремля, всегда имевшему перед и под собой именно эту городскую сторону. Впрочем, дом-город на заречной стороне был нужен не такому взгляду с холма, но взгляду от подножия холмов, от средокрестия, когда вся глубина Замоскворечья прячется за внешний фронт домов. Дом-город, становясь один за всех во фронт, представил бы, означил, заместил всю эту глубину.

Притом начальственность Дома на набережной родней Арбату, чем Замоскворечью. Как и спор этого дома с Кремлем. Недаром дети его сосланных или расстрелянных жильцов причислены к «детям Арбата». И театр в ансамбле дома — почти единственный прижившийся в Замоскворечье, тогда как театральная Москва синонимична Занеглименью: видимо, лицедейство держится опричной, а не земской почвы.

Палаты Аверкия Кириллова. Что вся Берсеневка — замоскворецкое урочище напротив занеглименского берега — является экстерриторией Арбата, доказывается преданием о принадлежности древнейшего из здешних зданий Малюте Скуратову. Это знаменитые палаты думного дьяка Аверкия Кириллова,

причастность которых боровицкому средокрестию была очевидна, пока их не загородил Дом на набережной. Пресловутый подземный ход из этих палат на другой берег в новейших редакциях предания раздвоился выходами между Кремлем и Ваганьковым, поскольку во дворе Пашкова дома раскопан вертикальный каменный колодец.

Разумеется, Малюта жил в опричнине. Его могила отыскалась при сносе церкви Похвалы Богородицы, стоявшей на арбатском берегу Москвы-реки. Стоявшей, кстати, ровно против палат Аверкия Кириллова. И в этом визави, и в представлении о ходе под рекой прочнеет интуиция, что берега здесь в самом деле связаны, и в самом деле тайной связью. Что Арбат перетекает, перелестывает через реку.

Остров и Болото. Может быть, Арбат дотягивается до старицы — первобытного ложа Москвы-реки, ставшего при Екатерине ложем Водоотводного канала.

И до канала в старице стояла малая или шла полая вода, обособляя передний край Замоскворечья в остров. Фасад домовья вдоль канала стал поэтому вторым лицом Замоскворечья. По времени же — первым, ибо в Средние века между рекой и старицей против Кремля существовал лишь сад. Устроенный Иваном III как своеобразный плац Кремля, сад был и назывался Государевым. Можно сказать, сам Кремль продлился с ним до старицы. Во всяком случае, сад позволял Кремлю царить над ней. Даже Суконный двор Петра — двор, первым заступивший заповедную границу сада, — смотрел парадной стороной на старицу, а не на Кремль. Кремль словно продолжался зданием Суконного двора, как прежде продолжался садом.

Все говорит нам, что на старице, в месте ее сечения ордынско-новгородской трассой, там, где Большому Каменному отвечает Малый Каменный мост, дублировано боровицкое начало города и иносказана его структура.

Киевская дорога дана здесь новым стартом — Якиманкой, ответвляющейся от Полянки. Полянка неизменно держала на Орду. Каменный мост выстилал путь к Знаменке, и значит, в Новгород. А на Ростов и на Владимир можно было ехать набережной улицей вдоль старицы и далее по Москворецкому мосту.

Кремль, сам присутствуя над старицей, был опосредован, приближен не только Шестивратной башней, но и парадной стороной Суконного двора. Площадь между которым и каналом — Болотная, Болото, — пожалуй, стала образом координатного поля, торгового и форума, пока не превратилась в сквер. Она действительно служила XVIII веку форумом, площадкой фейерверков и парадов, будучи аванзалом, предварением Кремля.

А на древнейших, XVII века, планах города Болотной площади предшествует выгородка угла Государева сада, обращенная своими сторонами к трем мирам — Кремлю, материковому Замоскворечью и Берсеневке.

Материковое Замоскворечье обставило свой выход к переезду через старицу в конце XVII века: Кадашевский Хамовный (ткацкий) двор — огромное каре с надвратной башней в центре главного фасада — тянул к мосту из глубины ближайшего квартала. Двор простоял сто лет; в его отсутствие вне конкуренции осталась церковь Воскресения Христова в Кадашах, из глубины второго плана господствующая над Болотной площадью и старицей, как некогда господствовал Хамовный двор. Недавно первый план по набережной, перед этой церковью, застроен с превышением этажности, и новым знаком Замоскворечья против Болота имеет стать запроектированный корпус Третьяковки, доселе потаенной в глубине прибрежного квартала.

К Болотной площади был обращен главным фасадом и Винно-Соляной двор на месте Дома правительства. Переведенный в камень при Анне Иоанновне, этот двор закончил собой оформление периметра Болотной площади. Фасад двора на площадь был важнее фасада на Москву-реку. Преемственно и Дом правительства на стороне Болота выглядит намного интереснее, чем на стороне Москвы-реки, поскольку площадной фасад принадлежит конструктивизму, а речной — сталинскому «ампиру».

С Болота делается видно, что Дом правительства есть продолжение Арбата, способ его присутствия у средокрестия на старице. В отсутствие холма на низменной Берсеневке сам Дом на набережной стал холмом опричь Кремлевского. Отсюда запредельная этажность Дома.

Рисунок князя Гагарина. Сравним с фантазией художника князя Григория Гагарина, сопровождающей «Тарантас» Соллогуба или даже вызвавшей к жизни эту повесть. На романтическом рисунке князя, выполненном в середине XIX века, берега Москвы-реки от Каменного к Крымскому мосту заставлены строениями экзотической архитектуры, среди которых узнается строящийся храм Спасителя. Против него, на стороне Берсеневки, на стрелке, вздымается земля, служа подножием какому-то подобию кремля. Два берега объединяются в особый город, над которым простирает долгие лучи сходящее к закату солнце.

Федор Ртищев и Автоном Иванов. Как Дом правительства развернут фронтом к Болотной площади, так дом Пашкова развернут к Боровицкой, представляя весь полумир Запада, противоположный полумиру Владимирской Руси и разных орд.

Любое разделение западной доли мира на пути и клинья — греков и варяг, греков и римлян, литву и шведов, Амстердам и Венецию — снимает архитектура Пашкова дома. Это образ Европы вообще — палладианская вилла под французской декорацией.

Когда во времена Петра на месте будущего Пашкова дома стоял голландский барочный дом дьяка Иванова, балтийская направленность улицы Знаменки обозначалась в полной мере.

Еще раньше, на заре барокко, стала оформляться греко-римская и киеволитовская направленность Волхонки. В середине XVII века при начале этой улицы (в то время называвшейся иначе), за Стрелецкой церковью, стоял дом Федора Михайловича Ртищева — проводника киево-могилянской учености в Москве. Бдения его кружка — кружка ревнителей древлего благочестия — имели местом этот дом. В нем у хозяина бывали Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий, Юрий Крижанич, старцы основанного Ртищевым Андреевского училищного монастыря.

Как и палаты Автонома Иванова, палаты Ртищева не сохранились. Вместо тех и других город поставил дом Пашкова, чтобы сыграть тему целого Запада.

Киевец. Отдельно юго-западную тему сыграл другой, позднейший архитектурный образ — ушедший километром выше по берегу реки доходный дом Перцова, тоже дом-город. Сергей Малютин, его автор, нарисовал здесь Киевскую Русь, полную знаков славянского язычества, но помещенных в перспективу греко-христианскую. А именно в иконописную, обратную, по образцу архитектурных композиций («горок») священного письма. Чертеж обратной перспективы линиями кровель и фасадных плоскостей предъявлен всякому смотрящему на дом из-за реки, с реки, с Большого Каменного и с Волхонки. К последней дом повернут острым, но срезанным и выразительно оформленным на срезе углом, когда мы видим словно три фасада одновременно.

На своем месте дом Перцова — кромка, заставка местности Остожья, древнейшим поселением которой было набережное село Киевец, основанное выходцем из Киева боярином Родионом Несторовичем в XIV веке. Основанное при дороге в Киев — на продолжении Волхонки, будущей Остоженке. Перцовский дом-город и есть такой Киевец, маленький Киев (с боярином пришли тысяча семьсот человек). Это верно и на взгляд Кремля, для которого перцовский дом — заставка юго-запада, воспоминание Днепра. Но легко представить этот дом и в юго-западном квартале Боровицкой площади, тоже на берегу реки, так чтобы Киев начинался от ворот Кремля. Притом малютинский модерн приписывают к скандинавской школе, и значит, дом Перцова по-сво-

ему, отлично от Пашкова дома, решает занеглименскую тему двуединства греков и варяг. Словом, не относясь до Боровицкой площади, перцовский дом относится до проблематики ее. Он словно не дошел до Боровицкой или же ушел с нее.

Второе вероятнее. Когда сооружался дом Перцова, менялось представление об очерке Арбата. Вместо широтного пространства, нанизанного на смоленскую дорогу (улицы Воздвиженку, Арбат) и зачинающегося от самого Кремля, московскому сознанию представилось пространство меридиональное, оставившее Белый город, чтобы остаться в Земляном, между колец бульваров и Садовых. Так закольцованный, Арбат даже распространился к Патриаршим, заступив опричную границу — линию Никитской улицы. Это Арбат модерна, фешенебельных особняков буржуазии, Шехтеля. Впоследствии — Булгакова. *Новый Арбат* — недаром улицу с таким названием проложат между двух колец.

Новый — однако восходящий ко временам от Федора Иоанновича до Екатерины, то есть от строительства до сноса стен Белого города. Круг Земляного города тоже возник при Федоре, но оставался до Екатерины юридически не городом, а пригородом. Белые стены были столь наглядной городской чертой, что пригород — Арбат — не мог не отступить.

Со сносом Белых стен Арбат вернулся на черту Неглинной, выставив на ней программные дома — Пашкова, Университета.

Новый Арбат, однако, удержал свою границу: ею оставался Черторый — ручей, который, как естественный пристенный ров, когда-то задал трассировку Белых стен на западе, от Никитских ворот до Москвы-реки. В XIX веке Черторый был взят в трубу для устройства внешнего проезда западных бульваров. Его невидимое устье как раз отмечено домом Перцова.

Лишь за этим домом западный берег Черторья — Остожье, Киевец — высок настолько, чтобы мизансцена средокрестия Москвы могла быть повторима. Высокое Остожье есть проекция Ваганькова за Черторый. Пятиэтажный дом Перцова предпочел встать на остоженском подоле, не использовать, а заместить высокий берег. Жестко оформить самый угол, мыс ушедшего за Черторый Арбата. Мыс, видимый Кремлю.

Словом, два дома: дом Петра Перцова, железнодорожного дельца, и дом Петра Пашкова, винного откупщика, суть два лица по-разному располагающегося Арбата. Причем Перцову тоже не откажешь в царственности: на его кремлевской стороне красуется балкон «Царицына беседа». Женственность этого названия тоже вполне арбатская, коль скоро первое упоминание Ваганьковского государева двора нашло его принадлежащим великой княгине.

Дом-город, Перцов по-своему решает тему фантомного арбатского кремля.

Площадь храма. Такое понимание, видение Арбата значит и новый взгляд на храм Христа Спасителя. Храм заполняет вакуум после отступившего Арбата. Вакуум ближнего, в черте Белого города, от устья Черторья до неглименского устья, урочища — Чертолья. Кремль словно продлевается храмом Спасителя, распространяется до устья Черторья. Тоновский Большой дворец скрывает старые соборы от смотрящего из этой части города, но состоит в ансамбле с тоновским же храмом Спасителя. Они сопряжены и через Оружейную палату, тоже тоновскую, тоже николаевскую, вместе думая перечертить кремлевскую ограду, преодолеть ее, взяв в новый очерк полемическое средокрестие Москвы — неглименское устье. Слить старый Кремль с Арбатом в новый город — николаевский. Так и средневековый город, поначалу ограниченный холмом Кремля, продлился Белыми стенами, преодолев Неглинную, и вышел к устью Черторья искусственным холмом могучего угла со знаменитой Семиверхой башней.

Но это взгляд от стен дома Перцова. А для Кремля храм исполняет общую с перцовским домом юго-западную тему. Манифестирует византизм, тайно завидуя еще и римскому собору Святого Петра. На два квартала отстоящий от

Кремля, храм все равно причастен Боровицкой площади, стремится выйти к ней. На свой манер храм вычертил из занеглименского полумира юго-западную четверть, как если бы она еще нуждалась в средиземноморском акценте. (Того же мнения, да не того масштаба архитектура Музея изящных искусств на Волхонке.)

На взгляд Кремля, храм целиком принадлежит Арбату, по столу которого всегда блуждал фантомный Кремль. Когда дворцом сего кремля в конце концов стал дом Пашкова, соборной церковью стал храм Спасителя.

Возможен третий взгляд на храм: с ним расширяется, распространяется в Чертолье стесненный у неглименского устья форум. Надобен не столько храм, сколько торжественная площадь вокруг него. Надобность эта настояла на сносе целых городских кварталов. Храм Спасителя на этой площади — как храм Василия Блаженного на Красной, площади действительного форума.

Вот аналогия, объединяющая, примиряющая все три взгляда: храм Василия Блаженного тоже способен выглядеть и продолжением Кремля, и образом Посада, и центром форума, их разделяющего.

Баллада. В той доле Боровицкой площади, где мог бы уместиться дом Перцова — в квартале у реки, в Лебяжьем переулке, — стоит доходный дом Солодовникова, примечательный только майоликами верхних этажей, предположительно работы Врубеля и Васнецова-младшего. Но и они поют — словами Алексея Константиновича Толстого, вплетенными в изображение, — балладу киевского времени. Поют битву славянской и немецкой ратей на Балтике. Майолики возникли в контексте Первой мировой войны; в контексте же московского начала замечательно, что Алексей Толстой описывал событие 1147 года.

Любовный треугольник. Сказание из киевских времен прямо для Боровицкой площади сложил другой поэт — Жуковский. Его «Марьяна роща» (с подзаголовком «Старинное предание») стилизаторски ставит себя прямо в ряд Повестей XVII века о начале Москвы. Причем в этом ряду она одна посвящена неглименскому устью и трактует его как узел будущего города, а не как угол городской стены Кремля.

Жуковский поселяет по герою в каждую долю боровицкой суши, тем самым олицетворяя эти доли. Боровицкий холм увенчан уединенным теремом Рогдая, ищущего руки Марии, живущей за Неглинной в хижине и любящей Услава, живущего в Замоскворечье и отвечающего ей взаимностью. Холмы опять разобраны между мужским и женским. Царствие треугольное становится любовным треугольником.

Три превращается в четыре, когда вернувшийся из странствия Услад находит в Занеглименье вместо Марии ее любимую подругу Ольгу с рассказом об измене героини.

Ища Марию, Услад идет сквозь боровицкий терем, где время и пространство претерпевают некую метаморфозу, чтобы герой нашел себя на Язуе близ Марьиной Роши — места гибели Марии и убившего ее Рогдая.

Все это, конечно, версия любовной строительной жертвы.

Сокровище. Но у города, чтобы начаться, есть много предпочтений кровавой жертве. Город может предпочесть заклад сокровища.

И вот каждая доля мира словно выдвигает к Боровицкой площади и производным от нее узлам свою сокровищницу. Кремль — Оружейную палату, Замоскворечье — Третьяковку, двоящееся Занеглименье — Музей изобразительных искусств и бывший Румянцевский музей в Пашкове доме, с его библиотекой, ныне Государственной.

Недаром Оружейная палата перешла внутри Кремля от Троицких ворот вплотную к Боровицким. Теперь же ей предполагается отдать еще места вне стен Кремля, на самой площади, над самым средокрестием Москвы.

II. Железное

Три вокзала. Железные дороги должны были найти себе скрещение в Москве, условно порождающее город в условном месте. Сходство между башней Казанского вокзала и кремлевской Боровицкой башней не случайно: площадь трех вокзалов, или Каланчевская, и есть перепоставленная Боровицкая.

Перепоставленная в месте, назначенном при Николае I для первого вокзала — Николаевского. С ним на Каланчевку пришла балтийская дорога — аналог Знаменки. Тогда вокзал — знак Занеглименья, аналог Пашкова дома.

Воротами Рязанского, ныне Казанского, вокзала открылся путь степной, юго-восточный, тождественный Большой Полянке. Этот вокзал, решенный постановкой в длинный ряд самостоятельных по внешности палат, прообразует фронт замоскворецкой набережной.

От Ростово-Суздальской земли, от северо-востока, представляет шехтелевский Ярославский, бывший Северный, вокзал — и получается, что он метафора Кремля.

И удивительно: именно эти, а не иные три дороги.

Что скажешь, если (наблюдение Андрея Балдина, продолжившего эту логику) на Трех вокзалах находима даже метафора храма Спасителя — лучше сказать, фантомного Дворца Советов на месте храма: гостиница-высотка «Ленинградская»?

Мизансцена боровицкого начала воспроизводится настолько, что Николаевский и Северный вокзалы заняли высокий берег площади, Казанский — низкий.

Пространство между берегами площади проходит как полотно Москвы-реки. Каменный мост на Каланчевке тоже свой — Щусевский виадук над площадью.

Башня. Тогда и постановка Щусевым пирамидальной башни в край Казанского вокзала, к виадуку, проясняется: она несет градостроительную функцию не Боровицкой башни, а заречной Шестивратной башни Каменного моста. Декоративные подробности особенно близки.

Но Шестивратная разобрана за полтора года до Щусева; ее явившаяся на вокзалах тень доказывает важность своего оригинала на старом месте, в панораме набережного Замоскворечья. Правда, Шестивратная была о двух шатрах, ее одноверхая тень брошена на Каланчевку словно от бокового света. Впрочем, именно в боковом ракурсе, сближая свои шатры, башня виделась Кремлю и вдоль реки.

Есть третий прототип вокзальной башни — башня Сююмбеки в Казанском кремле. На Казанском вокзале только башня и помнит Казань: пирамидальный силуэт под золотым гербом-драконом на щипце и с интерьером под мечеть.

Четвертый. Итак, три мира царства треугольного — Орда, Святая Русь и Запад — на своих местах. И как на Боровицкой площади, звучит вопрос на Каланчевской: где же в этих трех мирах скрывается четвертая дорога? Иначе говоря, как обозначена двойственность Запада?

Два Запада предьявлены вокзалом Николаевским так точно, как Пашковым домом. Во-первых, это вилка между балтийским направлением путей и средиземноморским, итальянским, а по мысли архитектора, Константина Тона, — даже византийским стилем здания. Во-вторых, это двойной источник композиции: ратуши северной Европы — и дворец Сенаторов на римском Капитолии. Капитолийский холм, при совмещении карт Рима и Москвы пришедшийся на Старое Ваганьково, где план усадьбы капитан-поручика Пашкова простирается на Капитолийской площади, — на Каланчевке дан своим заставочным фасадом, подтверждающим сличение холмов.

В-третьих. Как над Ваганьковским холмом, как над распутьем Знаменки с Волхонкой, как, может быть, и над любым русским распутьем, над вокзалом

властно имя Николай. Имя царя, да, — но и его небесного патрона, покровителя всех путешествующих. Могло ли быть иначе, если в первый поезд не нашлось желающих и он катал гвардейцев?

Наконец, при Николаевском стоит «четвертый из трех вокзалов» (определение Алексея Митрофанова) — платформа Каланчевская соединительной дороги. Станционный павильон зовется Императорским, поскольку строился к приезду Николая II на коронацию. Однако император прибыл не сюда, а по соединительным путям на Белорусский (в то время Брестский) вокзал. И это важно: с платформы Каланчевской едут к Белорусскому вокзалу, где соединительная ветка превращается в смоленскую железную дорогу. Сам этот вокзал был отнесен к Тверской заставе, но на условии соединения особой веткой с Николаевским вокзалом. И между прочим, одно время назывался Белорусско-Балтийским, по ответвлению путей в Литву. От его площади — Тверской заставы, из-под Триумфальной арки, — начинался петербургский тракт. Такая странная привязка, как и стилевая общность и физическая смежность Белорусского вокзала с пропилями Тверского виадука, — вещи той же природы, что и смежность Николаевского, петербургского вокзала с платформой Каланчевской. Последняя на Трех вокзалах открывает смоленскую дорогу, то есть служит аналогом Волхонки.

Поскольку же смоленская грунтовая дорога была древнейшей киевской — то поговорка «из Москвы в Петербург через Киев» на Николаевском вокзале полнится внезапным смыслом. Старинным смыслом занеглименской развилки.

Всевокзальный круг. Закончить ли теперь одним окружным очерком московский всевокзальный круг?

Как нищ Савеловский, невнятен Павелецкий (он же Саратовский), о Курско-Нижегородском умолчим. Их словно бы забыли заменить шедеврами или по меньшей мере перестроить, хотя и перестраивали на глазах. Им не досталось Шехтеля, ни Шусева, ни Рерберга, построившего Киевский (первоначально Брянский) вокзал, чтоб оказаться знаковыми. Чтобы из провинциальных просто стать хотя бы знаками провинции. Деревня, глушь, Саратов могли бы сделаться предметом остранения.

Но пусть. Пусть гений зодчества на них не почивает. Неодолимый провинциализм этих вокзалов говорит, что основные страны света суть промежуточные для Москвы. Недаром хорошится Рижский (Виндавский) вокзал: до Волоколамска его пути споспешны древней Волоцкой дороге; но уже в Новгород от станции Волоколамск дороги нет.

А промежуточные страны света, данные в архитектуре Трех вокзалов и равного им Киевского, — основные, градообразующие для Москвы.

Юго-запад. Действительно, на всевокзальном круге только триумфальный Киевский, построенный в память о столетии войны 1812 года, равняется архитектурой с Тремя вокзалами. Как будто он до Каланчевки не дошел или ушел с нее.

Не так ли дом Перцова, этот воплощенный древний Киев, не дошел до Боровицкой площади или ушел оттуда?

В трехдольном мире московских средокрестий четвертый путь полускрыт. Только налево, прямо и направо, не назад — вот богатырский камень на распутье в царстве треугольном. В мире, о котором мы не знаем, почему он треугольный, но последнее ли это, чего мы не знаем о мире?

Жест отступа, неприближения юго-запада, его укрытость, мерцание его художественных знаков, поглощенных единым знаком Запада, — вот как явлена в московских средокрестиях русская драма трудного возврата в Киев и во греки. А когда приважен, соглашается на близость Киев, когда удержан Севастополь-Херсонес, за ними делаются видными на отдалении Константинополь, Иерусалим и Рим. (Киевский вокзал, как замечает Анна Броневицкая, прикрыл за дымовой завесой 1812 года венецианские и римские цитаты.)

Но временами отлагаются и Херсонес, и Киев. И снова возвращаются — быть может, вечным возвращением.

Кажется, что Три вокзала в отсутствие на Каланчевке Киевского означают сочленение трех четвертей русского мира: ростово-суздальской, великоновгородской и ордынской. Что Три вокзала суть ансамбль Великороссии, составленный двумя Иванами. Что это образ взятия северо-западного Новгорода и казанского юго-востока к земле Андрея Боголюбского и Сергия. Что эти взятия тракуются на Трех вокзалах как необратимые, в отличие от киевского взятия. И что необратима, следовательно, Великороссия, но не Российская империя. Империя действительно есть полнота, а всякий опыт полноты, достроенности мира поставлен под угрозой обратимости.

Однако это впечатление, доставленное с птичьего полета, с Киевским вокзалом на периферии круга зрения. Сама же Каланчевка совершенна и закончена. Поскольку юго-запад, повторимся, воплощен на ней вполне именно Николаевским вокзалом — с пригороженной к нему платформой Каланчевской или без нее. Этот вокзал изображает целый Запад, как изображает целый Запад дом Пашкова при начале города. Ибо неотменимо правило московского начала: дорож четыре, а миров три.

Вокзал-дворец. Капитолий в греческих одеждах, Николаевский вокзал трактует о трансляции Империи, припоминая в Третьем Риме Первый и Второй и наставляя путь в предполагаемый Четвертый (утвержденный Филофеем через отрицание) — Санкт-Петербург. Или обратно из Четвертого: именно Николай I выстелил железный путь для возвращения столичности в Москву.

Как детище и манифест придворного художника и самого царя, имя которого нес, Николаевский вокзал обратным переносом подтверждает интуицию о царском статусе Пашкова дома.

Подтверждений даже несколько. Назначенное для вокзала поле называлось Каланчевским в воспоминание о каланче, будто бы украшавшей царский путевой дворец при Юрьевской (Стромынской, Суздальской) дороге. По-видимому, это Краснопрудский, он же Шеинский дворец (по имени петровского боярина, которому принадлежал до перехода в собственность царя). Дворец, стоявший некогда на западной границе поля. Строя каланчу вокзала, Тон, наверное, лишь окликал место по имени; а откликнулся действительно царский дворец.

Наконец, красноречивы назначение и само имя Императорского павильона, смежного с вокзалом. Последний император, тоже Николай, все-таки пользовался им.

Вокзал-храм. Обратная проекция собственных смыслов железного московского начала на грунтовое, как видим, тоже плодотворна.

Один из тайных смыслов Северного вокзала зашифрован в его архитектурной композиции, которая восходит к типу церкви «кораблем» (наблюдение Константина Михайлова). Конечно: колокольня, трапезная, самый храм с алтарной апсидой, поставленные на оси. И удивительно: как в храме, ось ориентирована на восток. Храмовый верх замаскирован теремковым или смазан снежной вьюгой, словно на полотне художника, и подлежит угадыванию.

Вокзал под видом храма — целая рубрика архитектуры, и перед нами русская страница в эту рубрику. Неороманская колонная аркада, сохранившаяся в современном интерьере Ярославского вокзала и когда-то оформлявшая перрон, вполне традиционно разрешает ту же тему, намекая неф. Только алтарь воображается иначе — теперь на направлении путей, когда-то завершавшихся у Сергиевой Лавры. Кстати, «неф» значит «корабль». На Ярославском этот внутренний корабль, романское иносказание спасающего корабля Церкви, — и образ церкви «кораблем», корабль наружной композиции, — лежат на поперечных курсах. Что ж, архитектор Кекушев, о принадлежности которому перронной колоннады часто забывают, был перпендикулярен Шехтелю во многих отношениях.

Эта перпендикулярность в отыскании востока на Северном вокзале содержательна: сложение двух векторов дает в итоге северо-восток. Не как компасную засечку, но как имя в метафизике России. С Ярославского вокзала едут и на дальний Север, и на Дальний Восток. И даже на восток ближайший, выворачивая на владими́ро-нижегородский путь вскоре за городом и Лосиноостровским лесом.

Вокзал снаружи тоже наделен вращательным моментом. Оглядывать его — как обходить корабль по берегу или на лодке. Главных фасадов на Ярославском столько, сколько ракурсов. Метафорическая апсида с востока смотрит башней, обороненной машикулями навесного боя. Метафора церковного строения подперта килевидной аркой над порталом. Эта килевидность буквализируется опрокинутым над головой входящего каркасом деревянных шпангоутов — несущих ребер корабля.

Так на театре, в представлении какой-нибудь «Хованщины» — вот где поистине вокзал, «вокальный зал», как и хотел русский язык! — вращающийся задник декорации с силой условности, равной силе обобщения, прессирует в емкий образ образы страны или столицы, не противореча ни одной деталью смыслу целого, лишь поворачиваясь к зрителю то передом, то боком, то другим, деля на части ход событий.

Теперь возможно утверждение, что Кремль в модели Ярославского вокзала трактуется как храм, корабль и крепость; лучшее слово здесь — ковчег.

Совмещение. Но не дворец. Дворцом наряжен Николаевский вокзал.

Модельно, с Николаевским вокзалом царский дворец как будто в самом деле переходит на холм Ваганькова. Впрочем, между двумя холмами не остается места для границы и полемики. Именно так развернуты к Замоскворечью дом Пашкова и дворец Кремля. На Трех вокзалах три доли мира важней, чем два холма, и два вокзала на высоком берегу взаимно вежливы, едва не равнодушны, развернутые к третьему на низком.

Если помылить ситуацию в пределе, то Николаевским вокзалом дом Пашкова и дворец Кремля представлены в наставшем тождестве. Недаром же Большой дворец и Николаевский вокзал вместе манифестируют стиль Константина Тона и идейную программу Николая I. Идя вдоль Николаевского к Ярославскому, мы узнаем себя вошедшими в черту Кремля сквозь Боровицкие ворота и следующими вдоль плоской декорации дворца к соборам с их подвижной всефасадностью.

О модерне. Развитие архитектуры от Тона к Шехтелю и есть движение от плоскости к объемности. И от академической копирки к искусству намекания прообраза, укрытого, как церковь «кораблем» на Северном вокзале. И не сойти нам с места — просто повернуться и сравнить с Казанским, что движение во времени от Шехтеля до Щусева значит возврат копирки, но с удержанием объемности. Меж Николаевским и Северным лежит дистанция архитектурной революции, Казанский — воплощение реакции, но между ним и Николаевским становится понятно, что реакция не может быть простым возвратом, ибо революция умеет навязать свое наследство. Три вокзала в архитектурном смысле суть тезис, антитезис, синтез.

Чтобы модерн мог выбраться на свет из бесконечных тупиков академической эклектики, архитектуру захватили живописец, график, театральный декоратор: Васнецов, Поленов, Врубель, Малютин, Шехтель... Награда этого захвата — Северный вокзал. Пытаясь разъяснить причину его русскости, бессмысленно разглядывать детали. Но внутри такой архитектуры, завоеванной художниками, должен был родиться новый архитектор. Он и родился (потому так краток век модерна), и для начала просто описал приемы новизны, включил их в каталог, раздал ученикам, тем самым уравнивая в значении с приемами прежних эпох; потом осознал, что прежние не хуже были. Вот что такое зодчий позднего модерна — Щусев, например.

Вокзал-город. И вот его вокзал — по-русски полномерный, сложносоставной и весь во власти множественного числа: палаты, кровли, башни, входы, окна... Но русскость целого не исчезает в рассмотрении частей. Вокзал уже не столько дом-город, сколько *образ* дома-города — новая сложность, новая степень остранения.

Наша каланча. Сказать теперь, что Три вокзала воплощают архетип центральной площади: собор, дворец (вариант: ратуша) и фронт частных представительных фасадов, — значит сказать не все.

Поскольку три вокзала значат Православие, Самодержавие, Народность.

На площадь вышел граф Уваров. Что Уваров — сам император Николай назначил этому полю переезжому, мокрому месту наполниться смыслом, и не выйдет Каланчевка никуда из русских парадигм. Вся философия тут с нашей каланчи, да наша каланча не ниже прочих.

Поворот сцены. Полагать, что зодчие вокзалов воплотили средокрестие Москвы совсем уж бессознательно, — значит не только превозносить идею города, способную являться и в моделях, но и принижать людей, способных проявлять ее.

О Боровицкой площади думал по крайней мере Щусев, которому досталось закончить Каланчевку как ансамбль. И было бы нечестно не увидеть Каланчевку взглядом Щусева.

Чтобы увидеть, надо переместиться из центра в угол площади и стать у виадука, ближе к пирамидальной башне. Тогда на дальнем плане из фронта Казанского вокзала выступит вперед, окажется видней, чем прежде, другая башня — круглая, приземистая, с плоским и, как кажется, открытым верхом под короной, соединенная с массивом основного здания мостом — точнее, теплым переходом над проездом во внутренний вокзальный двор. Невидимый из центра площади, мост уточняет адрес прототипа башни: не Новодевичий или Донской монастыри, а Кремль, его Кутафья башня. Теперь пирамидальная, большая башня снова прообразует Боровицкую, поскольку весь фасад вокзала уподобляет неглименской стене Кремля в острейшем ракурсе от устья и Большого Каменного моста. И не Москва-река уже, а нижняя Неглинная, ее долины привидится теперь между вокзалов.

Мастер сцены Щусев поворачивает Каланчевку, делая ее сменной моделью обеих мизансцен грунтового начала города — трехдольной москворецкой и неглименской двудольной.

Образы опричнины. Лишь Николаевский вокзал на повороте не уходит с места, если это место Ваганьковского государева двора, Пашкова дома. В этом случае вокзал, классицистически однофасадный, то есть по определению малоподвижный, есть вовсе неподвижный стержень совершаемого разворота площади. Но весь неглименский фасад Арбата в новом прочтении модельной мизансцены иносказуется двумя из трех вокзалов — Николаевским и Ярославским.

В минуту поворота может показаться, что Ярославский обесмыслен, неотожествим, как знак, на новой роли. Что просто держит сторону соседа, длит его фасад, двоит его объем. Но ведь так точно длился и двоился вдоль и вверх по берегу Неглинной фасад Арбата, когда в его строке кроме Ваганьковского царского двора встал двор Опричный. Похоже, с переменой мест на Каланчевке это место Ярославского вокзала.

Теперь и он, и Николаевский фрондируют против Казанского вокзала, как Опричный и Ваганьковский дворы фрондировали против Кремля; как продолжают поступать наследники этих дворов — дом Университета («новый») и Пашков дом.

Кремлю Опричный и Ваганьковский дворы казались взвешенными на невидимых весах — скажем, на перекладине моста через Неглинную с его Кута-

фьей. Так Николаевский и Ярославский вокзалы уравновешены на поперечной площадной оси, которая закреплена на стороне Казанского вокзала именно репликой Кутафьи.

Образы опричнины (продолжение). Не нужно думать, что шехтелевский вокзал-шедевр, в первом прочтении знаменовавший Святую Русь, теперь чернится исторической опричниной. Раньше всего опричнина есть категория естественной, географической истории Москвы, синоним арбатского холма, всегда имеющегося опричь Кремля. Эта опричнина служила почвой утопизма — но и шедеврального строительства, чему порукой дом Пашкова. Даже символично, что высокий образ Ярославского вокзала способен означать равно Арбат и Кремль.

И храмовидность Ярославского совсем не вчуже новому контексту, коль скоро Занеглименье и до, и после, и во время исторической опричнины искало себя подобием подобием кремля с соборным храмом. Нет, взаимоположение вокзалов не означает, что лучшим местом для такого храма был бы взгорок Опричного двора. И все же сам Опричный двор был понят Грозным как сакральный, а не только административный центр.

Однако главный храм Арбата должен был заняться в обеих боровицких мизансценах — неглименской и москворецкой. Между тем квартал Опричного двора, даже отмеченный высоким университетским куполом (и еще более высокой церковью на смежном с «новым» Университетом Шереметевом дворе), виден с Москвы-реки эпизодически и на чрезмерном отдалении. Вот новая причина передоверить жестикуляцию и образность Опричного двора Пашкову дому. (Вспомнить и чье-то конкурсное предложение поставить храм Спасителя на высоте и в глубине Ваганькова, между Воздвиженкой и Знаменкой, вблизи Пашкова дома. В таком решении дворец и храм альтернативного холма Москвы составились бы по-кремлевски тесно и открылись бы Москве-реке.)

Итоговое место храма Христа Спасителя так же неподвижно в поворотах боровицкой мизансцены, как место гостиничной высотки в мысленных поворотах Каланчевки.

Определение Севера. Другой вопрос, оторвались ли в повороте сцены три вокзала от своих путей.

Сразу понятно, что не оторвался Николаевский. А ветка от платформы Каланчевской по дороге к Белорусскому вокзалу вяжет общие узлы и с Рижской, и с Савеловской железными дорогами — полнейшими аналогами Волоцкой (волоколамской, древней новгородской) и дмитровской грунтовых трасс. Последние принадлежали Занеглименью, вкуче с началами смоленской и тверской дорог. То есть платформа Каланчевская и Николаевский вокзал вместе удерживают полный занеглименский пучок междугородних радиусов.

Ярославский и Казанский, кажется, не могут не оставить в совершающемся повороте сцены своих прежних направлений. Так ли?

Северная железная дорога по дальним пунктам назначения, за кругом («Золотым кольцом») былой Ростово-Суздальской земли, вступает в землю провинциального опричного удела, землю от Вологды до моря и от Волхова до Мезени. Дважды расширявшийся, этот удел кажется грозненской попыткой определения русского Севера, его границ. А во вторую опричнину, Удел, вошли другие, ближние северные земли — Ростов и Ярославль.

Дальний опричный север пересекается с древнейшим новгородским, до конца не совпадая с ним. В Поморье северный железный путь, даже когда берет восточнее, вступает в область северо-западного Новгорода. Так что Николаевский и Ярославский вместе держат полумир русского Севера. А взятые с платформой Каланчевской — больше полумира: от Белой Руси и Литвы по стрелке за Урал.

Образ земщины. Этому полумиру равен полумир степей, таящийся за протяжением Казанского вокзала. Тем удивительнее, что его стена может быть сличена с Кремлевской. И однако.

Юго-восточная, рязанская дорога перешла в XIV веке из Замоскворечья на сторону Кремля. Верней, дублировалась там, пройдя подолом Боровицкого холма и делясь по линии Варварки и Солянки. Стена Кремля тем временем — временем Дмитрия Донского — спустилась с бровки на подол и заключила новый путь в свою черту.

Смысл перемены явственнее взгляду из Рязани, чем из Москвы: трассы больших дорог переставлялись на новый столичный торг, шедший от Боровицкой площади на будущую Красную. Так родилась и новая дорога на Владимир, теперь прямая, отделившаяся от ростовской, но разделившая в черте московского Посада ложе с новообразованной рязанской трассой (до заузской развилки).

Удивительно, что постановка большей части вокзалов следует той же древней крученой механике. Семь из девяти поставлены на улицах другого направления, со сдвигом посолоня на западе и против солнца на востоке.

Сам Кремль в XIV веке, сохранив на своей стороне владимирскую трассу и прибавив к ней рязанскую, сделался, так сказать, юго-восточнее. Быть может, предвосхищая перспективу подчинения себе Орды.

Кроме того, в двудольном варианте городского средокрестия Кремль представляет перед полумиром Занegliмения не только за себя, но и за исключенное из рассмотрения, оставшееся за спиной смотрящего Замоскворечье. За совокупный полумир татарского и русского Востока — от Муромы и Арзамаса, куда с Казанского вокзала ведет самостоятельная ветка, до Крыма и прочей Новороссии, взятой у турок и татар. (На этот юг наставлена другим концом соединительная ветка от платформы Каланчевской, за спиной Казанского вокзала достигающая Курского и проходящая его насквозь.)

Слитый с Замоскворечьем Кремль во образе Казанского вокзала трактован не как храм, не как дворец, а как жилой народный город.

Характерно, что единственный оставшийся в Кремле дом частных лиц — палаты Милославских, более известные под именем Потешного дворца, — участвуют как раз в неглименском фасаде крепости. Вот и для Щусева Кремль есть надставленная аристократическим жильем ограда, держащая свою черту наперекор давлению богатого домовья. (Реальному давлению: в Кремле кварталы у неглименной стены выходят к ее пряслам безо всякого проезжего зазора.)

В контексте исторической опричнины многоочитая архитектура Казанского вокзала прообразует земщину. Замоскворецкую в трехдольной мизансцене — и кремлевскую в двухдольной. Причем кремлевскую охотнее: слишком аристократично для Замоскворечья палатное строение вокзала.

Вспомнить, что первой жертвой опричнины в земщине были фамилии ростово-суздальские, северо-восточные. Царь сорвал этих князей с земли и выслал под Казань, юго-восточнее. Переместил из одной доли мира в другую. Так и вокзал казанской ветки есть испомещение Святой Руси в черту татарского востока.

Шутка Ильфа и Петрова, что в ресторанный зал Казанского вокзала Ярославский помещается со всеми гребешками, небеспочвенна.

«Двенадцать стульев». Под легкомысленной обивкой «Двенадцати стульев» потаены бриллиантовые интуиции о Трех вокзалах. Остап Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей — фигура совершенно трехвокзальная.

Когда концессионеры пробилась к выходу и очутились на вокзальной площади, часы на трех вокзалах показывали десять, без пяти десять и пять минут одиннадцатого. Это не шутки. Это три времени сплетаются с тремя пространствами в один дорожный узел. Ибо вокзал есть и начало, и конец пути, и точка настоящего на нем. Двуглавые гербовые орлы, похищенные у вокзалов, были бы здесь предтечами самих себя — Янусами, двуликими надвратными богами, трактуя о начале и конце, входе и выходе, прошлом и будущем.

А на часах Рязанского вокзала угнездились зодиакы, словно пять минут здесь месяц, час здесь месяц тоже, и кто может, тот сочти три времени — сегодняшнее, будущее и совсем неведомое, кажимые этими часами после десятилетий хода.

На Каланчевке — колдовски; здесь — заморожено, отсюда запускают вкруга — за стульями, закладами, по рельсам, зодиакам... Здесь и начало, и конец, поскольку средокрестие Москвы.

И двое концессионеров, пустившиеся с Трех вокзалов по кругам, вернуться, чтобы здесь же и найти искомое — Центральный дом культуры (клуб) железнодорожников, на все сокровище двенадцатого стула пристроенный с угла к Казанскому вокзалу. Нигде, как здесь, на Каланчевке, диадема из алмазов превратится в театр с вращающейся сценой, подвески из рубинов — в люстры, золотые змеиные браслеты — в библиотеку, и так далее по описи. Обратная алхимия вокзалов превратит все золото в камень.

Точнее, в камень. В городское основание.

Нарышкинский конструктивизм. Что советский роман «Двенадцать стульев» завершается формулой строительной жертвы, заметил историк Михаил Одесский. Жертвуется сокровище, но жертвуется, в первоначальном намерении авторов, и жизнь Бендера. Эта вторая жертва укоренена в традиции Сказаний о начале Москвы, отдавших дань дохристианскому понятию, что прочно лишь такое дело, под которым струится кровь. В нэповском романе участвует литературная традиция XVII века. Решение конгениальное архитектуре Клуба железнодорожников, где Шусев выступил в беспрецедентном стиле некоего нарышкинского конструктивизма.

Мистерия романа одновременно принадлежит разряду посвященных: Остап проводит Воробьянинова по кругам, как мистагог — профана. (Тогда убийство Бендера совсем уж противоестественно.)

Как бы там ни было, а Дом культуры железнодорожников стал завершающим, краеугольным камнем площади, ее главенствующим углом. От этого угла площадь и раскрывается особым образом. Здесь ее горловина, только отсюда видно, что она скорее треугольник, чем прямоугольник.

Стена Москвы. Но довольно о моделях; вокзал как таковой дает почувствовать не меньше при своих дверях.

Брат петербургского в Москве вокзала, стоит вокзал Московский в Петербурге, на другом конце пути. Строители первой дороги так чувствовали тему двуединства столицы, внезапно разъяснившуюся им. Да, крюк, болт, стяжка, сцепление вагонов-городов, сжатие времени, лежащего меж ними, когда на всех иных путях его течение старо. И — сжатие пространства. Как будто стоит нам пройти вокзал насквозь — и мы в Санкт-Петербурге. Или, наоборот, в Москве. Вокзал и поезд только залы ожидания и сна, а ожидание и сон короче год от года. Словом, Петербург здесь, за стеной, за декорацией вокзала. А переводом стрелки Рим, Константинополь, Киев тоже при дверях.

То же и Северный вокзал. Святитель Филарет недаром возражал против постройки этого пути, первоначально завершавшегося Лаврой: паломники должны идти пешком, иные — ехать конно, размеренным за пять веков путем, с насиженными станциями и намоленными при пути святынями. Теперь же русский Север и Северо-Восток лежат немедля за воротами вокзала.

А за воротами Сююмбецкой башни лежит Восток с заглавной буквы. Как Шусев — башню, так Грозный перевез в Москву саму Сююмбеку, казанскую царицу, в знак овладения Казанью и перехода царства.

Миры России, царства треугольного, на Каланчевке окружают нас стеной. Это стена Москвы, ее черта. Кремлевская, Китайгородская, Белая, Земляная, Камер-Коллежская, Железная, Автомобильная. То треугольник, то подкова, то круглая, то ломаная, то яйцевидная, то круглая опять.

А то невидимая — Богу одному.



МИР ИСКУССТВА

ЖАННА ГОЛЕНКО

*

ГАРМОНИЯ В ПРЕДЕЛАХ НОТЫ

Новые постановки Михаила Лавровского

Из плена обыденной театральной жизни, устоявшейся закулисной ситуации *побег*, или лучше сказать *grand jete*, в мир тревог и битв люди искусства, в частности балета, совершают регулярно. Правда, чаще всего — побег «территориальный». С одной стороны, это и легче, а с другой, если взять острейшую проблему современной хореографии, — бытует мнение, что сейчас именно там, как можно дальше от испорченного мегаполиса, хранится то зерно подлинной хореомысли, что поможет реанимировать и наш угасающий балет, а заодно — и балетную критику. Мнение, надо сказать, не самое оригинальное: мессия с периферии — это уже почти литературный персонаж, который обязан родиться где-то, а умереть в столице. Но оригинально или нет, а направления, степень удаленности, затраты поисковые ширятся и варьируются. Из Москвы бегут, например, сначала в Санкт-Петербург, потом в Витебск, потом в Екатеринбург, в Ригу и т. д. Устраиваются многодневные фестивали; после читаешь в газетах, журналах индифферентные отчеты-пересказы, из которых явствует одно: терпение скачущих зрителей опять переиспытано, решить гаргулизированность положения пока не реально, новые мессии все-таки не найдены, ну и так далее. Не ясным для читателя балетной критики остается другое: так есть ли у нас современная хореография в конечном итоге и оправдывает ли себя вся эта езда в частности?

А может, не заглядывать далеко и, вопреки тенденции, посмотреть окрест себя?

Михаил Лавровский ради своих последних спектаклей из Москвы не уезжал. Он, кажется, вообще как хореограф покидал столицу раза два-три, не больше: когда в 1983 году возглавил Тбилисский академический театр оперы и балета имени Палиашвили; когда в 1987-м ставил в США мини-балет «Вторая сюита для флейты Баха»; в 1989-м — для осуществления в американском Атланта-театре «Вариации на тему любви Казановы». Покидал, кстати сказать, несмотря на все завидные предложения того берега, на очень небольшой срок, потому что (и пусть здесь скажет он сам): «Не знаю, как у других, но у меня было сильное патриотическое чувство»¹, «<...> считаю, что, несмотря на все плохие периоды, которые бывают в Большом, — падения, глупости руководства, интриги министерства и правительства, выше искусства, чем в Большом и Мариинском театре, нет нигде в мире. Поэтому я не остался в Америке»².

И еще потому, что Михаил Лавровский уже слишком давно, чтобы что-то менять, выбрал *другую* форму маршрута (или *побега*), о чем и поведал без малого тридцать лет назад: «Паганини как-то сказал: „Надо сильно чувствовать,

Голенко Жанна Анатольевна — студентка 4-го курса Литературного института им. А. М. Горького (мастерская В. И. Гусева); литературный и художественный критик. Дебютировала в «Новом мире» (2002, № 3) статьей о состоянии российского балета.

¹ «Гладиаторы не сдаются» — «Независимая газета», 2000, 19 сентября.

² «Спартак и Казанова в одном лице» — «КП в Москве» (приложение к «Комсомольской правде»), 1996, 30 октября.

чтобы другие чувствовали». Этими словами я, наверное, и могу определить свою цель в искусстве. Это было для меня главным и тогда, когда я только начинал свой сценический путь артистом кордебалета в Большом театре, и тогда, когда стал солистом, выступив вместе с Раисой Стручковой во время гастрольной поездки в Лондон в „Золушке”, и сейчас, когда позади интересная, творчески насыщенная работа над такими образами, как Альберт в „Жизели”, Спартак, Виктор в „Ангаре”³.

Не будем вторгаться в рабочий мир мастера и уточнять, когда именно он решил поставить балеты «Нижинский», «Матадор», «Ричард III» (о которых речь пойдет ниже); какие страсти, сомнения предвосхищали процесс и ему сопутствовали. Все должно сказаться в тексте, вернее, на сцене.

«Фантазия на тему Казановы», «Матадор» и «Нижинский» стали своего рода подарками юбиляра пришедшим его поздравить на его вечер в ГАБТе. Но если «Казанова» был уже хорошо известен зрителю, то последние два одноактных балета отнюдь нет: «Нижинский» показывался всего два раза на небольшую аудиторию, а «Матадор» вообще был премьерой.

Какой-нибудь умудренный театральный критик, взявший не одно интервью, посетивший не один конкурс, сказал бы, что Михаил Лавровский *всегда* оставался верен себе и своим художественным идеалам, сначала как танцовщик, потом — как хореограф. Ибо именно это принято говорить о таких, как Лавровский. Пройдемся и мы по тому же пути. Закончив в восьмидесятом году балетмейстерский факультет ГИТИСа, он «выпускается» с балетом «Мцыри» — достойным, кстати, на VI Международном фестивале ассоциации теле- и кинофильмов в Нью-Йорке первой премии, — где является и автором либретто, и создателем, и исполнителем главной роли. В восемьдесят первом он ставит телебалет «Прометей», в восемьдесят третьем — джаз-балет «Блюз» на музыку и сюжет оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс», в том же году пишет либретто и собирается осуществить пушкинскую «Метель», мечтает воплотить в танце его «Выстрел» и «По ком звонит колокол» Хемингуэя; в восемьдесят девятом в Америке с успехом идет его «Казанова», и он снимает фильм-балет «Фантазер» (видеоверсия уже прославившегося «Блюза»); в девяносто первом — «Откровения» на музыку В. Кикты, через два года — русская версия «Казановы» в ГАБТе, а сейчас — «Нижинский», «Матадор», «Ричард III», написано либретто к «Королеве Марго» и есть замысел насчет «Отелло». Одни названия спектаклей — уже *символика!* И почти за каждым стоит не менее *символичное* литературное произведение...

Je suis le spectre d'une rose
Que tu portais hier au bal...⁴

«Видение розы» («Le spectre de la rose») не сочинялось специально к Русско-му сезону. Знаменитая фортепианная пьеса Дебюсси с рифмованной романтической белой мечтой родилась под впечатлением первых строчек стихотворения Теофиля Готье — эпитафия к одному прозаическому отрывку. Дягилеву идея понравилась. Фокин составил хореографию, Бакст — декорацию и костюмы для двух действующих лиц: Девушкой должна была быть госпожа Каравина, Призраком розы — Нижинский. Ныне романтические строчки Готье, знаково замыкая круг, служат косвенным эпитафием к другому балету — о самом Нижинском.

Представленный на вечере балет-видение есть неразрешимый клубок душевных метаний великого артиста, его рефлексий, одиночества, воспоминаний о больших ролях и тщетных попыток вырваться из болезненного круга врачебной палаты и своего угасающего мозга. Разбитый недугом, а потому отединенный от мира суеты герой возвышается над ним как памятник (себе ли,

³ «Большое искусство» — «Московский комсомолец», 1976, 26 мая.

⁴ Смотри — я только призрак розы,
Что приколола ты на бал...

балету ли?), у подножия которого «любящие» Дягилев и Ромола ведут непрерываемую борьбу-возню за власть, непрекращающуюся свару о разделе, ставшем вопросом принципа. На этой стадии Нижинский для них — почти имущество, право на которое нервически оспаривают жена и любовник. Они не спасают, а распинаят — растягивают, тянут в разные стороны, словно гуттаперчевую куклу. Самому же «Ваце» *уже никто не нужен!* В итоге в смиренной рубашке, уже не-гений, вызывающий своей немощью лишь презрение «хозяев», он достается каким-то безучастным санитарам. И все. Петрушка умер. Теперь он «только призрак розы, которую ты вчера носила на балу», тень, которую хотят, но не могут поймать, обнимая пустоту, те двое. Как к иконе, к высвечивающейся из темноты ранней фотографии Нижинского в роли Альберта, протягивают в священном экстазе руки Дяг и тщеславная полячка. «*Vita brevis, ars longa*», безобразие отталкивает, а божеству хочется служить всегда.

Решение партии Дягилева Лавровским в качестве исполнителя экспрессивно-пантомимично; это игра, замысленная на жестком драматизме, нерве (нельзя не вспомнить, что в прошлом хореограф — характерный танцовщик) и демонической музыке Прокофьева, дающей почувствовать атмосферу. Вся танцевальная часть ложится на миловидного, эмоционального, артистичного Д. Гуданова (Нижинский) и Л. Кочеткову (Ромола), — чья роль до конца не четка и не прорисована, так как, вольно или невольно, время от времени Лавровский-хореограф лишает ее рисунок акцентов в пользу «мужчин», не распределяя равномерно напор танца. Чаще всего она где-то в темной стороне сцены, разбитая мукой собственница. «В процессе» проговариваются интересные детали: трость, которой Дягилев воюет с «женушкой»; полы его пальто, укрывающие Нижинского, словно блудного сына, потерявшего в коридорах чахлой памяти; звучный бой часов в последней сцене — как символ убывающего и убивающего времени и бессмертной вечности.

Если кому-то вздумается проверять балет «по факту», то все более или менее точно: Дягилев сначала не принял неожиданного брака своего любимого «Вацы» (что естественно), потом смирился; когда Нижинский попал в больницу, до последнего надеялся его излечить, навещал, водил на спектакли, одним словом — не оставлял в покое. Неприязнь к Ромоле была неистовая, воинственная, на уровне физиологии.

Хотелось бы, перед тем как перейти к резюме, познакомить заинтересованного читателя, как это принято, с другими мнениями, поспорить с какими-нибудь из них, но в данном случае ничего не получится: отклики прессы, вопреки всем ожиданиям, были более чем скудны и поверхностны. А между тем этот пятнадцатиминутный одноактный балет есть *арт-спектакль* (позаимствуем понятие у кинематографистов). Современная импрессионалистическая лексика танца на основе классики предлагает материал, рассчитанный «не на всех». Как настоящий арт-спектакль его однозначно, однолинейно не перескажешь (и у кого-то найдется *свой* вариант сюжета, иной, нежели изложенный здесь), его надо смотреть. Как пересказать фильмы Тарковского, Параджанова? О чем они? В поиске стилистических приемов для решения *идеи* подход почти по Толстому, *монологический* (для наглядности будем апеллировать к литературоведческим категориям). Не полифонизм Достоевского, как, например, у отца, Леонида Лавровского в «Ромео и Джульетте», а толстовский монологизм, многое в котором замыслено как иллюстрация к тому или иному тезису. Поэтому и рисунок Ромолы сбит, и какие-то штрихи упущены, и балет — всего пятнадцатиминутный (если есть идея — ее нужно выговорить сразу, ей подчиниться, не размазывая), поэтому и энергетика хореолексики субъективно-неравномерна (танцевальная доминанта — конечно, Гуданов) и еще, наверное, что-то. Но все это спасается высоким художественным чувством, художественной интуицией мастера и «духом» как исходным условием творчества⁵.

⁵ О «духе» как исходном условии творчества — см.: Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 5. М., «Мысль», 1966, стр. 330, 337.

В «Матадоре» монологизм, некая несоразмерность сопрягаются с импрессионизмом, — учитывая, что это направление (как в живописи, так в литературе и театре) отнюдь не является застывшим, всегда равным самому себе, а в силу своей изначальной двойственности — *субъективное* впечатление художника от предметов *объективного* мира — подвержено определенным колебаниям и эволюциям в одну или другую сторону. Признано, что импрессионизм исключает эпические формы и требует, как сказал Золя в превосходной статье «Эдмон и Жюль де Гонкур» (1875), сделать фразу «моментальным и точным снимком их ощущений». «...в их фразе, — пишет он, — мы находим ту подспудную глубину, где сохраняется впечатление, полученное от предметов внешнего мира. Они рисуют даже мимолетное ощущение тепла, пробегающее по коже. Все это попадает в их поле зрения, сейчас же оживает и перенимает их чувства... Это литературный язык, специально изобретенный для того, чтобы приобщить нас к миру открытых ощущений»⁶. Отсюда подход к сюжету. Как Клод Моне в течение долгих мучительных дней смотрит на тень, отброшенную тумбой на белую дорогу, и пишет ее утром, в полдень, днем, вечером, в сумерки, делает многосерийный «Вид на Британский парламент» или как Дега создает серию пастелей «За туалетом» — так и литературное произведение ужимается до формы новеллы, короткого рассказа с быстрой сменой чувств героя в центре или превращается в мгновенные эскизные зарисовки, посвященные разнообразным, постоянно меняющимся психическим состояниям персонажа. Таковы, например, последний роман Эдмона де Гонкура «Актриса Фостен», «Парижские арабески» Гюисманса или его же роман «Наоборот».

Услышав почти inferнальную музыку де Фальи к балету «Любовь-волшебница», Михаил Лавровский решает создать собственный оригинальный спектакль на ту же музыку, но не следуя первоначальному либретто. Он хочет сместить акценты и повернуть двадцатиминутный спектакль (по сюжету — это ощущения, настроения, мистика, переплетение чувств героев, по композиции — ряд сменяющих друг друга картин) к *вечной борьбе страстей* в традиционном для русского балета стиле, где главный герой — Матадор, символ Испании.

Простая формула — «неумолимость Судьбы» — концентрировано, жестко держит все возможные приемы и плавно сменяющиеся сценические ходы: почти полностью краски, ум, экспрессия отданы второй (!) дуэтной линии — Хозяину табора и Гадалке (И. Рыжаков, И. Зиброва) в минус первой — Молодым цыгану и цыганке (Ю. Клевцов, Е. Андриенко). Отсюда лучшие женские балетные «куски» — у Гадалки как голоса судьбы, мужские — у Хозяина табора как исполнителя решений рока, а не у влюбленных, вопреки нашим ожиданиям. Ведь мы привыкли, приучены и классическим, и современным репертуаром, что все внимание — любовной паре, ее коллизиям. А Лавровский переставляет ударения. Главное лицо — это лицо второго плана. Но оно же — нить, связующая *верх* и *низ*, Жизнь и Смерть, жизнь земную и жизнь потустороннюю. Гадалка появляется в таборе случайно, «как из-под земли» (из-под сцены) и исчезает в развязке драмы обратно «под землю» (под сцену). Намечаются две цепочки тематических пластов: *Любовь — Судьба — Ревность — Смерть* и *Судьба — Внешние силы — Жертвы судьбы и внешних сил*. Они сплетаются. Не каждый пласт в силу намеренно субъективной задачи должным образом тонирован, витален и напорист. Снова очевидно неравномерное распределение хореографических «сил» и творческой фантазии, подчас неоправданно и в ущерб общему. Мужские партии по лексике — а это пунктирный симбиоз современных «фраз» и классических, отказ от испанского антуража в хореографии, — превалируют над женскими.

Гадалка провидит, узнает, пытается помешать, мучается, старается своими манипуляциями спасти девушку от грозящей гибели, но тщетно. Матадор (с испанского — «убийца») — Рок, ее хозяин, ее оракул, сильнее ее. Если в те-

⁶ «Импрессионисты, их современники, их соратники». М., «Искусство», 1975, стр. 260.

чение спектакля Матадор как вестник смерти появляется и исчезает, видимый исключительно Гадалке, то последняя сцена, сцена случайной гибели из-за ревности Молодой цыганки от руки Хозяина табора, происходит под его непосредственным диктатом. Экспрессивный, резкий танец «черного» (по символическому цвету костюма) Матадора на заднем красном плане — это танец Сатаны, который «правит бал». Убив, Рок аффективно вытирает шпагу.

Включение колоритной испанской этнической музыки (обобщение андалусской тематики в разных музыкальных жанрах), введение вокала (М. Шутова, меццо-сопрано), импрессионизм цвета декораций, костюмов, способствуют раскрытию идеи, поддерживают эстетические основы здания, столь тонко, вольно, иллюстративно-эмоционально сооруженного. И в какой-то степени прогнозируют, предсказывают, словно та Гадалка, «Ричарда III». Так или иначе, решение ставить следом именно Шекспира и именно «Ричарда» — не удивляет и не выбивается из ряда художественных претензий Михаила Лавровского.

«И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». Пушкин не мог обойти Шекспира. Почти дословная цитата из «Ричарда III» (из знаменитой «сцены оболщения» леди Анны Глостером) присутствует в его «Каменном госте». Помните: «Дона Анна, / Где твой кинжал? Вот грудь моя». Да и сами сцены (III, IV) Дона Гуана и Доны Анны не что иное, как интерпретация диалога вероломного герцога со вдовой.

Спектакля, «рассчитанного на самого широкого зрителя и прежде всего на молодежь, рассказывающего о *жажде Власти, Власти повсеместной, любой ценой*, как об одной из актуальнейших проблем сегодняшнего дня»⁷, еще нет. Он ставится. На любительской кассете две сцены объемом в десять минут: «Захват короны Глостером» и «Объяснение с леди Анной». Названия условны. Но и из этого небольшого материала, показанного в Зале имени П. И. Чайковского «для друзей», становятся понятны жанр, стиль, приемы решения и т. д. будущего полуторачасового спектакля. Да, не балета, а *спектакля*.

Это синтез. Синтез драматического театра (диалоги, реплики, решение пространства сцены и мизансцен) и танца, положенного (на кассете) на музыкальный коллаж из сиртаки, Вагнера и «Болеро» Равеля. В оригинале будет коллаж другой, «сделанный» композитором Богоратом из Прокофьева, снова Равеля, песни «Битлз» «Yesterday» и кусков, написанных композитором специально к постановке. Плюс вокал.

Каковы бы ни были заявления о широких возможностях балета, *чистый* балет может «решить», конечно, не все литературные произведения. Здесь одно из двух: или «нарезка» определенного сюжета, упрощение (только зерно) — или новые синтетические подходы.

Ричард III, Яго, Эдмунд в «Короле Лире» — это варианты типа Макиавелли. Они — дьяволы во плоти, но не простоватые черти, которых боялись средневековые обыватели, а изощренные политики, лишенные каких бы то ни было моральных устоев (кстати, политик и политика — у Шекспира всегда бранные слова), мастера интриги, коварные предатели и бесовские убийцы. Танец затрудняется передать всю диалектику подобного многомерного шекспировского характера. Например, речь Ричард с его хамелеонством наделен разными манерами речи. Он может говорить смиренно, страстно, скорбно, решительно, злобно, отчаянно, но всегда в его речах есть холодный расчет политика, хитрое интриганство и лицемерие. Поэтому необходимо вводить звук, диалог, реплику. То, что герои (Ричард — М. Лавровский, леди Анна — Шляпина) не могут «протанцевать» (в частности, ключевые места, повороты в диалектическом ходе мысли Ричарда и то, как постепенно «уступает» напору его увещаний Анна), они проговаривают. В окончательном варианте реплики будут записываться отдельно (далеко не у всех танцовщиков поставлена театральная речь) и подаваться на английском языке максимально близко к оригиналу.

⁷ Из частной беседы автора этой статьи с М. Лавровским.

Или «многосторонность». Ричард отнюдь не однолинейная фигура. В ходе пьесы он предстает как угнетенный своим уродством мужчина, как рассудительный государственный муж, преданный интересам «Белой розы», как опасливый преступник, боящийся разоблачения, как отважный воин, смело встречающий мятеж, как коварный заговорщик, как трус, охваченный животным страхом. Словом, по Пушкину: «У Мольера Скупой скуп — и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен». Сцена «захвата короны» через фразу балета в контексте Равеля предельно внимательно следует Шекспиру. Внешне Глостер не горбат, не хром, *это* дается как необходимый прием для усыпления бдительности ли брата Кларенса (Козлов), для возбуждения ли жалости у Анны. Перед зрителем материализованная *внутренняя* форма содержания. Поэтому Ричард — ловок, силен, напорист, открыт, когда нужно — улыбчив и обаятелен. Его партия — некий третий язык, где ноги сплетают сиртаки, походку Чаплина с классикой, пантомимой, игрой лица, характерным жестом. Умирает король Эдуард — коварный герцог изображает скорбь, брат Кларенс просит уверений в дружбе — и в знак любви они зажигательно танцуют сиртаки, через минуту — Кларенс в тюрьме, его смерть — Ричард набрасывает ему на лицо красный платок. По-макиавеллиевски расчистив дорогу к короне, Глостер руками Эдуарда (мертвец держит сей желанный атрибут на коленях) торжественно водружает знак Власти на себя. Теперь он Ричард III. И все это — через музыку, деталь (кстати, некоторые из них имели место в «Матадоре»), хорошую драматическую игру, а главное — через «оживляющий принцип», или «дух» творчества.

Несмотря на задачу — показать, что есть макиавеллиевский «Князь» сегодня: проблема Власти актуальна всегда, но в наши дни особенно! — Лавровский не надевает на персонажей современные костюмы. Нет. И вообще уходит от избитых приемов. Он даже планирует ввести старинный прием «театра в театре», как, например, в «Укрощении строптивой», и многое другое.

Но не будем забегать вперед, «раскрывать карты» и решать фатум будущего спектакля. Заметим лишь, что подход к воплощению идеи в «правилах» современной хореографии выбран убедительный — Новые времена, а значит, новые формы, новый язык и в данном конкретном случае — новые пути синтеза.

Отвечая на вопросы анкеты журнала «Театр дан лё монд», Владимир Бурмейстер о современной хореографии высказывается так: «...широкую публику не только МОЖНО заинтересовать, но она УЖЕ заинтересована хореографическим воплощением важных событий нашего времени и проблем, которые сегодня занимают человечество. Весь вопрос только в том, чтобы найти достойную танцевальную форму для решения этих, едва ли не самых трудных для хореографии, задач.

Меня лично именно сейчас очень волнует проблема создания современного, злостодневного спектакля, полного современных образов и характеров. Мы упорно ищем и обязательно найдем такой сюжет и музыку (комедийного, лирико-комедийного, драматического) балета, который был бы мастерски воплощен артистами советского хореографического театра»⁸.

Когда это сказано? Если убрать прилагательное «советского», можно подумать, что сегодня. Только теперь это стало еще актуальнее: *здесь*, в этих принципах, видится выход из кризиса современного русского балета. Исторически так сложилось — со времен Дягилева, да и раньше.

В литературе самое сложное — *писать просто* и чтобы читатель заплакал. В балете самое сложное — *просто* (без катаний по сцене, эксгибиционных штук и разных пародий на якобы западные модерн-балеты) сделать — на основе сюжета — спектакль, как делали Захаров, Якобсон, Григорович, чтобы зритель, если не заплакал, то проникся. Тематических ограничений нет: любая тема может быть масштабной, если она адекватно времени и убедительно раз-

⁸ «Владимир Бурмейстер». М., «Редакция журнала „Балет“», 2001, стр. 75.

решена. Эйфман, Василёв, Касаткина, Гордеев, Лавровский стараются дать свой, новый, с традиционными корнями ответ вечности, но прежде всего — *утвердительный* ответ на вопрос: так есть ли все же у нас современная хореография? И наша задача — это всячески поддерживать. Здесь, в Москве, уже существуют спектакли, где разные «фразы», «ноги», идеи, но главное — наличие того *чуть-чуть*, которое, по Толстому, отличает искусство от неискусства. Это *чуть-чуть*, отличающее Танец от техники, прекрасно понимала Уланова. Этим *чуть-чуть* обладает Михаил Лавровский — художник *сильных чувств* (как когда-то он сам определил). Чья *мцыриевская* «одна, но пламенная страсть» каждый раз, на новом витке, мчит его сквозь годы. Нет, мы не приписываем ему черты московского мессии. Но то, что этот человек тревожится за судьбу искусства и театра, посвятив им жизнь, стремится своими постановками не только выразить себя, но прежде всего помочь избранному делу и способен это осуществить, — определено. И если настоящее принять во внимание, то не обязательно будет «ехать так далёко» за ответами на многие наболевшие вопросы.

«Но, может быть, здесь всего лишь тенденциозность, перепевы одного и того же?» — поинтересуются недоверчиво. Нет, как великолепно сказал новатор, «импрессионист» Мопассан: «Подлинных художников, великих художников гораздо больше волнуют модуляции и гармонии, достигнутые в пределах одной ноты, чем те блистательные эффекты, которые так ценит невежественная толпа»⁹.

⁹ Мопассан Ги де. Полн. собр. соч. Т. XIII. М., 1950, стр. 262.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПОПОЛНЕНИЕ НАБЕКОВИАНЫ

СВЕТЛАНА ЧЕКАЛОВА



«ТО СЛАВЯ ПРОШЛОЕ, ТО ЗАПРОСТО РУГАЯ...»

Сравнительно недавно по-русски вышел первый том двухтомной биографии Владимира Набокова, написанной новозеландцем Брайаном Бойдом¹. Этот двухтомник в тысяча триста страниц, над которым автор работал в течение десяти лет, на сегодняшний день считается лучшей и самой полной биографией Набокова. Брайан Бойд был допущен семьей писателя к набоковскому архиву. Согласно завещанию, этот архив, находящийся в библиотеке Конгресса, будет открыт для исследователей через пятьдесят лет после смерти Набокова, то есть еще через четверть века.

Первый том биографии, «Русские годы», описывает детство Набокова в России, учебу в Кембридже, берлинский и парижский периоды вплоть до его бегства в Америку из уже покрытой тенью фашизма Европы. Через три недели после отъезда Набоковых из Парижа в дом на рю Буало, где они снимали квартиру, попала бомба. Бумаги, оставленные на хранение друзьям, пропали, а друзья погибли, с русским языком, если не считать «Другие берега», «Лолиту» (то и другое переводы с английского) и нескольких десятков стихотворений, писатель простился навсегда. В Америке ему пришлось становиться американским писателем.

Об этом второй том биографии «Американские годы», который для русского читателя, хуже представляющего американскую жизнь и то, что было сделано Набоковым по-английски, интереснее первого. Известно, как нелегко писателю дался вынужденный переход с русской прозы на английскую: «Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, — и чудовищные трудности предстоящего перевоплощения, и ужас расставанья с живым, ручным существом свергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться», — признался Набоков в предисловии к «Другим берегам». Ему пришлось пройти трудный путь вхождения в американскую жизнь и литературу, прежде чем он смог с юмором описывать «ностальгические прогулки на ходулях английского языка» Тимофея Пнина уже по-английски. Конечно же, с достижениями были связаны и потери, и главная из них — утрата способности писать по-русски, но то была цена за выход из «гетто эмиграции». Старая жизнь осталась далеко

Чекалова Светлана Валентиновна — журналист, критик, телережиссер. Родилась в Ленинграде, снимала авторские фильмы для программ российского телевидения, для петербургской программы «Пятое колесо»; в настоящее время живет в Москве и работает в международной инвестиционной компании в качестве директора по персоналу. В журнале «Новый мир» печатается с 1997 года.

Кроме статьи С. Чекаловой, в качестве постскриптума к ней, мы публикуем критические заметки специалиста по англо-американской литературе Николая Георгиевича Мельникова и литературного критика Сергея Павловича Костырко, где привлечшие внимание Чекаловой набоковедческие работы рассматриваются под несколько иным углом зрения.

¹ Бойд Брайан. Владимир Набоков. Русские годы. Биография. [Авторизованный перевод с английского Г. Лапиной]. М., Издательство «Независимая газета», СПб., «Симпозиум», 2001, 695 стр.

позади: «Грустно. Мне иногда кажется, что я ушел за какой-то далекий, сизый горизонт, а мои прежние соотечественники все еще пьют морс в приморском сквере», — писал он позднее в письме Глебу Струве.

Почему-то нашим критикам хочется считать бездомность и тоску по родине всеобъемлющей темой набокковского творчества и противопоставлять русского писателя Набокова американскому, расценивая его переход на английский язык как отступничество, за которое тот поплатился своим даром. Именно в рамках этой «русской» концепции выстроена вышедшая одновременно с биографией Брайана Бойда книга Алексея Зверева о Набокове². «Писатель Набоков оставался достойным своего таланта только до тех пор, пока сохранялась его причастность русской художественной традиции», — пишет он, отдавая должное и «Лолите», и «Пнину», а прерванная связь с Россией, по его мнению, привела к «засыханию личности», «дистиллированной стилистике» и «гибели искусства». Брайан Бойд придерживается иной точки зрения. Сири не стал бы Набоковым, если бы продолжал писать только для русской эмиграции, вскоре кончившей свое существование. Много лет он безуспешно пытался напечатать переводы своих русских романов (шутил, что из его литературных агентов и переводчиков можно было бы составить небольшой госпиталь, поскольку за энтузиазмом первых телеграмм с предложением сотрудничества воцарялось молчание, как правило, позже объясняемое болезнью), пока «Лолита» не принесла ему всемирную славу.

Бойд приводит разговор Веры Набоковой с сотрудником британского посольства в Берлине, куда она обратилась с просьбой порекомендовать для перевода «Отчаяния» «опытного литератора с хорошим стилем». «Герберт Уэллс вас устроит?» — спросили ее с издевкой. Она невозмутимо ответила, что ее мужу он, пожалуй бы, подошел. Если в эмиграции его знали и любили, то для остального мира он был никто. Сейчас такой разговор никого бы не позабавил, но тогда ему только предстояло справиться с почти невыполнимой задачей: продолжить свою работу на чужом языке, в сущности, начав все сначала в сорокалетнем возрасте.

Алексей Зверев в своей книге, изображающей путь писателя в Америке и Швейцарии как деградацию, называет биографию Бойда дифирамбами: «Так пишут приветственные адреса к круглым датам, когда положено только умиляться свершениям юбиляра... Его путь ведет неуклонно вверх. На вершине, которая могла покориться лишь его гению, ослепительно сверкает „Ада“», — пишет он, определяя в своем варианте биографии «меру творческих возможностей Набокова» — «больших, но не настолько, чтобы решиться на соперничество с гениями», — и ругая «Аду», поздний роман Набокова, по определению самого писателя, «о пылкой, безнадежной, восторженной, последней, вечерней любви, ласточках, снующих за оконными витражами, и сияющем трепете...».

Бойд справедливо считает Набокова поэтом прозы. Действительно, понять прозу писателя, не обладая способностью увидеть вещи в их поэтическом измерении, невозможно. Набоков писал в послесловии к английскому изданию «Лолиты» о том, что всякий писатель ощущает связь с уже опубликованными романами, чувствует их присутствие и, думая даже о в целом удавшейся книге, вспоминает живее и с большей нежностью любимые места и выборочные образы. То же, мне кажется, можно сказать и о читателе, в сознании которого подспудно хранятся и время от времени оживают любимые образы из романов Владимира Набокова: Соня с покрасневшим от насморка носом — наклонилась, болтает руками, приветствует Мартына, или Пнин, кричащий в телефонную трубку на ломаном английском, что он уехал, уехал совсем, или Зина Мерц, разглядывающая в зеркальце новенькую пломбу, Марфинька с родственниками и домашней обстановкой, появляющаяся в камере Цинцинната,

² Зверев А. М. Набоков. М., «Молодая гвардия», 2001, 453 стр. («Жизнь замечательных людей»).

леденец с лунным отливом — специальность Фиальты — и то жалкое, некрасивое выражение, мелькнувшее на лице Нины в ответ на неожиданное «А что, если я вас люблю?»... Список можно продолжить, у каждого он будет свой, но без него русская литература была бы другой. Алексей Зверев подходит к художественному произведению со всевозможных позиций: истории литературы, философии, политики, этики, — но обнаруживает недостаток восприимчивости к поэзии, без которой разговор о Набокове невозможен. Вот что он пишет о набоковском переводе Ромена Роллана: «В счастливые минуты <...> перо Набокова непринужденно выводит что-нибудь вроде: „Осада осадой. А я как сяду, засяду и зада со стула не сдвину“, — подобной артистичности он не так уж часто достигал даже в своих самых прославленных произведениях». Тут мы не согласимся с биографом: в набоковской палитре разнообразнейших оттенков поэтического смысла можно отыскать поводы для похвалы и лучше, чем это тяжелозадое слововерчение.

Чем же, в самом деле, так замечателен Набоков? Бойд своей книгой, кажется, отвечает на этот важный вопрос. При этом делает попытку соединить два трудносоединимых начала: биографию писателя и монографию о его творчестве. Биографическую часть безоговорочно можно назвать удачной, поскольку биографу удается разглядеть тот «определенный неповторимый узор жизни, в котором печали и страсти конкретного человека подчиняются законам его индивидуальности». Что касается разбора набоковских произведений, то при том, что Бойду случается сказать о писателе правильные и важные вещи, его метод грешит стремлением сформулировать абстрактные идеи, будто бы универсально управляющие всеми произведениями писателя. Так, например, прием активного вмешательства умерших в жизнь персонажей, введенный Набоковым в рассказ «Сестрицы Вейн» для обозначения некоей лирической действительности, которая, в силу эгоцентричной ограниченности главного героя, остается для него недоступной, а позже использованный им в новелле «Прозрачные предметы» для построения многоголосого повествования, Бойд ретроспективно распространяет и на более ранние романы «Защита Лужина» и «Дар». «Мне представляется, — пишет Бойд, — что Набоков предлагает нам вычитывать в головоломных узорах самой ткани романа „Защита Лужина“ то, что мы не найдем в тексте: покойный дед Лужина каким-то образом приводит внука к шахматам, а покойный отец соединяет сына с женщиной, на которой тот женится», «дед стремится развить шахматную тему в жизни Лужина, отец отстаивает линию жены и дома». Подобное «решение задач „Защиты Лужина“» притянуто за уши, мы действительно не найдем его в тексте, весь роман — о другом. Как нет ни «образа тени», ни призрака отца в последней строчке «Дара» — «...там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синее за чертой страницы...», которая, по мнению Бойда, указывает на «присутствие отца в решающие моменты жизни Федора», например, на то, что это он организовал знакомство сына с Зиной: «Описывая сцену в подъезде у стеклянной двери, Федор словно намекает на присутствие отца, который как будто бы ожидал этого момента, чтобы закрепить успех своих попыток свести сына с Зиной». Сводничество со стороны отца было бы комическим, даже если бы не входило в пошлое противоречие с лирической динамикой произведения. Подобные искусственные построения портят впечатление и отвлекают от верных наблюдений о романе. Например, о том, что «за раздражающей суматохой жизни таится некая необъяснимая благожелательность», а «мир полон ненайденных сокровищ, если воспринимать его с доверием ко всему, что он предлагает, и не уподобляться Лоренцам, всегда опасаящимся, что их обсчитают» (перед глазами возникает картинка переезда четы Лоренцов с квартиры на квартиру, когда они «оба, неподвижно и пристально, с таким вниманием, точно их собирались обвесить, наблюдали за тем, как трое красновыинных молодцов в синих фартуках одолевали их обстановку»). Или о том, что «Дар» можно уподобить тому практическому руководству «Как стать счастливым?», о написании которого думает герой романа.

С гармонии «совершеннейшего, счастливейшего детства», как называл свое детство сам Набоков, начинается книга Бойда. Первые главы рассказывают о семье Набоковых-Рукавишниковых и о том «духе просвещенного либерализма», который передавался из поколения в поколение и в котором воспитывался Набоков. Отмена смертной казни, реформа судебной системы, борьба с антисемитизмом, отстаивание гражданских прав перед абсолютной властью, открытия в области естествознания, — вот круг тем, с детства бывших для Набокова домашними.

Молва ищет предлог для злословия и пытается объяснить поступки и характер писателя его происхождением. Так, вспыльчивость Пушкина, его бешенство, вызываемое интригами Дантеса и Геккерна, списывали на африканскую кровь поэта, а Толстого, с его интересом к крестьянам и занятиями физическим трудом, упрекали в лицемерии и ханжестве, поскольку не графское это дело. К Набокову же, из-за его аристократического происхождения и унаследованного богатства, прицепилось обвинение в снобизме, традиционно нашедшее себе уголок и в книге Зверева: «Снобизм — слово слишком сильное, однако сам Набоков не делал тайны из своего почитания аристократизма». На самом деле упреки вызваны, как кажется, резкими суждениями, которые Набоков не считал нужным держать при себе: если ему и был свойствен снобизм, то проявлялся он в категорическом нежелании иметь дело с болванами, с родословной же никак не был связан.

Главы биографии Бойда, посвященные семье и детству Набокова, опровергают это ходячее мнение. Набоков не ставил себе в заслугу свое происхождение, не кичился им: и в людях, и в себе ценил другое, его высокая самооценка была связана с писательской работой («...я достаточно ясно представлял свой вклад в русскую литературу, чтобы не испытывать страха в присутствии любого писателя», — заметил он как-то по совершенно другому поводу).

Большое внимание Бойд уделяет близким отношениям Набокова и с матерью, и с отцом. Мать научила его простому правилу: «Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе». Сама она этому правилу следовала и будучи богатой петербургской дамой, окруженной любящим семейством, и оставшись одна в нищенской обстановке пражской эмиграции, где, как запомнилось Набокову, носила обручальное кольцо погибшего мужа, слишком для нее широкое, привязанным черной ниточкой к ее собственному кольцу.

Ласковые, доверительные отношения связывали Набокова и с отцом. Как мы узнаем из книги Бойда, до конца жизни называвшим уже взрослого сына Володюшкой, Пупсом или Пупсиком. Обоим родителям Набоков показывал все свои стихи. Посылая как-то новые стихи матери, он приписал: «Этот стишок докажет тебе, что настроенье у меня всегда радостное. Если я доживу до ста лет, то и тогда душа моя будет разгуливать в коротких штанах».

Не этому ли любовному отношению со стороны родителей, под надежной защитой которого он находился, обязан Набоков своей жизнерадостностью и не у них ли он научился той преданности, с которой позже относился к жене и сыну?

Здесь хочется вспомнить фрагмент одного из опубликованных интервью с Набоковым. Уже в конце жизни писателя циник журналист спросил у него, согласен ли он с тем, что жизнь — это *tartine de m\u00e9rde*³, есть который нужно не спеша. «Моя жизнь, — ответил Набоков, — свежий хлеб с деревенским маслом и альпийским медом». Несмотря на подчас мрачные и беззвездные миры его героев, сами романы Набокова всегда верны благодарному отношению к жизни. Конечно же, это не значит, что жизнь писателя была всегда веселой и беззаботной. Но признаком воспитанного человека, и это еще одно достоинство, которому Набоков обязан своей семье и на которое обращает

³ La vie est une tartine de m\u00e9rde chacun doit en manger un petit bout. — Жизнь — это бутерброд с дерьмом, от которого каждый должен съесть небольшой кусок (франц.).

внимание Брайан Бойд, является сдержанность и умение не выставлять напоказ свою боль: «Мне подчас так тяжело, что чуть не схожу с ума, — а нужно скрывать. Есть вещи, есть чувства, которых никто никогда не узнает», — писал он матери спустя два месяца после гибели отца.

Именно нежеланием распространяться о своих трудностях и проблемах подчас объясняется внешний эгоизм Набокова. В «Других берегах», вспоминая о своем посещении Кембриджа после семнадцатилетнего перерыва, он пишет о бывшем университетском приятеле, ставшем главой Тринити-колледжа: «В этот день его занимало какое-то совершенно постороннее обстоятельство (что-то насчет его незамужней сестры, жившей у него в экономках, — она, кажется, заболела, и ее должны были оперировать в этот день), и, как это бывает у однодумов, эта побочная забота явно мешала ему хорошенько сосредоточиться на том очень важном и спешном деле, в котором я так надеялся на его совет». Помню, как при первом прочтении «Других берегов» досада Набокова на серьезные неприятности друга, помешавшие тому сосредоточиться на встрече, показалась мне эгоистичной в рамках развлекательно-сентиментального путешествия. Из книги Бойда мы узнаем, что положение Набокова было бедственным: семья нищенствовала в Праге, а он, после безуспешных попыток обосноваться во Франции, «отчаянно пытался найти преподавательскую работу в Англии», и помощь друга была для него последней надеждой. В этом контексте его досада выглядит иначе. Бойд пишет также об особенностях характера, которую перенял Набоков у отца: сочетании холодного самообладания и внутренней теплоты.

Примером для подражания был не только отец, готовый защищать честь на дуэли или сидевший за убеждения в тюрьме, но и кузен Юрик из «Других берегов», отношения с которым, по мнению Бойда, были для Набокова крайне важны. Добавлю, что обстоятельства их первого знакомства в Висбадене переключаются с эпизодом из толстовского «Детства», когда Сережа Ивин с разбега ударяется о дерево коленом, поцарапав его чуть ли не до кости, но при этом не подает виду, что ему больно, и не прекращает игры. Толстовский Николенька был поражен таким молодечеством, совсем как Набоков, вспоминающий о своем знакомстве с Юриком: «Он вышел из сувенирной лавки и побежал ко мне с брелоком, дюймовым серебряным пистолетиком, который ему не терпелось мне показать, — и вдруг растянулся на тротуаре, но, поднимаясь, не заплакал, не обращая внимания на разбитое в кровь колено и продолжая сжимать крохотное оружие». Рыцарь и ковбой из детского мира Набокова, Юрий Рауш фон Траубенберг безрассудно погиб в возрасте двадцати одного года, сжимая в руке уже настоящее оружие и направив своего коня на вражеский пулемет. «Всеми чувствами, всеми помыслами правил в Юрике один дар: чувство чести, равное, в нравственном смысле, абсолютному слуху», — писал о нем в зрелые годы Набоков, для которого с юности и до конца жизни гордость и чувство чести оставались первостепенными ценностями, в отличие от Толстого, симпатии которого впоследствии перешли на сторону нуждающихся в жалости и сочувствии.

Не засвидетельствовал снобизм ученика, которого в училище привозил на автомобиле шофер, и его школьный учитель: «Ярый футболист, отличный работник, товарищ, уважаемый на обоих флангах (Розов — Попов⁴), всегда скромный, серьезный и выдержанный (хотя не прочь и пошалить), Набоков своей нравственной порядочностью оставляет самое симпатичное впечатление». Сохранился в школьной летописи и пример шалости Набокова: на спор он в одежде нырнул в бассейн с декоративными растениями.

Еще будучи школьником, Набоков сделал небольшое литературоведческое открытие. В «Других берегах» он с удовольствием вспоминает, как в Тенишев-

⁴ Классный тихоня Розов и второгодник-хулиган Попов, с которым Набокову приходилось отчаянно драться; позже он признавался, что Попов преследовал его и во взрослых ночных кошмарах.

ском училище, отвечая на вопрос, что хотел показать автор, изображая генерала Бетрищева, он сказал, что автор хотел показать малиновый халат генерала. И получил двойку. Алексей Зверев ставит под сомнение весь эпизод в целом и удовольствие ученика от конфликта с директором школы в частности. Однако удовольствие вполне понятно, особенно если вспомнить, что, по мнению Тынянова, Наполеон у Толстого замечателен своим запахом одеколona. Нельзя не согласиться, что это суждение школьника опережает свое время.

Уже ранние литературные опыты Набокова были на виду в силу политической известности его отца. Бойд, например, описывает эпизод, связанный с Корнеем Чуковским, которому Владимир Дмитриевич послал книгу стихов сына. Чуковский ответил вежливым письмом, но будто бы по ошибке вложил в конверт еще и черновик с куда как менее дипломатичным отзывом. Можно было бы подумать, что это произошло случайно, но уж очень похоже на Корнея Ивановича, известного эксцентричной двойственностью поведения.

Все-таки, видимо, характер человека сохраняется с возрастом, и подробность, с которой Бойд пишет о детстве и юности Набокова, оправдана. О берлинском периоде жизни Набокова, с детства щепетильного в вопросах чести и по-детски отстаивавшего ее в драке со школьным силачом, тоже известно несколько боксерских историй. Как-то в русском ресторане Набоков со своим приятелем бросили жребий, кто из них даст пощечину румынскому скрипачу Коста Спиреско, виновному в гибели своей жены, но оставшемуся безнаказанным, и, когда жребий пал на Набокова, он в ходе завязавшейся драки, как сообщала газетная хроника, «наглядно демонстрировал на нем приемы английского бокса». В другой раз, в баре гостиницы, где не нашлось свободных номеров, он, как рассказывают, нанес «короткий боковой удар в челюсть» хаму, предложившему Вере разделить с ним постель. Неожиданная, мягко говоря, для интеллигентного Набокова смесь кодекса чести девятнадцатого века и мордобоя фильмовых громил двадцатого заставляет вспомнить разнообразные сюжеты драк, придуманные Набоковым для своих романов: кулачную дуэль Мартына с Дарвином, расправу обманутого мужа над Смуровым или Г. Г. над К. К.

«Восприимчив, начитан, наблюдателен, сообразителен... но импульсивен, избалован, себялюбец... влюбчив» — так характеризует Набокова другой школьный воспитатель. Бойд же приводит детский донжуанский список, составленный Набоковым в 20-е: Марианна, Зина, Мария, Пелагея, Екатерина I, Екатерина II, Ольга — вот увлечения шестнадцатилетнего Набокова до встречи с его первой возлюбленной, Валентиной Шульгиной, «9 августа 1915 года, если быть по-петрарковски точным, в половине пятого часа прекраснейшего из вечеров этого месяца», описанной им в «Других берегах».

И в Крыму, вплоть до отплытия в Константинополь на греческом судне «Надежда» под аккомпанемент пулеметных очередей 15 апреля 1919 года, и в относительно благополучные кембриджские годы, и в Германии у темпераментного и жизнелюбивого Набокова было множество подруг, и зачастую он переживал несколько любовных приключений одновременно. «Как поэт, повеса и изгнанник, — пишет Бойд, — Набоков чувствовал свою близость Пушкину».

Любопытно, что Набоков, всю жизнь занимавшийся Пушкиным и часто видевший в совпадениях умысел судьбы, по-видимому, не знал (по крайней мере ни у Бойда, ни у Зверева об этом нет упоминания), что Светлана Зиверт, его несостоявшаяся невеста, стала в замужестве мадам де Ланжерон, подобно другой мадам де Ланжерон, в девичестве Олениной, — несостоявшейся невесте Пушкина. Обе невесты послушались своих родителей, считавших занятие женихов легкомысленным. «Он был вертопрах», «не имел никакого положения в обществе» и к тому же не был богат, — объясняла в старости Анна Оленина свой отказ выйти замуж за Пушкина. Набоков же не выполнил условие родителей Светланы Зиверт устроиться на постоянную службу (в офисе немецкого банка сумел проработать три часа), партию нашли неперспективной, и помолвка была расторгнута. «С точки зрения Набокова, самое большое заблуждение здравого

смысла состоит в том, что он представляет жизнь как борьбу за превосходство, нечто вроде игры в „монополию” в мировом масштабе. Один из его персонажей признает, что он плохо справляется с „тем, что называют практической стороной жизни” (хотя, между нами, торговые книги и книготорговля выглядят при свете звезд удивительно нереальными)», — пишет Бойд.

Женился Набоков два года спустя, 15 апреля 1925 года, на женщине, с которой познакомился примерно тогда же, когда была расторгнута его помолвка, и которая «была остроумно и изяшно создана ему по мерке очень постаравшейся судьбой», — Вере Слоним. Когда они выходили из мэрии, Набоков нарушил требования немецкого этикета, пройдя без чаевых мимо швейцара, поздравившего их: «У меня не было ни копейки в кармане! Полагалось заплатить определенную сумму. Мы и заплатили. Больше у нас денег не было», — рассказывал Набоков другому своему биографу, Эндрю Филду.

Три года назад в Нью-Йорке появилась биография Веры Набоковой на английском языке, написанная Стейси Шифф, русский перевод которой вышел в этом году⁵. Книга интересна тем, что в ней, пожалуй, собраны все известные о Вере Набоковой сведения. Шифф явно увлечена своей героиней и еще в предисловии высказывает мысль о том, что можно было бы написать биографию Веры, ни разу не упомянув о Владимире Набокове, но невозможно написать о Набокове без упоминания о Вере. Звучит красиво (заметим в скобках, что стиль книги — пышный и цветистый, построение фразы — витиеватое, а язык уснащен сложными синтаксическими и лексическими конструкциями), но, конечно же, по сути дела это не так, и баланс жизненной правды здесь нарушен. Правда то, что Вера обладала очень твердым, мужественным характером и сильной волей, была умна и — что редкое качество для женщины — не боялась выглядеть глупо в глазах окружающих. Стейси Шифф описывает историю с американским издателем, в договор с которым по настоянию Веры были внесены некоторые финансовые условия, связанные с индексацией будущих гонораров Набокова. Все уверяли ее, что это полная глупость, и смеялись над ней, однако она проявила твердость и, как показало время, была права: издателю было не до смеха, когда пришлось выполнять условия договора.

Еще до женитьбы Набокову приснился сон, будто он играет на пианино, а Вера переворачивает ноты. Этот сон похож на аллгорию их будущей жизни, в которой Вера во всем помогала мужу: подобно Софье Андреевне Толстой, переписывала набело его черновики, а позже перепечатывала их на машинке (он не умел печатать), зарабатывала на жизнь секретарской и переводческой работой, когда нужно было поддержать семью, водила машину (Набоков так этому и не выучился), ассистировала мужу во время лекций (без нее он не мог обойтись), а в американские годы даже носила в сумочке револьвер, поскольку приходилось много разъезжать по небезопасным дорогам страны. Набоков платил жене удивительной, принимая во внимание бурные приключения молодости⁶, преданностью и верностью, всегда был на ее стороне и, вставая на ее защиту, мог порвать давние отношения с людьми, обидевшими ее. В своей биографии Бойд впервые обнародовал эпизод измены Набокова, связанный с некой Ириной Гуаданини. Ночь, когда он признался в этом жене, Набоков считал самой страшной в своей жизни, исключая ту, когда убили его отца. После этого ничего подобного с ним не случалось. Они оставались всегда вместе, вплоть до смерти Набокова в 1977 году.

Столь же бескомпромиссным был Набоков и в литературной жизни. Когда он говорил, что никогда не принадлежал ни к каким группам, организаци-

⁵ Ш и ф ф С. Вера (Миссис Владимир Набоков). М., Издательство «Независимая газета», 2002 (перевод с английского О. Кириченко).

⁶ Стейси Шифф, кажется, не верит, что Набоков мог измениться, и неправильно толкует русский материал — письмо Набокова к Ходасевичу: «Берлин очень красив сейчас, благодаря весне, которая в этом году особенно сочная, — и я, как пес, дурю от всевозможных привлекательных запахов», — она интерпретирует как намек на любовные приключения.

ям, кружкам, сообществам, течениям, он имел в виду творческую принадлежность и то, что настоящее искусство всегда является делом индивидуального таланта, а лучшая школа писателя — одиночество. Разумеется, ему приходилось участвовать в литературной жизни эмиграции. К середине 1921 года более миллиона человек уехало из России. Русские общины были созданы в Харбине, Шанхае, Париже, Праге, Риге, Софии, некоторым эмигрантам удалось добраться до Америки, но столицей русской эмиграции стал Берлин. В этом городе можно было жить, практически не зная немецкого языка и не сталкиваясь с немцами. Сравнивая Набокова с немецкими писателями-современниками и доказывая влияние, оказанное на него Кафкой, Алексей Зверев пять раз упоминает о том, что Набоков впоследствии умышленно утаивал знание немецкого языка, который учил в школе. Учил, но не выучил и прекрасно мог обходиться без него в Берлине, где к 1924 году было 86 русских издательств! Создавались и распадались литературные союзы, объединявшие сторонников политических партий всех оттенков: от большевизанов (движение «Смена веков» и ежедневная газета «Накануне») до сторонников анархизма, — и тут мы воспользуемся градацией оттенков профессора Пнина — «практического, метафизического, теоретического, мистического, абстрактного, индивидуалистического, общественно-социального». К концу 1921 года Набоков был автором аполитичного журнала «Сполохи», участвовал в группе «Веретено», однако очень скоро вышел из нее вместе с Иваном Лукашом, Глебом Струве, Владимиром Амфитеатовым-Кадашевым, Сергеем Горным, Владимиром Татариновым и Леонидом Чацким в знак протеста против сотрудничества с большевиками. Эти люди стали ближайшими литературными друзьями Набокова на несколько последующих лет. В октябре 1922 года к ним присоединился литературный критик Юлий Айхенвальд, высланный вместе с другими представителями интеллигенции из России. Затем Набоков участвовал в «Клубе писателей», «Братстве круглого стола», печатался в газете «Руль», где редактором был Иосиф Гессен, друг его отца, сотрудничал с журналом «Карусель», писал скетчи для кабары «Синяя птица», читал на заседаниях «Русского литературного клуба» и «Русского литературного кружка» свои пьесы и рассказы. Рассказов к тому времени набралось восемь. Один из них — фантастический рассказ «Гроза» — хвалит известный славист Симон Карлинский за «остроумное использование крестьянского фольклора в неожиданной для него берлинской обстановке», Бойд же справедливо противопоставляет условности сказочного сюжета набоковские поиски необычного в обыденной реальности (надо сказать, весьма непривлекательной в тот период: изъеденные молью диваны мебелированных комнат, хозяйки которых прятали пальто своих квартирантов, чтобы те не съехали с квартиры не заплатив, бесконечное репетиторство, переводы и другие случайные заработки, нравы берлинцев, державших, например, дома телефон под замком), которые впоследствии приведут писателя к успеху.

Как справедливо пишет А. Зверев, признание Сирина началось с романа «Машенька». В русской литературе почему-то принято сопоставлять всех писателей с Тургеневым (Чехов, например, страдал оттого, что его все время сравнивали с Тургеневым не в его пользу). Вот и после чтения «Машеньки» Айхенвальд воскликнул: «У нас появился новый Тургенев!», и как только книга была издана, ее немедленно послали Ивану Бунину.

В сведениях о жизни Набокова в Европе начиная с 1927 года и вплоть до его отъезда в Америку в 1940-м много лакун. К тридцатым годам берлинская эмиграция уже находилась в упадке, а ее пресса замолчала, многие из тех, кто знал Набокова в эти годы, не пережил войну, эмигрантские архивы в Чехословакии были конфискованы русскими, а письма Набокова к матери, которые он писал регулярно на протяжении двадцати лет, сожгла в Праге его сестра Ольга перед наступлением советских войск, другая часть бумаг пропала в Париже, оккупированном фашистами. Именно в эти годы он посвящал все свое время литературной работе и именно к ним лучше всего подходит замечание Набокова о том, что его прошлое похоже не столько на биографию, сколько

на библиографию. Неудивительно, что оба биографа сосредоточивают свое внимание на разборе произведений, написанных в этот период. Бойд делает интересное наблюдение, что, как ни странно, Набокову удавались лучше те романы, которые ему по каким-либо причинам приходилось откладывать. Так, задумав «Защиту Лужина» в разгар шахматных баталий между Алехиным и Капабланкой за звание чемпиона мира, он написал «Король, дама, валет» прежде, чем закончил свой шахматный роман.

Бойд считает «Защиту Лужина» первым по-настоящему зрелым романом Набокова и пишет, что в этом романе Набоков «впервые изобрел средства для наиболее полного изображения своих идей», предлагая далее вниманию читателя свое понимание философии Набокова и того, как она обуславливает уникальность его искусства. Литература как средство для изображения идей — это очень не по-набоковски, а попытка вычлнить из художественного произведения философию в каком-то смысле означает движение в направлении, противоположном тому, в котором шел сам писатель. Однако те, кто спорят о том, есть ли философская глубина в произведениях Набокова или он является лишь мастером изящного стиля, вероятно, прочтут эти страницы с интересом. Воззрения Набокова, по Бойду, заключаются в том, что жизнь полна счастьем, если научиться не воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся, что наблюдательность склоняет нас к оптимизму, а искусство, в противоположность здравому смыслу, есть возможность увидеть бесценную бесполезность, щедрость и красоту жизни. Бойд пишет о влиянии Анри Бергсона на Набокова, о безусловной первичности и приоритете сознания для Набокова, причем сознания, находящегося не только внутри нашего «я», но присутствующего в мире как мысль, растворенная в материи и пространстве. Он определяет метафизику Набокова «как двойную спираль, в которой его двойственное стремление к независимости и к комбинированию определяет его отношение к каждому из витков бытия, обозначаемых им как пространство, время, мысль, или человеческий разум, и нечто, лежащее за гранью бытия». Искусство для Набокова, считает Бойд, — это возможность передвигаться во времени, что в обычной жизни, в которой есть лишь движение в пространстве, невозможно; это сотворение новой реальности, в которой действуют иные законы времени и сознания, так, например, художественное произведение не развивается последовательно, а существует одномоментно. Тема связи между метафизическими взглядами Набокова и его стилем более подробно разработана в другой книге Брайана Бойда — «„Ада” Набокова».

Возвращаясь к роману «Защита Лужина», можно сказать, что его публикация в «Современных записках», лучшем толстом журнале эмиграции, издававшемся в Париже и печатавшем лишь маститых авторов старшего поколения, завоевала Сирину литературное признание. Марк Вишняк, Нина Берберова, Андре Левинсон восторженно встретили книгу. Говорят, что Бунин отозвался о романе так: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня». Наряду с поклонниками Набоков нашёл себе и врагов. В первую очередь Георгия Адамовича, одного из самых известных критиков эмиграции, действовавшего, по воспоминанию Дон Аминадо, под выгодным с практической точки зрения девизом «Литература проходит, а отношения остаются». Бойд, называя Адамовича «камертоном, по которому настраивалась „парижская нота”, отчаянье изгнанничества, душевные терзания современного человека, слишком глубокие, чтобы думать о форме, и несколько более правдивые и искренние в стихах, близких по своей безыскусности к дневниковым записям», так характеризует суть его распри с Набоковым: «Набокову многое не нравилось в Адамовиче и его взглядах: попытка декретировать правильную реакцию на „нашу эпоху”, отрицание формального мастерства, обязательный пессимизм, групповой дух. Ему претили нездоровая атмосфера Монпарнаса, наркотики, гомосексуализм и прежде всего крайне пристрастное, льстивое отношение к „своим”, которое исключало объективность литературных оценок. Г. Адамович отвечал Набокову такой же неприязнью, считая, что его внимание к форме

равноценно игнорированию содержания или отсутствию глубины». К этому времени относится знакомство Набокова с Ходасевичем, тоже состоявшим в литературной оппозиции к Адамовичу. Они стали друзьями, и их дружба продолжалась до смерти Ходасевича. Появились у него и другие парижские друзья: Алданов, Фондаминский, Зензинов. К вражескому же стану присоединились Георгий Иванов и Зинаида Гиппиус. Г. Иванов называл Набокова в своих рецензиях кухаркиным сыном, черной костью и метафизическим смердом, от которого разит «кожным потом душевной пошлятины». Все последующие сиринские произведения печатались, по выражению самого Набокова, «под тихий свист Содомовича и других Жоржиков». Позже эти рецензии пригодились Набокову для изображения эмигрантской литературной среды в романе «Дар». Алексей Зверев усматривает в одном из персонажей романа, критике Мортусе, недостоверный и необъективный портрет Адамовича, сведение личных счетов и месть, — исходя из некоторых присущих этому критику черт, которыми Набоков наделил своего героя. Подобным же образом он отождествляет героя рассказа «Занятой человек» с Маяковским (на том основании, что этот герой, пишущий стихи, рифмует «прогалин — Сталин»), или Кончеева с Ходасевичем, расценивая эпизод из неопубликованного продолжения «Дара», в котором Федор читает Кончееву свой финал пушкинской «Русалки» под вой сирен воздушной тревоги, как необъяснимую жестокость и бестактность со стороны Набокова по отношению к недавно умершему другу, как намек на истолкование Ходасевичем «Русалки», единодушно признанное неудачным.

Такой взгляд отрицает саму природу искусства, заставляющую писателя демонтировать реальную жизнь, разбирать ее на детали, чтобы потом из них создать свой мир, свою художественную реальность, не говоря уже о том, что злоба и сведение счетов несостоятельны в качестве импульса для создания настоящего художественного произведения. «Я руководствовался не стремлением посмеяться над тем или иным лицом (хотя и в этом не было бы греха, — не в классе же мы и не в церкви), а исключительно желанием показать известный порядок литературных идей, типичный для данного времени, — о чем и весь роман (в нем главная героиня — литература). Если при этом стиль приводимой критики совпадает со стилем определенных лиц и цац, то это естественно и неизбежно. Моих друзей это огорчать не должно. Улыбнитесь, Марк Александрович! Вы говорите, что „Дар” рассчитан на очень долгую жизнь. Если так, то тем более с моей стороны любезно взять даром в это путешествие образы некоторых моих современников, которые иначе остались бы навсегда дома», — объяснял Набоков свое отношение к предмету в письме Марку Алданову.

Отождествление реальных людей с литературными героями ведет к тому, что и о литературных героях Алексей Зверев пишет как о живых людях, которые вступают с автором в самостоятельные отношения: по его мнению, «пушкинские интересы и ориентации Пнина должны были особенно расположить к нему Набокова». Позицию же самого Набокова в этом вопросе можно проиллюстрировать отрывком из одного его интервью:

Вопрос. «Часто слышишь от писателей о том, что герои овладевают ими и в известном смысле диктуют сюжет. Случалось ли с вами нечто подобное?»

Ответ. «Со мной ничего подобного не случается. И что за нелепая ситуация! Писатели, попадавшие в нее, были, вероятно, или третьесортными, или невменяемыми. Нет, замысел романа неизменен в моем воображении, и всякий герой следует по маршруту, который я для него предначертал. Я полновластный диктатор в этом частном мире, поскольку один отвечаю за его стабильность и правду. Другой вопрос, воспроизвожу ли я этот мир так полно и точно, как хотелось бы. Некоторые мои старые вещи обнаруживают ужасные размытости и пробелы».

Когда читатель Набокова, вовсе не становится обидно ни за Адамовича, который безусловно был яркой фигурой своего времени и талантливым человеком, ни тем более за Ходасевича, Маяковского или Ахматову (набоковскую пародию на нее Алексей Зверев называет пасквилем). Единственным исклю-

чением из этого ряда, как кажется (но об этом нет упоминания ни у Зверева, ни у Бойда), является прямая отсылка к Иннокентию Анненскому в набокковском рассказе «Уста к устам» о несчастном и обманутом авторе. Не стоило шутить по поводу поэта, так и не дождавшегося признания и умершего на ступенях Николаевского вокзала, убитого известием, что его стихи выкинули из уже сверстанного номера журнала «Аполлон», заменив на оказавшиеся впоследствии литературным розыгрышем поэтические стилизации Черубины де Габриак. (Хотя, как полагает Бойд, поводом для сюжета послужила нашумевшая эмигрантская история с писателем Александром Буровым и журналом «Числа», думаю, Набоков помнил детали широко известной в дореволюционном Петербурге литературной мистификации.)

Алексей Зверев в своей биографии с большим пониманием относится к набокковским врагам и критикам, расценивая их нападки как справедливое возмездие за категоричность суждений самого Набокова и проявляя по этому поводу гиперчувствительность. Он защищает Константина Мочульского, которому Набоков посвятил одну фразу в интервью 1964 года для журнала «Плейбой», описывая историю своего отношения к хвалебным и ругательным рецензиям: «В двадцатых ко мне прицепился некий Мочульский, который никак не мог пережить мое полное безразличие к организованной мистике, к религии, к церкви — любой церкви». «Верх взял возобладавший у него после „Лолиты“ комплекс триумфатора, — пишет А. Зверев, — которому доставляет свирепую радость появившаяся возможность расплатиться по старым счетам. Впрочем, читающим „Плейбой“ <...> было абсолютно неинтересно, кто такой Мочульский и за что он язвил дебютанта Сирина. Эта публика понимала, что Набокова пригласили в журнал как автора „Лолиты“, но и на „Лолиту“ смотрела с одной точки зрения: <...> появится ли фотография с аппетитной голой попкой и кружевами на причинном месте?» (Замечу в скобках, что в том же интервью Набоков называет Г. Иванова, в печати ругавшего его смердом, хорошим поэтом, а «Плейбой» шестидесятых отличался от сегодняшнего и постоянно печатал таких писателей, как Набоков, Сэлинджер или Апдайк.) Ну а дальше биограф в который раз пишет о мнимом отказе Набокова от русской классической традиции, приведшем к драматическим для него последствиям. Не вполне понятно, что, собственно, имеется в виду. Речь, видимо, идет о русской душе, нравственном отношении к предмету и определенности авторского выбора между добром и злом. Но, думаю, к Набокову в полной мере можно отнести слова Толстого: «Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны. <...> Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда». И классическая литература, будучи усвоена Набоковым, разумеется, никуда не улетучилась из его сознания, писательской кровеносной системы — не важно, работал он на русском или английском языке. В его английских рассказах мелькнет то чеховская девушка в красном, то белый шпиц, то помимо воли недалекого рассказчика до нас дойдет действительность, которая ему недоступна, подобно дневнику Печорина, случайно доставшемуся попутчику доброго Максима Максимовича, или в английской «Лолите» Гумберт будет продолжать готовить коктейль для уже мертвой Шарлотты, как тот глухой, продолжающий развешивать белье под крик Липы из чеховского рассказа «В овраге». А. Зверев, как кажется, так и не смог найти для Набокова настоящего места в мировой литературе и оценить сделанное им.

Возвратимся, однако, к книге Бойда. Набокову, как многим другим русским эмигрантам, приходилось бороться за физическое выживание. Об этом последние главы первого тома биографии «В нищете» и «В поисках выхода», описывающие четыре года жизни во Франции, когда Набоков заканчивал «Дар», учился писать по-английски («Подлинная жизнь Себастьяна Найта»

стала его первым английским романом) и мечтал о переезде в Америку. Такой случай представился, когда Марк Алданов, которому предложили прочесть курс лекций в летней школе при Стэнфордском университете, порекомендовал вместо себя Набокова. Набоковы были счастливы. Отъезд, правда, чуть не сорвался, поскольку для получения американской визы требовалось разрешение на выезд из Франции, а его не удавалось получить из-за кошмарной бюрократической волокиты, во время которой вдобавок потеряли их паспорта — случай, нашедший отражение в рассказе «Как там, в Алеппо...» с его «истлевшими кипами старых досье, с вонью фиолетовых чернил, взятками, подсунутыми под промокашки с венозным узором на них, с жирными мухами, почесывающими влажные шейки своими проворными липкими лапками, с новенькими, непослушными, вогнутыми фотографиями ваших шести дегенеративных двойников, с трагическим взглядом и терпеливой вежливостью посетителей родом из Слуцка, Стародуба или Бобруйска, с тисками и зубцами святой инквизиции, с несчастной улыбкой лысого человечка в очках, которому сказали, что его паспорт потерян».

Любопытно, что оба биографа не поняли, в чем же, собственно, заключается действие рассказа «Как там, в Алеппо...». Они предлагают несколько вариантов прочтения рассказа, выдавая незавершенность сюжета за набоковский замысел, в то время как у Набокова всегда есть единственно правильное решение, которое нужно разглядеть. Зверев называет рассказчика-убийцу «неправимо виноватым перед женщиной, брошенной им в Марселе», а Бойд — «обманутым мужем». Дело совсем не в этом: рассказ написан от лица человека, убившего из ревности свою жену, который, подобно герою чеховской «Драмы на охоте», желает поделиться своим горем с людьми и одновременно замести следы. Именно поэтому он просит писателя В., которому предлагает воспользоваться своей историей для рассказа, не выносить в название «убийственный намек» — последние слова Отелло «Как там, в Алеппо...» из монолога перед самоубийством.

Такую же солидарность биографы проявляют, заблуждаясь относительно происходящего в рассказе «*Terra incognita*». Бойд называет рассказ «головоломкой в духе Борхеса», однако все же дает четкий вариант прочтения: «Путешественник-натуралист, гибнущий от лихорадки в тропических топях, описывает последние часы своей жизни. В его галлюцинациях навязчиво проступает спальня, и можно предположить, что он болен и лежит в постели в каком-нибудь европейском городе, а джунгли видит в бреду. В рассказе содержится, кажется, достаточно доказательств в пользу этого предположения, однако сам повествователь его отвергает: „Я понял, что назойливая комната — фальсификация <...> что подлинное — вот оно: вот это дивное и страшное тропическое небо...”» Ему вторит Зверев, говоря, что герой умирает «под страшным тропическим небом». При внимательном прочтении ясно, что тропическое небо является реальностью лишь в сознании смертельно больного человека, мечтавшего о путешествиях и в предсмертной агонии подменяющего ужас обыденной реальности героическим антуражем. Способ изображения подробностей тропической реальности и ее действующих лиц не оставляет места для другого толкования: «„Посмотри, это странно”, — обратился ко мне Грегсон, но не по-английски, а на каком-то другом языке, дабы не понял Кук...» Герой не знает, на каком языке к нему обращаются, но понимает смысл сказанного, так бывает только во сне. Кстати, у Кука на предплечье невозможная в реальной жизни татуировка: «граненый стакан с блестящей ложечкой, — очень хорошо сделанный». Так же хорошо сделан рассказ Набокова, в котором прямо не названо, что есть галлюцинация, а что есть реальность, — это становится ясно из способа описания. Однако Алексей Зверев чувствует себя одураченным, ему кажется, будто Набоков морочит голову, позволяя себе «утомительные шалости со скрытыми реминисценциями и не всегда невинным подтруниванием над читателями, не обладающими авторской эрудицией». Злой авторский умы-

сел видит он и в романе «Бледный огонь», поскольку ему тоже осталось непонятным, кто и за что убил поэта Шейда: «Те, кто ломает голову над истинным или кажущимся торжеством Шейда или Кинбота и пытается установить, кто такой в действительности Джек Грей, он же Градус, напрасно тратят интеллектуальную энергию: окончательного ответа не может быть по самому существу набокковского замысла». Не думаю, что открою Америку, но Джона Шейда убили по ошибке: бежавший уголовник, увидя поэта на пороге дома, в котором раньше жил судья, отомстил не тому, кому хотел; все остальное происходит лишь в воображении Кинбота и в поэме Шейда об убитом свиристе-ле. В противном случае нужно признать, что на карте мира существует страна Зембла, по которой разгуливают разные Градусы, они же Виноградусы, или река, по берегу которой с одинаковой скоростью идут два человека в красном, причем один из них вверх ногами... Теорию многозначности художественного замысла обычно иллюстрируют цитатой из Набокова о том, что «реальность — это бесконечная последовательность ступеней, уровней восприятия, двойных доньшек, и поэтому она неиссякаема и недостижима». Мне же кажется, что сказанное относится к человеческому восприятию, углу зрения и говорит лишь о том, что у каждого человека и каждого писателя есть своя реальность, внутри которой, если она продуманна, все же не остается места для неопределенности. Я бы сравнила это с шахматной задачей, где есть только одно правильное решение наряду с множеством ложных и призрачных возможностей, предусмотренных ее составителем, чтобы сбить с толку новичка. По поводу другого романа Набоков писал своей матери: «Никакого не следует читать символа или иносказания. Он строго логичен и реален; он — самая простая ежедневная действительность, никаких особых объяснений не требующая». Да, кстати, второй человек в красном, бредущий вверх ногами в романе «Бледный огонь», всего лишь отражение в воде первого... И других вариантов толкования здесь нет и быть не может.

Разумеется, биографии Бойда и Зверева нельзя сравнивать, так как есть качественная разница в используемой библиографии: Бойд в течение десяти лет работал с архивами писателя и собирал свидетельства его современников из первых рук, в распоряжении же Алексея Зверева была биография Бойда и, в основном, русские источники. Но оба биографа читали книги Набокова. И каждый толкует их по-своему. Главное отличие, как кажется, состоит в том, что Брайан Бойд относится к Набокову с уважением, а Алексей Зверев, увы, нет.

Слишком много места, учитывая общий объем книги, уделяет Зверев подробному разбору ранних стихов, рассказов и не печатавшихся при жизни Набокова пьес. Не за это мы любим Набокова! Мало что говорят, скажем, о Чехове фельетоны Антоши Чехонте, шутками из которых, вроде «Я иду по ковру, ты идешь пока врешь...», он сам впоследствии пользовался в зрелых рассказах для изображения юмора простаков. Объективнее было бы ругать Набокова за неудачи, которые он потерпел, будучи уже зрелым писателем. Например, за недодуманную, как следует не прописанную повесть «Волшебник» или натянутый и надуманный рассказ «Ultime Thule».

Постепенно тон повествования меняется, становится едва ли не бесцеремонным, как будто биограф теряет терпение в попытке унять ершистого автора; однако качественный сдвиг происходит, когда биограф пишет об отношении Набокова к своим литературным предшественникам и современникам: «Эстетическая разборчивость» Набокова «слишком уж явно отдавала сальеризмом, как понимал это слово Ходасевич: не зависть, а нетерпимость к чужому опыту, и настолько болезненная, что она побуждает к нравственно неприемлемым поступкам». Чехов как-то в письме Суворину пожаловался на тон литературной критики: «Зачем Скабичевский ругается? Зачем этот тон, точно судят не о художниках и писателях, а об арестантах? Я не могу и не могу».

Вот и я *не могу и не могу*, когда Зверев изображает Набокова бесчестным карьеристом, карабкающимся к первой строчке в списке бестселлеров и поно-

сящего своих преуспевающих собратьев по перу: то он, по выражению биографа, «кинулся принижать потенциального соперника» Борхеса, то при жизни Пастернака не ругал печатно «Доктора Живаго», хотя «руки буквально чесались», а после его смерти «стал открыто повторять свою версию, рожденную фантазией, которая распалась от ненависти», поскольку Набокова «обошли» Нобелевской премией. А если, мол, Набоков и писал сочувственно о Солженицыне-человеке, при этом невысоко оценивая литературное качество его произведений, то это только потому, что в тот год не Солженицыну дали Нобелевскую премию. «Много раз повторявшиеся Набоковым слова о том, что в литературе для него важен только художественный счет, — слова, и не больше. С сальеризма и надо начинать, вникая в мотивацию Набокова, когда он обрушивается на роман Пастернака. <...> Так вымещал Набоков ничтожные свои обиды, когда уже не было на земле поэта...» Не знаю, мне, например, тоже не нравится роман «Доктор Живаго», хотя я не писатель и на Нобелевскую премию не претендую. Кстати, сальеризм в понимании Ходасевича есть «удивление Сальери перед Моцартом», прилюдные любовь и восхищение, скрывающие зависть, а вовсе не публичное поношение и принижение соперника. Впрочем, даже не вдаваясь в подробности того, что Набоков писал или не писал о Борхесе, Пастернаке или Солженицыне, стоило бы оставить за ним право на свою оценку работы коллег по литературному делу.

В биографии Зверева очень большое место уделено взглядам Набокова на нелюбимого им Достоевского, как будто нелюбовь к Достоевскому может считаться изъяном. Набокова, которому надрыв, обнажение подноготной, выяснение отношений и истерика, столь часто эксплуатируемые Достоевским, представлялись дурным тоном и бесстыдством. Понятно, почему он не чувствовал с Достоевским литературного родства, что совершенно не отменяет усвоения и использования им опыта этого писателя с известной долей отстраненности — например, для изображения болезненного искажения сознания Смурова, Германа или Гумберта Гумберта.

В неопубликованных заметках для неудачной биографии Эндрю Филда Набоков вспоминает, как во время школьной экскурсии в Финляндию учитель естествознания, возглавлявший группу, был раздражен сачком Набокова и его интересом к лепидоптерологии: «Все было бы ничего, если бы я был группой ребят, собирающих бабочек. Один же подросток, одержимый коллекционированием бабочек, — нет, это ненормально». То же можно сказать и о системе литературных взглядов Набокова, которая, вообще говоря, могла бы объединить группу литераторов и стать платформой литературного течения, если бы, конечно, эта система в корне не отрицала групповую идею. Вероятно, в этом случае филологи отнесли бы к ней с большим почтением и не считали ее образчиком нетерпимости и субъективной категоричности.

Ряд литературных открытий и принципов Набокова стал достоянием русской литературы, и их игнорирование выглядит наивным и старомодным. Зверев требует от писателя «идей», «нравственного отношения к предмету» и «страниц, написанных кровью сердца». Вспоминается тут совет Чехова писательнице Авиловой: «надо быть равнодушным, когда пишешь жалостные рассказы», «старайтесь быть холоднее», «да, будьте холодны». В стихах ли, в прозе для Зверева важен предмет повествования. Он пересказывает стихи, вероятно думая, что выйдет не хуже: «Явившийся в „черный день моей родной земли“, истинный поэт молится „величию и нежности природы“, осознавая, как предан он „глубокому глаголу“...», и т. д. и т. п. Стихи уже хороши тем, что написаны о родине, а в статье, посвященной десятилетию Октябрьского переворота, главное то, что «никогда прежде голос Набокова не звенел такой медью», ведь «он писал о наболевшем, о выстрадавшем — как ни чужды были такие слова его уже в те ранние годы скептической, иронизирующей прозе». Так что «репутация Сирина как писателя даровитого, только дорожащего лишь внешними эффектами, отделкой, щегольством композиции и равнодушного к треволнениям време-

ни, как и к мукам души (не надо „мук души“! — как говорил чеховский персонаж: „Вам нужно, чтобы кто-нибудь пилил мне тупой пилой палец, а я орал во все горло“? — С. Ч.), не была полностью надуманной, но и полностью справедливой», по мнению биографа, пока Набоков писал по-русски. Круг замкнулся, мы опять подошли к основной концепции книги Зверева.

Говоря о последнем романе Набокова «Посмотри на арлекинов», Алексей Зверев собирает цитаты лишь из отрицательных рецензий, такие, как «Скверно написанная книга» или «Набоков — посредственность, раздувшаяся от самомнения».

Лучшее из того, что было написано в жанре биографии, — например, Боввелл о докторе Джонсоне, Элманн о Джойсе или Энтони Бёрджес о Шекспире, — было основано на уважении к автору. В рамках же русской литературной традиции принято испытывать, я бы сказала, более горячие чувства. Вспомним обширную биографическую литературу о Толстом или Пушкине. Понимание и сочувствие — вот «звон путеводной ноты» всякой стоящей биографии.

Показательно, что Зинаида Шаховская, из-за личной ссоры с Набоковым относившаяся к нему под конец жизни крайне недоброжелательно, представляется Звереву идеальной мемуаристкой: «Если она думала, что ее мемуары, где набросан живой образ, переменят безудержно апологетический тон, который и поныне преобладает в литературе о Набокове, останется улыбнуться ее простодушию. Но сама эта мемуарная книжка как раз и ценна... абсолютной непредвзятостью суждений». Не буду спорить о достоинствах и недостатках Шаховской-набоковеда (я не принадлежу к числу ее поклонниц), лучше приведу образчик ее «непредвзятых суждений», цитируемых Зверевым: «Он смотрел на встречных и на встреченное со смакованьем гурмана перед вкусным блюдом и питался не самим собою, но окружающим». Как в кривом зеркале, здесь отражается одно из главных достоинств писателя, о котором можно сказать строкой Фета: «Не я, мой друг, а Божий мир богат», — писателя, обладавшего необыкновенной восприимчивостью к окружающему миру, которая преобразовала все его существо «в одно огромное око, вращавшееся в глазнице мира». Или вот другой пример: «Чего-то мне в его произведениях не хватало, где-то был провал: обозначившаяся почти сразу виртуозность и все нарастающая надменность по отношению к читателю, но главное — его намечающаяся бездуховность».

Со временем все становится на свои места, и сейчас никому не придет в голову называть, скажем, воспоминания Кс. А. Полевого или А. П. Араповой о Пушкине непредвзятыми, и уже в предисловии к двухтомнику воспоминаний о Пушкине можно прочесть о том, что мемуары врага Пушкина, М. А. Корфа, являются клеветой. Разумеется, человек может быть охарактеризован не только достоверными событиями своей жизни, но и легендами, слухами и даже сплетнями, к которым он подает повод. Но тогда именно под этим углом зрения и нужно рассматривать подобные источники. После смерти Набокова прошло всего двадцать пять лет, и материалы для его биографии не столь упорядочены.

Ходасевич, который пишет о том, что иконописные, хрестоматийные изображения вредны для истории, заканчивает свою мысль так: «Надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости». Можно любить Набокова и за резкую категоричность суждений, субъективность, подчеркнутый индивидуализм, насмешничество, несклонность к прощению, непоколебимую уверенность в себе и даже за то, что «он святых не признает»... Без всех этих качеств не было бы Набокова — смелого художника и открывателя новых горизонтов в литературе. А отсутствие понимания и сочувствия лишает смысла работу любого биографа.

НИКОЛАЙ МЕЛЬНИКОВ



ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ ПОССОРИЛСЯ С ВЛАДИМИРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ

Как известно, писатели не любят биографов и биографических сочинений. Владимир Набоков не был исключением, даром, что ли, он излил столько желчи по поводу *biographie romanesque* и в «Истинной жизни Себастьяна Найта» вывел отталкивающий образ биографа — торопливого халтурщика мистера Гудмена.

«Я не выношу копания в драгоценных биографиях великих писателей, не выношу, когда люди подсматривают в замочную скважину их жизни, не выношу вульгарного „интереса к человеку“, не выношу шуршания юбок и хихиканья в коридорах времени, и ни один биограф даже краем глаза не посмеет заглянуть в мою личную жизнь»¹, — самоуверенно вещал с кафедры еще мало кому известный в Америке профессор Набокофф. «Романист — не публичная фигура, не экзотический князек, не международный любимец... Я вполне понимаю людей, стремящихся изучать мои книги, но мне неприятны те, кто норовит изучать меня»², — много лет спустя вдалбливал очередному интервьюеру прославившийся на весь мир автор «Лолиты».

И напрасно: ведь хорошо известно, что во все времена, а особенно в эпоху упадка художественной, «вымышленной» литературы, нет жанра более популярного и притягательного, чем биография. Спрос рождает предложение, и нет ничего удивительного в том, что коридоры времени содрогаются от гулких шагов целой орды биографов, а в России вышла очередная биография Владимира Набокова: писатель, по меркам Большой литературы сравнительно недавно возведенный в ранг классика, представляет законную добычу для исследователей и толкователей.

Так уж случилось, что книга А. М. Зверева вышла практически одновременно с переводом первого тома монументальной биографии Брайана Бойда, в литературоведческих кругах снискавшей репутацию образцового сочинения, которое, как утверждал восторженный рецензент, «превращает всякого пишущего на тему жизни Набокова либо в академического маргинала, либо в самоуверенного выскочку»³. На самоуверенного выскочку и тем более на академического маргинала Зверев, известный американист и переводчик, явно не похож, и поэтому не ждите от меня якобы напрашивающегося уничижительного сопоставления. Во-первых, в оригинале книга Бойда была издана более десяти лет назад и с тех пор читана-перечитана всеми уважающими себя набоковедами; во-вторых, она рецензировалась в постсоветской печати, в частности, подробно разбиралась на страницах «Вопросов литературы»⁴; в-третьих, переведен пока только первый том; в-четвертых, опусы Бойда и Зверева — разной весовой категории, сопоставлять их — все равно что выпустить на ринг поджарого боксера-легковеса и стокилограммового тайсонообразного гиганта. Обе книги принадлежат к разным жанровым вариантам того рода сочинений, которые покрываются эластичным термином «биография».

Легко догадаться, что отечественные и зарубежные набоковианцы могут почувствовать себя разочарованными биографическим сочинением Зверева.

¹ Набоков В. Лекции по русской литературе. М., 1996, стр. 222.

² Nabokov V. Strong Opinions. N. Y., 1973, p. 157.

³ Шульман М. 100% Nabokoff. — «Ex Libris НГ», 2001, 29 ноября.

⁴ См.: Мулярчик А. С. Набоков и «набоковианцы». — «Вопросы литературы», 1994, № 3, стр. 125 — 169.

Насторожит их уже то, что книга вышла в популярной серии «Жизнь замечательных людей», изначально рассчитанной отнюдь не на литературоведов, — призванной разъяснять, разжевывать, популяризировать, в общем, просвещать то аморфное и загадочное существо, которое принято называть «рядовым читателем». Соответственно в книге нет научного аппарата: ни примечаний, ни сносок. Про отсутствующий именной указатель я и не говорю. Взамен — раздолье парафрастического метода: пространные пересказы (лишенные, увы, обаятельной убедительности подлинника), переведенные в косвенную речь фрагменты из набокских произведений и опубликованных писем, парафразы работ предшественников, о чьих догадках и открытиях сообщается как о чем-то само собой разумеющемся и безмянном.

По части фактологии в книге нет ничего нового. Здесь она откровенно вторична по отношению к биографии Бойда. Мысль, положенная в основу авторского подхода к творчеству Набокова, тоже не отличается оригинальностью. «Писатель Набоков оставался достойным своего таланта только до тех пор, пока сохранялась его причастность русской художественной традиции», — этот же тезис разрабатывался в монографиях Н. А. Анастасьева⁵ и А. С. Мулярчика⁶, а еще раньше — в работах некоторых эмигрантских критиков (тезис сам по себе небесспорный, если помнить о том, что традиция — не ошейник и не оковы, а скорее путеводная звезда, да и чего греха таить, «традиция русской литературы — не слишком дорожить традициями», как остроумно заметил Михаил Осоргин).

Все суждения современных Набокову критиков взяты автором из объемистого тома «Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова» (М., 2000), причем, передавая содержание той или иной статьи, автор порой проявляет странную небрежность, которая лишней раз доказывает, что с материалом он знаком из вторых рук. Так, например, Марк Слоним, написавший один из самых благожелательных отзывов на последний (не самый удачный) роман Набокова «Посмотри на арлекинов!», сгоряча назван «сердитым критиком» (видимо, по той причине, что биограф цитирует единственный критический пассаж из его рецензии), а Джон Алдаик, автор двусмысленной, выдержанной едва ли не в пародийном ключе рецензии на «Аду, или Эротиаду», оказывается, «превозносил» набокоскую «семейную хронику». Еще бо́льшая небрежность допущена (автором? редактором?) в подписях к фотографиям, где мы встречаем Юрия Айхенвальда; а фотография пожилого Набокова, запечатленного на фоне швейцарского шале — надменная улыбка, небрежно спущенные гольфы, руки засунуты в карманы шорт, — весьма неопределенно (и неточно!) помечена как «60-е гг.», хотя во втором томе бойдовской книги, откуда и был взят снимок, черным по белому написано: «сентябрь 1972».

Имеются в книге и более очевидные фактические ошибки. Роман «Смех во тьме» (авторский перевод «Камеры обскуры») был выпущен в США издательством «Бобс-Меррилл» (Indianapolis, «Bobbs-Merrill», 1938), а не издательством «Нью Дайрекшнз», как утверждает на 204 странице (с главой этого издательского дома Джеймсом Лафлином писатель познакомился лишь в 1941 году, уже после переезда в Америку). Здесь же забавный персонаж из «Камеры обскуры» — бесталаный беллетрист Зегелькранц, чья тягучая повесть совсем доконала беднягу Кречмара, — переименован зачем-то в Зигенфельда. А на 290-й странице уже реальное лицо, С. Л. Бертенсон, безуспешно пытавшийся соблазнить Голливуд произведениями Сирина, превращается в «Бертельсона». Когда же доверчивый биограф старательно пересказывает набокоский комментарий к стихотворению «К кн. С. М. Качурину» («Качурин, твой совет я принял...»), он и вовсе попадает впросак: о вымышленном адресате стихотворения — очередном

⁵ Анастасьев Н. А. Феномен Набокова. М., 1992.

⁶ Мулярчик А. С. Русская проза Владимира Набокова. М., 1997.

набоковском фантоме вроде Вивиана Калмбруда или Джона Рэя — нам всерьез сообщается как о реально существовавшем «полковнике Белой армии, окончившем свои дни на Аляске, в монастыре».

Впрочем, всё это скучные игры в деда-буквоеда, которые так любят филологи и которыми при желании можно извести любого, даже самого старательного и педантичного, автора. И не прав тот сноб, который отложит разбираемую нами книгу, пренебрежительно бросив: «набоковедческая попса». Да, если хотите, попса! Но вряд ли это может служить упреком Звереву. Претензии можно предъявлять к кому и чему угодно — Максиму Горькому, жанровому канону серии, но уж никак не к автору, которого, хотим ли мы, жрецы «строгой науки», или нет, должно судить *по законам, им самим над собою признанным*.

В рамках избранного жанра популярной биографии Зверев сделал все, что требовалось: создал портрет знаменитого писателя и выдал достаточно увлекательное и живое повествование, которое, надо полагать, удовлетворит запросы значительной части читательской аудитории. Книгу не без удовольствия прочтут не только школьники, студенты или газетные обозреватели (они-то все пересказы воспримут как откровение), но и специалисты-литературоведы, знающие наизусть раскавыченные цитатные лоскутки, из которых она сшита.

А сшита книга крепко, да и скроена ладно. По всем статьям проигрывая двухтомнику Бойда в информационной насыщенности, в новизне и объеме освоенного материала, она выигрывает в литературном плане — благодаря верно найденному ритму, стремительному темпу повествования, строгой композиции. Это, как выразился бы один критик, «хорошо сработанная, технически ловкая, отполированная до лоску литература».

Питательные библиографические ссылки, обилие внешне второстепенных фактов и подробностей (драгоценных для специалиста, но зачастую неинтересных и непонятных «рядовому читателю»), обстоятельные выяснения отношений с оппонентами, педантичный хронометраж — эти и другие достоинства научной биографии Бойда одновременно являются и недостатками, поскольку неизбежно утяжеляют повествование, разрыхляют композицию и тормозят сюжетное действие. Такие добросовестно-тяжеловесные труды не столько читают, сколько *изучают*, благо там имеются подробнейшие примечания и циклопический предметно-именной указатель. А вот «ЖЗЛку» Зверева можно прочесть в один присест, тем более что написана она хорошим русским языком, не замутненным заковыристыми словечками из некогда модного, а теперь по инерции воспроизводимого квазинаучного «постструктурдуралистского» жаргона. Согласитесь, для современного отечественного литературоведения это немалая редкость.

Удачно сочетая жизнеописание и литературоведение, изложение фактов и разборы главных набоковских произведений, Зверев выдерживает основной контур житейской и творческой биографии писателя, не увязает в мелочах, не загромождает книгу рискованными гипотезами и, надо отдать ему должное, не копается в грязном белье своего подопечного. В книге нет и намека на дешевую сенсационность, отличающую ныне устаревшие работы Эндрю Филда⁷ и разухабистую компиляцию Бориса Носика «Мир и дар Владимира Набокова» (М., 1995).

Отрадно, что автор не навязывает читателю эффектных, но, по сути, фантастических литературных параллелей и не мучает его вульгарно-компаративистскими выкладками, коими сейчас пробавляется девяносто процентов литературоведов. Напротив, он достаточно скептически отзываясь о любителях «странных сближений» — тех набоковских исследователях и комментаторах, «для которых поиски всевозможных литературных отголосков, аллюзий и под-

⁷ Имеются в виду второй и третий изводы Филдовой биографии: Field A. Nabokov: His Life in Part. N. Y., 1977; Field A. The Life and Work of Vladimir Nabokov. N. Y., 1986.

текстов давно стали своего рода спортивным соревнованием: кто обнаружит их больше? кто укажет самые маловероятные? кто перешеголяет всех, интерпретируя не только метафоры, а чуть ли не любую подробность как скрытую цитату?». Правда, изредка и сам биограф не может удержаться от компаративистских соблазнов и, на мой вкус, слегка перебарщивает, навязчиво сопоставляя Набокова с Виктором Шкловским или рассуждая «об уроках Марселя Пруста» и «прустовском времени» в «Машеньке». (Возражая Алексею Матвеевичу, Владимир Владимирович мог бы процитировать свои ответы интервьюерам, частенько пытавшимся завести его на зыбкую почву литературных вливаний и влияний, и повторил бы, что его чувство места и времени «скорее набоковское, чем прустовское»⁸, что между его и прустовскими романами нет ни малейшего сходства: «Пруст *вообразил* человека („Марселя” из его бесконечной сказки под названием „В поисках утраченного времени”. — Н. М.), который разделял бергсоновскую идею прошедшего времени и был потрясен его чувственным воскрешением при внезапных соприкосновениях с настоящим. Я не фантазирую, и мои воспоминания — это специально наведенные прямые лучи, а не проблески и блестяшки»⁹.)

Но спорить о «влияниях» можно до бесконечности. Укажем лучше еще на одно немаловажное достоинство книги: в отличие от «Мира и дара...» Бориса Носика, в ней нет безвкусных лирико-автобиографических интерлюдий на тему «Я и Набоков» и она избавлена от подобострастного сюсюканья перед «великим» — от того приторного, благостно-умильного тона, которым у нас пропитывают (словно сиропом — именинный торт) многие набоковедческие работы школы «*pro sine contra*». Сияние мировой набоковской славы не ослепляет биографа, а, наоборот, заставляет пристальнее вглядываться в прихотливые узоры житейской и творческой судьбы писателя, выискивая там всевозможные изъяны. По отношению к своему герою Зверев держится без всякого пиетета и с легкой совестью указывает на художественные просчеты и неудачи русско-американского классика. Причем чем дальше мы отходим от русской язычной Набокова и приближаемся к американскому и швейцарскому периодам его творчества, тем суровее становится автор и тем беспощаднее звучат критические приговоры, по сравнению с которыми придирки набоковских зоилов, приведенные в том же «Классике без ретуши», кажутся мармеладными комплиментами.

Как правило, оценочные суждения автора опираются на подробные разборы набоковских произведений и выглядят достаточно убедительно. Но иногда, в пылу скрытой полемики, которая на протяжении всей книги ведется против Владимира Владимировича, Алексей Матвеевич чересчур увлекается и рубит сплеча, безапелляционно заявляя, что «Университетская поэма» — «довольно пустынькая», драма «Изобретение Вальса» «оказалась не слишком удачной», финал рассказа «Рождество» «по безвкусной иллюстративности вполне подходит для наставительного рассказика из журнала „Чтец-декламатор”, источавшего слезы у чувствительных барышень на ранней заре века. И „Письмо в Россию” <...> испорчено концовкой, невольно заставляющей вспомнить самого скверного Брюсова». А в «Аде», оказывается, «страницы о любви непременно подкрашены тем особенным оттенком, который Толстой, говоря о французской фривольной прозе, точно назвал гадостностью». По мере накопления такого рода «твердых мнений» у читателя может возникнуть впечатление, что перед ним не биография великого писателя, а стенограмма вступительного экзамена, на котором придиричивый экзаменатор шпетит нерадивого абитуриента (что, впрочем, придает книге пикантность и делает ее чтение даже более занимательным).

⁸ Nabokov V. Strong Opinions, p. 197.

⁹ Clark J. Checking In with Vladimir Nabokov. — «Esquire», 1975, vol. 84, № 1 (July), p. 69.

Но если в отношении большинства набоковских произведений профессор Зверев все же проявляет снисхождение, то за «литературное поведение» ставит своему подопечному жирный неуд. Во всех литературных войнах и конфликтах, очных и заочных полемиках, которые вел темпераментный Владимир Владимирович, он неизменно берет сторону набоковских оппонентов. Переняв тональность и стилистику набоковской лекции о Достоевском, Алексее Матвеевич с прокурорским рвением предъявляет Владимиру Владимировичу — воспользуемся фразеологией биографа — «массу бездоказательных и порой просто пошлых обвинений». Например, в том, что пародия на несколько жеманную манеру ранней Ахматовой и ее многочисленных подголосков, которая дается в романе «Пнин»¹⁰ (заметим: написанном по-английски и вышедшем отдельным изданием в 1957 году, одиннадцать лет спустя после знаменитого ждановского доклада и шесть лет спустя восстановления Ахматовой в Союзе писателей), говорит о моральной нечистоплотности пародиста, якобы «добывающего отверженную». Нелицеприятные высказывания Набокова о «темном рифмоплетстве» Цветаевой или пресловутом пастернаковском шедевре «Доктор Живаго» также вызывают у биографа праведный шестидесятилетний гнев (у кумиров юности не может быть ни одного изъяна!), и на писателя в очередной раз обрушиваются глыбы обвинений в сальеризме и подловатом намерении подыграть советским чиновникам от литературы. Автор как-то легко забывает, что в XX веке, да и прежде, литературный мир скорее был похож на плот «Медузы», чем на прогулочный катер с благодушными туристами на борту, что ожесточенные войны и полемике, сопровождающиеся всякого рода эксцессами, придуманы отнюдь не зловредным Набоковым, что писатели, так или иначе от него «пострадавшие», — и Анна Андреевна, и Марина Ивановна, и тем более другой Владимир Владимирович (Маяковский, выведенный, по мнению Зверева, в рассказе «Занятой человек» в образе пошловатого писаки Граф Ита, что, разумеется, является святотатством по отношению к нашему «криколюбому Заратустре»), — эти и другие авторы (тот же Сартр!) сами не отличались терпимостью, так же были резки в критических суждениях и пристрастны в своих оценках. (Вспомним хотя бы, как отзывалась Цветаева об одном из лучших набоковских рассказов. В письме Анатолию Штейгеру от 29 июля 1936 года она писала: «Какая скука — рассказы в „Современных записках“ — Ремизова и Сирина. Кому это нужно? Им — меньше всего, и именно поэтому — никому»¹¹. «Никому не нужный» рассказ Сирина назывался «Весна в Фиальте».)

Даже напечатанное в 1942 году продолжение пушкинской «Русалки» воспринимается нашим биографом-иконоборцем как бестактность и «трудно объяснимая жестокость», допущенная Набоковым по отношению к собственному литературному союзнику Владиславу Ходасевичу. Объяснение, правда, дается довольно замысловатое: «Ведь как раз с „Русалкой” связан, пожалуй, самый неприятный, конфузный эпизод за всю его [В. Ходасевича] литературную жизнь. Увлечись биографическими трактовками художественных тек-

¹⁰ Как мне уже доводилось отмечать в статье «„До последней капли чернил...” Владимир Набоков и „Числа”» («Литературное обозрение», 1996, № 2, стр. 82), одним из житейских прототипов распутной и бесталанной Лизы Боголеповой могла быть Лидия Червинская, поэтесса из круга Георгия Адамовича, отличавшаяся, судя по замечаниям мемуаристов и опубликованной переписке Адамовича, довольно беспорядочной личной жизнью. (Поводом к созданию окарикатуренного образа могло послужить и то, что Червинская внесла свою лепту в литературную борьбу литераторов-монпарнасцев против Сирина, написав довольно прохладную рецензию на пьесу «Событие», — и это мог припомнить ей мстительный Набоков.) И еще одна деталь: главный набоковский зоил (представленный в романе в виде беспринципного критикана, который за определенную мзду возложил на Лизины кудряшки «поэтическую корону Ахматовой»), за глаза называвший Червинскую «дурой Лидой», но неустанно помогавший ей и житейски, и литературно, в хвалебной рецензии на поэтический сборник «Рассветы» утверждал, что Червинская — «прямая и едва ли не единственная преемница Ахматовой в нашей литературе» (Адамович Г. [Рецензия на книгу:] Л. Червинская, «Рассветы». — «Последние новости», 1937, 17 июля).

¹¹ Цветаева М. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 7. М., 1995, стр. 566.

стов, Ходасевич в книжке „Поэтическое хозяйство Пушкина“, написанной еще в России, доказывал, что сюжет „Русалки“ основан на реальном эпизоде молодости ее автора <...>. Пушкинисты тут же подвергли эту версию сокрушительной критике, доказав полную ее фантастичность».

Подобного рода выпады и критические атаки красноречиво свидетельствуют о предвзятости автора и вызывают подозрение в том, что вся книга, на манер своего прообраза — «Жизни Чернышевского», создавалась исключительно с полемическими целями.

Но чем же так разозлил Владимир Владимирович Алексея Матвеевича? Чем провинился? По какой причине биограф готов обвинить своего героя чуть ли не во всех смертных грехах? Личные счеты? Исключено. Копирование скандальной, но и, согласитесь, эффектной манеры, выработанной в эссеистике и литературоведческих штудиях Набокова? И это вряд ли.

Рискну предположить, что Алексей Матвеевич ведет тяжбу не столько против Владимира Владимировича лично, сколько против эстетики и литературной идеологии, которые ассоциируются с его именем (и с которыми тот в своих лучших творениях имеет мало общего). Не против Набокова, а против «набоковщины»: жуликоватых литераторов-«постмодернистов», якобы покончивших с «миром значений» и с «традиционной литературой», в которой они видят лишь кладбище выпотрошенных сюжетных формул и стилистических клише (поскольку сами не способны предложить читателю ничего иного); напористых и самоуверенных, но весьма недалеких критиков, вызубривших наизусть лозунги набоковской *персоны* о «феномене языка, а не идей», но не имеющих ни малейшего представления об «идеях» и катастрофически не владеющих «языком»; мощной литературоведческой индустрии, год за годом выпекающей выхолощенные опусы, в которых набоковские тексты произвольно разлагаются на скрытые «анаграммы» и едва ли не каждая запятая проверяется на счет интертекстуальных связей.

Если так, если главной целью автора было «развенчать» не талантливого писателя, а влиятельную эстетико-мировоззренческую доктрину, то тогда многое в этой неровной, но, безусловно, интересной книге объясняется и оправдывается. Вполне очевидно, что автором двигало отнюдь не суетное желание эпатировать правоверных набоковянцев и сыграть роль библейского Иакова, борющегося с Богом. Понятно, что тут определенная концепция. Понятно, что она не бесспорна. Но ничего бесспорного (и здесь я полностью согласен с автором), «когда дело касается столь сложных личностей, как Набоков, появиться и не может».

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО

*

НАБОКОВ ПО-АМЕРИКАНСКИ

В книги Стейси Шифф «Вера» начало хорошее. Захватывающее даже. Обещает — и с первых же страниц обещание это выполняет: внятное последовательное описание жизни Набокова с начала 20-х годов. То, что книгу «Вера» мы читаем как книгу о Набокове, в данном случае естественно: Вера интересна нам в первую очередь как жена Набокова; ну а с другой стороны, частная жизнь Набокова — это, можно сказать, и есть Вера Евсеевна. «Они были неразлучны, как сиамские близнецы. „Более тесных отношений между

супругами я в жизни не встречал», — вспоминает, отражая мнение огромного большинства, Уильям Максвелл», «...Набоковы „превратили свой союз в произведение искусства”. Благодаря ему они прошли вместе богатейший творческий путь. Эти уникальные отношения охватывают и берлинский период 20-х, и их жизнь в американской провинции 50-х, и швейцарский период 70-х годов».

Обращение к частной жизни Набокова, да еще в такой интимной сфере, как семья, ставит автора перед одной из самых скользких для биографа проблем — проблемой внутренних мотивов. Зачем пишут и зачем читают биографии писателей? Что дает нам право входить туда, куда при жизни героев этих книг нас никто бы не пригласил? В последнее время мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда изначальной интенцией биографа (не всегда им осознаваемой) становится попытка изжить подсознательный комплекс неполноценности — скрытый пафос такого рода сочинений: он такой же, как мы, если не хуже. Этот подход как бы противостоит другому, иконописному, когда пишущий, кроме своего благоговения перед объектом, не видит ничего и в первую очередь — самого портретируемого. Но оба этих варианта тупиковые, оба наглухо закрывают подходы к реалиям жизни художника и к их внутреннему наполнению.

В случае с книгой Стейси Шифф мы имеем иную систему мотивировок. Естественную. Предполагающую у читателя (и исследователя) потребность в продолжении самого процесса «чтения Набокова», каковым, по сути, и является изучение его биографии. Соотнесение созданного художником мира с реалиями, этот мир породившими. Слежение за сюжетом превращения хаоса биографических, психологических, исторических и проч. обстоятельств в художественную гармонию, бытового — в бытийное. Нас ведь на самом деле интересует не столько сама по себе биография писателя, сколько история рождения и вызревания его художественного мира.

Именно на это и ориентируется Стейси Шифф. Ей свойственно ощущение внутренней значимости всего, что происходило с Набоковыми. Это ощущение значимости присутствует не только в ее описаниях душевной и интеллектуальной близости супругов, в описаниях рабочего режима Набокова-писателя, но и в изображении повседневного, «скучного»: скитания с квартиры на квартиру, семейный быт, болезни родственников, поиски работы, языковые проблемы, финансовое положение (очень долго бывшее на грани абсолютного краха) и т. д. Шифф хорошо знает подлинную ценность этому «бытовому мусору». Биография писателя — это всегда еще и бытовой подстрочник созданного им мира, и здесь чем конкретнее и «бытовее», тем драгоценнее повествование.

И еще одно достоинство книги — увлекательность повествования. Это при том, что автор не позволяет себе не только каких-либо элементов беллетризации, но и того как бы респектабельного внешне подхода (а фактически — формы оживляжа), который в последнее время становится бичом биографического литературоведения. Я имею в виду приемы своего рода интеллектуального детектива, когда сочинения писателя привлекаются исключительно в качестве исходного материала для расследования непроясненных сторон его жизни. А своеобразие его художественного мышления неизбежно уплощается и опошляется из-за подхода к нему как некоему особому шифру автобиографического повествования. Искушение пуститься в такого рода студии у Шифф было, надо полагать, особенно сильно — она исследует личную жизнь писателя, в которой далеко не все было открыто даже самым близким людям. Но автор не пытается отождествить реальную жизнь с художественным миром. Разумеется, она ищет следы реальных обстоятельств в создаваемой Набоковым прозе, но делает это, на мой взгляд, достаточно корректно, не нарушая границ между одним и другим.

Увлекает же Шифф — информативностью, фактурностью и умением выстраивать сложные, многомерные и развивающиеся в процессе повествования образы — образы Владимира Владимировича и Веры, образ их семейной жиз-

ни, образ писательской судьбы Набокова. При этом автор выступает исключительно как историк и в известной степени психолог (психолог в широком смысле этого слова, когда речь идет о характере взаимоотношений супругов, и в более узком — как специалист в проблемах психологии художественного творчества).

Сам выбор Веры как героини книги позволяет автору затронуть чуть ли не все стороны жизни писателя — от сугубо бытовых до сложнейших и тончайших тем творческого поведения и самоощущения. Вера была не только человеком, на котором лежала бытовая сторона жизни Набоковых, и она не только его машинистка, секретарь, ассистент на лекциях в университете. В первую очередь для Набокова, жившего достаточно уединенно и внешне и внутренне, она была Первым и Главным Читателем. Аудиторией, на которую он подсознательно ориентировался как художник («...без того воздуха, который исходит от тебя, я не могу ни думать, ни писать — ничего не могу»). В определенном смысле Набоков писал для Веры. Трактовка роли Веры Евсеевны в жизни Набокова заставляет вспомнить высказывание Виктора Шкловского о феномене русской литературы середины XIX века: взлету своему она обязана появлению в России гениального читателя.

...Вот этим перечислением достоинств книги и рекомендацией читателю не пропустить это исследование я бы здесь с удовольствием и ограничился, если б по каким-либо причинам чтение мое прервалось где-то на ее середине. Точнее, на страницах, описывающих первоначальные мытарства рукописи «Лолиты» в издательствах. Но я прочитал книгу до конца и должен сказать, что дочитывал с тягостным недоумением. Тональность повествования, как казалось, с самого начала определившегося в своем содержании, в своем основном сюжете, ощутимо меняется на страницах, описывающих триумф «Лолиты». Поначалу — чересчур подробными кажутся описания того, как стремительно росли тиражи и соответственно гонорары, с каким почетом встречали Набоковых на приемах в их честь, как и во что была одета Вера, что писали о ней заинтригованные журналисты и проч., и проч. А ликующая нота, взятая здесь повествовательницей, — непомерно затянувшейся. Однако дальнейшее чтение наводит на мысль, что это подход, так сказать, концептуальный. Что с самого начала автор имел свой собственный сюжет литературной судьбы Набокова: малоизвестный, с глухой для широкого читателя славой писатель, дважды эмигрант (из России, а потом — из Европы) начинает жить заново — учиться писать на новом для себя языке, терпит лишения и непонимание, но — проявляет упорство, мужество, целеустремленность, и вот в конце концов ему воздается заслуженное: книга его становится супербестселлером, а он — суперзвездой. Жизнь состоялась. (То есть автор как бы последовал советам мистера Гудмена из «Подлинной жизни Себастьяна Найта»: «...тонкий художник и прочее, но обыкновенную публику этим не возьмешь. Я не хочу сказать, что про него нельзя написать книгу. Написать-то можно. Но тогда уж надо ее писать под особым углом зрения, чтобы сделать предмет привлекательным. Иначе она непременно провалится...») Не хотелось бы думать, что вот эта простенькая схемка полностью исчерпывает представления самой Шифф о содержании жизни Набокова — слишком обширную и серьезную работу она проделала, собирая и изучая материал, слишком долго общалась с его текстами, слишком часто показывала себя в книге тонким, да и просто умным человеком и исследователем. Но — никуда не денешься — выбор этого сюжета как опорного предлагает читателю исходить из того, что главным оправданием тернистой жизни художника является Успех. Успех по-американски, то есть измеряемый количеством издательских предложений, суммами гонораров, фотографиями на обложках популярных еженедельников, количеством интервью и местом этих интервью на газетной полосе. Здесь нет и следа понимания того, что Набоков полностью состоялся задолго до своего американского успеха. Что в Америку он приехал не гадким утенком, а великим писателем, к тому ж отдававшим себе отчет в том, что созданное им в «Защите Лужина»,

«Даре», «Приглашении на казнь» — уже неотъемлемая составная не только русской, но и мировой литературы. Так что сюжетная схема книги Шифф, видимо, соответствует авторской концепции. Во всяком случае, в книге достаточно подробно прослеживается процесс работы над американскими романами Набокова и очень обрывисто, бегло упоминается работа над европейскими, которые для Шифф, видимо, относятся к инкубационному периоду гения, и только «...с „Себастьяна Найта” началось высвобождение Набокова из сирийской куклки».

Следуя за логикой биографа, поневоле задумываешься — а может, действительно Набоков, переехав в Америку, решил избавиться от всего европейского и начать жизнь «по-американски». Может, правы его недоброжелатели, считавшие, что он надломился внутренне и, скажем, выбор сюжета для «Лолиты» определялся не внутренней творческой логикой, а ориентацией на некий стандарт литературного поведения: для успеха книги необходим скандал. Деловито и бестрепетно описывает, например, Шифф достаточно конфузную для Набокова-художника ситуацию — то, как остро переживалось им в течение нескольких месяцев соперничество «Лолиты» и «Доктора Живаго» в списках бестселлеров, как удручен был мастер тем, что пастернаковский роман «обошел „Лолиту”», с каким пренебрежением отзывался он о Пастернаке. И т. д. Так, наверно, оно и было — великим ничего человеческого не чуждо. Но автор, похоже, не испытывает неловкости за Набокова. Здесь возникает другая система ориентиров, так сказать, рыночно-состязательная: кто из этих двух авторов гениальнее, то есть кто точнее угадал, какой имидж на этом рынке самый выигрышный — имидж изощренного, внутренне раскованного художника или имидж борца с тоталитаризмом.

Единственный способ разрешить возникающие сомнения — это открыть книги самого Набокова. И тогда все встает на свои места. Да, разумеется, приятно, что слава и благосостояние пусть поздно, но пришли к Набоковым, что мастер получил наконец возможность жить, не имея никаких других забот, кроме творческих. Тут я с Шифф абсолютно солидарен. Набоковы этому тоже были очень рады. Но главным для них по-прежнему оставалось то, что определяло и выстраивало их жизнь с самого начала, — состоятельность в творчестве.

И все же несмотря на сказанное выше я бы не советовал заинтересованному читателю проходить мимо книги Шифф. У нее свои неоспоримые достоинства — повторю: достоинства достаточно полно и квалифицированно составленной биографии супругов, достоинство бытового подстрочника к творчеству Набокова. Я бы добавил к этому пронизательность автора в изображении супружеских и творческих взаимоотношений Набоковых, а также хорошо прописанный контекст — исторический, психологический, социальный и проч., — в котором и которым разворачивалась творческая работа Набокова. Книгу можно читать еще и, так сказать, в независимой позиции, делая по ходу чтения собственные усилия для выстраивания творческой биографии Набокова. Возможности для такого читательского усилия книга Стейси Шифф дает очень большие, и это главный комплимент автору.



Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

ЛЮБОВЬ В ПРОЗРАЧНОМ И ПОРИСТОМ МИРЕ

Афанасий Мамедов. Фрау Шрам. Роман. — «Дружба народов», 2002, № 8, 9.

Хотя имя Умберто Эко сейчас упоминать вроде как неприлично (все равно что расписаться в банальности), в одном старик оказался все-таки прав: ну не выходит у человека, испорченного *культурным контекстом*, просто и без затей признаваться в любви. Современная проза может скрупулезно анатомировать эту загадочную субстанцию, может гримировать ее под утонченный (равно как и грубый) эротизм, может вовсе отрицать — единственное, что остается практически недоступным, — это прямое выражение ничем не замутненного чувства. Похоже, для нынешней прозы это самое грозное табу.

Прерогатива чистого любовного жанра отошла к литературе массовой, где несчастный обрел вериги жестких стереотипов и терновый венец неизбежного хэппи энда. Может, и поделом. Со времен «Дафниса и Хлои» уж слишком долго он борздил одну и ту же колею...

Как бы там ни было, если современный некоммерческий прозаик решается тронуть эту тему, можно не читая биться об заклад, что ничем хорошим история не закончится (или уж такие *непростые* обстоятельства обстанут застигнутого страстью героя, что, куда ни кинь, всюду выйдет клин). Разумно предположить, что *гармоническое* разрешение проблемы каким-то образом противоречит нынешнему мироощущению человека. Что, впрочем, довольно очевидно — негармоничный, неблагоприятный, неуютный мир (несмотря на мчащийся вперед технический прогресс, подталкивающий неуклонно растущий комфорт) не позволяет описывать себя как место, где могло бы существовать не изуродованное его влиянием чувство.

Поэтому авторы, рискующие вторгнуться в тему, вынуждены следовать линиям внутренних изломов современной личности, находить ситуации, проникнутые безвыходностью и безысходностью, наращивать драматизм, в пределе стремящийся к трагедийности. Трагический эффект по нашим травестированным временам оказывается, однако, недостижим. Но в тех редких случаях, когда драма выходит все-таки убедительной, в тексте начинают выступать определенные *философические* черты. Симптоматично, что Юрий Малецкий, основательно окопавшийся в теме, дал своей последней повести название «Физиология духа» («Континент», 2002, № 113) — оксюморон, иронически отсылающий, видимо, и к соответствующей «Феноменологии...».

Довольно интересный объект для наблюдений представляет в этом отношении роман Афанасия Мамедова «Фрау Шрам» — одновременно и подтверждающий, и опровергающий наши догадки. Назвать этот роман «любовным» невозможно даже с самой большой натяжкой. Хотя любовных линий в нем несколько, точнее, это нарочито выставленная напоказ «множественность» единой линии (любая веревка — это не что иное, как «множество» плотно скрученных нитей — отдельных единиц, составляющих неразделимое целое, пока объект «веревка» остается веревкой). Вообще роман представляет собой довольно удачный пример «полифонии» (не в бахтинском смысле) или, если угодно, «симфонии», когда несколько отдельных тем, взаимно переплетаясь и отражаясь, сливаются в конце концов в нечто, превышающее по смыслу простую сумму составляющих.

Текст построен как единая генеральная метафора *разрыва, разъединенности*, распада на части. Здесь все разнесено по полюсам. Каждому значимому событию найдется своя параллель-антитеза. Каждому персонажу придан двойник. (Аллитерируются даже имена, почти как у древних германцев: Нина — Нана, Ирина — Ирана...) Герой-рассказчик, Илья, вынужденный покинуть город, где он родился и вырос, живет в Москве. Работает на заводе. Учится в Литинституте. В Москве толком никак не приживется. По Баку тоскует — там остались мать, дру-

зья детства, девушки... В Москве живет отец (давно откочевавший в другую семью), сокурсница, одаряющая Илью ласками в перерывах между исполнением супружеского долга, и странный психотерапевт, эзотерик и экстрасенс, посещающий хозяйку квартиры, где герой снимает комнатушку.

Экстрасенс Христофор всегда называет героя разными именами («Человек меняется через каждые две-три минуты: меняет атомы, меняет маски; почему бы не назвать его другим именем», — это не только *bon mot* персонажа, но и вторая по важности метафора — непрерывного изменения, перетекания, превращения вещи в свою противоположность, метафора неустойчивости и в конечном счете — «синоним» параллелизму и антитеза дискретности). И делает два равно странных подарка. Во-первых, историю своей первой любви и, во-вторых, очки своего отца, случайно найденные здесь, в квартире любовницы: перед тем как отца посадили, тот почему-то оставил их возлюбленной (а не законной жене и матери Христофора). Заполняя лакуны отцовской биографии, Христофор и прибрел когда-то в эту квартиру на Патриарших, пока старушка была еще жива, а там и сам пригнулся у любвеобильной соседки...

Эта «история любви» довольно занята. Только не в житейском смысле, скорее в умозрительном — как один из кирпичей, создающих конструкцию многослойного текста. (Выполнена в нарочито кричащих тонах.) Вернувшиеся из ссылки Христофор с матерью поселяются у бабушки в Крыму. Юноша осваивает профессию санаторного массажиста. Вдруг — любовь к невинной девице, внучке местного бонзы и бериевского палача (который, к слову, «содержал четыре семьи»). Старик, впрочем, быстро умирает. Ждешь чего-то в духе «Ромео и Джульетты». Получаешь (как под дых) сюжет в духе позднего Нагибина. Противу законов жанра, семья козней не строит. Зато когда барышня уже считается невестой, жениха захлестывает новый страстный роман — с будущей тещей. В итоге невеста в сумасшедшем доме, а прозревший муж — начальник местной колонии — намекает подопечным уголовникам, чтобы подыскали убийцу. Христофор мается, все чего-то ждет — и вдруг срывается с места... Свою роль Христофор трактует сперва как подобие мести потомкам палача за расстрел отца и собственные ссыльные мытарства, шире — как ответ «низов» «верхам». Но потом догадывается, что все случившееся — месть ему (оттуда, из-под гробовой доски, посланная основателем клана) за то, что нарушил закон иерархии, покусился на проникновение в высшую касту...

Но вернемся к истории самого Ильи Новгородского. Всего-то, казалось бы, и делов — ну, едет человек в отпуск. В Баку. Что ж такого? Там, правда, вроде бы постреливают (девяносто второй год), так он не армянин. Хотя еврей. Но евреев, кажется, не трогают. Зато забежавший проводить отец велит снять крестик (и Илья без сопротивления подчиняется. Выходит, конформист он, наш Илья Новгородский).

Перед самым отъездом звонит мать и предупреждает, что у поезда ему передадут какие-то документы — для бакинской соседки сверху. Этот малозначительный эпизод вырастет потом в сознании Ильи чуть не в поворотную точку судьбы. Осмысливая логику разворачивающихся событий, он будет все крепче и крепче убеждаться, что «мир прозрачен, мир порист и сквозист». Но в пределах опущенного ему текста так и не догадается, что качества мира и качества пребывающей в нем личности взаимозависимы. И что, став на свой путь «прозрачного и сквозистого», он тем самым определил характеристики всей окружающей действительности. Поддавшись влиянию обстоятельств, он добровольно согласился *играть* жертву — встав в оппозицию к роли «мужчины-охотника-хранителя очага» (это, кстати, один из рефренов). И обречен теперь на пассивную роль всегда (на недолгое время, исподтишка, как бы украдкой) замещать «сильного», пользуясь чужим свитером, чужой комнатой, чужой женой. В пределе — чужой судьбой. Не в том беда, что он противится роли «хозяина жизни» — действительно во всех отношениях гнусной, беда в том, что он то и дело соглашается идти «по следам», никак не обнаруживая ни мужества, ни внутренней силы двинуться вразрез обстоятельствам.

Кто он? Студент Литинститута, осознающий себя писателем и признающийся, что давно уже ничего не пишет? Еврей-выкрест, не бросающий попыток разглядеть причины разваливающейся семейной судьбы в каких-то тайных дефектах ме-

зузе, прибитого некогда прадедом над дверью их бакинской квартиры? Христианин, снимающий с себя *на всякий случай* крест перед возможной опасностью?

В Москве он существует в ипостасях изгнанного супруга (страдающего от потери не любимой женщины, а постоянного угла), любовника богатой сокурсницы, полулегальной приживала за символическую плату в комнатенке, принадлежащей мужу кузины, куда тот время от времени водит *свои* компании...

В Баку, куда Илья прибывает с судьбоносными документами, мигом начинает разворачиваться роман с той, кому бумаги адресованы (характерно, что он не раз и не два подчеркнет, что все активные шаги первой делает дама — типичное для него амплу вечного партнера на белый танец...). Но Баку — не Москва. Едва ступив на землю родины, Илья сразу же ощущает, как разворачивается во всей красе свернутый было шлейф прошлого. Дама сердца-то не кто-нибудь — разведенная жена бывшего друга. В прошлый приезд он пережил очередной виток отношений с другой подружкой детства, бывшей возлюбленной все того же дружка. Матерью-одиночкой. И к стати, неизвестно вообще-то, чей ребенок. Илья, между прочим, не совсем исключает, что его... Ближе к финалу выясняется, что деньги, которые присылает ему мать (из полунищей страны, где идет война, и приметы ее он наблюдает собственными глазами и по этому поводу сокрушенно рефлектирует; но он вообще много рефлектирует, и все сокрушенно), получены из очень неприятного героя источника. Но об этом чуть позже...

Сюжет романа строится по трем осям. Временной: прошлое — настоящее; пространственно-географической: Москва — Баку; и социально-символической: верх — низ. По мере развития действия последняя составляющая набирает все большую и большую силу. Символика этой линии (не забудем и истории Христора) наглядно решена в иерархии бакинского дома, где три нижних этажа еще дореволюционной постройки занимают простые смертные, а верхний, пристроенный в советское время, — люди очень и очень непростые. Хашим, чью жену теперь «обслуживает» Новогрудский, с того самого четвертого этажа. И сама Ирана, проживающая в бывшей хашимовской квартире, не кто-нибудь — дочь бывшего замминистра торговли республики. Впрочем, козыри, как говорится, новые, а дураки старые. И все эти *бывшие*, как и прежде, — *наверху*. Страшным открытием для Ильи становится связь его матери с Заур-муаллимом (отцом Ираны), который, как порассказал ему еще один дворовый дружок, Марик, фотограф-кокаинист и мелкая сошка в играх больших людей, крутит теперь деньгами и властью (торгует оружием и не последний человек в партии «Независимости»). Вот с этого-то стола объедки и проживает Илья в своих московских бедствиях...

А документы — что ж, это всего лишь возможность для Ираны отбыть в Швейцарию, где дожидается ее новый швейцарский муж, уже получивший (и готовый получать еще и еще) на свои счета какие-то оглушительные деньги от зауровских махинаций. «...ты просто интрижка перед Швейцарией», — открывает Новогрудскому глаза все тот же Марик. А тот-то раскатал губу: мол, не это ли шанс начать жизнь сначала, не это ли *трамплин* — или как там это зовется...

И, все это узнав, сам себе удивляясь — зачем, Илья *прется* по приглашению Ираны в качестве кавалера на какое-то партийное сборище, по ее требованию сняв неказистые часы и надев предложенный ею галстук, чтобы получить очередной плевков в лицо — от ее бывшего мужа и своего бывшего друга, который лениво проронит, что галстук-де ничего, но — пестроват, потому он его и не носил... Новогрудскому хватает все-таки гордости свалить через черный ход, чтобы во дворе собственного дома нарваться на ненавистного Заура, с простодушной восточной бесцеремонностью предложившего ему двести там что-то баксарей за немедленное сокращение отпуска. Илья предложение нагло отменяет, в лоб тыкая тому свою осведомленность относительно его не слишком законных махинаций. Ему ведь известно, что Хашим, которому Ирана теперь мстительно натягивает нос, тоже может как-то повлиять на ситуацию — бизнес-то семейный, и он, бедный, пока не подозревает, куда поплывут денежные потоки.

Впрочем, оставаться Илье уже нельзя. Но до отъезда случится еще одно событие. Метафора «верх — низ» развернется на прощание с еще большей наглядностью. Сын той самой брошенной всеми подружки грохнулся с крыши. И Новогруд-

ский, сунув последние деньги врачу, чтобы сделать рентген вне очереди, молится о спасении мальчика. Возможно, собственного сына. И тут же спрашивает себя (он ведь *рефлектирующий* герой): а мог бы он «принести себя в жертву ради мальчишки, разве сейчас не самый подходящий для этого момент: несколько минут — и снимок все покажет, и поздно тогда уже будет обращаться с просьбой». И *затруднился с ответом*. Вот что бывает, когда мир слишком уж порист и сквозист...

А в Москве выяснилось, что его выперли из комнаты. Кузине надоели загулы мужа, опять же бабы и все такое... На его подушке, под его пододеяльником спит новый жилец. Новогрудский смотрит на него с естественным предубеждением и видит в нем будущего победителя Москвы, а пока очередного провинциального представителя все тех же «людей сверху». Впрочем, идучи неизвестно куда в ночи, он переживает приступ оптимизма. Во всяком случае, душевный подъем. Он ощущает, что идет к чему-то новому. И несет в себе свой грядущий роман. И это можно приветствовать. Хотя... А Впрочем, черт его знает...

Но мы собирались говорить о любви. Между тем автор так расставил акценты, что сомнения в том, что любви в традиционном понимании здесь нет, отпадают. Есть целая октава всевозможных оттенков чувств, переданных не только с психологической, но и с художественной убедительностью (что, Впрочем, практически одно и то же). Эротическое влечение, нежность, чувство вины, затаенной обиды, сентиментальная расслабленность, ностальгия, наконец, — сколько угодно. Но любви, полноценной любви к иному существу, — нет как нет. Почему же все-таки «Фрау Шрам»?

«Вы никогда не замечали — неглубокие шрамы на теле, каким бы оно загорелым ни было, всегда остаются белыми, словно стремятся выделиться, в отличие от глубоких?» — делится с Ильей эзотерик Христофор комментарием по поводу той самой своей истории. Именно такое имя — фрау Шрам — обещает Новогрудский героине своего будущего романа. Обещает не кому-нибудь, самому прототипу — Иране. Намек прозрачен — эта рана не глубока, хотя болезненна, по крайней мере пока не зажила. Но неглубокие раны заживают быстро. Эти выделяющиеся «на теле» белые шрамики организуют внешний, сюжетообразующий пласт текста.

Зато другие, те, что на беглый взгляд незаметны, что запряты глубоко внутри, не заживут, вероятно, никогда. Утраченное прошлое, обостренное для рассказчика дополнительными приметам необратимости, становится для героя главным объектом тоски и источником постоянного невроза. Детство и юность не просто прошли, но исчез во времени сам город Баку, необратимо изменившийся в настоящем, превратившийся в морок, блазнящий знакомостью улиц и домов, трещины на асфальте двора, лиц, мелькающих в хороводе событий... Всю силу своей любви герой оборачивает в прошлое — на друзей и подружек, которых сейчас — таких, как они были, — уже нет. Словно потерявший волю наркоман, он все силится восстановить это *былое* в настоящем, наращивая и наращивая дозу искусственно синтезируемого в сознании прошлого. Как будто пытается заставить его ожить, проходя — еще и еще — торными тропками когда-то сложившихся отношений. И доводит дозу до уровня смертельной. Лишь в последний момент, когда его напрямую ставят перед выбором — уехать немедленно или умереть, — Новогрудский спохватывается и возвращается в Москву. Изучать шрамы. И — учиться извлекать опыт.

Мир не хочет быть пористым и сквозистым. Он хочет быть плотным и конкретным. Впрочем, это стоящий урок для героя — слишком большая прозрачность грозит окончательным распадом.

Да, и еще очки. Старые немецкие очки в черепаховой оправе. +1, то есть слабо *дальнорские*. Получив их в подарок накануне отъезда, Новогрудский собирался взять их с собой. Намекая, надо полагать, на возможность иначе сфокусировать зрение. Но забыл. Вернувшись, он случайно ступил на сброшенную на пол новым жильцом никчемную вещь. Очки, естественно, хрустнули. Отправляясь в свой свободный полет, Новогрудский первым делом бросает у навсегда покидаемого подвезда уцелевшую половинку окуляров. Они ему больше не нужны. Все-таки *метафизически* они с ним, видимо, путешествовали.

Теперь он, кажется, действительно решился идти новым путем. Оптические приборы для рассмотрения прошлого уже не требуются. Это не значит, что он пе-

рестает его любить. Это значит лишь, что он сделал шаг в преодолении невроза. Прошлое — это то, что кончилось. Настоящее — то, что есть. Все остальное — будущее.

И вот там как раз и возможна любовь. С учетом опыта всех *заживших* шрамов. Во всяком случае, герой обещает принадлежать себе, а не быть вечным узником утраченного времени. К тому же он, кажется, разобрался наконец с преследующим его кошмаром мужчины-охотника-хранителя очага. И выяснил, что они движутся в разных плоскостях. Видимо, все-таки параллельных. То есть не пересекающихся, по крайней мере в *его* мире. И комплексовать по этому поводу более чем неразумно.

Мария РЕМИЗОВА.



ДОЖДИТЕСЬ ОПОЗДАВШЕГО СТРЕЛКА

Александр Тимофеевский. *Опоздавший стрелок*. Предисловие Е. Рейна.
Послесловие Вл. Новикова. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 229 стр.

Двадцатый век ушел в историю, а его «отставшие» свидетели долго еще будут догонять нас, как биатлонисты, промахнувшиеся на огневом рубеже, набравшие штрафных минут (лет?), замешкавшиеся на лыжне, упавшие за поворотом... Они опоздали, их давно не ждут. И вдруг вдали возникает маленький стрелок. Смотрите! Он приближается. Он осилил ту же дистанцию, что и призеры, а неудачи, выпавшие на его долю, позволили ему по-своему увидеть пройденный путь; пережить, может быть, больше того, что пережил поддерживаемый всеми, уверенный в себе чемпион. Дождитесь опоздавшего стрелка и не спешите судить о нем по тому, что к финишу он добирается позже других.

Опоздавший стрелок...

На взгляд предварительный, беглый перед нами сборник (а по сути, избранное) с немалым числом литературных травестий, полных гибкости, легкости, озорства, той горячности, которая, казалось бы, могла и поостыть в поэте, с юных лет заподозренном в инакомыслии, не выездном и не печатавшемся; долгие годы сочинявшем стихи «для себя», а «на выход» выполнявшем работу редактора и сценариста; в человеке, прожившем жизнь прежде, чем предстать перед читателями *Опоздавшим стрелком*. При этом его укорененность в литературе такова, что именно в ней нередко черпает он собственное вдохновение. Решайте сами.

Темы Гёте, Пушкина, Гейне... Строки Лермонтова, Хлебникова, Блока... Эпиграфы из Гоголя, Блока, Петровых... Темы, строки, интонации, эпиграфы... Не многовато ли даже и на двенадцать печатных листов? Не перебор ли тут подражательного? Может быть, оно и тормозило его в пути, мешало торить свою лыжню? А вдобавок концовки стихотворений постепенно начинают тяготить мрачноватой схожестью: «Разрезанная вена, / Пеньковая петля»; «Мы лишь масштабы изменили, / Но мы преступнее отцов», «В душе нищей / Бесы рыщут»; «Наша нежность бессильна / Против нашей вражды»... Думаешь: к чему эти констатации? Что они несут в себе? Насмешку? Неверие? Самосуд?

Между тем с начальных страниц впечатление осложняется разговорной раскованностью речи, душевной открытостью, лирическим обаянием, умелой и уместной изобретательностью, вниманием к детали («И как в тот далекий год, / Вновь роняю по привычке / В черный лестничный пролет / Перекусанные спички»).

И тогда невольно возвращаешься на старт.

Уже первый большой цикл «Письма в Париж о сущности любви», в отличие от Маяковского адресованный не «товарищу Кострову», а двум подругам Жене и Юле, без задержки пускается «по дистанции», подкупая блеском рифмованной «болтовни», бесшабашным разноречием, немеркнувшей злобой дня: «Вот вам в духе Глазунова панорама наших дней: в перспективе жизнь хренова и народ, что свылся с ней. Сверху смотрят эти твари. В центре наши короли — Пушкин и Мак-Доналдс в паре (оба на Тверском бульваре). Справа церковь на Нерли, слева виден ваш

Орли...» Таково наше «сегодня» (1992 год) и ближайшая перспектива. А вот «день вчерашний», советский: «Там расцветают яблони и эти штуки. Там большевистский штаб передовой науки. Там, севши на быка, Европа и Даная запели: „Широка страна моя родная...” А Зорькин и Руцкой, заслышав это пенье, гуляют над рекой печали и забвенья. И к ним по простоте бегут Крючков и Пуго. Ах, как же те и те похожи друг на друга. Там „Жди меня” Улисс читает Пенелопе. И, расшальясь, повис Амур на дяде Степе. Там пионеры „Будь готов!” кричат Зевесу. И грустно мне чуть-чуть глядеть на эту пьесу». Промежуток между деяниями и авторским откликом обозначен. Отклик прочувствован. Что же дальше?

А дальше следуют лирические стихотворения цикла «Тринадцать свиданий»: 1949 — 1999. Поместить рядом стихи, сложившиеся пятьдесят лет назад и совсем недавно, — хороший тест для поэта. И Александр Тимофеевский эту проверку выдержал. Правда, и здесь он иногда обращается к «прототипам», перевоплощаясь то в Катутла, то в Петрарку, а то покоряясь мелодии пушкинских «Песен западных славян», но и «цитата» побеждается стихией живого чувства, и вот уже поэт предлагает Черному морю поменяться с ним ролями: стать «чиновником чернильным, Дыроколом, канцелярскою крысой... задыхаться в подземных переходах... трепетать перед взглядом начальства...» А бывший клерк превращается в море, видное «от Байдарских ворот до Стамбула», баюкающее свою любимую. Из подражательной музыки рождается оригинальный образ. Такое превращение в стихию через много лет отзовется в цикле «Море» (одном из лучших в книге), где водная ширь не воспевается поэтом, но сама воспевает. Он снова становится ею. Традиционное (песнь о море) претворяется в нечто другое (песнь моря). С Тимофеевским не раз случается так, что «ныряет» он как подражатель, шутник, пересмешник, а «выныривает» как самобытный поэт. После всего этого охотно веришь (и не веришь) «Автобиографии», согласно которой он — «обыватель, обличитель, расхожих песен сочинитель... в навозе жемчуга искатель... Игрок, растратчик, мелкий шкодник, уроки прогулявший школьник... тот самый путник запоздалый, от недосыпа злой, усталый, не пущенный хозяйкой в дом...» Что есть, то есть. Но не очевидно ли, что перечисленные уничижительные самоопределения чересчур умаляют автора? И уж во всяком случае, далеко не исчерпывают его. Особенно если учесть возникающую в книге трагическую ноту «Хиросимы», чьим образом поэт знаменует новейшую историю своей страны («Я был поэтом Хиросимы, / Не той далекой Хиросимы, / А нашей собственной родимой, / Что запалили на Руси мы...»).

Отсюда следует, что не только наш предварительный взгляд на поэзию Александра Тимофеевского, но и его собственные самооценки лучше перепроверить. А потому попробуем один раз подробно разобраться в природе его травестирования.

«Пророк» — так по-пушкински названо одно из центральных стихотворений книги. Это придает и нам отваги сопоставить два текста: «канонический» и «апокриф».

Там, где свалил меня запой,
На Трубной или Самотечной,
Я, непотребный и тупой,
Лежал в канавке водосточной,
Шел от меня блевотный дух, —

вот экспозиция, напетая неотличимым от «канона» четырехстопным ямбом с очевидным и рискованным пародированием того, кто влачил в пустыне, томимый духовной жаждою. Согласитесь, что духовная жажда, выродившаяся в запой, — сильно «снижающая ирония», дерзкий вызов этическому, а здесь и эстетическому чувству. При этой форме сохранена, ситуация повторена, однако библейская пустыня обернулась *водосточной канавкой* в центре Москвы. Все элементы травести налицо: «прототип» мгновенно узнаваем, а все, что можно, «переодето».

И мне явился некий дух, —

видимо, аналог «канонического» серафима с той разницей, что возникшее существо пока точно не названо.

И он в меня свой взор вперил
И крылья огненны расправил, —

примерно так же, как и серафим, с воспроизведением архаичной лексики: там *персты* и *зеницы*, тут — *крылья огненны*. Но дальше пути «канона» и «апокрифа» резко расходятся. Если серафим открывает поэту внутреннее зрение, позволяет ему внять всему, наделяет мудростью, то *дух* «апокрифа» начинает мучить свою жертву.

И полдуши он мне спалил,
А полдуши он мне оставил, —

терзать видениями, достойными Дантовой преисподней:

И было небо надо мной.
И в небе вился тучный рой,
Подобно рою тлей и мушек,
Душ, половинчатых душой,
И четверть душ, и душ-осьмушек,
И легионы душ, чью суть
Очерчивали лишь пунктиры,
Где от души осталось чуть,
Где вместо душ зияли дыры.
И плыли надо мной стада
Стыдящихся на треть стыда,
Познавших честь на четверть чести,
А я желал быть с ними вместе.

Именно здесь *дух* обретает небесный чин — становится *ангелом*.

И ангел их хлестал бичом
И жег кипящим сургучом,
И пламень тек по этой моли,
Но пламень был им ничем, —
Они не чувствовали боли.

Вот каким прозрением, постижением какого родства одаряет свою жертву карающий Божий воин!

И он сказал мне: — Воспарь!
Ты — их певец. Они — твои.

В «каноне»: «Восстань, пророк...»; в «апокрифе»: «*Воспарь! Ты — их певец...*» Не пророк, но певец. И — чей? Траченных молью мелких душ. Певец моли вместо пророка... Вот в чем дело. То есть никакого провозвестника «на Трубной» нет, как нет и благословения на пророчество. Вместо всего этого бичующий воин выкрикнул свое

И разразился странным смехом.
Подобный грохоту громов,
Тот смех гремел среди домов
И в стеклах отдавался эхом.

Начав, по всей видимости, с фарсового перепева, автор выходит на совершенно иное. Разница между пушкинским пророком и певцом «апокрифа» такая же катастрофическая, как между исцеляющим серафимом и карающим духом. Не является ли себя в этом горько пережитая творцом «апокрифа» глубина падения человеческой души, познанная им, а теперь познаваемая нами именно в сравнении «духа» с серафимом, а певца отверженных душ с пророком? Не находим ли мы, наконец, что Тимофеевскому удалось создать новый тип травестики, когда место *комической* имитации занимает имитация *трагическая*? При том, что сам певец едва ли трагичен в классическом понимании. Он страдает — это верно, однако до

очищения страданием дело здесь не доходит, как не доходит оно и до пророческого служения. Герой остается в своей канавке, слыша над собой демонический хохот ангела. Тут беспощадная откровенность; саморазоблачение ли, сострадание ли к роящимся душам («А я желал быть с ними вместе»); исповедь наполовину спаленной души; души, замкнутой на безысходности. Жар слишком высок, чтобы такая беспечная, такая ненадежная конструкция, как «снижающая ирония», могла его выдержать. Пророка еще нет, но уже нет и фарсового забулдыги, а есть тот, кто осознаёт кошмар своего духовного падения, видит, как вокруг него и в нем самом утрачивается стыд, умерщвляется честь, исчезает душа. Тем не менее свое предназначение он не угадывает, потому и гибель его бессмысленна.

Но очень скоро — в стихотворении «Последний тост» — это предназначение ему откроется, и тогда гибельный огонь превратится в очищающее пламя, трагическая имитация станет действительной трагедией: человек воспринимает свое время как неприемлемое, исполненное бесовских наваждений; он поддается им и борется с ними; он жертвует своей судьбой, чтобы показать другим пагубность страстей, которые обуревают их так же, как и его. Это драма человека, порывающего со своим временем (а как порвать?), отказывающегося быть в нем (а куда деться?). Теперь, однако, жертва обретает смысл, но не искупительный, а предохраняющий, исполненный жажды очищения от греха.

Для красоты на этот свет явьясь,
Я жил так скудно, дико и безбожно
Лишь для того, чтоб быть одним из вас
И доказать, что жить так невозможно.
Я прочь, как псов, прогнал лишь трех бесов —
Стяжательства, довольства и корысти.
Пред остальными был открыт засов.
От скверны всей, огонь, меня очисти!
Будь тверд, мой дух, и будь, мой пепел, чист!
Прямись, мой дым, как над Днепром тополя!¹
Теперь лови, хватай меня, чекист,
Ищи меня, развеянного в поле!

Разлад с веком — важнейший мотив поэзии Александра Тимофеевского, — как показано, воплощается им в рамках иронического послания (пример — цикл «парижских писем»); в форме новаторской трагической травести, как в стихотворении «Пророк»; наконец, вне какой-либо иронии или травестирования, достигая порой глубокого драматизма («Последний тост»).

Есть, однако, в этом «избранном» и тема, противоположная разладу. Есть желание сохранить себя, нащупать точку опоры, удержать баланс, ощутить ускользающую, но тем более чаемую гармонию. И она возникает вдруг в маленьких лирических признаниях, озаряющих эту книгу длиною в человеческую судьбу.

О, может быть, на миг всего,
На самый краткий миг
Из тьмы, где нету ничего,
Тончайший луч возник.
И на одном его конце
Зажглась звезда моя.
А на другом конце повис
Противовесом я.
И долго ждать, недолго ждать,
Я все чего-то жду.
И жаль мне нитку оборвать
И уронить звезду.

Алексей СМИРНОВ.

¹ Топóля — тополь (укр.). (Примеч. автора).



В ПОДКЛАДКЕ — ШЕЛКОВАЯ НИТЬ

**Виталий Славутинский. Проснуться в детстве. Стихи. Воспоминания. М.,
Издательский центр РГГУ, 2002, 188 стр.**

В этой небольшой книжке уместилось многое из того, увы, немногого, что успел написать за свою короткую жизнь Виталий Славутинский (1953 — 1999), поэт и журналист, выросший в Москве, получивший образование на историческом факультете МГУ, потом занявшийся журналистикой, потом — бросивший привычную городскую среду, безуспешно пытавшийся начать новую жизнь в деревне и наконец вернувшийся в Москву, чтобы погибнуть здесь под катком тяжкого недуга.

Для тех, кто знал и любил автора, сборник «Проснуться в детстве» — дань памяти хорошего человека. Тот же, кто при жизни автора и героя книги не замечал или почти не замечал в нем за горестной биографической канвой — поэта, обнаружит в сборнике как раз исключительно ценный литературно-исторический материал, о котором, может быть, меньше всего задумывались составители, когда, по инициативе Вячеслава Белоногового и Ольги Щепалиной, собирали эту книгу.

В первую часть вошли как отобранные незадолго до смерти самим автором, так и не предназначенные им к публикации стихотворения. Это — лирическая исповедь, дневник утрат — стихи, написанные на смерть бабушки, отца, жены, мучительное поэтическое усилие оградить от этого жестокого хода сына и мать.

Во второй части — воспоминания друзей поэта. Помещенные без какой бы то ни было правки, что называется, в порядке поступления, они, несмотря на скромный объем, позволяют восстановить жизненный график одного из самых унылых поколений советских людей — детей шестидесятников, тех, чье раннее детство, по словам Николая Шабурова, «пришлось на хрущевскую оттепель, а взросление совпало с заморозками, превратившимися в лютую стужу». Позволю себе оспорить суждение о «лютости» стужи: когда-то, совсем в другой связи, Н. Шабуров так описал малоуспешного селянина: «у него в теплую зиму мясо прогухает, а картошка промерзает». Люта не стужа, люта готовность людей пережить, не понимая, что время жизни уходит, а в устройстве этой жизни они ничего изменить не могут. Попытка изменить была предпринята Виталием Славутинским.

Как бы то ни было, а именно Николаю Шабурову, другу Виталия Славутинского обязаны сохранением стихов экспрессионистского, так сказать, периода его творчества, когда совсем еще молодой студент смотрел на мир в шестидесятнический иллюминатор Евг. Евтушенко:

Нынче пир — вставайте из гробов!
Будет суп из атомных грибов.
.....
Что ж поделать?! Жертвы диалектики.
Берегите нервы, эпилептики.

Статья Шабурова — исследование расставания поэта со средой, в которой тот родился и вырос, и комментарий к не предполагавшимся для публикации ранним стихотворениям.

В стихах девяностых годов Славутинский вспоминает об этом советском, студенческом периоде творчества для немногих с горечью — как о поделках, злым чудом сохранивших зачем-то тлетворный дух семидесятых — восьмидесятых годов. В таких случаях голос его сбивается на фальцет:

И, как назойливые мухи,
к нам лезут в мирные дела
те злонамеренные духи.
Какая тьма их родила?!

А вы что скажете, фигурки,
когда-то сделанные мной?
Вот руки, нож, брусок, окурки...
Спит сын за тоненькой стеной.

Виталий, сын советского публициста, выпускник Московского университета и начинающий журналист, должен был делать карьеру, должен был хотеть печататься, должен был искать верных путей к успеху, но упрямый еврей-диссидент, он же правнук русского дворянина и писателя, захотел «полюбить свою судьбу», уехал в деревню, стал певцом своего Дорофеева.

Если отнестись к книге «Проснуться в детстве» как к роману, то в нем мы прочитаем, что герой расстался не только с другом — собирателем его стихов, но и со всей жизнью поколения, которое притерпелось к брежневско-черненко-ской эпохе и осталось в идейной оболочке, выработанной предшественниками. Отсюда — неизбывное уныние столицы, уходя от которого Славутинский хотел, по словам другого его товарища второй половины семидесятых — восьмидесятых годов — поэта Олега Мраморнова, «прописаться в народе». О том, как разминулись изувеченная костромская деревня и бежавший из Москвы поэт, Мраморнов и рассказывает.

Славутинский шагнул в лютость теплой зимы. «Упрямство его злило меня, — пишет Мраморнов, — а он возвращался и возвращался в гибнущую от безденежья и водки деревню». Стилистически это возвращение выразилось в том, что Славутинский откочевал к поэтам-деревенщикам. Этот эпизод биографии находим в восторженно написанном мемуаре Вячеслава Белоновского, которому Славутинский незадолго до смерти рассказал о настоящей и чаемой жизни в русской деревне.

В поисках подлинного существования, призвания и миссии помощника людей этот открытый и нежный человек попал под колеса очередного сельскохозяйственного эксперимента — ликвидации «неперспективных деревень» и ее последствий. И, читая стихи Славутинского о природе, о милой его сердцу деревне, трудно найти честный ответ на вопрос: что же в биографии поэта было самообманом, а что — реальностью: настоящая, ясная и простая жизнь селянина — с живыми теллятами, живыми горлающими пропойцами, с брошенными и горящими деревнями, где память о нем проплыла пером по воде, — или его принадлежность к суете столицы, не доведенный до конца спор с павшим духом, но — все-таки своим по воспитанию и опыту поколением и кругом?

Славутинский надорвал связь со своим кругом и прошлым так, что уже не смог бы, в стиле постмодернистского мейнстрима, играть цитатами, переключая регистры с незлого стёба (по Кибирову) на меланхоличный пафос (по Гандлевскому). Но и до конца оторваться от московщины ему мешает навык, даже простая вежливость. Стихотворение о случайном знакомстве с поэтессой Л. К. (1993) завершается таким признанием:

Сведет ли вновь нас круглый столик
среди беспорядочной Москвы?
Не будь я чуточку историк,
то стал бы песенник. Увы!

Возможно, это рефлекторное признание остановки на полпути и нежелание отворачиваться от собственного прошлого заставляют видеть в последних, религиозных, стихотворениях девяностых годов не столько безыскусный автобиографический самоотчет, иной раз протокольный, сколько попытку воспроизвести иллюзорную крестьянско-христианскую простоту для маленького сына Ивана. В стихотворении «Пловец» (1995) — о знакомой сыну с детства речке Сендеге и «родном Субботинном луге» — Славутинский так описывает «урок плавания»:

А потом я тебя окуну
в голубую прохладную воду.
Ты хлебнешь поначалу волну,
но затем наберешь снова ходу.
Так сказал ты мне сам, мой пловец!
Вот струя твоего Иордана...

Написал эти строки отец
дорогого ему Иоанна.

Автор нашел приют в этой мысли, но будет ли ею восполнена пустота на месте выпавшего поколения, когда оставшиеся без своих сыновей и дочерей бабушки воспитывают внуков-сирот? Косноязычная реальность найдет и поэзию себе под стать. Подручного поэтического материала становится все меньше. Описывая строительство книжной полки для сына из остатков шведского паркета, Славутинский моделирует и выходящую далеко за пределы сюжета драму фатальной несмычки «города и деревни».

Как в романе — представлен в книге воспоминаний и третий путь нашего поколения — отъезд из России. Близкий друг Славутинского, Сергей Кан, в начале семидесятых уехавший в Америку, больше четверти века спустя вызывает в памяти оставленную когда-то студенческую жизнь — чуть подробнее о бытовых мелочах, чуть скупее о содержании споров. Что говорить: тогдашние московские споры не дали социальных всходов в России, а для Запада и вовсе были какой-то малопонятной экзотикой. Профессор Дартмутского колледжа, читающий у себя в Нью-Хемпшире курс лекций о смерти и бессмертии в представлении индейцев, с подкупающе добрым простодушием предлагает безвременно умершему другу запатентованный американскими аборигенами метод сохранения жизни вечной — нужно помнить человека, не забывая его шуток и любясь его детьми.

В 1989 году, когда надежда на фермерский успех еще не покинула воцерковленного москвича, он сочинил замечательное стихотворение о прадеде — Степане Тимофеевиче Славутинском, шестидесятнике-деревенщике, писавшем для некрозского «Современника». Там есть такие строки:

Себя соперником Толстого
не склонен числить или мнить,
он был у века золотого
в подкладке — шелковая нить.

Поэту очень хотелось, ухватившись за эту нить, установить свою связь с чужим прошлым. В прямом, житейском смысле желание исполнить не удалось. Это трагично, потому что героическое ведь усилие было предпринято. Обстоятельства биографии задували поэтическое и оправдывали почти экспериментальное отношение к себе самому как к представителю неудачного поколения, поколения, которое не может ответить ни на один серьезный вызов времени. Оно оставляет лишь горькое свидетельство не им вызванных перемен.

Портрет Высоцкого — на голый,
в квартире долговской, стене...
А я — как выеденный, полый.
И стал доступен сатане.

Поэтическое поле сузилось до мертвой зоны между кухонным столом и подоконником дома в Долгове. Поддавшись сатане телом, Славутинский каким-то чудом сохранил абсолютную неспособность лицемерить и — с нею вместе — редкую способность признать, что не понимает смысла того, что происходит в России. Так, об итогах первого постсоветского периода поэту сказать нечего, и он передает полномочия на ответ сделавшемуся «старшим» пятилетнему сыну.

В твои пять лет вместились это.
Что впереди? Что завтра, сын?
Кончина тьмы? Начало света
И встреча с отроком босым?
Что за пять лет тысячелетья
Еще случится на Руси?
Что скажут звездные соцветья?
Что скажет служба Би-би-си?

Начав в 1970-х стихотворной отповедью старшему поколению за молчание и потворство злу, Славутинский из последних сил держится за «искренность в литературе» и уже в этой точке, коротко подмигнув саркастичной музе семидесятых, окончательно порывает связь с новой эпохой: «Я выбрал Русь берложную / и хра-

мовую Русь — / и Божью, и безбожную. / Но даже не берусь / судить, кому — вольготная / у нас житуха здесь. / Такая подноготная, / что лучше и не лезть».

Наставшее в 1990-х счастливое для пишущих время, когда все может быть предано тиснению без разбора, оказалось совсем не счастливым для многих великих покойников. Так, тщанием самовлюбленного мемуариста исполнено завешание товарища Жданова, и вот уже Анна Ахматова превращена в принцессу Диану русской литературы. От площадного опошления героя рецензируемой книги спасает не столько его известность лишь узкому кругу, сколько целомудрие вспоминающих его людей. Витька Славутинский, хоть и принадлежал по рождению к унылому поколению, сам-то унылым никогда не был, поэтому горечь очень разношерстных текстов о нем — в книге такая не поддельная, не дежурная. Эта маленькая книжка будет со временем одним из ценных источников по истории поколения для далеких от него людей и правдивым путеводителем по жизни отца — для сына Ивана.

Гасан ГУСЕЙНОВ.

Кёльн.

*

ВЕЧНЫЕ ЛЬДЫ

Кристоф Рансмайр. Ужасы льдов и мрака. Роман. Перевод Н. Федоровой. — «Иностранная литература», 2003, № 2, 3.

Нелегкая проблема рецензента: что, собственно, можно сказать о сочинении, во всех отношениях удавшемся? Рецензия — часто (может быть, чаще всего) поиски некой виртуальной книги: то есть пишешь о том, что хотел бы в книге увидеть — а не увидел. Но Кристоф Рансмайр из тех редких авторов, которые, с одной стороны, настолько плотно и полно прорабатывают свои художественные миры, а с другой — умеют делать их настолько замкнутыми и отстраненными (в какой-то степени даже от читателя), что рецензенту со «своим» вклиниться просто некуда. С неизбежностью испытываешь нехватку слов.

Судьба произведений пятидесятилетнего австрийского писателя в России не то чтобы сложная — а какая-то странная и перекошенная. Вроде бы все три его романа на русском изданы, причем всегда в безукоризненном переводе Нины Федоровой. Но и вышедший книгой герметичный «Последний мир», метаморфоза Овидиевых «Метаморфоз», принесший Рансмайру как минимум всеевропейскую известность, и мощнейший, куда более социальный, хотя и решенный в жанре «версии истории» роман о послевоенной Европе «Болезнь Китахары», публиковавшийся в «Новом мире», критиками, да, боюсь, и читателями остались вообще не замечены. Слабым утешением служит то, что такая участь в середине девяностых постигла много и другой отличной переводной прозы. Силуэты Милорада Павича и Умберто Эко начисто застили в эти годы западный литературный горизонт.

Сегодня ситуация иная. Подросло новое критическое поколение, подразвевалась аура исключительности прежних властителей дум, существенно переменялась книгоиздательская политика. Очевидна ориентированность издателей на как можно более полное представление актуальной западной прозы — и Рансмайру теперь, похоже, суждено переоткрытие. Нынешняя публикация в «Иностранке» встречена обозревателями на ура и, судя по всему, не намного опередит книжное издание.

«Ужасы льдов и мрака» — первый роман писателя — в Австрии опубликован в 1984 году, почти двадцать лет назад. Но прошедшего времени не ощущается. Рансмайр очень осторожен по отношению к модным на данный момент стилистическим и мировоззренческим тенденциям, к «горячим» событиям и реалиям, а посему все его вещи совершенно развязаны с какой бы то ни было сиюминутностью — и не стареют. Роман можно назвать документальным. Построен он по довольно-

таки нехитрому плану. Две перемежающиеся линии: одна — историческая, изложение событий и обстоятельств австро-венгерской полярной экспедиции Вайпрехта — Пайера 1872 — 1874 годов. Экспедиция пережила на вмерзшем во льды корабле две полярные зимы, открыла и нанесла на карты Землю Франца-Иосифа и сумела выбраться на материк достаточно, по сравнению со многими другими, благополучно, почти в полном составе. Последние десятилетия приучили нас подозревать едва ли не во всяком тексте, претендующем на документальность, литературную мистификацию, но в этом случае, сердце подсказывает, выдержки из дневников и отчетов участников экспедиции, составляющие добрую половину текста исторической линии, — подлинны. Как и практически все встречавшиеся мне дневники, письма и т. д. полярных путешественников второй половины девятнадцатого — первой четверти двадцатого века, они заставляют признать, что человек с тех пор обмельчал, в смысле силы духа, и обмелел, в смысле масштаба замыслов и воли к реализации своего «жизненного проекта». Почему так произошло — у каждого, наверное, своя версия. Вторая линия — современная и тоже по форме документальная, может быть, в действительности, может быть, якобы воссоздаваемая по дневниковым записям молодого, жившего в Вене итальянца, потомка одного из матросов экспедиции Вайпрехта — Пайера, который с детства был зачарован мыслями и фантазиями об Арктике, отправился по следам экспедиции на Шпицберген и далее и в конце концов пропал во льдах.

Полярная тема была достаточно популярна и в мистической европейской литературе, и в фантастической литературе девятнадцатого и начала двадцатого века: сразу приходят на ум «Гиперборея» немецкого романтика Захариаса Вернера, «Приключения капитана Гаттераса» и «Сфинкс снегов» Жюль Верна, рассказы Эдгара По и Куприна, запоздалая «Земля Санникова», — есть и целый ряд менее известных сочинений. А вот после того, как стало понятно, что полярные области представляют собой в действительности и с чем приходится столкнуться экспедициям, она практически исчезает — хотя вроде бы трудно найти тему благодарнее: подвиги, приключения, стальные характеры... Навскидку вспомнятся разве что «Два капитана» да линия отца в «Рэгтайме» Доктору (есть еще роман датчанина Питера Хёга «Смилла и ее чувство снега» — но он увидел свет позже книги Рансмайра, да и речь там идет все же о терраферме — полярная часть действия разворачивается в Гренландии). Причина, должно быть, в чрезвычайной яркости и трагической силе широко публиковавшихся подлинных полярных документов. Автор этих строк, например, готов поставить в ряд лучших книг двадцатого века «Самое ужасное путешествие» Э. Черри-Гаррарда, участника британской антарктической экспедиции Скотта (русский перевод вышел в 1991 году в издательстве «Гидрометеиздат»), да и сами дневники Скотта, издававшиеся у нас неоднократно, но всегда неудовлетворительно. После этих подробнейших, со своей естественной драматургией, свидетельств сверхчеловеческих усилий, потребных полярникам для выживания, жесточайших лишений, сомнительных триумфов что делать еще романисту? — тем паче, что дневники и письма принадлежат, как правило, людям образованным, отлично управлявшимся со слогом и стилем. Придумывать оставленную дома возлюбленную?¹

Так что выбор Рансмайром документального формата совершенно точен, учитывает традицию и позволяет автору не городить лишнего ради романной формы. Выверенный ритм подачи документов и сведений, иногда даже организованных в

¹ Любопытное объяснение предлагает «традиционалист» — генолист Евгений Головин. Север, мистический северный континент Гиперборея, рассматривается этими традиционалистами как изначальная колыбель человечества, исток Примордиальной традиции. «Обратите внимание, — говорит Головин в интервью Александру Дугину, — что все нигилистические тенденции цивилизации за последние два века вообще не касаются темы Севера, избегают ее, обходят стороной. Тема Севера, тема полярной мифологии в принципе остается на крайней периферии и практически не подвергается профанированию. Европейский нигилизм занимается чем угодно — этикой, наукой, человеческой судьбой, но он по своей природе не может затрагивать осевых моментов экзистенции» (<http://www.arctogaia.com/public/golovin/golov-1.htm>).

таблицы, экскурсы в общую историю полярных путешествий, а между ними — уже писательская реконструкция событий: то, что автор мог представить себе, читая дневники. Интонационно напряженная проза. В том же скуповатом ключе — эпизод за эпизодом, без пространных психологических и т. п. отступлений (хотя и не вовсе без этого) — ведется и современная линия: неожиданный замысел героя, его встречи на Шпицбергене, плавание на научном корабле, несостоявшаяся высадка на Земле Франца-Иосифа, уроки управления собачьей упряжкой, исчезновение... Но понятно, что именно она и делает текст романом. И как положено роману, задача здесь больше и расплывчатей, чем просто беллетризованная хроника полузабытой экспедиции и рассказ о печальной и загадочной участи человека, которому что-то в истории этой экспедиции не давало покоя.

Рансмайр — писатель на современном фоне несколько обескураживающий. Современному роману положено иметь ясные обоснования своего существования вовне, как бы порождающую причину, и мы уже привыкли ее выискивать, тем более что нынешними авторами она не скрывается, а, скорее наоборот, — выпячивается: вот тут постмодернистские ребусы, тут испытание на прогиб возможностей конструирования сюжета или лексических, культурных пластов, тут реализация необычной структуры, тут критика современной цивилизации, политическая, психоаналитическая, феминистская, гомосексуальная подоплека... Но у Рансмайра ничего подобного не читается. Интеллектуально подкованный потребитель литературы вправе развести руками: по большому счету — о чем это? Даже искренности, исповедальности никакой, куда там — крайнее, холодное отстранение. Разве что переработанные «Метаморфозы» в «Последнем мире» можно пришить к постмодернизму. Но лучше, мне кажется, этого не делать — выйдет скучно. Лучше увидеть здесь «генетически чистый материал» трагедии. Которая, если она настоящая, в каких бы реалиях ни разворачивалась, будет не о манерных голубых страданиях и не о социальной несправедливости, а — прошу прощения за повторение общеизвестного — о предстоянии человека року. Только вот рок понимается Рансмайром не по-античному, как властная, хотя и безличная сила, где-то еще до времени словно отштампованная формы людских судеб. А вполне в духе века: здесь это абсолютная, мертвенно-бездеятельная пустота, в присутствии которой человеку достается лишь иллюзия судьбы. Нет, персонажи Рансмайра отнюдь не вздыхают экзистенциально по поводу «пустоты бытия» — обстоятельства вынуждают их жить наполненной событиями жизнью. Но любая жизненная траектория разворачивается у писателя в онтической пустыне, где все в конечном счете бесцельно и бесформенно, поскольку цели и формы невозможны как таковые — им не удержаться, не выстоять. Положения своего персонажи не осознают и действуют в своеобразном метафизическом сомнамбулизме. Вроде бы все, что они делают, — осмысленно, но на действительно глубоком бытийном горизонте их поступки не принадлежат ни им, ни какому бы то ни было смыслу. Так вода растекается произвольно по гладкой горизонтальной поверхности. В холодной пустоте герои Рансмайра тщетно, не понимая значения своих действий, пытаются латать прореху между собой и ничем. А из нее несет смертью.

Пройди Рансмайр, при таком подходе к делу, мимо Арктики — было бы удивительно.

«Жизнь во льдах? Сомневаюсь, что люди когда-либо чувствовали себя столь одинокими и покинутыми, как мы. Я не способен описать пустоту нашего существования».

Не будь это слишком прямолинейно, Рансмайр мог бы вынести в эпиграф это приведенное им в тексте высказывание Фредерика Альберта Кука, путешественника, скорее всего первым достигшего Северного полюса, впоследствии оболганного и раздавленного своим конкурентом Робертом Пири.

Взгляд Рансмайра на всю полярную эпопею человечества может показаться циничным. Это не обычное восторженное удивление мужеством и героизмом полярных исследователей, но растерянное недоумение перед мерой человеческих страданий и числом погубленных жизней — в стремлении к чему? История полагания целей в области вечных льдов — вообще интересная штука. Прагматических

было среди них всего две — Северо-восточный и Северо-западный проходы: предполагалось, что они станут удобными морскими путями в богатые и притягательные в торговом отношении страны Востока. В остальном искали на Севере все больше что-то мистическое и туманное: Гиперборею, зеленую алхимическую Гренландию, некие царства духа либо места, подходящие для пробуждения духа в себе. Последнее, пожалуй, удалось — через постоянное пребывание глаза в глаза со смертью. Спортивная гонка национального престижа ради к точкам географических полюсов пожирала людей как Молох. Разумеется, надеялись найти золото на новооткрытых землях, как надеялись на золото везде, потому что оно не только, а может быть, и не столько богатство, сколько символ земли обетованной, которую можно после соответствующих усилий обрести (простые участники австро-венгерской экспедиции — матросы, егеря — верят, что земля, которую им предстоит обнаружить, непременно окажется зеленой, обильной жизнью, благодатной, — и совпадают в этом со многими знаменитыми мистиками Европы). Но в Арктике нет золота. Усилия и результаты зияюще несоизмеримы. Морской начальник экспедиции Карл Вайпрехт в дневнике твердит как заклинание, как будто старается уверить самого себя: смысл арктических экспедиций не в поиске новых земель, не в достижении любой ценою все более и более высоких широт, — а в кропотливой исследовательской работе, методичном сборе научных данных. Но значимыми эти данные представляются только с борта затертого во льдах корабля. Занесенные в журналы в сорокаградусный холод обмороженными пальцами, на материке они ложатся на академические полки мертвым грузом. В упомянутой книге Черри-Гаррарда есть замечательный фрагмент о том, как по возвращении в Великобританию автор понес сдавать в музей пингвины яйца — вылазка за ними стала одним из самых драматичных моментов перенасыщенной драматизмом экспедиции Скотта. В музее никто просто не понимает, что он принес, откуда и чего ради они должны этим заниматься...

Реальные итоги многовековых полярных устремлений поразительно скудны и рутинны на фоне порыва, гнавшего путешественников навстречу «ужасам льдов и мрака». Есть русская навигация Северо-Восточным проходом, известным у нас как Северный морской путь, но Европу с Индокитаем и Дальним Востоком связал в итоге прорытый безо всякого героизма Суэцкий канал. Открыт десяток островов и архипелагов, годных лишь на то, чтобы устроить там ядерные полигоны. Промерены глубины Ледовитого океана, и теперь под Северным полюсом может проплыть атомная подводная лодка, готовая обрушить свои ракеты на голову супостату. Впрочем, подводные лодки как оружие или, пожалуйста, фактор сдерживания уже устарели. Видимо, главное достижение — сеть метеорологических станций, поставляющих полезную информацию, действительно необходимую для множества задач. В Антарктиде и того меньше. Правда, здесь имеется погребенное подо льдом озеро Восток с древнейшими, первозданными бактериями, изучение которых может многое дать для понимания того, что такое жизнь и откуда она взялась. Однако пока не придуманы методы взятия из этого озера проб — чтобы исключить современное воздействие на его уникальный живой мир.

Арктические холод и пустота все перемелют в ледяное крошево. Матросы строят вокруг корабля дворцы изо льда, дома, целые улицы. Подвижка льда превращает их в ничто. Матросы строят опять. Пока хватает сил. Соревнуются с ветром и холодом, городящими торосы, собственную впечатляющую архитектуру хаоса. Но сухопутный начальник Пайер знает, что даже здесь способно остаться крепко, надолго, — если, конечно, они выживут или хотя бы их записи попадут в нужные руки. Сухопутный начальник мечтает отдаться номинативной стихии. Но тут потребна земля, ведь не станешь именовать льды. Его санные вылазки на Землю Франца-Иосифа, осуществленные буквально на последнем дыхании, превращаются в захлебывающееся нарекание имен. Проливам. Островам. Мысам, к которым никто никогда не пристанет. Горам, на которые никто никогда не взойдет.



ВЫПРЯМЛЕНИЕ КУРСИВОМ

Ревекка Фрумкина. *Внутри истории*. Эссе, статьи, мемуарные очерки. «Новое литературное обозрение», 2002, 480 стр. (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»).

Надо ли говорить, что человеку, не имеющему, строго говоря, филологического образования¹, никогда не входившему в прямое соприкосновение с лингвистикой, если не считать таковым смутное воспоминание детства, когда за обеденным столом моя покойная тетьа перебрасывалась со своим мужем несколькими фразами на французском, дабы не «травмировать» незрелую психику обстоятельствами взрослой жизни, — так вот, стоит ли говорить, с какими «смущенными» чувствами я отзываюсь на мемуарно-научный труд Ревекки Фрумкиной, «автора девяти книг и более двухсот статей по проблемам математической лингвистики, семантики, когнитивной лингвистики и общим вопросам теории языка» (из аннотации к тому)? На почти пятисотстраничный сборник доктора филологических наук, профессора, работающего в Институте языкознания РАН?

Между тем занятие это — чтение и последующее размышление над тем, что названо «Внутри истории», — оказалось поучительным, увлекательным и вполне раскованным. Непосредственная же реакция совпала с замечанием одного чудесного ребенка о норштейновском ежике: «Он вошел в туман просто ежиком, а вышел ежиком-философом». Здесь главное не придирается к слову «туман», ибо книга Фрумкиной обезоруживающе ясна и прозрачна, несмотря на свою композиционную и лексическую изысканность. «Вышел» я из нее не «философом» и, разумеется, не «филологом», но, кажется, человеком, обогащенным чужой судьбой и чужим интеллектуальным опытом.

Сразу и поневоле всплеснешь руками: насколько явственно начинает искриться и пульсировать родной язык: ведь слово «чужой» теперь — после прочтения, — как говорят тинейджеры, совсем «не катит». А еще мне тут же захотелось воспользоваться финалом отзыва Булата Окуджавы на интонационно-родственное прочитанному — правда, исключительно мемуарное — повествование живущей в Лондоне Сильвы Дарел (Рубашовой) «Воробей на снегу»: «...замечательна главная героиня»...

То есть, с одной стороны, органичное «сцепление» вполне беллетризованной и одновременно весьма уточненной эссеистики с пронзительными, но строгими мемуарами прояснило и дополнило черты достаточно знакомого человека — скажем, хорошо знакомого пользователям интернетовского «Русского Журнала», собственно лингвистам всех мастей и многим «совопросникам того/нашего времени», о котором теперь принято говорить с помощью пока еще неуклюжей и потому попахивающей некоторым пафосом формулы — «в прошлом веке». С другой стороны, как мне кажется, любая искренняя книга пишется для одного-единственного человека — того, кто «в этот самый момент» читает ее, что, как мы знаем, довольно близко к определению «для себя», для того самого *зеркала*, о котором говорится в части «О нас — наискосок» (главка «В зеркале Тарковского»). Здесь это тоже сработало.

Кстати, мне доводилось держать в руках некоторые книги Василия Розанова, в разные годы подаренные Корнею Чуковскому. На последней из них, тоненьком выпуске «Апокалипсиса...», присланном, думаю, вместе или параллельно мольбам о помощи, слабейший мыслитель назвал своего визави именно «совопросником нашего времени» — при том, что *творчески* жили-то они ну уж в более чем разнородных пространствах и «по жизни» в разных «весовых категориях» находились.

Ревекка Фрумкина, как она пишет во вступлении, занимается тут тем, что не фиксирует научный результат или теорию, но проецирует свой жизненный опыт в форму текста. Читаешь эти тексты — и проецирующий механизм продолжает действовать. И не из одного лишь любопытства, но побуждаемый необходимостью *подтверж-*

¹ Автор настоящей рецензии закончил вечернее отделение факультета журналистики МГУ, хотя и *защищался* на кафедре литературно-художественной критики и публицистики.

деня читатель, оторвавшись от слов, ищет иллюстративную вкладку, дабы срочно посмотреть, *какие они*, родители автора, — так описанные и так представленные.

А для меня, наверное, так и останется загадкой, *за счет чего* автор книги, сохраняя, очевидно, присущую лингвистическому сознанию абсолютную четкость и естественную для *интеллектуального* мировосприятия способность к трезвой рефлексии, умеет, оставаясь человеком «своей эпохи», быть столь современной и по-мальчишески смелой. Тут мне вспоминается старинный апокриф, за точность изложения которого не поручусь, но *рему* представляю близко. Итак, репетировал что-то однажды Всеволод Мейерхольд, передвигал актеров по сцене, дирижировал *состояниями* и прочее. И все бы хорошо, да *того самого*, что знал про себя и желал видеть на выходе, — не было. Неожиданно в помещение заглянул Станиславский, поинтересовавшийся происходящим. Всеволод Эмильевич осторожно и по-своейски пожаловался. Автор «Моей жизни в искусстве» вскарабкался на сцену, что-то шепнул одному-другому, кого-то поменял местами, хлопнул, что называется, в ладоши... и *то самое* сразу образовалось. Потрясенный радикал-новатор обратился к классическому реформатору: «Костя, скажи, как ты это сделал?» — «Что сделал? — рассеянно переспросил родитель небезызвестной системы. — Ах, это... Ну, это — знаешь ли, просто талант».

Подозреваю, что — внутренне — Р. М. Фрумкина очень молодой, почти юный человек. Рассыпанные по книге там и сям упоминания о своем читателе и вообще собеседнике также обнаруживают его, собеседника, весьма молодой, не только внутренний, возраст. Читая авторские эссе в «Русском Журнале» и «Неприкосновенном запасе», я нередко останавливаю свое внимание на ее пассажах, посвященных тем, на кого старшим принято надеяться. Молодым. И обнаруживаю редкий случай ровного, заинтересованного, *не игрового*, ни к чему, кроме определенных надежд, не апеллирующего тона. Они ей интересны, она уважает их взгляды, сохраняя свой в более чем трезвом тоне.

Когда я думаю о гуманитарных науках и людях, ими занимающихся, то мне эти люди представляются прежде всего солдатами величественной и экзотической армии, завоевывающей не подобных себе, а прорывающихся вглубь бесконечной территории. Но если одни из них долгое время окапываются и в конце концов сливаются с приглянувшимся местом, осмысливая, «оккупируя» и «оживляя» его, то другие — всегда в наступлении, их вечно тянет за горизонт, о чем многие из них догадываются не сразу. Все эти сравнения более чем условны, я лишь говорю о том, что «коэффициент полезного действия» обоих типов равно весом и актуален. Что бы кому со стороны ни казалось. Можно догадываться, как Фрумкина совмещает в себе эти две ипостаси. Ибо тексты ее доказывают случай совмещения непреложности (и кажущейся локальности) выбора с неумной, почти провокативно-приключенческой скоростью поиска.

«Менее всего мне хотелось бы, чтобы личные позиции, здесь изложенные, были восприняты как ламентации человека, вынужденного уйти с любимых и обжитых подмоств в безвестность, уступая дорогу молодежи — тем, кто покрепче и позубастей. Во-первых, „силою вещей” я пребываю там же, где была, что в моем случае значит — живу *дома*. Я много пишу и печатаюсь; имею учеников и общаюсь с ними с радостью. Во-вторых, я начинала свою жизнь в науке среди таких ярких личностей, что назвала ту часть своих мемуарных записок, где рассказывается о моих учителях, „Завидуйте нам!”. Я и теперь считаю, что моему поколению, при всем драматизме нашей „коллективной биографии”, как ученым можно только позавидовать. Почему? Прежде всего потому, что мы страстно любили то, чем занимались. А из сегодняшней науки (не только той, которой сама занимаюсь) ушла страсть. Практически исчезли домашние семинары. Само по себе это нормально, поскольку появились другие формы социализации. Собирайтесь где хотите и обсуждайте что хотите — хоть права человека, хоть доказательство теоремы Ферма...»

Остановим цитату.

Состоящая из четырех, а на самом деле из двух (научно-эссеистической и воспоминательной) частей, книга обнаружила в себе — для меня — две необходимых для гармоничности восприятия композиционных пружинки. В статьях и «эссеях» автор присутствует, ну, может, в чуть меньшей степени, нежели в мемуарах. Одна-

ко то, что смотрится естественным и необходимым на волне памяти, в *текстах* совершенно притушено, а то и выпущено. Зримость непосредственного участия. Иными словами: причины и следствия здесь поменялись местами: только прочитав заключительную часть «О нас — наискосок», понимаешь, как и чем обеспечиваются решительность и ладнокровие в журнальной публицистике, оборачивающиеся совершенным доверием к своему читателю. Чего стоят хотя бы рассказы о работе автора в научной библиотеке Института языкознания во второй половине 50-х годов, когда выяснилось, что диплом филфака образца 1955-го не дал главного — «*профессиональной лингвистической подготовки*». Здесь, конечно, следует говорить и об ответственности за произнесенное. В то же время довольно быстро становится очевидным, что изрядная часть *статей* и *эссе* похожа на то, что у телевизионщиков называется «синхроном», — это «мемуары в действии», воспоминание о настоящем.

...Перечитав свой текст, я обнаруживаю довольно много курсивов, впрочем, и у Фрумкиной они встречаются почти на каждой странице. Это интонационное педальерование выделяет для меня в ее книге не только смысловое, но и, повторюсь, доверительное поле. Иными словами, ее курсивы служат *выпрямлению*, снятию напряжения. И будь моя воля, я добавил бы в аннотации: «для широкого круга читателей», несмотря на рассказы о когнитивной лингвистике, механизмах трансляции культуры и занятиях анализом статистической структуры текста на уровне слов и словоформ. Я не лукавлю. Когда-то упомянутый мною Чуковский попросил своего зятя, выдающегося физика-теоретика Матвея Бронштейна, уничтоженного в годы Большого террора, рассказать ему, сугубому гуманитарии, о своих научных изысканиях. И Матвей Петрович рискнул. Это было, видимо, объяснение «на пальцах», нисколько не упрощение, а просто перевод на другой язык. А поскольку Бронштейн был человек блестящий, его перевод оказался точным, образным и доходчивым. Чуковский немедленно отправил зятя-физика к редактору Маршаку. Если бы не кафкиански-абсурдная жестокость эпохи и населяющие ее ежовы со сталиными, вслед за «Солнечным веществом», «Лучами икс», «Атомами и электронами» в ленинградском Детгизе могли бы выйти и другие книги Бронштейна.

Ревекка Марковна Фрумкина не только пожила и поработала в той эпохе, она успела и побывать на краю пропасти во времена «борьбы с космополитизмом», «дела врачей» и — как я понимаю — уцелела чудом. То же относится и к более чем трагическим перипетиям со здоровьем. Об этом читатель узнает из мемуарной части «Внутри истории». Я же хочу сказать здесь о не закладываемом специально, но образовавшемся в процессе чтения *просветительском поле*. В данном случае для одного конкретного читателя.

В главе «„Удовольствие от текста“ как этическая проблема» (раздел «Размышления о самосознании лингвистов и филологов») Фрумкина замечает, что «современное эссе как новый для нашей культуры жанр действительно стимулирует нарциссизм». Чуть выше определяет: «Автор эссе всегда самодостаточен. Он отнюдь не озабочен тем, чтобы вступить с читателем в диалог и менее всего в диалог „на равных“». Эссе может быть блестящим или неудачным, с автором можно согласиться или пожалеть плечами. Но неуместно было бы пытаться показать, что автор попросту не прав. Ибо к эссе ни один из стандартных критериев неприменим: результатом эссе является само эссе». Все так. Однако же в нашем случае результатом чтения эссе стало еще что-то. Если не изменение цвета глаз и состава крови, как говаривал тот же Чуковский, то по крайней мере некоторое изменение сознания и обретение старшего собеседника, ненавязчиво предложившего тебе стать вольнослушателем нашего то расширяющегося, то сжимающегося до телефонного разговора всеобщего семинара.

Я намеренно не привел почти никаких примеров из самого повествования, несмотря на то что книга «Внутри истории» не единожды повергала меня в изумление — и историческими реалиями, и реальными именами, и градусом событий. В конце концов, я даже вспомнил какие-то смутные разговоры из юности, что есть, мол, такая ученая дама, которая подала-де в прокуратуру на ВАК, не дающий ей защитить докторскую. Скажу только, что приключения ее судьбы, вписавшейся в абсурд действительно великой эпохи то трагическим, то — изредка — комичным образом, уже становятся еще одним честным и неоспоримым свидетельством того,

как они жили и как работали. Это ни в коем случае не должно пожраться жерлом вечности. «Внутри истории», я думаю, это жизненно необходимая часть медленно создаваемого противоядия — сознательной и неуклонной, к сожалению, коррозии исторической памяти — и явления, называемого «извлечением уроков».

Судя по пока немногочисленным откликам на многоплановую, многосмысловую и очень личную книгу, автор настоящих заметок не одинок в своих впечатлениях. Так что домашний семинар, к счастью, действует.

Павел КРЮЧКОВ.

*

О МНИМОЙ ДЕФЕКТНОСТИ РУССКОЙ ПРИРОДЫ

Андрей Паршев. Почему Россия не Америка. М., «Крымский мост»-9Д, «Форум», 2000, 416 стр. («Великое противостояние»).

Андрей Паршев. Америка против России. Почему Америка наступает. М., «АСТ», «Астрель», 2002, 370 стр. («Великое противостояние»).

Хотя после драки кулаками не машут и споры о книге А. П. Паршева «Почему Россия не Америка» понемногу ослабевают, тем не менее вопрос о ней никак нельзя считать закрытым. Ее не забыли, наоборот, в нее поверили, образ несчастливой России, которой не повезло с землей и климатом, стал общим местом, неотъемлемой частью экономических и географических познаний читающего россиянина, трюизмом, который незачем проверять. Из счастливых обладателей самой большой страны мира, богатой лесами и полезными ископаемыми, мы с легкой руки Паршева превратились в бедных родственников, обнесенных на «празднике жизни». Многочисленные опровержения, опубликованные в экономических журналах и на сайтах Интернета, прошли мимо рядового читателя и не поколебали его веры в дефектность родной природы. Да и не только рядового, аргументы Паршева звучат во вполне серьезных экономических и политических дискуссиях. Отчасти это закономерная реакция на чересчур «культурологический» подход к экономике, и даже не вредно было вспомнить, что кроме религии и истории есть еще и зима, но маятник качнулся слишком далеко, и пора уже прекратить объяснять холодной погодой то, что прежде всего зависит от самих людей.

В число почитателей этой книги вошли не только коммунисты, разочарованные патриоты и малообразованные обыватели, книга Паршева увлекла также немалое количество «новых русских» и либеральных чиновников, которых сам Паршев клянет на чем свет стоит. Самая очевидная причина такого успеха заключается в потребности простого объяснения неудач либеральных преобразований: мол, все делало правильно, но природа-матушка подвела Россию, да еще зловредный Запад, на который так мы, дураки, надеялись. Однако в путинскую эпоху осторожного исторического оптимизма нет уж такой суровой необходимости объяснять неудачи: «да, были сложности, ошибки, даже злоупотребления, но теперь дела постепенно налаживаются». Остается считать, что в значительной мере виновником успеха является сам автор, сумевший переубедить даже испытанных либералов (заслуги Паршева как агитатора и пропагандиста особенно убедительны в свете того, что большую часть транспортно-климатических рассуждений можно найти в книге В. Сироткина¹, вышедшей годом раньше).

Разумеется, Паршев совершенно прав, когда говорит, что Россия самая холодная страна мира, однако из данного факта еще не следует, что российские товары неконкурентоспособны. Для столь категоричного вывода необходимо также доказать, что, во-первых, холодность климата действительно является важнейшим фактором, от которого зависят себестоимость и рентабельность всех произведенных товаров и услуг, и что, во-вторых, по холодности своего климата Россия принципиально отличается от всех других стран. Причем доказать надо оба тезиса, из каждого тезиса по отдельности неконкурентоспособность российских товаров не

¹ Сироткин В. Демократия по-русски. М., 1999.

следует. Например, если действительно холод — важнейший фактор, но в России лишь немногим холоднее, чем в Финляндии или Канаде, то мы скрепя сердце согласимся жить немного хуже, чем финны или канадцы. И наоборот — если негативное влияние холода не столь велико и его можно чем-то компенсировать, то даже из уникальной холодности российского климата не вытекает принципиальная неконкурентоспособность всех российских товаров. То же самое относится и к транспортной составляющей теории Паршева.

Но дело в том, что неверны оба тезиса. Если сравнивать средние температуры по всей стране (любопытно, что в книге этот метод применяется только к России, для Канады используются другие оценки), то самой холодной страной мира окажется не Россия, а Дания. Не верите? Тогда посмотрите на карту — и увидите, что в состав Дании входит огромная ледяная Гренландия, в 50 раз превосходящая по площади свою метрополию. Поэтому для оценки климата страны поступим иначе: для каждого жителя страны возьмем температуру того места, где он живет, сложим их между собой, а полученную сумму поделим на количество жителей; соответственно температура в Петербурге или Торонто будет учтена почти пять миллионов раз, а температура на российском острове Вайгач или канадском острове Виктория — меньше тысячи. Разумеется, при расчетах я не доходил до каждого отдельного человека, а разбивал страны на мелкие участки и учитывал их средние температуры (вычисленные по метеостанциям на этих участках) и количества жителей, но и подобные расчеты заняли немало времени. Итоги моих вычислений приведены в короткой таблице.

Страны	Средняя температура по стране с учетом плотности населения, °С		
	Январь	Июль	Среднегодовая
Россия	-12,5	+19,5	+3
в т. ч. Европейская часть России без Крайнего Севера	-9	+20	+5
Канада	-7	+19,5	+7
Финляндия	-7	+16,5	+4,5
Украина	-4,5	+21	+8,5

Таким образом, Россия действительно самая холодная страна мира, но есть регионы, в которых климат близок к российскому, и эти регионы отнюдь не являются самыми дикими или самыми бедными на Земле.

Какие бы теоретические основания и расчеты себестоимости Паршев ни приводил для доказательства второго тезиса, но «суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет». Упрямые факты показывают противоположную тенденцию. Экономические успехи холодных стран выше, чем теплых, причем эта закономерность наблюдается не только для всего списка стран мира, но и в каждом регионе в отдельности. Более того, даже внутри самой России, для которой и была изобретена теория Паршева, благосостояние более холодных регионов чуть выше, чем у более теплых, причем слабая отрицательная корреляция сохраняется и при исключении десяти наиболее обеспеченных регионов, в том числе основных нефте- и газодобывающих, Якутии, Таймыра и Москвы. Исходя из фактов, а не из эмоций, нельзя признать состоятельным и тезис о влиянии континентальности климата на экономику — *и во всем мире, и внутри России не обнаруживается убедительной корреляции, ни положительной, ни отрицательной, между благосостоянием и разностью зимних и летних температур.*

Нельзя даже уверенно утверждать, что различие между Севером и Югом постепенно сокращается. До середины 70-х годов оно росло, с середины 70-х по середину 90-х — сокращалось (большая часть сокращения приходится на экономический

спад в России и бывших социалистических странах), а в последние годы — никакой явной тенденции не обнаруживается. Возвышение «азиатских тигров» уравнивается дальнейшим обнищанием «стран четвертого мира» с такими же климатическими условиями.

Столь же убедительна и транспортная составляющая новой теории — *в мире не наблюдается никакой корреляции экономических успехов ни с плотностью населения, ни с территорией страны*. Я не берусь утверждать, что большие ресурсы крупных стран с такой точностью компенсируют транспортные расходы, скорее всего причина в другом — жители всех стран умеют приспосабливаться к своим условиям жизни, извлекать выгоды из преимуществ и компенсировать то, что им недодала природа. Но ведь эти темы и надо обсуждать, а не жаловаться на коварство природы. Она не обделила нас ресурсами — ни лесами, ни пресной водой, ни полезными ископаемыми. А то, что мы не получили в придачу теплого климата и незамерзающих портов, так нельзя же все сразу.

Более того, она не так щедро одарила другие страны, как кажется Паршеву и его поклонникам. Климатические описания, самый цитируемый раздел книги, полны ошибок и передержек: например, сравнение климатов Монреаля и Варшавы верно с точностью до наоборот — в Монреале лето существенно теплее, чем в Варшаве, а зима существенно холоднее (в январе соответственно — $10,5^\circ$ и -4°), хотя, действительно, средние температуры в течение года близки между собой (в Варшаве на $1 - 1,5^\circ$ теплее); в «субтропическом» Бергене летом холоднее, чем в Архангельске; центральная часть Канады («Великие равнины»), основной сельскохозяйственный район, чью пшеницу мы ели в брежневские годы, имеет столь континентальный климат, что аналоги в России можно найти только за Уралом; количество осадков не учитывается вовсе, поэтому Иордания, большая часть территории которой приходится на сухие степи и пустыни, у Паршева попадает в список стран с самым благоприятным климатом, и т. д. Пренебрежение к точности приводимых данных вообще отличительная черта этого бестселлера. Расчеты вклада энергозатрат в себестоимость товаров и услуг Паршев начинает с утверждения, что «в основном наша тепловая и электроэнергия вырабатываются из топливного мазута, как во всем мире», на самом деле в России в основном используют газ, в США и Китае — уголь, во Франции — атомную энергию, теплоизоляция почему-то сводится к количеству рядов кирпичей, доля транспортных затрат оценивается без учета типа продукции и т. д.

Тем не менее не стоит отказывать Паршеву в наблюдательности и умении подмечать то, мимо чего проходит большая часть специалистов и дилетантов. Одно замечание о том, что цели производства определяются за пределами экономики, а при разных целях могут быть и разные стратегии, и даже несколько различающиеся экономические законы, уже выделяет эту книгу из бесчисленных дилетантских экономических прожектов. Вполне заслуживает внимания и паршевская критика хода российских реформ, содержащая немало точных наблюдений и здравых соображений (чередующихся с конспирологическими изысканиями), включая и его главную мысль о пренебрежении географическими (в том числе климатическими) факторами. Однако сам проект, которому посвящена основная часть книги, не выдерживает никакой критики. Вообще, трудно серьезно обсуждать экономический проект, в котором высказывания типа «оценка труда рынок самая справедливая» или «пока объективной оценки умного труда человека всем обществом не придумано, все идеи об отмене рынка — архиблагодупость» сочетаются с восхищением сталинской экономикой. Примиряющее их утверждение, что «в плане понимания законов рынка И. В. Сталин был рыночником, грамотным и последовательным», также в комментариях не нуждается.

В книге «Почему Америка наступает» мы встречаемся с новым Андреем Петровичем Паршевым. Этот Паршев, в отличие от прежнего, не думает, что «в основном наша тепловая и электроэнергия вырабатываются из топливного мазута, как во всем мире», читает статьи в специальных журналах, ищет информацию на профессиональных сайтах Интернета и даже иногда сопоставляет найденные сведения между собой. В его новой книге встречаются таблицы и графики (хотя, к сожалению, ис-

точники данных по-прежнему указываются от случая к случаю) и сталкиваются различные точки зрения. После чтения некоторых высказываний Андрея Петровича мне даже захотелось пожать ему руку. Несколько смущают цитаты из чужих текстов, приведенные без кавычек², но будем считать это издержками роста.

Однако достижения Паршева-исследователя идут не на пользу, а во вред Паршеву — писателю и пропагандисту. Для читателя, склонного доверять эмоциональным пассажам и художественным образам, новый Паршев скучен, ибо изучать таблицы ему неинтересно, да и в новых подтверждениях избитых штампов антиамериканской пропаганды у него нет нужды. А перед более вдумчивым читателем новый Паршев предстает в виде унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Ибо для опровержения второй идеи-фикс, одолевшей Паршева, почти не нужно дополнительной информации, хватает сведений, содержащихся в самой книге. Однако я все же не буду заниматься подобной эквилибристикой и приведу некоторые сведения, о которых книга умалчивает.

Наиболее пессимистические прогнозы Паршева основаны на незаметном для неспециалиста смещении понятий: открытие новых месторождений — и прирост запасов. Паршев прав, новые крупные месторождения нефти открывают все реже и реже, но в настоящее время больше половины прироста запасов связано не с открытием новых месторождений, а с дополнительной разведкой старых, вовлечением в разработку недоступных ранее запасов (например, на склонах шельфа) и, главное, повышением нефтеотдачи (oil recovery ratio, отношение добытого количества нефти к начальным запасам). Дело в том, что в настоящее время из нефтяных месторождений извлекается не вся содержащаяся там нефть, а всего лишь 30 — 40 процентов. Повышение нефтеотдачи представляет собой сложную проблему, особенно при высокой вязкости нефти и сложном строении месторождений. Однако уже сейчас существуют технологии, пока весьма дорогие и во многих случаях неприменимые, позволяющие увеличить нефтеотдачу до 65 — 70 процентов. В США на увеличение нефтеотдачи и доразведку старых месторождений в последние годы приходится 90 — 95 процентов прироста запасов — на графике в книге, по-видимому, показаны лишь остальные 5 — 10 процентов.

Поэтому самый катастрофический из прогнозов Паршева — об исчерпании запасов нефти Великобритании и Норвегии к 2002 и 2004 годам — уже не сбился к моменту выхода книги, в 2002 году запасы нефти в Северном море не только не иссякли, но, наоборот, с 1995 года в обеих странах выросли и добыча, и запасы, а «коэффициент кратности запасов» (отношение запасов к годовой добыче) практически не изменился. И даже в столь разбуренной стране, как США, несмотря на продолжающуюся добычу почти в тех же объемах, коэффициент кратности запасов с 1995 года тоже не изменился. Не сократился за последние десятилетия и коэффициент кратности мировых запасов нефти — например, в 1984 году доказанных запасов нефти оставалось на 30 — 35 лет, а в этом году при сохранении нынешних объемов добычи ее, как доказано, хватит на 35 — 40 лет.

Не столь печальны и отдаленные перспективы добычи углеводородного сырья. Например, одна из возможных перспектив получения нефти в будущем заключается в разработке битуминозных песков и извлечении нефти из битума. По современным оценкам, прогнозные (геологические) запасы нефти в битуминозных породах в одной Канаде больше, чем все запасы обычной нефти в мире. К 1995 году себестоимость получения такой нефти на наиболее легкодоступных участках месторождения Атабаска (север Канады!) снизилась до 9 — 10 долларов за баррель, и производство стало рентабельным.

² Особенно любопытна ситуация с Тимофеем Докторовым. В тексте книги я обнаружил большую часть статьи Т. Докторова «Доноры и кровососы» — «Русский предприниматель», 2002, № 2. Может быть, между Докторовым и Паршевым существует договоренность или Тимофей Докторов — это псевдоним Андрея Паршева, но все же подобные вещи стоило бы пояснить, тем более что Паршев, в отличие от Докторова, не указывает первоисточников приведенных таблиц. Поиск в Интернете с ключевыми словами «Тимофей Докторов нефть» обнаружил еще одну статью того же автора, опубликованную в газете «Звезда» и также почти целиком вошедшую в книгу Паршева.

Тем не менее и помимо важности нефти и бензина для мировой экономики существует множество других причин, делающих нефть совершенно особым товаром. С одной стороны, это неэластичность спроса — малая зависимость объема потребления от цены, с другой стороны, необычность ее распространения в природе. Почти все другие полезные ископаемые распределены следующим образом: малая часть запасов находится в богатых и легкодоступных рудах, больше же — в менее богатых и менее доступных, самая большая — в бедных и труднодоступных. Соответственно и история разработки идет от богатых руд к бедным — когда легкодоступные руды иссякают, придумывают новые технологии и переходят на менее доступные месторождения. С нефтью все иначе — две трети мировых запасов приходится на самые доступные и высококачественные нефти стран Персидского залива с себестоимостью добычи \$ 2 — 6 за баррель и лишь треть — на все остальные месторождения с себестоимостью добычи от \$ 5 до \$ 15 — 20. Такое распределение запасов не только ставит в сверхвыгодное положение ближневосточные страны, но также тормозит технический прогресс в нефтедобыче, да и во всей топливной промышленности (при очередном падении цен разработка новых технологий замирает). С годами эта необычная ситуация не только не рассасывается, но, наоборот, усугубляется, ибо в судорожных поисках независимости от ближневосточной нефти остальные страны в большей степени выбрали свою труднодоступную нефть, чем страны Персидского залива — легкодоступную. По прогнозам специалистов, такое положение может продлиться еще несколько десятилетий и начнет меняться лишь после исчерпания большей части ближневосточной нефти и широкого освоения новых способов получения жидкого топлива, например, разработки битумов и тяжелых нефтей или получения его из органических источников (последний способ не ведет к парниковому эффекту).

Новый «нефтяной» взгляд на мир привел Паршева и к новым геополитическим выводам. Из-за изрядной противоречивости комментировать их — непростая задача. Например, на стр. 11 Паршев назвал события 11 сентября таинственными: «И даже не таинственные события 11 сентября 2001 года и их не менее таинственные последствия...»; к стр. 296 он разобрался, в чем причина: «Невозможно скрыть, да особенно никем и не скрывается, что корни терактов 11 сентября тянутся исключительно к верхам саудовского общества, и нищие талибы тут вовсе ни при чем»; но к концу книги (стр. 352) сменил мнение на противоположное: «Тут была высокая степень организованности и убежденности — и при чем тут Саудовская Аравия?» Оценки американско-иракских отношений однозначны, но логичными их назвать трудно — все время хочется задать автору книги вопрос, нельзя ли, пользуясь его логикой, прийти к противоположному выводу — не было бы более выгодным для США просто снятие санкций с Ирака, оставляющее Садда Хусейна в покое? В самом деле, выход на мировой рынок страны с огромными запасами дешевой нефти моментально сбросил бы цены, а Ирак, нуждающийся в инвестициях, вряд ли в ближайшие годы согласился на резкое снижение своей уже десять лет невыбираемой квоты. Затраты Америки на войну оцениваются примерно в стоимость двух-трехлетнего американского импорта нефти при нынешних высоких ценах, вызванных прежде всего нагнетанием этого кризиса.

И наконец, о том, что, по словам Паршева, подвигло его написание этой книги, о словах сына Рузвельта насчет корыстных целей внешней политики США. Комментируя эти слова, я буду обращаться не к Паршеву, поклоннику И. В. Сталина и любителю отождествлять Гитлера с западным обывателем, а к читателям, надеюсь, стоящим на иных, менее людоедских, позициях. Великие лидеры западного мира — Рузвельт, Черчилль и Де Голль — были не только борцами с тоталитаризмом, но также представителями своего круга, своих стран и своего времени, и, наконец, они были политиками со всем присущим этому виду деятельности цинизмом. Ими двигали не только возвышенные глобальные задачи борьбы с фашизмом, но и вполне прозаические экономические интересы своих стран. Они не только сражались, но и торговались с Гитлером, Сталиным и друг с другом, используя в этой торговле слабости своих контрагентов. И лишь адепты «монониточных» (термин Г. Померанца) конспирологических изысканий склонны видеть непримиримые противоречия между возвышенными словами деклараций и приземленным торгом закрытых переговоров.

Единственное, что я могу посоветовать Паршеву и его единомышленникам, так это заглянуть в свои собственные души и обнаружить там не только страстную любовь к России и ненависть ко всему остальному миру, но также желание прославиться, убедив других в правоте своих взглядов. Не знаю, как другие борцы с жидомасонским заговором, но сам Паршев в этом отношении явно безнадёжен, иначе он не написал бы, что «с точки же зрения чистой науки вступление России в ВТО лично мне будет очень полезно. Наши внутренние цены будут более точно соответствовать мировым, и иллюзий насчет конкурентоспособности российской экономики будет поменьше. О чем я всегда и говорил».

Когда я читал эти книги, меня порой одолевали сомнения, верит ли сам автор в то, что он пишет. Чем являются для него самого эти транспортно-климатические и нефтяные идеи-фикс — постмодернистскими интеллектуальными играми, рабочими гипотезами, полезными для самообразования, или искренними заблуждениями, меняющимися с калейдоскопической быстротой? До последней страницы я так и не сумел найти ответ на этот вопрос.

Сергей ЦИРЕЛЬ.

С.-Петербург.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ИРИНЫ РОДНЯНСКОЙ

+7

Габриэль Марсель. Пьесы. Перевод с французского Гаянэ Тавризян. М., Издательство гуманитарной литературы, 2002, 351 стр.

Эта книга попала на мою полку волею случая, и встреча с ней не сулила особых читательских радостей. Габриэль Марсель (1889 — 1973) — французский католический мыслитель (весьма неортодоксального, экзистенциалистского толка), а я уже знала, что в XX веке все французские философы — от Сартра и Камю до деконструктивистов — писали для подкрепления своих идей беллетристику *à thèse*, захватывающей которую не назовешь; впрочем, для одного-другого романов Камю сделаем исключение. Да и сам Марсель настойчиво просил не отделять его драматургию от его философской мысли, по моим, крайне поверхностным, впечатлениям — весьма расплывчатой.

И вот поди ж ты: начала читать — и не могла оторваться. Эта моя увлеченность, правда, распространилась только на первые две пьесы — «Пылающий алтарь» и «Завтрашняя жертва», две следующие за ними (не в хронологическом, а в избранном переводчицей порядке) — «Семья Жорданов» и «Человек праведный» — показались несколько заунывным повторением первых двух.

В эссе «К трагической мудрости и за ее пределы» (см. в сб.: «Самосознание культуры и искусства XX века». М., 2000) Марсель пишет, что нынче «подлинность внутреннего суда совести радикально поставлена под вопрос». Так вот, в его драмах подлинность этого суда восстанавливается в правах — средствами, я бы сказала, минималистскими: непатетическими, психологически нюансированными, сводящимися, в сущности, к обмену летучими репликами между персонажами. Это драмы *выяснения, пролития света* (Света), когда истина людских мотивов постепенно выступает наружу из смутной путаницы неосознаваемых страстей. Немного похоже на Ибсена (хотя бы сюжетами-развязками, при досценической завязке отношений), еще больше — на Чехова (самое удивительное, что Марсель прочитал его пьесы поздно, после).

Мне грустно, что я, должно быть, никогда не увижу этого на сцене; на моем веку наш театр вряд ли вернется от принципа шоу к принципу психологического разбирательства с присущими ему оттенками и подтекстами игры. Все это осталось

в том культурном веке, который я чуть-чуть успела захватить и в котором жил автор. А жаль, как живо я представляю себе великолепную Аллу Демидову в роли деспотически-пламенной Алисы Фортье из зажженного ею «Пылающего алтаря». Право, здесь наконец есть что играть *таким* актерам (кои, впрочем, наперечет). И хоть в пьесах этих экзистенциально чистая ситуация выключена из социальных ошибок, написаны и поданы они как травматические хроники, освещенные событиями Первой мировой. Сегодня задевает и это.

Переводы специалистки по современной французской философии Г. Тавризян оказались превосходны (и в смысле пригодности для сцены). Ей же принадлежит основательное предисловие.

С. А. Левицкий. Свобода и ответственность. «Основы органического мирозерцания». Статьи о солидаризме. М., «Посев», 2003, 462 стр.

• Еще один приятный сюрприз. Сергей Александрович Левицкий, русский философ зарубежья, той же эпохи (годы жизни: 1908 — 1983) и, широко говоря, того же духа, что и Габриэль Марсель, по немногому прежде читанному представлялся мне не более чем эпигоном таких столпов «русского религиозного ренессанса», как Н. Бердяев, Н. Лосский и С. Франк. Когда мы (мой круг) зачитывались тамиздатскими книгами этого толка, даже признаваемый лучшим труд Левицкого «Трагедия свободы» (1958) не входил в список нашего «обязательного чтения». А то, что Левицкий — один из отцов основателей русского солидаризма и ранний идеолог НТС, не прибавляло энтузиазма, поскольку здесь чудилась некая «партийность», от которой мы береглись как от огня. (Так я по крайней мере представляла себе дело, пока не познакомилась с примечательной статьей Валерия Сендерова «Солидаризм: третий путь Европы?» в № 2 «Нового мира» за этот год; от Сендерова же я получила том Левицкого, о котором речь.)

Соратник Левицкого по НТС Р. Н. Редлих называл трактат «Основы органического мирозерцания» (главный в новоизданном томе) «полноценным введением в историю солидаризма». Я бы сказала, что это характеристика несколько клановая. Если в наших вузах еще существует предмет под названием «Философия» (не история философии, а, так сказать, научение основам философствования), я бы сочла труд Левицкого более чем полувековой давности лучшим учебным пособием по этой дисциплине. Разделенный на три необходимейшие части: «Гносеология», «Онтология» и «Аксиология» (учение о ценностях), он, конечно, включает и четко преподаваемые элементы из истории философской мысли, начиная с античности и поспевая к Хайдеггеру, а также из истории социальных идей; но прежде всего учит мыслить системно, без чего, думаю, подлинная философия невозможна. На фоне современного системоборчества (начатого у нас еще Бердяевым и Флоренским) эта книга *упорядоченного* мировоззрения, где одно вытекает из другого (скажем, солидаризм в общественной сфере — из персонализма в сфере собственно философской), производит на редкость утешительное впечатление. Пусть главные мысли ее и не новы, но они поставлены в связь, убедительную не только для записных «солидаристов» или для конфессионально ангажированных людей («...настоящая книга ставит себе целью подвести к религиозной метафизике, а не углубляться в нее», — замечает автор). И благородство, приподнятость духа — как нечто врожденное, ничуть не педалируемое. Отвлекаясь от вряд ли осуществимой роли учебного пособия, кто станет теперь читать таковой труд? А вместе с тем невозможно поверить, чтобы это оказалось никому не нужным! Через поколение-другое, но вспомнят, откроют.

В книгу вошли и статьи, из которых самая известная, привлекаемая в антологии, — «Трагедия отвлеченного добра (по поводу романа Достоевского „Идиот“», а больше понравившаяся мне — «О романе Пастернака „Доктор Живаго“». Что касается идеологии солидаризма «по ту сторону славянофильства и западничества», то кое-что хотелось бы довыяснить. Например: солидаристы, по Левицкому, — за православное государство, но против государственного православия, — если бы я поняла, что за этим стоит, то, может быть, оно и мне подошло бы...

Книга откомментирована В. Саповым, автором вступительной статьи, с таким тщанием, что, помимо весьма содержательных пояснений, здесь даже переводится «à la» и описываются «симпатические чернила». Есть и аннотированный именной указатель, и, главное, «Избранная библиография С. А. Левицкого». Всегда бы так издавали. А то ведь «Агнец Божий» и «Утешитель» о. Сергия Булгакова недавно републикованы практически без научного аппарата.

В. Вейдле. Эмбриология поэзии. Статьи по поэтике и теории искусства. М., «Языки славянской культуры», 2002, 455 стр.

Я еще немного задержусь в минувшей эпохе и продолжу lamentации о том, что ее сокровища могут залежаться втуне, несмотря на издательские акции энтузиастов.

Владимир Васильевич Вейдле жил тогда же (1895 — 1979), когда и первые два поставленные мною на полку автора. И, кстати, в парижской эмиграции сблизился с Г. Марселем и Ж. Маритеном. «Критик, историк искусства, публицист, культуролог» — определяет его лицо энциклопедический словарь. Теперь, после выхода в свет новой ценнейшей книги, добавим: «филолог — исследователь поэтики и стиховед». Самая известная книга Вейдле «Умирание искусства» (1937; сначала на французском: «Le abeilles d'Aristée» — «Пчелы Аристея»¹) в постсоветское время уже не раз у нас переиздавалась. А «Эмбриология поэзии» вместе с примыкающими статьями с такой полнотой издается впервые (до этого: Париж, 1980).

Этот труд получил у Вейдле подзаголовок «Введение в фоносемантику поэтической речи». Фоносемантика, звукомысл — термин, изобретенный автором для обозначения связи между звучанием поэтического слова и полем его значимостей в тексте. Тема, разумеется, одна из основных в изучении природы стиха, начиная, скажем, с «Проблемы стихотворного языка» Ю. Тынянова. Она неисчерпаема, и арсенал исследований все время пополняется под влиянием новых лингвистических теорий и новых поэтических опытов. (Сейчас близкой тематикой успешно занимается петербургский поэт и филолог Елена Невзглядова.) Главная прелесть вейдлевской анатомии стиха, на мой взгляд, — в интерпретируемых им поэтических иллюстрациях. Его тончайший слух выводит наружу то, чем не в состоянии овладеть рационалистические и позитивистские методики. «Чудесный стих в последней песенке русалок: „Поздно. Рощи потемнели. Холодеет глубина” — никакому описанию сказанного им не поддается. <...> Мы только чувствуем, если умеем читать, что здесь, в конце „Русалки”, эти звуки, отбирая в словесных смыслах одно и отбрасывая другое, сулят — именно они, а не просто слова — вслушавшемуся в них зовущую, втягивающую, смертельную, может быть, сладость».

Вейдле, утонченно образованный автор, сам себя называвший «созерцателем» и «понимателем», мыслит как ответственный исследователь, а пишет как художник-эссеист, чужой в стане патентованных ученых-специалистов. Значительная часть его «Эмбриологии...» посвящена критике структуралистских методов Ю. Лотмана² и Р. Якобсона, их бессилию перед живым фактом конкретного поэтического высказывания, с присущим только ему «звукомыслом», — критике, по-моему, совершенно неотразимой, а для меня и вполне ожидаемой, так как я не раз приходила к тем же мыслям самостоятельно³. Но эта критика, как с горечью замечал сам Вейдле, не получила никакого отклика у Якобсона (Лотману, понятно, ответить было бы трудней); да и теперь, уже трижды переизданную в России (до настоящего тома — в «Вопросах литературы», 1992, № 1 и в издании «Умирания искусства» 2001 года), ее спокойно пропустили мимо ушей. Еще бы. Вейдле, писавший не на терминологическом жаргоне, рассказывавший читателю притчи о царе Оксимороне и царице Оно-

¹ Вейдле свободно владел четырьмя европейскими языками, но в отношении французского его смело можно назвать билингом.

² В отношении Лотмана живущий в «свободном мире» Вейдле проявляет немалый такт, высоко ценя его независимую позицию в подсоветском обществе, хотя оставаясь тверд в своих несогласиях.

³ Знать бы, когда я в середине 60-х писала статью «Слово и „музыка” в лирическом стихотворении» (та же фоносемантика), что за горами-долами некто Владимир Вейдле уже блистательно продумывает те же проблемы! Сколь многое обесценил или сделал несбыточным наш обесчещенный «железным занавесом» провинциализм.

матопее, злоупотреблявший в сугубо филологическом «дискурсе» сказовыми оборотами, печатавший статьи-главы своего труда не в каких-либо ученых записках, а в архаичном «толстяке» — «Новом Журнале», не мог быть признан достойным внимания оппонентом внутри избранного научного сообщества.

И. А. Доронченков, образцово прокомментировавший книгу, обозначил драму одиночества Вейдле в своем послесловии формулой «поиск собеседника», а самого автора назвал «маргинальным традиционалистом». Какое современное, своевременное словосочетание, приложимое также и к Марселю, к Левицкому и к тем, кто на их обочине. Собеседуют с ними сейчас редко, но есть, есть надежда на «провиденциального собеседника».

Светлана Семенова. Русская поэзия и проза 1920 — 1930-х годов. Поэтика — Видение мира — Философия. М., ИМЛИ РАН; «Наследие», 2001, 590 стр.

Взгляд на минувшую идеологическую, культурную и художественную эпоху уже глазами современного исследователя. Но в каком смысле современного? В том лишь, что новая пора свободы публичного слова позволила Светлане Семеновой, давней последовательнице учения Н. Ф. Федорова, не скрываясь и не тушуясь, писать с обобщающей точки зрения вечности, точки зрения смерти и воскрешения, точки зрения вселенности (космизма) о всех тех, кого раньше изолировали друг от друга, рассортировывая по разным ячейкам. Охват книги беспримечен: поэты Пролеткульта и поэты новокрестьянские, Клюев и Есенин, Заболоцкий и обэриуты, Маяковский и Горький, Шолохов и Леонов, Пришвин и Платонов, Георгий Иванов и Поплавский, Газданов и Набоков.

Сейчас выходят историко-литературные труды (И. Кондаков, И. Сухих и другие), где советские, подсоветские и эмигрантские творения рассматриваются как струи единого потока, главы единого эпохального текста. Но по большей части дело ограничивается здесь параллелями по признакам взаимовлияния, влияния общей социальной среды или общих для эпохи культурных мифов. Семенова же объединяет своих подопытных собеседников единообразным тестированием: как каждый из них переживает факт человеческой смертности и метафизической неблагоустроенности бытия, как компенсирует для себя неразрешимость проклятых вопросов — верой ли в инобытие, утопией мировой перестройки, сладостью отчаяния либо бегством в свой творческий мир. Цельность книги — в ее односторонности, но зато это цельность, не притянутая за уши.

Это не значит, что все испытуемые отвечают на поставленные вопросы одинаково охотно и впопад. Беззастенчиво похвалю главы, печатавшиеся в «Новом мире», — о «Распаде атома» Георгия Иванова и Набокове-Сирине; конгениален духу исследовательницы, конечно, и Андрей Платонов — что бы она о нем ни писала, всегда получается существенно и значительно. Иногда же базовый тезис подминает под себя трепетную плоть писателя: тончайшая романтическая аура Газданова — иная, нежели вдуманные в него мрачные философские коллизии. Или наоборот: Заболоцкий со товарищи как бы играют с Семеновой в поддавки; все их крайне удобные для нее декларации она принимает за чистую монету, невольно микшируя амбивалентную иронию и трагическое лукавство. Впрочем, когда в фокусе оказывается фигура, совсем уж, кажется, не подходящая для взятия экзистенциальной пробы, возникает неожиданно продуктивный эффект нового видения. Так произошло в главе о «Тихом Доне», где, развернув разнообразие возможности литературно-философского анализа, Семенова отклеивает с автора эпопеи оптимистически-корректный ярлык «пантеиста» и обнаруживает у него горький акцент на «трупности мира» и «глубинное неприятие смерти»: «призрак земного счастья и жуткая смертная действительность» — как эпилог многоголового, много-составного романа. Вероятно, она права.

М. Золотоносов, Н. Кононов. З/К, или Вивисекция. Книга протоколов. СПб., «ИНАПРЕСС»; «МОДЕРН», 2002, 202 стр.

Если метод С. Семеновой я называю экзистенциальным тестированием, то здесь бери круче — живосечение. Которым нас равно эпатируют и распростертый

на анатомическом столе (врачебной кушетке) пациент, и склонившийся над ним анатом, он же психоаналитик.

Образец диалогов (долгих телефонных бесед) петербургского поэта Николая Кононова и критика Михаила Золотоносова тоже был представлен в «Новом мире» (1999, № 9); изящно изданную книгу он как раз и открывает.

Предприятие чрезвычайно оригинальное. Хотя бы тем, что нисколько не похоже на обычные интервью, в которые принято вовлекать тех или иных примечательных особ, — не похоже ни на слащавую, ни на наглую разновидность этого жанра. Прелесть заключается, во-первых, в том, что здесь как бы мимоходом дан сборник интересных — в разной степени — стихов (больше дюжины, со счету я сбилась): расспросы (*допросы*, как настаивают сами З/К) поэта совершаются, так сказать, перед лицом его же опусов, которые он должен фактически заново воссоздать в автокомментарии, по-честному откликаясь на любопытство вивисектора. Во-вторых же, прелесть — в глубоких миросозерцательных различиях участников при неуволимом сходстве или, во всяком случае, совместности человеческого типажа: один — поэт, другой — аналитик, один — верит в Бога и не раз это прокламирует, другой — атеист, позитивист, фрейдист и тоже за свое держится; при этом они понимают друг друга с полуслова, потому что говорят хоть и разное, но на языке своего поколения и круга (оба, кажется, уверены, что это и есть язык XXI века, и у меня нет охоты их разуверять, тем более что читается все преотлично).

Мне как будто пристало все время держать сторону поэта против рационалиста, стремящегося посредством всякой там «эдипальности» вышелушить из темных «эзотерических» стихов их единственный и по возможности разоблачающий смысл (я уже выступала с таким словом защиты в упомянутой 9-й книжке нашего журнала). Но порой я невольно подхихкивала Золотоносову, его бесцеремонным репликам вроде: разве это стихи? Или: прекратите вашу логорею! Уж больно темны бывают речи поэта — и в роли стихослагателя, и в роли автокомментатора.

Между тем даже и независимо от того, что среди стихов попадаются просто замечательные (как «В заведеньице одном...» или «Парни, сдуру выпрыгнувшие на лед...»), *весь* кононовский текст, при такой-то его замысловатости и закодированности, поражает полным отсутствием позы, искренней жадной донести, в форме ли стиха, в форме ли пояснений, свое неудобосказуемое послание, выдать добросовестную, без рисовки и мазохизма, интроспекцию, раз уж собеседнику, а значит, и читателю, это зачем-то нужно. Такая постановка своего «я» посреди щекотливых обстоятельство трогательна и аристократична даже. И этим путем рождаются куски прекрасной прозы — о Волге и Саратове, о коллизии с отцом, об «эмиграции» в Петербург и его ландшафтах глазами чужака. Доктор Золотоносов стимулирует и выслушивает все это без показного сочувствия, но с доброжелательным спокойствием, тоже в достойной позиции⁴.

Экзотический эксперимент удался. Подоплека же его «травматична» (слово, которое я намеренно позаимствовала отсюда, говоря о пьесах Марселя) и, сказала бы я, элегична. Почему — особая тема, не вмещающаяся в заметку.

Сергей Золотусский. Соучастники и двойники. Книга стихов. М., 2002, 87 стр.

Сейчас я нарушу неписанный закон литературной этики — откликнусь на книжку, под кратким предисловием к которой стоит моя фамилия. На самом деле та страничка — слегка переделанная рекомендация, которую я давным-давно давала Сергею для вступления в Союз писателей. Он, готовя к печати сборник, пожелал ее снова опубликовать (та же заметка уже фигурировала однажды в его книжечке «Обожженное дерево», спаренной с другим поэтом). И то, что там написано, — относится к 80-м годам, когда поэт представлял от поколения

⁴ Чего не скажешь о его статейке к столетию Николая Заболоцкого в «Московских новостях», 2003, № 16, где гениальный поэт, в послелагерном его периоде, изображен всего лишь жалкой жертвой невротических страхов, что и несправедливо (если вспомнить хотя бы «Бегство в Египет» и «Рубрика в Монголии»), и безвкусно.

«дворников и сторожей». А в «Соучастниках...» опубликованы и стихи самых последних лет, о которых я не имела понятия, пока...

Пока не случилось несчастье. Трагический уход из жизни Сергея, которому еще не было пятидесяти, наложился на весть о гибели Бориса Рыжего. Поэты не хотят с нами жить — вот что подумалось. Умозаключение, надеюсь, опрометчивое, но все же страшно.

Сергей Золотусский был истинный поэт, свободный телом и душой и выдыхающий эту свободу стихом. «Каждая душа живет только по тем законам, по которым она создана», — написал он в авторском введении к составленной им книжке, и, поэт андерграунда, он чаще всего зарабатывал на жизнь физическим трудом, чтобы ничто не мешало ему этим законам следовать. Подобно многим ранним душам, он не принял постсоветской реальности, как не принимал советскую. (Одно из сильнейших стихотворений о «новой элите» — «Проситель»; я ни у кого не читала такой чуждой дидактике гражданской сатиры.) Дух его разрывался между угрюмой, но и благородной защитой самостоянья и тягой к «хоровому» и народному. И еще: между «Не воистину — повторяю — воскрес» — и «Ты только возьми, Ты только шепни, / Верни меня в свой шатер!». Одно из лучших стихотворений Сергея Золотусского — с кодой: «Я думал — шапку сорвало, / А покати-лась — голова!» — уже процитировано. Я же приведу строфы из позднего, почти последнего: «...Разум полнится слухом и зреньем, / Боль приходит как Богоявление: / Множит эхом короткое „я” / Сразу в трех временах бытия. / Пожелательные рвутся страницы... / Так из клетки свободные птицы / Улетают в их прежнюю даль, / Прорывая плетеную сталь. <...> Ну и пусть, что осталось так мало: / Ты в свое убываешь начало, / И туманом плывет над водой / То, что было судьбой и бедой». Называется: «Перед смертью».

Жизнь была для Сергея непрерывным риском — риском как самым надежным источником поэтического. Но была ли — запрограммированной катастрофой? Как знать. Десятилетним мальчиком он сочинил: «За окном бушует ветер, / дождь в окно мое стучится; / жить не хочется на свете — / Богу хочется молиться». Тут поневоле задумаешься.

Но стихи — остались. Книга издана благодаря усилиям и средствам родных и друзей поэта.

Владимир Портнов. Избранные стихи. Цфат, 2002, 144 стр.

А вот не столь драматический привет из прошлого — от хорошего поэта и великолепного переводчика. Я как-то отрецензировала его сборник 1982 года «Равновесие», стихи из которого — на житейские (бакинский быт, казарма) и литературно-романтические сюжеты — «заворожили» меня («завораживает простота», — замечено поэтом о розе, о ее простодушной верности идее цветка) правдой немодного тогда, как и теперь, повествовательного реализма и «равновесием» между ним и, в стихах другого рода, авантюрами фантазии, гуляющей по эпохам и континентам. Завязалась переписка с этим бывшим бакинцем, потом ленинградцем. А дальше: его переезд в Израиль, затерявшийся след — и вдруг присланная по почте книга, куда вошло и знакомое уже, и новое, вернее, мною не читанное, — потому что совсем нового нет; на исторической родине, признается в письме поэт, сочинение стихов как отрезало, остались одни переводы.

К избранному старого поэта можно бы поставить эпиграф из Пастернака, предваряющий в книге один из верлибров, «Ты помнишь жизнь?»: «Все пытаю себя: / не нарисовал ли я слишком идиллическую картину / 30-х — 40-х годов? / Но закрываю глаза и вижу все тот же мир / странной нищей идиллии: / намытые полы, / веревки с развешанным бельем, / коммуналки и дворы, где жили одной семьей...»

Стихи, перечитанные десятилетия спустя, мне по-прежнему по душе, но лучше я порадую читателя дивным в своей простоте переводом из Жерара де Нерваля: «Где же наши подруги? / В этой жизни их нет: / Светит в ангельском круге / Им немеркнущий свет. / Там, за далью лучистой, / Голубой их приют. / Они Деве пречистой / Нынче славу поют. / О, любовь молодая, / Вся в цветах полевых! / Мы, подруг покидая, / Насмерть ранили их. / Смотришь вечность очами, / Все противными нам... / Здесь угасшее пламя / Загорается там».

±2

Светлана Бойм. Общие места. Мифология повседневной жизни. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 312 стр., с ил.

Об этой книге легко начать разговор, зацепившись за цитату из стихотворения Владимира Портнова о коммуналках. Продолжу ее: «Мы создали свою жизнь <...> И была она оборотной стороной / того страшного и парадного, / что было где-то за нами или над нами. / И, может быть, — <...> она была не оборотной стороной, а лицом». Само это изображение коммунального быта — общее место, хотя и «хорошо темперированное», — и точно так же «Общие места» С. Бойм, профессора Гарвардского университета, — не только *Common places* (как назывался англоязычный, 1994 года, вариант ее книги, предшествовавший дополненному русскому), но и «места общего пользования», что вряд ли переводимо.

Я поставила эту книгу из модной области *culture studies* под двоящийся знак оценки отчасти под влиянием нелицеприятной рецензии эрудита Ильи Утехина («Критическая масса», 2003, № 1), который обнаружил у профессора много смешных ляпов, мною по необразованности не замеченных⁵. Но не только поэтому. Двойственная оценка соответствует непреодоленной двойственности самого сочинения. Автор, самостоятельно создавший русский перевод-версию, тем не менее не мог сгладить разницу между прежней и новой адресацией книги. То, что западному читателю или в новинку, или по крайней мере является ожидаемым подтверждением его предрассудков в отношении России, для русского читателя может обернуться труднопереносимой пошлостью (слово, которое как одно из туземных обозначений *common place*, подробно анализируется в труде наряду с *банальностью*, *тривиальностью* и *китчем*; а также *бытом* и *мещанством*). Например — пригодные исключительно для внешнего употребления, да и там, верно, навязшие на зубах рассуждения о «русской душе»: «„Русская душа“ не нуждается в „частной жизни“». У нее собственная гордость — коллективная»; «Русская душа — это Психея без психологии, внебрачная дочь немецкого романтического духа и русской литературы». И тому подобное.

Я согласна с И. Утехиным, которому самой интересной показалась «археология повседневности», построенная не на историко-литературном материале, давно перелопаченном другими, а на собственных наблюдениях и воспоминаниях (та же «коммуналка», «диссидентская» кухня, культура анекдота, бардовская песня). Однако не думаю, что лишь отсюда выкачивается, как выразился Утехин, «зерно смысла». Светлана Бойм — не только «научный работник» в весьма смутной и малонаучной области, но и отличный эссеист, мастер провоцирующего афористического стиля, который возбуждает мысль куда больше, нежели непрменные ссылки на Мишеля Фуко и Юрия Лотмана. Приведу наугад: «Общее место — это мифическое пространство, из которого интеллектуалы постоянно изгоняют себя с тем, чтобы писать элегии и метафизические трактаты на темы утраченной общности». Или: «Вирус китча — это глобальное осложнение после тяжело перенесенной болезни модернизации». Или: «В субкультуре постмодернизма критика и борьба за вкус стали считаться плохим вкусом». На странице 278 я даже нашла определение *стёба* (наконец!) — не очень внятное, но все же лучше, чем таинственная неизяснимость этого понятия.

Короче, книга, пройти мимо которой было бы досадно.

Тарусские страницы. Второй выпуск. Литературно-художественный и иллюстрированный сборник. [Составители Николай Панченко и Нина Бялосинская]. М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2003, 512 стр.

«Тарусские страницы» — это, если кто помнит, такое же мифологическое «общее место» повседневного русско-советского резистанса, как записи «на ребрах»

⁵ Впрочем, даже я знаю, что слово «тривиальный» происходит от «тривиума», начального курса из трех дисциплин в средневековой школе, в его отличии от последующего «квадривиума», — а не от «перекрестка трех дорог», как захотелось Светлане Бойм.

или бардовская песня. Я — один из уже немногих обладателей раритетного сборника 1961 года, изданного в Калуге под эгидой К. Паустовского. Там мы впервые прочитали поэму Владимира Корнилова «Шофер», повести Бориса Балтера «Трое из одного города», Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр» и Владимира Максимова «Мы обживаем землю», новые стихи Слуцкого, Самойлова, Коржавина, Винокурова, новеллистический дебют Галины Корниловой, дозированно возвращаемую Цветаеву, несравненные вещи Заболоцкого, прежде запретные. Да мало ли что еще. Уже не припомню подробностей, какую именно реакцию властей вызвала эта оттепельная акция духовного непослушания, помню только — что суровую. Путь к продолжению альманаха был закрыт. Иных уж нет — большинства. Умер недавно и Роман Левита, принимавший деятельное, пылкое участие в первом выпуске; второй ему успели показать перед самой смертью...

Листаю пожелтевшие страницы, суперобложка работы М. В. Борисовой-Мусатовой куда-то потерялась, — и одновременно гляжу на толстый роскошный том 2003 года в этом самом, вернушемся сквозь годы, супере и с отсутствовавшими прежде прекрасными фотопейзажами на форзацах. Том открывают краткое слово к читателю редактора журнала «Грани», помогавшего финансами, и мемуарно-очерковое введение составителей, из коего, как и из рецензии М. Галиной («Литературная газета», 2003, 19 — 25 февраля), узнаём, что книга должна была выйти еще в 1990 году. Но цензура рублем на книгоиздательском рынке отсрочила это событие на двенадцать лет. Слава Богу, вышли все-таки!

Список имен — не менее убедительный, чем в первый раз: Бродский и Солженицын (в их прикосновенности к Тарусе), Всеволод Иванов и Осип Мандельштам с «Четвертой прозой», главы из автобиографического романа Окуджавы и рассказ Ф. Горенштейна, стихи известнейших поэтов-шестидесятников (и не только их) в рубрике «Тарусские чтения»; воспоминания Юрия Домбровского и о нем самом. И Глазков, и Чичибабин, и Галич, и Фрида Вигдорова.

Превосходно. Но, простите за тривиальность, нельзя дважды войти в одну реку. Контекста не вернешь. Даже двух контекстов. Одного — «сопротивленческого», когда второй выпуск «Страниц» оказался бы победой над нашими конвоирами. Другого — эпохи «перестройки и гласности», когда такая акция стала бы знаменем обретаемой свободы слова и мысли. Теперь — остается только ностальгия (тем, кто ностальгирует, я не из их числа) по уже пережитому в реальности и в чтении. Настоящей победой может стать третий выпуск, с преобладанием совершенно новых имен при сохранении, что почти недостижимо, прежней атмосферы. Так сказать, эстафета поколений. Замыслено ли такое, мне неизвестно.

-1

Л. Ф. Луцевич. Псалтырь в русской поэзии. СПб., «Дмитрий Булавин», 2002, 608 стр.

Я, наверное, несправедлива к этой книге, вполне добротной и очень информативной. Но я купила ее тридорога, привлеченная темой, мне небезразличной, и авторитетом издательства. И потом немного пожалела о потраченных деньгах.

Во-первых, я, как всегда, торопилась при покупке и, доверившись исключительно титульному листу, не углядела, что труд Людмилы Луцевич охватывает только XVII — XVIII века, а мне хотелось — чтобы и о Федоре Глинке, и о Хомякове с Языковым. Во-вторых, у автора культурно-религиозный подход несколько преобладает над филологическим, а меня на сей раз поэтика русского стихотворства означенных веков интересовала больше богословской стороны. И в-третьих, — вроде бы мелочь, но она-то и оттолкнула больше всего. В «Приложении», где среди других образцов особенно приятно было обнаружить «Три оды парафрастические псалма 143, сочиненные чрез трех стихотворцев» (поэтическое соревнование Сумарокова, Ломоносова и Тредиаковского), при переводе текстов на новую орфографию встречается путаница «ять» с «ер» и «ерь», отчего безграмотно нарушен метр. Напри-

мер, «*Правителе* бесконечна века!» вместо правильного в ямбической строке: «*Правитель* бесконечна века!» И это — в фундаментальном научном издании.

Нет, конечно, я необъективна. Я еще вернусь к чтению этой монографии и, вероятно, оценю ее по-другому.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО

Молодым режиссерам не хватает «дедовщины»

Приятно чувствовать себя первооткрывателем, говоря: «В Молодежном театре появилась настоящая драматическая актриса! Ее зовут Дарья Семенова». О том, что в Москве появилась целая футбольная команда молодых режиссеров, сегодня говорят все. Их складывают, ставят в затылок друг другу, тасуют, выстраивая то по алфавиту, то в иной последовательности. Им нельзя отказать в одном — в единстве места, времени и образа действия. Всякие иные попытки найти «связующие нити» почти всегда наталкиваются на сопротивление материала. Их объединяет одно на всех нежелание связывать себя, свое имя с каким-то конкретным театром. Вроде бы то, что вовсе не имеет отношения к стилю и творческому методу. Потом вдруг оказывается, что имеет. И это — часть стиля. Стиля самого времени, когда глубокие корни пускать времени нет.

Назовем и мы: Елена Неvejeина, Ольга Субботина, Нина Чусова, Кирилл Серебренников, Миндаугас Карбаускис, Василий Сенин, Николай Рошин, Владимир Агеев. Когда ищут сравнений, обращают взоры, как сегодня принято, к Санкт-Петербургу, вспоминают тамошний недавний расцвет — почти одновременное появление Юрия Бутусова, Григория Козлова, Александра Галибина, Григория Дитятковского, а также примкнувших к ним, их искания поддержавших Анатолия Праудина и Клима. Сравнивают их, питерскую волну — с нашей, московской. У них, правда, не было такого раннего взлета, такого раннего начала. Их называли молодыми с учетом прежнего, советского опыта, когда писатели, например, ходили в молодых лет до сорока пяти, а то и до пятидесяти.

Но ведь у нас в Москве было и свое, московское, поколение, поколение «Творческих мастерских», — Александр Пономарев, Владимир Мирзоев, Михаил Мокеев, Владимир Космачевский-мл., тот же Клим (если можно так о нем сказать — периода московского «вероисповедания»).

И вот что оказывается важным и вдруг проявляющим единство прежних и их отличие от нынешних молодых. Достаточно взглянуть на репертуарный выбор Пономарева или Мирзоева, чтобы обнаружить сродство: их выбор в своем роде религиозен. Не важно, каких философско-религиозных посредников они себе назначали. Кто это был: Клодель, Гурджиев, или так любимые и так театрально понятые Пономаревым обэриуты, или Хлебников — дающий особый вариант словесного, филологического сектантства. Они «выкапывали», вытаскивали на свет божий безусловно метафизических авторов, философов, разбирались в их рациональных и иррациональных «схемах», даже в простых, на первый взгляд, сочинениях, искали метафизический слой, углублялись в подсознание героев, пытались переосмыслить их давно известные «классические» слова и поступки. И сами выглядели как какая-то отшельническая каста внутри канонического театра.

Нынешние молодые, кроме, пожалуй, Елены Неvejeиной, этой религиозной рефлексии лишены. Если же таковая имеется, то она не находит воплощения в сценических формах и на поверхность выходит во внетеатральной рефлексии.

Отсутствие «религиозных подпорок» чувствуется и в том, как мало надежд связывают молодые с будущим. Не веря в иную жизнь или какое-либо высшее предназначение, они все вкладывают в сегодняшний день, все силы бросают на «теку-

шие нужды». Молчание Мирзоева, порой затягивающееся, грозящее кризисами, уходом из профессии, им не по нутру.

С другой стороны, сама жизнь — заманчивыми предложениями — мешает паузам и раздумьям. Спрос на начинающих невероятно велик. Их рвут на части, после первой же удачи объявляют звездами, надеждой русской сцены и невесть кем еще, в борьбу за право следующей ночи вступают степенные театральные академии. Например: молодой актер Театра имени Вахтангова Павел Сафонов поставил дипломный спектакль с выпускниками Щукинского училища. И все затрепетали, заговорили о рождении в Москве нового, по-настоящему яркого режиссерского дарования. Не видел, верю на слово. Но какая же вмиг разгорелась борьба! Сам Ульянов предложил ему постановку в Вахтанговском театре, остановились на «Чайке», в которой Людмила Максакова (тоже — сама!) изъявила желание сыграть Аркадину. Что из этого выйдет — бог весть, хочется надеяться, что речь — о действительном даровании и о настоящем таланте. Но как же трудно родиться и стать на ноги, когда этим самым ногам не дают «опомниться», набраться сил... Ничто не располагает к ученической покорности и сосредоточенности в обретении профессиональных навыков.

Они и существуют здесь и сейчас. Так, впрочем, и полагается театральной реальности. Но то же самое увлечение сиюминутным, нежелание что-то откладывать «на потом», летучий характер их существования (сегодня — здесь, а завтра — там) могут свидетельствовать о коротком дыхании. О боязни раздумий и размышлений, которые неминуемо бы вскрыли тщету многих их забот, необязательность усилий, недоволощенность даже лучших замыслов. Куда сильнее они озабочены внешними проявлениями, пытаются прорваться к «правде жизни», ею — шокировать, поразить воображение сытой публики.

Отсюда — увлечение документальным театром. Эта страсть к документу тоже особого рода: молодых режиссеров, в их большинстве, не интересует жизнь в ее спокойном и плавном течении, жизнь «середины». Их правда всегда с помойки, по точному замечанию Татьяны Шах-Азизовой на дискуссии, как раз и посвященной новому режиссерскому поколению (в газете «Дом актера»). Справедливости ради уважаемым историком театра тут же был приведен в пример Золя и другие искатели неприкрашенной правды разных лет и эпох.

Наверное, поискам молодого поколения необходима поддержка, но вряд ли помогут его и без того нелегкому становлению (среди отягчающих обстоятельств — потеря вкуса к сложному в искусстве) те подпевалы, пиар-менеджеры и толкачи, которые каждую новую работу объявляют эпохальным событием. Это тешит тщеславие, это может заморочить голову и «потенциальному потребителю», но сами спектакли от этого, конечно, не делаются лучше.

Называя этих режиссеров «поколением», пытаются «синхронизировать» время их сценических дебютов, найти сродство в любви к новой драматургии — пьесам ровесников, в предпочтении, которое они отдают малым, экспериментальным пространствам. Но есть и иные общие черты. Большинство тех, кого причисляют к надежде русской сцены, пока показывает свой талант в орнаментальном существовании, рядом с пьесой. Они сильны в этюдах, в фантазировании и прочтении отдельных сцен (и часто выбирают тексты, сложенные именно так, «рвано», иначе говоря — позволяющие представить их серией сцен-клипов, или те, которые не сопротивляются такому прочтению). Об Эфросе, помнится, говорили, будто бы он «ошинелил» «Женитьбу», а про Мейерхольда — что в «Ревизора» сумел втеснить всего Гоголя. Нынешние, напротив, такого мировоззренческого, широкого охвата избегают и, даже когда берут произведение целиком, дают *этюды* по мотивам великой, чаще всего — родной, русской, литературы. Конечно, современная драматургия, для которой вполне естествен и рваный ритм, и отсутствие мировоззренческих претензий, им ближе и проще в воплощении. Поэтому новой драматургии они почти всегда равны, а большой — так часто проигрывают. Поэтому большую они снижают сокращениями или, например, адаптацией: приглашают «посредника», как это сделал Кирилл Серебренников, когда предложил Нине Садур написать прологи к пьесе Теннесси Уильямса «Сладкоголосая птица юности» (или как Нина Чусова, у которой русские актеры играют «Двенадцатую ночь» на английском и которая веселит как бы «по краям» Шекспира, не доверяя собственному шекспи-

ровскому смеху). В итоге усилия идут на то, чтобы не пришлось, не дай бог, вставать на цыпочки перед Шекспиром, Уильямсом или Ибсеном. Потому многих из нынешних молодых верно было бы назвать режиссерами-дизайнерами (или — дизайнерами-постановщиками).

А все эти размышления рождают новые вопросы. Почему, к примеру, прежде в режиссуру приходили позже, а к самостоятельной работе подступали далеко не в первый год после окончания вуза? На режиссерские курсы после школы не брали. И это, наверное, правильно. Перефразируя Ленина, режиссер должен обладать знаниями, опытом, которые выработало человечество. Этого в нынешних молодых режиссерах нет.

Некоторое время тому назад я побывал в одном большом сибирском городе и там услышал занимательную историю, годящуюся сойти за анекдот. Большой академический театр направил представление на очередное звание одному из своих актеров. И вскоре представление вернулось обратно. Местная инспекция по наградам требует, чтобы в представлении непременно наличествовал абзац, где бы говорилось о гражданской позиции соискателя, отдельно потребовали отразить вклад актера в укрепление российской государственности. Улыбнемся в ответ и отнесем эти новые-старые требования на счет административного восторга местной власти. И тем не менее. Очевидно, что, если бы такие представления пришлось оформлять на наших молодых режиссеров, то в графе «гражданская позиция» надо было бы ставить прочерк. Нет у них, кроме, пожалуй, Невежиной, гражданской позиции. У актера ее может не быть. Режиссеру она необходима. Режиссер, мне думается, непременно должен иметь собственное мировоззрение (к примеру, в среде западноевропейской интеллигенции — все, как один, левые либералы или коммунисты: Джорджо Стрелер, Шерли Мак-Лейн, Ванесса Редгрейв, Петер Штайн).

Но для гражданской позиции (тем более — для ее публичного «обнаружения» в сценических формах) нужна зрелость. А нынешние молодые — пожалуй, слишком уж молоды, в самом облике их (даже когда они бородаты и высокорослы) — трепетность и незащищенность. И в общем-то, мы не можем сказать, долго ли они просуществуют — как генерация или каждый в отдельности. Любой из них в следующий момент может «закончиться», потому что быстро выкладывается «на первых километрах». Возникает ощущение исчерпаемости энергии, запас которой не слишком велик, а траты — не по размеру.

И еще одно, последнее, однако же существенное замечание. Они все лишены опыта подмастерья (Роман Самгин, который работает в Ленкоме, тут выпадает из ряда, он — рядом с Марком Захаровым, отчего ему, конечно, проще, хотя одновременно зрителям и критикам бывает трудно отделить его работу от соучастия мастера). В былые времена молодым подолгу приходилось выковывать свой стиль, работая «на подхвате». Разминать материал, доводя работу до какой-то предпоследней или даже последней стадии, когда к делу наконец подключался художественный руководитель постановки. Приносить выношенные идеи на алтарь чужой славы, годы и годы оставаясь в тени («...ему подушки поправлять... и думать про себя: когда же черт возьмет тебя!..»). И в эти годы набираться опыта, мастерства, складывая стиль и гражданскую позицию.

Право слово, «дедовщина» в режиссерской профессии — чрезвычайно важная вещь.

КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

ЧЕЛОВЕК ЛЮБЯЩИЙ

Недлиная история XXI века насчитывает два ключевых (или назначенных таковыми в масс-медиа — что, по сути, одно и то же) поворотных события. Первое — самоубийственная атака исламских террористов на башни ВТЦ, вто-

рое — победоносное свержение злодейского режима Саддама Хусейна. 11 сентября 2001 года уничтожило иллюзии по поводу бесконфликтного, бескровного распространения глобальной цивилизации. Месяц боев в Ираке показал, что цивилизация готова к бою и все равно будет распространяться, невзирая на разного рода кровопускания. Так что за нее (то есть цивилизацию) можно пока что не беспокоиться.

С культурой сложнее. Трудно сказать: детонировал ли взрыв небоскребов в Нью-Йорке или сказала внутренняя логика культурных процессов, но в начале третьего тысячелетия стала вдруг ясна полная исчерпанность постмодернистской концепции человека. Того самого свободного, наделенного правами, социально защищенного и нацеленного на успех либерального индивидуума, чей гордый профиль реет на знаменах глобализации. Постмодернизм как конгломерат философских теорий, культурных практик и медийных технологий был замешен на убеждении, что людей вполне можно заставить жить вместе и подчиняться единым законам, не залезая, так сказать, в сферу их заветных, личностных убеждений. И в абстрактных штудиях, и в конкретных рекламно-имиджевых стратегиях постмодернизм обращался к внешним, социально обусловленным, открытым для всевозможных манипуляций слоям человеческого «я». Всякий же разговор о «подлинном», «истинном», «Абсолютном» был табуирован как верх неприличия, как вторжение в частную жизнь, как постыдный культурный анахронизм.

И вдруг, повторяю, не знаю опять-таки, что повлияло; возможно, тревожное ощущение внутренней пустоты и духовной неоснащенности перед лицом возможных исторических потрясений, но в культуре возникло некое веяние, смутная потребность, наплевав на все табу и запреты, прикоснуться к реальным метафизическим основаниям бытия. Мне трудно судить, как это происходило и происходит в других видах искусства, но в кино палиндромный 2002 год был отмечен появлением ряда фильмов, где различимо стремление (страшно даже такое выговорить!) к поискам Абсолюта.

Это стремление не породило ни новой мифологии, ни нового языка; все, о чем говорится в этих картинах, понятно и близко каждому. Единственным данным нам в ощущениях образом и подобием Вечного оказался сам человек. Но не «человек разумный», не «человек успешный», не «человек — покоритель природы» и «создатель идеальных социальных миров», даже не «человек, играющий интеллектуальными обломками всех возможных культур и цивилизаций», а «человек любящий» — *Noto amogens*. Возвышенные истории об идеальной любви, не ведающей корысти, не подвластной запретам, презирающей нормы ползучего здравого смысла и побеждающей самую смерть, — вдруг появились одна за другой на экранах мира, приковав к себе внимание фестивальных отборщиков, продвинутой публики и самого широкого зрителя.

«Поговори с ней» Педро Альмодовара — история любви больничного санитаря к девушке-балерине, лежащей в коме. Существо неподвижное, растительное, лишенное разума, речи, возможности ответить взаимностью и проч., он воспринимает как абсолютно полноценную, неповторимую личность и своей самоотверженной преданностью поднимает-таки любимую на ноги, заплатив за ее воскрешение жизнью.

«Оазис» южнокорейского режиссера Ли Чон Дона — сага о любви бестолкового городского охоломана и девушки, страдающей церебральным параличом, снятая так, что к концу все «нормальные» персонажи картины выглядят уже какими-то недочеловеками, Богом обиженными существами, лишенными главного, что превращает самодовольных цивилизованных приматов в людей.

«Куклы» Такеши Китано. Одна из трех новелл, рассказанных в фильме, — история молодого человека, который бросил возлюбленную, чтобы по настоянию семьи жениться на дочке босса, но, узнав во время свадьбы, что оставленная невеста пыталась покончить с собой и сошла с ума, отыскал ее, взял из больницы, чтобы путешествовать вдвоем, собирая милостыню, сквозь ослепительно прекрасные «времена года». Связанные красной веревкой, они бредут мимо цветущих вишен, летних холмов, пылающих киноварью кленов и заснеженных далей, и когда их чувства достигают абсолютного, мифологического просветления, режиссер одевает их в костюмы персонажей кукольного театра Бунраку, и влюбленные погибают,

повиснув, как куклы, над пропастью, зацепившись за дерево связавшей их навеки веревкой. В японской культуре, не знающей загробного воздаяния, Абсолют может быть достигнут в посясторонней жизни ценой неустанного совершенствования в искусстве ли владения мечом, каллиграфии, музыки, самоотвержения и любви. Достигшему высот, совпавшему с универсальным законом мироздания, — смерть уже не страшна; она — итог состоявшейся жизни.

Все эти очень разные ленты объединяет не проповедь милосердия к больным и убогим, но проповедь любви как таковой, свободной от всех привычно ценимых современным человеком вещей: защищенность, богатство, успех, красота и даже здоровье... Все это притчи, действие которых разворачивается вне норм и рамок цивилизации; и радикальный, экстремальный характер изображаемых здесь любовных коллизий обусловлен стремлением отделить все так или иначе снабженное ценниками в супермаркете современной культуры, — от главного, цены не имеющего... Остается не так уж много: жизнь и готовность разделить ее с другими, то есть любовь...

К ряду картин, бескомпромиссно ревизующих постмодернистскую концепцию человека, относится и лучший, на мой взгляд, фильм 2002 года — «Человек без прошлого» Аки Каурисмяки. Фильм вроде бы типичный для Каурисмяки: те же актеры, та же маргинальная среда, тот же антибуржуазный пафос, тот же сокрушительный юмор... Но никогда еще финский режиссер не работал столь последовательно в жанре идиллии, где все экранные коллизии (ну если не все, то процентов на девяносто) в обязательном порядке разрешаются к лучшему. При этом идиллия разворачивается как бы за гранью жизни и смерти. Работяга (Марку Пелтола) приезжает в чужой город, его избивают местные хулиганы, он попадает в больницу, доктор констатирует смерть, и тут-то герой восстает из мертвых, чтобы начать новую жизнь, где все уже идет так, как надо.

(Кстати, тот же мотив «символической смерти» героев есть и в «Кукушке» А. Рогожкина. Там оба мужика — солдаты воюющих армий, русский и финн, — в прямом смысле выбираются с того света: финн первые десять минут отковыривает себя от скалы, к которой его приковали, осудив на смерть; русского везут на допрос в НКВД, чем это может кончиться — тоже ясно. И лишь чудом избежав неминуемой гибели, они попадают в первобытный, природный рай, где царствует чудная саамская женщина, заставившая их отказаться от «глупостей», которые принуждают людей убивать друг друга, и владеющая древним шаманским секретом возвращать мужчин из унылого «царства мертвых»¹.)

Итак, воскреснув, герой Каурисмяки начинает жизнь с нуля. Он все забыл. У него нет ни имени, ни дома, ни друзей, ни работы, ни банковского счета, ни медицинской страховки... Ему предстоит выжить, опираясь лишь на внутренние ресурсы, на изначально заложенную в человеке программу естественной, нормальной реализации. И он выживает. Да еще как! Его не тянет к земле груз ошибок и неудач, комплексов и социальных фрустраций. Он свободен от кокона социальных связей, гарантий и обязательств. Общество не в состоянии дергать его за ниточки, ибо он для общества просто не существует. Человек как продукт социальных манипуляций — исчез, остался «внутренний» человек как самостоятельный источник энергии, средоточие силы жизни... И, движимый безошибочным внутренним компасом, он находит все, что ему нужно для счастья. Друзей — бездомных, живущих на пустыре и наделенных невероятным чувством собственного достоинства. Женщину (Кати Оутинен) — некрасивую старую деву из Армии спасения, на глазах расцветающую от любви. Работу, крышу над головой, собаку — очаровательную беспородную девочку по имени Ганнибал, клочок земли, где он, разбив огород, сажает восемь разрезанных пополам картофелин... Не последнее место в этом списке необходимых для счастья вещей занимает музыка. Вместе с холодильником этот «новый Робинзон» притаскивает с помойки к себе в железный вагончик сломанный музыкальный автомат, и рукастый приятель-электрик тут же налаживает машину (на вопрос: «Что я тебе должен?» — мастер отвечает: «Если увидишь, что я пьяный лежу лицом в луже, — переверни»). С помощью этого автомата герой обу-

¹ Другое мнение о фильме «Кукушка» — в «Кинообзоре» Игоря Манцова («Новый мир», 2003, № 6).

чает музыкантов из Армии спасения играть рок-н-ролл. Уставшие от своих унылых «божественных» песнопений, они тут же включаются; и, сидя рядом на продавленном диване в преображенном логове героя, дружно отбивают такт начищенными носками ботинок. Устраивается вечеринка; морщинистая, как печеное яблоко, начальница «добрых самаритян», тряхнув стариной, принимается петь о любви; бомжи приглашают на танец дам, и жизнь становится настолько прекрасной, что толстый охранник, готовый срубить деньгу везде, где людям светит что-то хорошее, норовит продавать на импровизированную вечеринку билеты.

Понятно, что это клоунское, «домашнее» воплощение власти никого не пугает. Трения и сложности возникают при соприкосновении с властью реальной. Но и тут все кончается хорошо. Из полицейского участка героя вывозят словно с небес спустившийся адвокат. («Кто вас прислал?» — «Армия спасения».) А когда настойчивая полиция все же докапывается: кто и откуда родом «человек без прошлого», когда выясняется, что у него есть семья и счастливой идиллии на «обитаемом острове», казалось бы, приходит конец, — выясняется, что жена с героем уже развелась и ничто не мешает ему вернуться к той жизни, где он нашел свое счастье. Постояв на крыльце и задумчиво выкурив по сигаретке с новым ухажером супруги, успокоив его, что «драться не видит причины», герой едет к себе домой. Там, на темном пустыре, его вновь поджидают бандиты, но в решающий момент новые друзья-товарищи появляются из темных щелей, дружно встают у него за спиной и обращают темные силы в бегство. В клубе, где старушка из Армии спасения поет песню про чудный парк Монрепо (это и впрямь одно из самых красивых мест на земле), герой встречает возлюбленную, они уходят к себе, и их скрывает от нас проезжающий поезд...

При всей очевидности и даже банальности сюжетных ходов автор демонстрирует такую восхитительную непредсказуемость и при этом абсолютную точность на уровне деталей, реплик, актерских реакций, что при каждой смене планов хочется ущипнуть себя за руку: этого не может быть! Так не бывает! Вот уж воистину — полная свобода, абсолютное торжество над нормами и стандартами потребительской цивилизации. Голливуду остается только кусать себе локти и отказать режиссеру в «Оскаре», ехать за которым тот, впрочем, и не собирался. Нужен ему этот «Оскар»? Хотя тоже случай, в общем-то, небывалый: впервые за пару десятилетий, что Каурисмяки снимает свое кино, он попал в струю ожиданий: получил второй по значению приз в Канне, номинацию на «Оскар»... Потребность в «настоящем», рожденная тревогой и неуверенностью в завтрашнем дне, вдруг выдвинула гениального финского маргинала в ряд общепризнанных культурных героев.

Неожиданной рифмой к «Человеку без прошлого» в российский кино стал помимо осыпанной наградами и призами «Кукушки» фильм с гораздо менее счастливой судьбой — «Пастух своих коров»² А. Гордона. Обвиненный в беззастенчивом дилетантизме, «Пастух» провалился в Сочи, не был взят для проката ни одним кинотеатром, и если бы не показ по телевизору, фильм вообще бы не встретил своего зрителя. Наверное, есть множество оснований для упреков картины в дилетантизме, но «живого» в нашем кино еще меньше, чем «правильно сделанного», и при ближайшем рассмотрении дебют А. Гордона, оказывается, совсем не так плох, да и не так прост, как показалось вначале. Это тоже своего рода притча (хотя в основе — реальная история и поныне здравствующего деревенского чудака), и речь в ней идет о тех же сакраментальных, растабуированных предметах, что занимают старших товарищей из развитых капиталистических стран: о смысле жизни, о «внутреннем» и подлинном в человеке, о том, что, собственно, позволяет ему сохраниться на этой земле. Только это сказка с «плохим» концом, где основные жизнеутверждающие тезисы доказываются «от противного».

Как и «человек без прошлого», герой Гордона вываливается из лона цивилизации (но не потому, что его ударили по голове, а добровольно, точнее, по причине некой своей изначальной «ушибленности»), так же, как персонажи «Кукушки», он погружается в исполненный могучих стихийных энергий природный рай, только

² Об этом фильме см. также в «Кинообзоре» Игоря Манцова («Новый мир», 2002, № 10). (Примеч. ред.)

не воскресает в этом раю, а погибает, причем с жестокой, неумолимой закономерностью. Однако гибель его — не трагедия, скорее — грустный, трагикомический казус; о ней повествуется с той назидательной печальной усмешкой, с какой рассказана, к примеру, притча о незадачливости слуги, закопавшего талант, или о «неразумных девах», не успевших запасти масла.

Вот живет себе городской человек в деревне, пасет коров: не урод, работающий, непьющий, незлой, из хорошей семьи, хозяйство какое-никакое имеется... Но годы идут, и пространство вокруг него все пустеет... Невеста бросает, деревенские красавицы и глядеть в его сторону не хотят; отец умер — никто из соседей даже не вышел его проводить... Гроб с телом отца герой волочет на кладбище по замерзшей реке в одиночку... Мать замыкается, стареет, утрюмее; сестра кончает с собой, а сам герой все больше отдаляется от людей. Для всех он — помеха, всем — и «деревенским», и «дачникам» — поперек горла его бессмысленно разросшееся стадо. В конце концов он обосновывается со своими коровами на острове, и все его контакты с людьми сводятся к тому, чтобы время от времени полагаться с инспектором рыбнадзора, запрещающим ставить сети. У него даже собаки нет. Был пес по кличке Туман, да умер, а притираться, привыкать к незнакомому существу — не хватает душевных сил. Так и живет: ловит рыбу, валит лес и в одиночку пытается выстроить дом, катая, как Сизиф, тяжеленные, непослушные бревна.

В один прекрасный день Николай (В. Черняев) вдруг вознамеривается пойти в церковь за двадцать верст, свечи поставить: за отца, за сестру... Коров оставить не на кого (мать говорит, что без него их всех точно пустят в расход), и потому стадо берет он с собою в паломничество. Во время ночевки в лесу ему снится сон: разрушенный храм, посередине — старое кресло, из алтаря выходит в сияющих ризах батюшка о. Симпатий (с виду — вылитый покойный сосед по кличке Божок). Он исповедует Кольку: «Пьешь?» — «Нет». — «Прелюбодействуешь?» — «Тоже нет». — «Зла кому желал?» — «Нет». — «Унываешь?» — «Да когда мне?» — «Экое окамененное бесчувствие! — говорит батюшка, положив руку на голову героя. — Ты — не ангел, ты — личинка ангела, смердящая, жрущая... И чтобы вылупиться, трудиться надо». — «Я и так тружусь день и ночь». — «Не тем местом трудишься. Молиться надо. У тебя хоть баба-то есть?» — «Нет». — «А песни поешь?» — «Некогда мне...» Покачав головой, о. Симпатий отпускает Кольку, велит: «Приходи осенью, когда песни выучишь».

Забавно, с какой точностью, словно негатив и позитив, отражается в «Пастухе» ситуация «Человека без прошлого». Там герой, начиная новую жизнь, первым делом находит себе бабу, собаку, друзей по несчастью, обучает людей петь нормальные песни — и спасается. Здесь — ни бабы, ни песен... И в грозовую, ненастную ночь, когда бедолага пытается укрыться от дождя под защитой незавершенного сруба, огромное незакрепленное бревно, самолично, с гигантскими усилиями поднятое им наверх, падает на него, отпустив на свободу, оборвав эту зашедшую в тупик, никчемную, одинокую жизнь.

Человек, испугавшийся или заленившийся быть человеком, попытавшийся сбежать от жизни, от людей, возжелавший стать частью природы, — уничтожается и пожирается ею, как трухлявое дерево, как пожирает и уничтожает природа все мертвое, не имеющее в себе источников жизни.

Душевная робость и лень, неспособность любить, окаменение сердца — одна из самых распространенных бед человечества. Больше того — не в социуме, не в природе, не в геополитике, не в столкновении цивилизаций, а в этой вот внутренней пустоте и таится настоящая угроза гибели человеческого рода. В момент перемены дат, на пороге нового и непредсказуемого витка истории кинематограф попытался напомнить об этом. Возможно, жизнь войдет в свои берега, цивилизация потребления и успеха с несокрушимой мощью станет распространяться по миру; гуманистическое веяние стихнет, и разговоры «о смысле жизни» вновь покажутся неуместными. Но был момент, когда эти голоса прозвучали и даже были услышаны. Не заметить такое — было бы тоже неправильно.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

Московский центр непрерывного математического образования

Сегодня речь пойдет о сайте Московского центра непрерывного математического образования (МЦНМО) www.mccme.ru, созданного главным образом усилиями сотрудников Независимого математического университета (НМУ). Это новый математический университет, организованный менее трех лет назад ведущими российскими математиками (Лицензия на право ведения образовательной деятельности номер 24-0307 от 22 ноября 2000 года), которые сделали попытку выстроить с чистого листа всю систему математического образования, для чего и существует, в частности, МЦНМО.

Цели и задачи Центра сформулированы так: «Московский центр непрерывного математического образования ставит своей целью сохранение и развитие традиций математического образования в г. Москве, поддержку различных форм внеклассной работы со школьниками (кружков, олимпиад, турниров и т. д.), методическую помощь руководителям кружков и преподавателям классов с углубленным изучением математики, поддержку программ в области преподавания математики в высшей школе и аспирантуре, в научной работе и преподавании.

Центр является некоммерческой организацией и не ставит своей целью извлечение прибыли. Обучение школьников и студентов, которое проводят различные организации в рамках программ Центра, является бесплатным для учащихся».

Некоммерческий характер Центра очень важен — все материалы, выставленные на сайте (а это уже сегодня огромное собрание, и на некоторых я остановлюсь подробно), распространяются бесплатно, все кружки и математические школы, на которые дает ссылки Центр, — бесплатны. Единственной условно платной продукцией, которую предлагает Центр, являются книги издательства МЦНМО. «Условно» — потому что очень многие книги этого издательства представлены здесь же на сайте в свободном доступе.

Математическое образование должно быть непрерывным. Эта мысль прямо выражена в названии МЦНМО. Математическое образование начинается в средней школе и, в принципе, охватывает всю деятельную жизнь человека, сопровождает его все то время, пока он включен в процесс изучения математики или процесс получения математических результатов (тем более, что это один и тот же процесс). Это попытка провести непрерывную линию между школой, университетом и дальнейшей научной работой — без скачков и разрывов, неизбежных сегодня при переходе из школы в вуз. Центр старается решить эту задачу в одном, но важном частном случае — в обучении математике. Но это вовсе не значит, что материалы, собранные на сайте, интересны только вундеркиндам или их учителям. Здесь можно найти задачи и статьи любого уровня. И это тоже важно.

Тем не менее то математическое образование, которому посвящен сайт, не предполагает особой массовости — оно, конечно, не всеобщее. Но нет и никакой особой элитарности. Сообщение о 66-й Московской математической олимпиаде: «Городской тур для 8 — 11 классов состоялся в воскресенье, 2 марта 2003 года с 10 часов утра в зданиях МГУ на Воробьевых горах. В нем приняли участие более 2307 человек» (<http://www.mccme.ru/olympiads/mmo>).

На математический праздник, куда приходят ученики 6-х или 7-х классов, тоже собралось около 1238 участников.

Это совсем не мало. Даже для очень большого города. И это значит, что проблемы, которые решает Центр, касаются многих тысяч учеников, их родителей и учителей. А ведь олимпиады проходят не только в Москве, и все результаты и задачи доступны именно на сайте.

Я довольно давно наблюдаю происходящее в Московском университете в дни городских олимпиад. Сначала как участник, потом как отец участника. Все здесь понятно и знакомо и совершенно неотъемлемо.

Когда дети выходят из аудиторий возбужденные, растерянные, сосредоточенные, еще не отпущенные на волю цепкими лапками нерешенной задачи, они

очень красивы. Красивыми их делает одухотворенность — отчетливо видимая работа мысли. Вдруг: как же я не догадался! как же все просто на самом-то деле! Почти отчаяние, почти слезы. Ну что ж, бывает.

Идеи МЦНМО правильные и нужные. Конечно, необходимо объединять усилия преподавателей математики в разных школах города и страны. Конечно, необходима информация о кружках и математических классах. Необходимо издание научно-популярной литературы о математике и физике, которое практически прервалось в девяностые и вновь понемногу начинается в последние годы, в частности, издательством МЦНМО. И одной из важнейших задач является переиздание огромной, накопленной за целые десятилетия замечательной научно-популярной литературы.

Один из самых впечатляющих проектов Центра — собрание всех номеров журнала «Квант» (<http://kvant.mccme.ru>) начиная от самого первого номера 1970 года. Когда вышел первый номер, я был еще слишком юным, чтобы читать этот трудный журнал, и прочел я его уже на сайте Центра. С трепетом и замирающим сердцем. Уже за одно только это ощущение я благодарен создателям проекта.

Он еще не завершен. Но уже сегодня на сайте выставлены журналы с 1970 по 1988 год, за 1991-й и отдельные номера последних лет. Все журналы необходимо собрать и выставить. Я верю, что это будет сделано.

Журнал «Квант» — это научный журнал для школьников, посвященный математике и физике. Людям моего поколения не нужно объяснять, что это такое. В последние годы, конечно, тираж журнала резко упал, и это связано с целым комплексом условий — в частности, с катастрофическим падением престижа математического и вообще фундаментального образования. (Об этом много и глубоко говорит академик Арнольд, собрание статей которого — один из самых интересных материалов сайта Центра.) «Квант» продолжает выходить. Когда-то он был практически единственным всесоюзным научно-популярным изданием такого высокого уровня, которое собрало лучших математиков и физиков страны. Огромное внимание «Кванту» уделял великий математик Андрей Колмогоров.

Журнал пронизан ощущением поиска и открытия. Рассказать о глубокой математической проблеме, не привлекая (или почти не привлекая) сложный технический аппарат, на овладение которым требуются иногда годы напряженной работы, очень трудно, но авторы «Кванта» находили и находят нужные слова.

Сейчас очевидно, что собрание статей журнала — это золотой фонд и математического образования, и даже математической науки — потому что статья для «Кванта» всегда требовала от математика отойти на шаг от своей узкой проблематики и взглянуть на нее глазами заинтересованного социума — то есть извне. А это совершенно необходимо, например, для того, чтобы понять: нужно ли кому-то еще то, что я делаю. К статьям журнала следует возвращаться — и снова перечитывать и переоткрывать проблемы и идеи, однажды поднятые на его страницах. Теперь все это есть на сайте.

Естественным дополнением и развитием статей «Кванта» является серия «Библиотека математического просвещения» — издание лекций, прочитанных ведущими математиками на Малом мехмате — математических кружках мехмата МГУ (<http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books>). Очень многие книги серии доступны на сайте.

Математика, такая, какой она предстает на страницах «Кванта», та, которой занимается Малый мехмат, — это не тот предмет, которому, как правило, учат на уроках геометрии или алгебры в школе.

Здесь и не нужно, и не достаточно механических навыков и стереотипных умений. Здесь нужны другие способности. Это математика подлинная, которая, конечно, не сводится к знанию таблицы умножения или даже умению дифференцировать.

Это задачи, чьи решения внезапно рождаются из внешнего первоначального хаоса условий, как «магический кроссворд с проблеском истины в перспективе» (Сергей Гандлевский говорил это о поэзии, а мне всегда казалось, что и о математике тоже).

Эти задачи требуют не припоминания вызубренных заранее знаний и навыков, а умения думать сейчас и здесь, умения так повернуть условия, чтобы вдруг проявился этот неожиданный, укрывшийся в условиях порядок. Человек, даже очень хорошо выучивший школьный курс, но не понявший, как же соотносятся части того целого, которое называется языком математики (пускай даже самого начального), часто не может решить простой задачи, с какой легко справляется шестиклассник на кружке.

Николай Работнов в своей статье «Гимн Языку» писал:

«Высказывание Гиббса „Математика — это язык!“ (сделанное в университетской дискуссии о приоритетах — математика или иностранные языки) цитируют нередко, но по-настоящему не воспринимают. А воспринимать его надо буквально. На этом языке написана великая литература. Можно даже сказать — величайшая, потому что, например, по количеству несомненно гениальных авторов — их сотни — с ней не сравнится ни одна из национальных литератур на естественных языках...

Одним из признаков высшего совершенства в искусстве является лаконизм. Смею сказать — вряд ли что-нибудь сравнится в этом отношении с шедеврами математики и теоретической физики. Здесь нередки случаи, когда итогом жизни гения являются всего несколько символических строчек. Достаточно привести один пример. Уравнения электромагнитного поля (уравнения Максвелла) можно записывать по-разному, но в самой компактной, так называемой тензорной, форме они содержат всего пятнадцать символов. В этой строчечке уместается вся классическая электродинамика, она описывает принцип и детали действия всех электрических машин и приборов, распространение радиоволн и геометрическую оптику. Ее содержание расшифровывается до сих пор, разворачиваются все новые и новые лепестки этого фантастического веера» (<http://magazines.russ.ru/znamia/2002/6/rabot.html>).

Ученик, который приходит на кружок, приходит на математическую олимпиаду, который перелистывает страницы «Кванта», сталкивается именно с этим великим или даже величайшим языком.

Математика ни в коем случае не сводится к набору инструкций или правил действия с числами, формулами или геометрическими фигурами. (Нужно сказать, что на сайте находится одно из лучших собраний геометрических задач с решениями — <http://zadachi.mccme.ru>, — но, не знаю почему, оно очень часто оказывается недоступно, хотелось бы, чтобы такого рода технических накладок было меньше — эти мелочи портят и убивают очень хорошо сделанную огромную работу.) Все это необходимо уметь, но гораздо важнее другие умения: например, способность отстраниться, отодвинуться от задачи и взглянуть на нее с позиций более общих или, напротив, попытаться сначала найти частное решение для простого случая, которое потом можно было бы обобщить.

Это та математика, которая несравнимо ближе к подлинной математической науке, чем стандартный общешкольный инструктаж.

На сайте, кроме полного перечня всех математических олимпиад и их результатов, есть и список московских математических школ. Здесь есть ссылки на сайты 2-й (<http://www.school2.ru>), 57-й (<http://www.sch57.msk.ru>), 91-й (<http://www.91.ru>) и других знаменитых и новых школ. Конечно, эти школы предъявляют к ученику довольно высокие требования, и если на кружок может прийти любой ученик, то поступить, скажем, во 2-ю школу смогут немногие — уже, как правило, выбравшие математическое образование. Но и эти школы совершенно необходимы, потому что, если ребенок значительно опережает по своему математическому развитию сверстников, его потребность в познании нужно удовлетворять, его энергию нужно использовать в мирных целях, а то ведь могут пострадать и он сам, и окружающие. Если ребенок хочет учиться математике, его нужно учить — то есть создавать максимально благоприятные условия и со стороны учителей, и, что также крайне важно, со стороны коллектива одноклассников. Это и пытаются дать математические школы, хотя я далек от идеализации сегодняшнего состояния дел в специализированном математическом образовании школьников.

Одним из самых интересных и важных материалов, представленных на сайте, является, как уже было сказано, собрание статей академика Владимира Арнольда, посвященных математическому образованию (<http://www.mccme.ru/edu/index.php?ikey=articles>).

Состояние этого образования вызывает у него крайнюю озабоченность. В статье «Математика и математическое образование в современном мире» он пишет:

«Выхолащенное и формализованное преподавание математики на всех уровнях сделалось, к несчастью, системой. Выросли целые поколения профессиональных математиков и преподавателей математики, умеющих только это и не представляющих себе возможности какого-либо другого преподавания математики.

Наиболее характерными приметам формализованного преподавания является изобилие немотивированных определений и непонятных (хотя логически безупречных) доказательств. Отсутствие примеров, отсутствие анализа предельных случаев и предела применимости математических теорий, отсутствие чертежей и рисунков — столь же постоянный недостаток математических текстов, как и отсутствие внематематических приложений и мотивировок понятий математики.

Уже Пуанкаре отмечал, что есть только два способа научить дробям — разрезать (хотя бы мысленно) либо пирог, либо яблоко. При любом другом способе обучения (аксиоматическом или алгебраическом) школьники предпочитают складывать числители с числителями, а знаменатели — со знаменателями.

Математика является экспериментальной наукой — частью теоретической физики и членом семейства естественных наук. Основные принципы построения и преподавания всех этих наук применимы и к математике. Искусство строгого логического рассуждения и возможность получать этим способом надежные выводы не должно оставаться привилегией Шерлока Холмса — каждый школьник должен овладеть этим умением. Умение составлять адекватные математические модели реальных ситуаций должно быть неотъемлемой частью математического образования. Успех приносит не столько применение готовых рецептов (жестких моделей), сколько математический подход к явлениям реального мира. При всем огромном социальном значении вычислений (и computer science) сила математики не в них, и преподавание математики не должно сводиться к вычислительным рецептам.

Арнольд пишет и о том, что Колмогоров приглашал его участвовать в разработке учебников математики, по которым учились в семидесятые — восьмидесятые годы советские школьники, и Арнольд отказался от лестного и выгодного предложения по соображениям идеологическим. Потому что нельзя начинать обучение математике с аксиом. Двенадцатилетний ребенок просто не в силах понять, зачем ему нужно специально заучивать такие интуитивно совершенно очевидные вещи, как то, например, что через две точки можно провести одну, и только одну, прямую. Нельзя учить складывать дроби, вводя Дедекиндовы сечения или кольцо Гротендика. Тем более, что исторически аксиоматика очень часто не столько основание математической теории, сколько ее завершение.

Но нельзя и отказываться от доказательств тоже. Иначе математика становится тем самым набором рецептов и инструкций. Результаты — это плоды, и если я не представляю себе, как они получены, то не представляю себе и того, как можно получать новые результаты. Тогда я думаю, что яблоки растут на витринах супермаркета. А если я это усвоил с детства, то меня уже не переубедить.

Доказательства — это корни и ветви единого математического дерева. Без них математика так же мертва, как и без приложений. А доказательства должны быть корректными и строгими, что само по себе требует изучения логики и оснований математики, в частности анализа аксиом.

Владимир Успенский пишет в своей книге «Труды по нематематике»: «В 50-х годах прошлого века, по возвращении с индийских научных конференций, мои московские математические коллеги с изумлением рассказывали мне, что в Индии математику — при стандартном разделении наук на естественные и гуманитарные — относят к наукам гуманитарным. Хотя такое местоуказание математики, на мой взгляд, совершенно справедливо, я все же буду придерживаться традиционного для отечественной культуры противопоставления» (<http://www.mccme.ru/free-books/usp.htm>).

Арнольд — крупнейший в мире специалист в области дифференциальных уравнений — области, самой близкой к приложениям как в теоретической физике, так и в экономике. И его взгляд на математическое образование во многом этим определяется. Владимир Успенский — логик, и, конечно, его более интересует гуманитарная составляющая математического знания. И та и другая точка зрения совершенно правомерны и необходимы, хотелось бы только, чтобы они не входили в прямой конфликт, а дополняли друг друга и в научном исследовании, и в математическом образовании школьников.

«Я — математик», — гордо сказал Норберт Винер. «...Я все же понял „нутром“, так сказать, что я — математик: тот, кто занимается математикой, в полном смысле этого слова, так, как „занимаются“ любовью. Математика стала для меня возлюбленной, всегда благосклонной к моим желаниям» (Александр Гротендик, «Урожай и посевы» — <http://www.mccme.ru/free-books/recoltes.ps>).

Математиков уровня Винера и Гротендика в двадцатом веке очень немного. Оба они математики в превосходной степени, чистая культура профессии.

Никогда я не мог и не смогу сказать о себе так. Математика была и осталась рядом со мной. Но я не вошел в волшебный сад — как называл математику Гильберт. Я остановился у калитки. Не знаю почему. Может быть, я шел со слишком громоздкой поклажей и попросту не протиснулся в двери. А может быть, не хватило терпения и таланта.

Сейчас я с каким-то щемящим чувством слежу за тем, как мой сын делает самые первые шаги к этой калитке. Решает задачи, говорит первое «ах!». Расстраивается, не найдя очевидного (когда уже знаешь, оно почему-то всегда очевидное) решения. Он только учится говорить, я бы хотел, чтобы он научился, чтобы он почувствовал удивительную пластику смысла, которая есть только в математике. (Я работал не только в математике, и мне есть с чем сравнивать.)

Я помню, как над столом моего университетского товарища прочел написанное от руки изречение Пуанкаре: «На свете есть только две вещи, которыми стоит заниматься: изучение математики и преподавание ее». Мой товарищ был одним из первых на курсе. Все обещало блестящее будущее... Сейчас он зарабатывает себе на хлеб, преподавая абитуриентам азы, натаскивая их на вступительные... Но он остался верен императиву Пуанкаре, пусть и в таком вырожденном виде.

Однажды Гильберта спросили о его ученике. Великий математик раздраженно ответил: «Он стал поэтом, для математики у него было слишком слабо развито воображение». У меня, как и у ученика Гильберта, воображения не хватает. Не только чтобы увидеть «сумасшедшие кабардизмы» академика Фоменко, но и обычных героев обычной прозы — я могу увидеть одежду, фигуру, даже походку, но вместо лица всегда написано имя, что бы автор ни говорил и как бы его ни разрисовывал. Разве только Толстой...

Кстати, рисунки Фоменко кажутся мне не более чем профанацией тех абстракций, которые действительно видит математик (а Фоменко, может быть, и аховый хронолог, но математик-то настоящий). Они соотносятся как книга и плохая экранизация.

Когда я читал Гегеля или Шеллинга, то постоянно строил модели из Анализа и Теории множеств. Математика была и осталась для меня той осязаемой реальностью, которая помогает почувствовать гегелевский, совершенно нечитабельный на самом-то деле текст.

Говоря сегодня о математическом образовании, невозможно не коснуться реформы образования, которая висит над средней школой как дамоклов меч. У нас и на сегодняшний день одна из лучших в мире систем математического образования. И это можно утверждать вполне уверенно. По крайней мере мои однокурсники, разбехавшиеся по всем университетам мира, говорят это в один голос. То, что в США не все слава богу с математикой в школе, прекрасно знает американский президент, и зачем нам нужно копировать худший образец, понять нельзя.

«Федеральное правительство должно служить не системе, а детям.

Реформа образования будет основным направлением деятельности моего правительства.

Качество образования, предлагаемого нашими государственными школами, непосредственно касается нас всех — как родителей, как учащихся и как граждан своей страны. Тем не менее многие дети в Америке поставлены в неравные условия из-за заниженных требований, безграмотности и сомнения в собственных силах. В постоянно меняющемся мире, где от работников требуется владение все более сложными навыками, детям в буквальном смысле не находится места.

Так быть не должно».

Проект программы реформ в области образования Президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша (документ находится на веб-сайте Правительства США по адресу: <http://www.whitehouse.gov/news/reports/no-child-left-behind.html> и приведен в электронном журнале «Курьер образования» — <http://courier.com.ru/top/content/proposal.pdf>).

Я хочу обратить особое внимание на слова американского президента: *заниженные требования есть нарушение равноправия*. Именно заниженные, а не завышенные, с которыми собрались всеми силами бороться сторонники образовательной реформы.

Наша система математического образования — может быть, единственное по-настоящему хорошее из того, что досталось нам в наследство от советской системы. Так давайте его сохраним, в первую очередь в память о людях, которые эту систему образования создали. Разрушить можно, и даже легко, восстановить потом будет уже нельзя, потому что восстанавливать будет некому.

Сайт МЦНМО — это замечательный ресурс, который своим существованием и работой противостоит профанированию школьной математики, отстаивает возможность школьника избежать разлагающего влияния заниженных требований.

Александр Пятигорский в своем романе «Философия одного переулка» говорит об отношении между учителем и учеником: истина не передается, а возникает внутри коммуникации учитель — ученик. Коммуникация — это место, где есть потенциал истины.

Потенциал, возможность. Истина может возникнуть, у нее есть шанс, но не больше.

В конечном счете главное в любом образовании — это учитель. И именно к учителю в первую очередь обращено большинство материалов сайта МЦНМО. И я верю, что они ему помогут.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВОЗВРАЩЕННЫЙ МИНСК

Пишу под впечатлением только что прочитанного в вашем журнале (2002, № 12) очерка А. Е. Адам «Три дня июня 1941. Минск». Закончила свои воспоминания А. Адам скупыми словами: «3 июля 1944 года Минск был освобожден. Город отстроили и восстановили сравнительно быстро...», не пояснив, за счет чего и кого удалось в сжатые сроки восстановить Минск. Так уж случилось, что в освобождении столицы Белоруссии довелось принимать участие и нашему воинскому подразделению, прошедшему дорогами войны от Орла до Эльбы.

Почти год понадобилось нашим войскам, чтобы, сломив сопротивление противника, преодолеть расстояние от Орла до Минска. После Курской битвы особо ожесточенные бои развернулись на водном рубеже р. Сож (приток Днепра). На левом побережье Днепра войска остановились: началась скрупулезная, длительная подготовка к предстоящей крупномасштабной операции «Багратион». В результате ее осуществления была полностью освобождена от немецких захватчиков Белоруссия. К этому времени, на горьком опыте первых двух лет войны, наши полководцы наконец научились воевать. Об этом свидетельствуют блестяще проведенные операции на Курской дуге и в Белоруссии. Сосредоточив крупные силы на сравнительно небольшом участке фронта, танковые соединения при поддержке пехоты, артиллерии и авиации с нескольких плацдармов прорвали оборону противника и по сходящимся направлениям устремились к Минску. Именно они — танкисты — первыми 3.07.1944 года ворвались в город. Мы, пехотицы, конечно же, приотстали: улицы Минска заполнились проходящими колоннами пехоты только в последующие два дня.

Перед началом операции «Багратион» к нам были переброшены танковые соединения с других фронтов. От танкистов впервые услышал полюбившуюся фронтовикам песню «Огонек». Запомнилось, как они шли, обнявшись, и с особой теплотой распевали эту песню. В результате танковых рейдов по тылам противника части немецкой армии оказались разрозненными или окруженными. В этом мы убеждались неоднократно по мере приближения к Минску. На большак, ведущий к столице Белоруссии, из леса часто выходили группы ошалевших, растерянных немцев, потерявших связь со своими штабами. Единственное, что их интересовало, — это: «Куда идти?» Поскольку лишних людей в подразделениях не было, пленных направляли в сторону города без конвоирования.

Минск встретил застаревшими руинами на окраинах города. Наверное, это были следы разрушения от бомбежек в первые дни войны (в центре города здания не пострадали). Было очень жарко... Изредка из развалин выскакивали люди с бутылками в руках. Мы, пропотевшие, на ходу с удовольствием утоляли жажду этой водичкой. Для нас, фронтовиков-окопников, казалось странным и непривычным держать в руках запечатанную бутылку с этикеткой: по-видимому, немцы для расквартированных в городе карательных частей наладили выпуск безалкогольной продукции.

Минск прошли не останавливаясь. В это время на фронте создалась парадоксальная ситуация: позади — немцы, впереди — мы и оперативный простор. Гитлеровское командование исчерпало свои резервы и не могло выбросить навстречу нам свежие сформированные части. В этой обстановке командование решило оставить некоторые дивизии для ликвидации и пленения разрозненных в лесах Белоруссии немецких соединений, а остальным (в том числе нашему корпусу) было приказано безостановочно продолжать движение в западном направлении.

Как известно, в Минском котле было пленено более тридцати пяти тысяч немецких солдат и офицеров. Именно этим военнопленным вскоре суждено было пройти в сопровождении конвоя по Садовому кольцу Москвы.

С воспоминаниями о Минске того, теперь уже далекого, времени связано и другое событие. Дело в том, что возвращались мы домой от берегов Эльбы летом сорок пятого пешим ходом. Предстояло пройти немалый путь: не заслужили солдаты-победители, чтобы их привезли на Родину после окончания войны. Сейчас в кадрах кинохроники военных лет часто показывают, как встречали победителей в Москве, на Белорусском вокзале. Тем парням повезло: их привезли, да еще засняли на киноплёнку. Но почему-то стыдливо замалчивается о тех, кто возвращался летом сорок пятого пешком в просолённых от пота гимнастёрках, отмеряя в обратном направлении километры пройденного с боями пути. А таких было немало: шли миллионы. Политработники внушали нам, что делается это для того, чтобы убедить страны, по которым пройдут солдаты, что Советская Армия не стала слабее. Совсем другое объяснение дают в мемуарной литературе военачальники. Оказывается, по этому вопросу было совещание у Сталина. Поскольку железными дорогами предполагалось вывозить трофейное имущество из поверженной Германии, Сталин распорядился отправить половину войск в обратный путь своим ходом. Так своеобразно Верховный Главнокомандующий проявил заботу о защитниках Отечества.

Пройдена не одна сотня километров... Позади осталась Германия; впереди — Польша с разрушенной до основания Варшавой. Город представлял кладбище зданий, руины, готовые обрушиться в любой момент. Шли по нерасчищенным улицам: по битому кирпичу, обломкам камня и арматуры. Создавалось впечатление, что город мертв — людей на улицах не было. Совсем иную картину увидели мы в Минске. По улицам столицы Белоруссии прошли в походном строю радостные, возбуждённые, с развернутым знаменем Отдельного ордена Красной Звезды батальона. Город встретил строительными лесами и подмостками. Повсюду на строительных лесах — военнопленные: они строили и восстанавливали ими же разрушенный город. Это ли не верх справедливости!..

Понимая, откуда идут колонны людей, немцы приостанавливали работу и устремляли взоры на нас. «Привет от фрау!» — кричали из строя шутники. В ответ — улыбки... Так вторично, но уже в сентябре сорок пятого, довелось пройти по улицам возрождающегося из развалин Минска.

А. С. СЕРГЕЕВ.

Владикавказ.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Петр Алешковский. Чайки. Повести. М., «Текст», 2003, 253 стр., 5000 экз. Повести «Чайки» и «Жизнеописание Хорька».

Олег Дозморov. Стихи. Предисловие Бориса Рыжего. Екатеринбург, «Банк культурной информации», 2002, 36 стр.

Стихи екатеринбургского поэта, одного из самых «тихих» и при этом — самых заметных в новом литературном поколении. «Подумаешь, экое счастье: / что север, погода к нулю, / мне по сердцу это ненастье, / я вычурностей не люблю. / Мне нравятся нивы и рощи / нагие, без всяких затей, / а рифмы должны быть попроще: / посевней и победней».

Михаил Завалов. Имея шапку набекрене. М., Издательский дом «Парад», 2003, 80 стр.

Новое, известное разве что читателям интернетовского журнала «Топос» (www.topos.ru) имя в современной поэзии — при наличии множества уже освоенных ею и знакомых нам атрибутов (поэтически отработанное косноязычие и ориентация на «антипоэтические» формы разговорной речи, обилие прозаизмов, особый вид «соцартовского» психологизма, как бы исключающий наличие индивидуальности, вольное обращение с канонами классического стихосложения и т. д.), стихи Завалова воспринимаются как действительно новые.

Ян Каплинский. «Титаник» и льды. Перевод с эстонского Татьяны Теппе. Послесловие Людмилы Глушковской. Таллинн, «VE», 2002, 206 стр.

Проза одного из ведущих современных эстонских писателей — поэта, прозаика, драматурга, эссеиста, — тяготеющая к формам лирико-философской рефлексии.

Григорий Кружков. Англасахаб. 115 английских, ирландских и американских поэтов. Псков, Псковская областная типография, 2002, 552 стр., 2000 экз.

Книга поэтических переводов Кружкова, составлявшаяся им с ориентацией на пусть не «сбалансированную», но антологию англоязычной поэзии. Начинает он со стихов Джона Скелтона (1464? — 1529) и Генриха VIII (1491 — 1547), завершает Дагласом Данном (род. в 1942), Полом Малдуном (род. 1951) и Иосифом Бродским.

Примо Леви. Передышка. Перевод с итальянского Елены Дмитриевой. Предисловие Евгения Солоновича. М., «Текст», 2002, 191 стр., 1000 экз.

Автобиографическая проза итальянского писателя Примо Леви (1919 — 1987), автора знаменитой в Европе книги-свидетельства о жизни заключенных Освенцима «Человек ли это?» (1946). Повествование своей второй книги Леви начинает январем 1945 года, моментом освобождения из немецкого концлагеря, и заканчивает октябрем того же 1945 года — столько времени заняла дорога на родину, включившая в себя Польшу, Украину, Белоруссию, Румынию и т. д., а также месяцы жизни в советских пересыльных пунктах и лагерях (суровые условия пребывания в которых немногим отличались от условий жизни охранников).

Харуки Мураками. Призраки Лексингтона. Перевод с японского А. Замилова. М., «ЭКСМО», 2003, 144 стр., 30 000 экз.

Мураками как новеллист — «Семь изящных рассказов, сочетающих напряженную фабулу и тонкое лирическое повествование, японскую „волшебную” литературу и традиции мистической западной новеллы» («Книжное обозрение»).

Вадим Сидур. Памятник современному состоянию. Миф. М., «Вагриус», 2002, 510 стр., 7000 экз.

Художественная проза знаменитого московского художника.

Современная русская проза. 22 рассказа. Составитель Г. Дурстхофф. М., «Захаров», 320 стр., 5000 экз.

Антология современного рассказа, составленная литературным агентом из Кёльна, — Анатолий Гаврилов, Андрей Геласимов, Владимир Сорокин, Павел Крусанов, Юлия Кисина, Яна Вишневская и другие.

Николай Тихонов. Перекресток утопий. Стихотворения. Эссе. 1913 — 1929. Составление, послесловие и примечания И. А. Чепик-Юреновой. М., «Новый Ключ», 2002, 384 стр., 500 экз.

Раннее творчество Тихонова — к помещенным в этом издании знаменитым в 20-е годы книгам стихов «Орда» и «Брага» добавлено более ста стихотворений, публикующихся впервые; они предназначались когда-то для расширенных переизданий этих книг, а также для не осуществленного Тихоновым замысла — книги «Перекресток утопий».

Катя Ткаченко. Любовь для начинающих пользователей. Роман. М., «Пальмира», 2003, 288 стр., 14 000 экз.

Второй — после обратившего внимание критики на нового автора «Ремонта человека» — роман, с не менее напряженным сюжетом, но написанный более лирично и как бы «успокоенно»; «При поверхностном, чисто „фабульном“ чтении книга выглядит, наверное, этаккой тинейджерской сказочкой — коктейлем из мелодрамы и фэнтези. Глубинный же сюжет — „непосредственное“ общение героев с символами бессознательного» (Геннадий Серышев, «Русский Журнал»).

Топос. Альманах. М., «Парад», 2003, 328 стр., 1000 экз.

Первый выпуск альманаха, представляющего прозу, стихи и эссеистику одного из самых интересных и противоречивых литературных сайтов в Интернете с тем же названием. Авторы альманаха: Михаил Завалов, Владимир Сергиенко, Дмитрий Данилов, Андрей Юшаримов, Денис Осокин, Андрей Левкин, Дмитрий Бавильский, Алексей Варламов, Маруся Климова и другие. Из аннотации: «Разнообразный конгломерат авторов, тяготеющих к авангардным формам, позволил журналу обрести необычное выражение лица». (Подробнее о сайте см. «WWW-обозрение» в № 6 «Нового мира» за этот год.)

Мишель Уэльбек. Платформа. Роман. Перевод с французского Ирины Радченко. М., «Иностранка», 2003, 344 стр., 7000 экз.

Издательство «Иностранка» продолжает знакомить русских читателей с творчеством современного французского писателя. Новый роман, вышедший во Франции в 2001 году, отчасти продолжает темы и мотивы прославившего французского писателя в Европе и России романа 1998 года «Элементарные частицы» (М., «Иностранка», «Б.С.Г.-Пресс», 2001).



Ричард Ф. Густафсон. Обитатель и чужак. Теология и художественное творчество Льва Толстого. Перевод с английского Т. Бузиной. СПб., «Академический проект», 2003, 480 стр., 1000 экз.

Монография профессора Принстонского университета. «Основываясь на пристальном чтении художественных произведений и дневников Толстого, а также на моей собственной реконструкции богословия Толстого, рассматриваемого не столько в свете влияния западных мыслителей <...> сколько в свете восточной христианской мысли <...> данная книга исследует связь между психологической жизнью Толстого, его словесными образами и его религиозным мировоззрением» (из предисловия автора).

Камил Икрамов. И о нем... Сборник. Составитель О. Сидельникова-Икрамова. М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2003, 108 стр.

Сборник, посвященный памяти Камилы Икрамова (1927 — 1989), содержит воспоминания о писателе Анны Икрамовой, Татьяны Бек, Георгия Полонского. Центральной публикацией сборника стало написанное в 1976 году, но так и не опубликованное при жизни автора литературно-критическое эссе «„Постойте, положите шляпу...“ К вопросу о трансформации источников», речь в котором идет о нашем восприятии Достоевского и Михаила Булгакова. «Никто так не заражен красивыми предрассудками, как современный интеллигент. Умение мыслить категориями мешает простому воображению. Даже факты и то мешает видеть», «„Рукописи не горят! Рукописи не горят!“ — на все лады заклинал нас критик В. Лакшин. Он будто и забыл, *кого* так самозабвенно цитирует, будто слова Сатаны стерли из его памяти все, чему учат в школе.

Рукописи не горят? Как бы не так! У Декарта — горят, у Гоголя — горят, у Пушкина — горят, а у нашего мастера — нет!

Почему?

Черт (Воланд) знает. Лукавый мог бы рассказать, кому и какая цена уплачена за страховку от огня; «Достоевского с Булгаковым роднит не только то, что они могли и умели становиться на сторону силы, но и то, что они верили в возможность искупить грех, любой грех...»

Чеслав Милош. Порабощенный разум. Перевод с польского В. Л. Британишского. СПб., «Алетейя», 2003, 285 стр., 1000 экз.

Книга 1953 года, сочетающая жанровые признаки научного трактата и памфлета, — «Анализ умственной акробатики восточноевропейских интеллектуалов, изображающих, что они принимают догмы сталинизма» (Роман Ганжа, «Русский Журнал»).

Николай Митрохин. Русская партия. Движение русских националистов в СССР 1953 — 1985 годы. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 624 стр.

Научная монография. Названия глав: «Социальный контекст этнических мифов», «Влияние Политбюро и аппарата ЦК КПСС на деятельность движения русских националистов», «Русские националисты в литературной среде. 1950 — 1960-е годы», «Подпольные группы 1950 — 1960-х годов», «Роль аппарата ЦК ВЛКСМ в консолидации движения русских националистов», «Русская партия в 1970 — 1985 годах» и другие. «Изучение общественного движения, изначально настроенного на конспирацию, оказалось невозможно вести методами, традиционно применяемыми в <...> науке. Наиболее эффективной формой работы стала <...> методика „устной истории“ <...> значительная часть доживших до наших дней активных участников движения русских националистов была проинтервьюирована автором». На фотографиях, сопровождающих текст, — Ю. Мелентьев, С. Михалков, В. Ганичев, В. Кожин, С. Куняев, В. Н. Осипов, Ф. Чуев, И. Шевцов, И. Глазунов, С. Викулов, Ю. Бондарев, А. Иванов и многие другие.

Грегори Надь. Греческая мифология и поэтика. Перевод с английского Н. П. Гринцера. М., «Прогресс-Традиция», 2002, 432 стр., 1500 экз.

Монография одного из ведущих современных специалистов по классической филологии и древним языкам, директора Центра эллинистических исследований при Гарвардском университете в Вашингтоне.

Очерки распространения исламской цивилизации. В двух томах.

Том 1. От рождения исламской цивилизации до монгольского завоевания. М., «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002, 688 стр., 1000 экз.

Том 2. Эпоха великих мусульманских империй и Каирского Аббасидского Халифата (середина XIII — середина XVI в.). М., «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002, 640 стр., 1000 экз.

Двухтомная коллективная монография, среди авторов которой ведущие специалисты РАН, университетов Москвы, Казани и Уфы. В редакционную коллегию вошли Ю. М. Кобишанов, М. С. Мейер, А. А. Ткаченко, Н. М. Емельянова. Упор сделан на исследование истории периферии исламского мира (Россия, Кавказ, Индия, Индонезия, Китай, Тропическая Африка и т. д.). Двухтомник содержит описание культуры и верований народов арабо-иранского ареала, а также северной, восточной и южной периферии; отдельные главы посвящены средневековой торговле, путешествиям по суше и по морю, культуре купцов-караванщиков, моряков, крестьян, переписчиков книг, искусству каллиграфии и архитектуре. Представленный материал охватывает тысячелетнюю (с VI по XVI век) историю ислама.

Ю. Я. Ставиский. Мы из Обнинска. Записки нейтронщика. М., «Энергоатомиздат», 2002, 160 стр., 1000 экз.

Мемуары физика-ядерщика, доктора физико-математических наук, жизнь и деятельность которого были тесно связаны с историей отечественной «столицы ядерной физики» городом Обнинском.

Владислав Татаркевич. История шести понятий. Перевод с польского Бориса Домбровского. М., «Дом интеллектуальной книги», 2003, 374 стр., 1000 экз.

Работа известного польского философа (1886 — 1980), представителя «Львовско-варшавской школы», вышедшая в 1975 году и продолжающая темы его основного труда — трехтомной «Истории эстетики» (1968). Попытка привести в соответствие с современными эстетическими представлениями основные понятия, доставшиеся нам от предшественников (Аристотеля, Платона, Баттё, Баумгартена, Шеллинга, Гегеля и других).

Наталья Фатеева. Поэт и проза. Книга о Пастернаке. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 400 стр.

Исследование лингвиста. «Акцент в книге делается на феномене сосуществования двух форм языкового выражения — стиха и прозы — в рамках единой творческой системы, которая у Пастернака отличается именно чередованием двух форм словесности, что позволяет описать явление литературного „билингвизма“ в эволюционном аспекте» (из издательской аннотации).

Борис Фрезинский. Судьбы Серапионов. (Портреты и сюжеты). СПб., «Академический проект», 2003, 1000 экз.

Книга о «Серапионовых братьях». В разделе «Портреты» представлены Лев Луцц, Михаил Зошенко, Илья Груздев, Николай Никитин, Всеволод Иванов, Елизавета Полонская, Михаил Слонимский, Константин Федин, Николай Тихонов, Вениамин Зильбер (Каверин), а также — Виктор Шкловский, Владимир Познер и Николай Радищев (Чуковский), входившие в первый состав «Братства». В «Сюжетах» — взаимоотношения «серапионов» и цензуры в 20-е годы, история странной дружбы Михаила Слонимского и Петра Павленко, «История одной любви» (Елизавета Полонская и Илья Эренбург), «серапионы» в 1946 году после доклада тов. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» и проч. — отдельные сюжеты складываются здесь в один опорный для всей книги сюжет: «серапионы» и жесточайший пресс идеологического давления, под которым прошла вся их жизнь и творчество: «Мы — разные! — гордо провозглашали „серапионы“ в пору зарождения „Братства“. Мы — одинаковые! (в том, что касалось литературы и политики) — следовало признать большинству их на склоне лет. Время обкатало молодых и уверенных в себе». В «Приложениях», составивших третий раздел книги, помещены эстетические манифесты и автобиографии «серапионов», их статьи и воспоминания о «Братстве» 1929 — 1965 годов.

Эмиль Чоран. После конца истории. Философская эссеистика. Предисловие, биографическая справка Б. Дубина. Перевод с французского Бориса Дубина, Натальи Мавлевич, Анастасии Старостиной. СПб., «Symposium», 2002, 544 стр., 4000 экз.

Избранные произведения знаменитого французского философа (1911 — 1995) — старинный жанр французской философской максимы («Тот, кому не посчастливилось стать чудовищем — не важно чего, пусть даже святости, — внушает презрение и зависть», «Скептицизм — это упражнение в отрезвлении», «Любая плодотворная идея теряет зерно мысли и вырождается в правило. Лишь бесплодная остается живой»). А также эссе о Жозефе де Местре, Беккете, Мирче Элиаде, Роже Каюа, Борхесе и другие тексты.

Сергей Чупринин. Новая Россия: мир литературы. Энциклопедический словарь-справочник. В 2-х томах. Том II. М — Я. СПб., «ПРОПАГАНДА», 2003, 928 стр., 5000 экз.

Энциклопедия современной (период с 1985 по 2001 год) литературы и литературной жизни — писатели, литературные журналы и альманахи, литературные премии, литературные организации и т. д. (подробнее см. «Библиографические листки» в № 4 «Нового мира» за этот год).

Александр Чучин-Русов. Единое поле мировой культуры. Кижли-концепция. Книга 1. Теория единого поля. М., «Прогресс-Традиция», 2002, 664 стр., 2000 экз.

Александр Чучин-Русов. Единое поле мировой культуры. Кижли-концепция. Книга 2. Концепты. Указатели. Приложения. М., «Прогресс-Традиция», 2002, 814 стр., 2000 экз.

Очередная попытка создать единую теорию культуры и искусства. Известный в 70-е и 80-е годы прозаик, а затем — дизайнер, культуролог, руководитель творческой мастерской Кижли в своем монументальнейшем (184 условных печатных листа) труде предлагает новую историко-культурную концепцию, основанную на единых подходах к самым разным сферам культуры — от искусства и религии до техники и естествознания. Первый том представляет изложение собственно теории, во втором — описываются и изображаются с помощью репродукций и их монтажа «концепты», определявшие искусство чуть ли не всех времен и народов — от классической эпохи античности до «прагматического реализма» (термин тоже авторский) 60 — 70-х годов XX века, далее идут иллюстративные развороты и тексты «Проекта Кижли», «Театр сновидений Зигмунда Фрейда», «Приложения» (здесь, в частности, помещена уже знакомая читателю Русова проза — повесть «Самолеты на земле — самолеты в небе», «Встреча» и «Прощание с землей обетованной», а также культурологическая эссеистика).

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Алфавит», «Время искать», «Время МН», «Время новостей»,
 «Гуманитарный экологический журнал», «День и ночь», «Деловой вторник»,
 «День литературы», «Завтра», «Известия», «Иностранная литература»,
 «ipocMИ.Ru», «Книжное обозрение», «Консерватор», «Критическая масса»,
 «Лебедь», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия»,
 «Литературная учеба», «Left.ru/Левая Россия», «Московские новости»,
 «Наш современник», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Новая газета»,
 «Новая русская книга», «Новая Юность», «Новое время», «Новый Журнал»,
 «Огонек», «Отечественные записки», «Подъем», «ПОЛИТ.РУ», «Посев»,
 «Русская Правда», «Русский Базар», «Русский Журнал», «Сетевая словесность»,
 «Смысл», «Со-Общение», «Спецназ России», «Топос», «Труд», «Урал»,
 «Уральская новь»

Константин Азадовский. «Судьбы его печальней нет в России...» Еще раз о гибели русского интеллигента. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 318, 6 апреля <<http://www.lebed.com>>

«Истинно русский интеллигент второй половины XX века — академик Сахаров, восставший против Империи Зла и подвергнутый травле, шельмованию, ссылке. Его голос стал голосом русской Совести, казалось бы, давно и бесследно сгнувшей...» См. эту же статью: «Звезда», 2002, № 7 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

См. также: **Безымянный**, «Новые страдания „не-мозга нации“». К статье К. Азадовского „Судьбы его печальней нет в России...” — «Лебедь», Бостон, 2003, № 319, 13 апреля <<http://www.lebed.com>>; «К. Азадовский интуитивно приходит к правильному выводу о том, что, пока интеллигенция не исчезнет как класс, России придется очень трудно».

См. также: **Борис Якеменко**, «О нашей интеллигенции. О свободе и наемниках» — «НГ Ex libris», 2003, № 14, 17 апреля <<http://exlibris.ng.ru>>

Василий Аксенов. Все очень сложно. — «Московские новости», 2003, № 13 <<http://www.mn.ru>>

«Читатель может подумать, что я оправдываю нынешнюю войну [в Ираке]. Это не так».

Кирилл Александров. Русские против Сталина: надежды и иллюзии. К 60-летию создания Дабендорфской школы РОА. — «Посев», 2003, № 3 <<http://www.posev.ru>>

«Инициатива создания столь своеобразного командного центра непризнанного [в то время] нацистами Русского Освободительного движения принадлежала участникам антигитлеровского заговора в вермахте, которые на рубеже 1942 — 1943 гг. уже были готовы к физическому устранению А. Гитлера...»

Армен Асриян. Сталинизм... — «Спецназ России», 2003, № 3 (78), март <<http://www.specnaz.ru>>

«Вершина существования Советского Союза — Сталинский проект — представлял собой идеальный тип предельной эффективности. По-видимому, люди просто не в состоянии долго выдерживать существование с такой интенсивностью. <...> При Сталине это был, по-видимому, самый быстрый и эффективный селекционный механизм — поставить невыполнимую задачу и, выхватывая почти вслепую кандидатов с самого низа, мгновенно отбраковывать несправившихся, пока не находился тот, кто делал задачу выполнимой».

Виктор Астафьев. Остановить бы безумие. Из писательского архива. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 2003, № 1-2, январь — март <<http://www.din.krasline.ru>>

«Но жизни, подаренной нам Господом, надо радоваться и дорожить ею» (1996). Здесь же — мемуары **Александра Бондаренко** о В. П. Астафьеве «И стонет мое сердце...».

См. также рецензию **Дмитрия Шеварова** на переписку Виктора Астафьева с Валентином Курбатовым: «Новый мир», 2003, № 6.

Дмитрий Бавильский. Процесс, которого нет. — «НГ Ex libris», 2003, № 10, 20 марта <<http://exlibris.ng.ru>>

Скорбит: «Нет критиков, облеченных стопроцентным (! — А. В.) доверием».

См. также: **Олег Павлов**, «Письмо к другу» — «Русский Журнал», 2003, 20 марта <<http://www.russ.ru/krug>>; *недоволен диктатурой «оценщиков», то есть литературных критиков.*

Дмитрий Бавильский. Умерла так умерла. — «Еженедельный Журнал», 2003, № 062 <<http://www.ej.ru>>

«По всему выходит, что „Красный петух” [Акунина] — памфлет, каких не было давно, со времен пелевинского „*Generation П*”».

«Он [Акунин], много сделавший для появления в России нормального рынка нормальных романов, теперь может сделать для изящной словесности еще более важную работу: написать книгу о нынешних временах и нравах. Кажется, именно такого романа сейчас более всего ждут».

Дмитрий Бавильский. Двести лет вместе — 2. — «Русский Журнал», 2003, 28 марта <<http://www.russ.ru/krug>>

«Раздвоенность Пелагии имеет явно психоаналитическое свойство и косвенно рассказывает о сомнениях автора текста, мечущегося, подобно своей инокине, между сугубым серьезом традиции и беллетристической развлекухой».

«Обнажение приема способствует тому, что „Пелагия и красный петух” прочитывается как роман о романе, как роман о детективном жанре, который хочется преодолеть, да, видно, нельзя никак: положение обязывает, публика ждет».

«<...> роман „Пелагия и красный петух” можно прочитать как акунинский ответ Солженицыну, его двухтомной монографии о совместном существовании двух народов. Смешно».

Об этом акунинском романе см. статью **Аллы Латыниной** в следующем номере «Нового мира».

Роберт Балакшин. Русские сны. Рассказ. — «Наш современник», 2003, № 3.

«17.5.1990. Опять снился Сталин. Будто он купается, зашел в воду прямо в мундире генералиссимуса и стоит по плечи в ней <...>».

Виктор Балан. Добрый человек Пушкин. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 318, 6 апреля <<http://www.lebed.com>>

Как Пушкин помогал родным и знакомым.

Вениамин Башлачев. Русская демография. — «Спецназ России», 2003, № 3 (78), март.

«<...> невидимая война через аборт погубила русских детей в 2,5 раза больше, чем погибло в трех видимых „катаклизмах” — в Гражданскую войну, при раскулачивании русской деревни и в Великую Отечественную войну, все вместе взятые. Уже 40 лет абортами убивают три из четырех зародившихся русских жизней. И лишь одну жизнь допускают родиться на Свет Божий».

«Но если без эмоций, то аборт — это убивание жизни, которой не существовало раньше и которой не будет существовать уже никогда».

«Если нынешнее состояние продлится еще 10 лет, то будущего у нас, русских, — просто нет».

См. также: **Лиза Паркинсон**, «Плач по двум миллионам» — «Консерватор», 2003, № 10, 21 марта <<http://www.egk.ru>>; «Каждый год Россия недополучает около двух миллионов граждан — зачатки этих граждан летят в больничные баки с надписью „Биоотходы”».

См. также: **Николай Глушков**, «Демография наносит удар по экономике» — «Независимая газета», 2003, № 61, 28 марта <<http://www.ng.ru>>

Сергей Беляков. Гностик из Уржума. Заметки о натурфилософских взглядах Н. А. Заболоцкого. — «Урал», Екатеринбург, 2003, № 5 <<http://magazines.russ.ru/ural>>

«Кишка у Заболоцкого — один из символов материальности, природы, связанный, разумеется, с пищеварением. А к этому естественному процессу автор „Царицы мух” относился весьма неприязненно».

Арлен Блум. «Имя славное Пруткова, имя громкое Козьмы!» К 200-летию со дня рождения великого и незабвенного Козьмы Пруткова. — «НГ Ex libris», 2003, № 13, 10 апреля.

Козьма Тимошури́н как прототип Козьмы Пруткова.

Виктор Бондарев. Наш ответ глобалистам. Народная партия Российской Федерации выступает за особый путь России. — «Независимая газета», 2003, № 71, 9 апреля <<http://www.ng.ru>>

Говорит председатель ЦК Народной партии России **Геннадий Райков**: «В действительности „общечеловеческие ценности“ являются всего лишь американскими ценностями (лишь отчасти воспринятыми европейцами) и выражают своеобразие той культуры, которая сформировалась в США».

Говорит первый заместитель председателя партии **Валерий Гальченко**: «<...> не навязываем людям чьи-либо взгляды — Маркса или Хайека, а выражаем убеждения народного большинства. Именно убеждения, а не только интересы. Это очень важно. Убеждениями, а не интересами выражается своеобразие народа».

Владимир Бондаренко. Русская душа, зацепившаяся за корягу. — «Литературная Россия», 2003, № 12, 28 марта <<http://www.litrossia.ru>>

«Я не понимал его [Анатолия Передреева] желания иметь право на иную поэтическую жизнь, его желания выбраться, в том числе и с моей помощью, из очерченного Кожинным круга».

См. также: **Станислав Куняев**, «Но истина дороже...» — «День литературы», 2003, № 3, март <<http://www.zavtra.ru>>; *защищает Вадима Кожина от нападок Валентина Сорокина*.

Анатолий Брусиловский. Смерть Лимонова. — «Русский Журнал», 2003, 25 февраля <<http://www.russ.ru/culture>>

«Написанное им необычайно искренне, подлинно. Выстрадано. Но на его творческой палитре находились краски слишком сильные, слишком действенные — ядовитые краски! Логика его творчества привела к *самоотравлению*. <...> Пьеса овладела автором. Логика творчества, развитие сюжета жестко и жестоко привели к оружию. Настоящему. Это была одна пьеса, и в ней всегда висело на стене ружье. И оно выстрелило наконец, прорвав все законы жанра».

См. также: «Я член ПЕН-центра, и мы подписывали письмо о помиловании Лимонова, поскольку он — одаренный писатель. Но создание Национал-большевистской партии — это нечто непостижимое. Вы только вдумайтесь в значение каждого из этих двух слов. И большевики — уголовники, и националисты — тем более (? — *A. B.*)», — говорит **Леонид Зорин** («Независимая газета», 2003, № 43, 5 марта <<http://www.ng.ru>>).

См. также: «Его посадили в тюрьму не как писателя, а как лидера партии», — говорит **Владимир Жириновский** в беседе с Владимиром Бондаренко («Завтра», 2003, № 10, 2 марта).

См. также: **Владимир Бондаренко**, «Рожден героем» — «Завтра», 2003, № 10, 2 марта <<http://www.zavtra.ru>>

См. также: **Владимир Соловьев** (Нью-Йорк), «В защиту немолодого подростка. Казус Лимонова» — «Литературная газета», 2003, № 11, 19 — 25 марта <<http://www.lgz.ru>>

См. также беседу **Эдуарда Лимонова** с Юрием Рябининым «Да литература-то... Хер с ней» — «Литературная Россия», 2003, № 11, 21 марта <<http://www.litrossia.ru>>; «И однажды я ударил его [Леонида Губанова] бутылкой по голове. Потом он меня где-то поймал, спустя несколько месяцев, и тоже избил». *Хармс!*

См. также: **Лев Пирогов**, «Бедные записки из мертвого дома» — «НГ Ex libris», 2003, № 12, 3 апреля; «Гадкая книжонка [„Священные монстры“], хочется хохотать. Лучшее из написанного Лимоновым за два отсидженных года».

См. также: «Лимоновская жажда сексуального комфорта заставляет предполагать в нем инфантила, старого мальчика, — и это обесценивает даже те прозрения, которые в его книгах действительно есть», — говорит **Александр Дугин** («Консерватор», 2003, № 13, 11 апреля <<http://www.egk.ru>>).

См. также: «Думаю, Бог наблюдает за ним [Лимоновым] с одобрением и интересом», — пишет **Дмитрий Быков** («Священных монстров прибыло» — «Консерватор», 2003, № 11, 28 марта).

См. также: **Михаил Поздняев**, «Хранитель оружия» — «Консерватор», 2003, № 14, 18 апреля.

См. также: «Но несколько автоматов, приобретенных нацболами, — на мой взгляд, сущая ерунда по сравнению с той кошмарной утопией, которой грезит Лимонов, талантливо вбивая свои страшные бредни в неокрепшие мозги молодых маргиналов», — пишет **Алла Латынина** («Суд и автомат» — «Время MN», 2003, 22 апреля <<http://www.vremyamn.ru>>); она же замечает, что по сравнению с лимоновской «Другой Россией» «Майн кампф» кажется невинной либеральной болтовней.

См. также: **Павел Басинский**, «Тело Эдуарда Лимонова» — «Литературная газета», 2003, № 16, 23 — 29 апреля.

Дмитрий Быков. Дело было вечером. — «Консерватор», 2003, № 10, 21 марта.

«И каких бы ужасов мне ни рассказывали о зверствах Аркадия Гайдара в безумной его молодости — я люблю и буду любить чувство большой, доброй, склонившейся над тобой страны, которое внушает крошечному читателю „Чук и Гек“».

«В словах, а не путем слов». Беседу вел Дмитрий Бавильский. Часть первая. — «Топос», 2003, 15 марта <<http://www.topos.ru>>

«Беседа эта была записана лет десять назад в Челябинске, у меня на кухне» (Д. Бавильский). Говорит лауреат премии Александра Солженицына поэт **Ольга Седакова**: «<...> душеполезная поэзия и религиозная поэзия — разные вещи. Для английской традиции Элиот назвал первую „*devotional*“ — „заведомо полезные для души, достойные темы и переживания“. Тогда как религиозной поэзии, то есть такой, в которой происходит личный, интимный контакт с Другой Сущностью, вовсе не обязательно касаться этих тем. Ее результаты не обязательно будут душеполезными».

См. также: «Последние 10 — 12 лет я существую как бы в двух мирах. За границей я официально признанный человек. Возвращаюсь назад — и тот же маргинал, что прежде», — говорит **Ольга Седакова** в беседе с Игорем Шевелевым («Поступок поэзии» — «Время МН», 2003, 22 марта <<http://www.vremyamn.ru>>).

См. также беседу **Ольги Седаковой** с Ольгой Рычковой о составленном Седаковой словаре «Церковнославянско-русские паронимы» («Литературная газета», 2003, № 13, 2 — 8 апреля <<http://www.lgz.ru>>).

«Ваша ложь, правитель Буш» — «Завтра», 2003, № 14, 1 апреля <<http://www.zavtra.ru>>

Три *обличительные* статьи — нобелевского лауреата **Гюнтера Грасса** «Несправедливость сильнейшего» («*El Pais*», Испания, 2003, 24 марта); **Пауло Коэльо** «Спасибо вам, президент Буш» («*El Espectador*», Колумбия, 2003, 18 марта) и **Умберто Эко** «Сказки тысячи и одной ночи, рассказанные в Багдаде» («*L'Espresso*», Италия, 2003, 20 марта).

Здесь же — самые известные высказывания Джорджа Буша, собранные **Умберто Эко** («*El Mundo*», Испания, 2003, 20 февраля). См. также: <http://www.bushisms.com>

Игумен Вениамин (Новик). Антислово. Взгляд на сквернословие с религиозной точки зрения. — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 2.

«У нас порой матеряют даже при строительстве православных храмов <...>».

Юрий Вронский. Вооруженный гражданин — это свободный человек в свободной стране. — «Литературная газета», 2003, № 13, 2 — 8 апреля <<http://www.lgz.ru>> «Ученики Иисуса Христа тоже носили оружие, и Христос не возражал — ведь это были свободные люди!»

См. также: **Алексей Аванесов**, «Стволы для народа» — «Спецназ России», 2003, № 3, март <<http://www.specnaz.ru>>

См. также сайт: <http://www.samooborona.ru>

Евгений Гагарин. Советский принц; Корова. Рассказы. Публикация и предисловие Виктора Леонидова. — «Новая Юность», 2002, № 6 (57) <http://magazines.russ.ru/nov_yun>

Тексты Евгения Андреевича Гагарина (1905 — 1948) подготовлены к публикации по его книге «Звезда в ночи», увидевшей свет в 1947 году в Мюнхене, в лагере для перемещенных лиц.

Дмитрий Галковский. Бедный русский. Первый поэт-большевик как ненавидящий свою мать неврастеник. — «Консерватор», 2003, № 14, 18 апреля.

«В массовом восприятии Демьян Бедный (то есть Ефим Придворов) — поэт-реалист, простой незатейливый человек из народа. <...> Но типаж Демьяна Бедного совсем другой. Если брать не внешний облик, а психологический тип, это скорее Сергей Доренко».

Федерико Гарсиа Лорка. Автобиография. Вступление Сергея Куняева. Перевод Татьяны Котовой. — «Наш современник», 2003, № 3.

«Когда я был ребенком, я жил в одной очень молчаливой и душистой деревеньке в долине Гранады...» Серия автобиографических рассказов, написанных в 20-е годы и впервые опубликованных в Испании в 1995 году.

Энтони Гидденс. Что завтра: фундаментализм или солидарность? — «Отечественные записки», 2003, № 1 <<http://magazines.russ.ru/oz>>

Энтони Гидденс, директор Лондонской школы экономики (*London School of Economics*), отвечает на вопросы социологов Светланы Баньковской и Александра Филиппова: «<...> фундаментализм — это продукт современности, поскольку он не просто

защищает традицию, но акцентирует, упрощает ее, подавая в средствах массовой информации. <...> фундаментализм — это совсем не то, что традиционный фанатизм; по моему, это реакция на возможность более космополитичного социального союза».

«Границы между литературами прозрачны». Беседовал Андрей Мирошкин. — «Книжное обозрение», 2003, № 11, 17 марта <<http://www.knigoboz.ru>>

Говорит лауреат Малой премии имени Аполлона Григорьева **Андрей Геласимов**: «<...> я иногда с трудом отдаю себе отчет в том, что я русский и принадлежу русской культуре. Ведь для меня перейти на английский язык не составляет никакого труда».

Разные мнения **Марии Ремизовой** и **Дмитрия Быкова** о прозе Геласимова см.: «Новый мир», 2003, № 1.

Владимир Губайловский. Заметки о поэзии. — «Русский Журнал», 2003, 9 апреля <<http://www.russ.ru/krug>>

Анна Минакова — восемнадцатилетний поэт из Харькова. Санджар Янышев и Борис Пастернак. Михаил Айзенберг о Поэте и поэзии.

Владимир Губайловский. Игры формального мира. — «Русский Журнал», 2003, 27 марта <<http://www.russ.ru/krug>>

«<...> гипертекст не оказался привлекательным инструментом для новой прозы (что совершенно естественно: в Сети гипертекст — это способ существования любой, в том числе и нетекстовой, информации, и потому гипертекст никак не может быть литературным приемом, каковым он был на бумаге: смешно хвастаться перед рыбами умением нырять: они посмотрят на тебя как на идиота — они здесь живут)».

Олег Дарк. Очарование русской незрочности. Части 1, 2. — «Русский Журнал», 2003, 24 и 28 марта <<http://www.russ.ru/krug>>

«Всегда трудно сказать: слово «азноба» покинуло активный словарь с исчезновением соответствующего чувства (и его предмета — специальной женщины), которое *до костей пробирает*. Или это знобящее чувство (и вызывающая его женщина) может восстановиться с возвращением (например, искусственным) в *общий* речевой обиход слова „азноба“...»

Михаил Денисов, Виктор Милитарев. Сталин, Чечня, Ирак. Кое-что о политическом дальтонизме. — «Русский Журнал», 2003, 9 апреля <<http://www.russ.ru/politics>>

Среди прочего: «<...> тот же случай Буданова выявляет недостоверность свидетельских показаний во всей чеченской ситуации: множество чеченцев, включая родителей Кунгаевой, дали показания против Буданова, хотя никто из них, как выяснилось на суде, не был подлинным свидетелем».

«Детство тиранов». Беседу вела Ольга Мариничева. — «Огонек», 2003, № 13, апрель.

Говорит ректор Университета Российской академии образования **Борис Бим-Бад**: «Наивный недоучка, Саша [Ульянов] был нигилистом, отрицал Бога, веру, государственный строй, а сам верил во что-то очень туманное. Он отверг предложение царя заменить казнь покаянием и пожизненным заключением. А на свидании с матерью возмущенно заявил: о каком помиловании может идти речь, если в пожизненном заключении разрешат читать только религиозную литературу! И Мария Александровна... согласилась. Конечно, не из-за тягот религиозного чтения. Убежден: она спасала карьеру Володи. Ведь если бы Саша остался жить, они бы считались семьей государственного преступника (смерть же по какой-то безумной логике была его реабилитацией и в глазах правительства). И это бросило бы тень на Володю, который как раз готовился окончить гимназию с золотой медалью, поступить в университет».

Гейдар Джемаль. «Новые люди ступают из тумана». Беседу вел Дмитрий Быков. — «Консерватор», 2003, № 13, 11 апреля.

«Ислам как настоящий планетарный проект возникает с середины двадцатого века <...>».

«В 1991 году ничего не произошло: просто, по давнему пророчеству Троцкого, сталинская бюрократия закончила компрадорским капитализмом».

«<...> Россия станет центром огромного интернационального проекта... <...> Безусловно антизападного, безусловно антипрагматичного и международного. <...> Не обязательно [исламского]. Но в любом случае религиозного. Тогда и национальная идея появится сама собой, и люди...»

Сергей Доренко. «А еще я люблю колоть дрова». Беседу вел Дмитрий Быков. — «Консерватор», 2003, № 10, 21 марта.

«Очень осторожен в отношении новых авторов. Боюсь разочароваться, боюсь ранить себя. Отважился — прочел Олега Павлова. Рад».

Александр Дугин. *Auf, o Seele!* Эссе о Евгении Головине. — «НГ Ex libris», 2003, № 11, 27 марта.

«Евгений Всеволодович сидел на окраине Люблино, очерчивая рукой с зажатой в ней бутылкой портвейна пронзительный, чуть неоконченный знак — скрещивая суставы и ясно сквозь зубы произнося: „*Apollo deus omnia*“. <...> [Писателя, культуролога, переводчика] Евгения Всеволодовича Головина можно только любить — безумно, абсолютно, отчаянно любить».

Александр Дугин. Солнечная дисциплина нации. — «Литературная газета», 2003, № 13, 2 — 8 апреля.

«Православие обяывает, мобилизует. Мы входим в ангельскую рать против сил ада. Буквально так».

Елена Душечкина. Дед Мороз и Снегурочка. — «Отечественные записки», 2003, № 1.

«В 1840 году были опубликованы „Детские сказки дедушки Иринья“ В. Ф. Одоевского, в одной из которых („Мороз Иванович“) впервые дана литературная обработка фольклорного и обрядового Мороза...» Фрагменты книги Е. В. Душечкиной «Русская елка» (СПб., 2002).

«**Живу — вижу**». Беседовал Сергей Хачатуров. — «Время новостей», 2003, № 45, 14 марта <<http://www.vremya.ru>>

Говорит художник **Эрик Булатов**: «Я убежден, что в пейзажной живописи русское искусство XIX века выразило себя ярко и полно. <...> Да, русская литература действительно задавила живопись. Однако пейзаж — такой жанр, которому легче выбраться из-под литературы: более непосредственный, располагающий к прямому лирическому высказыванию. Когда смотришь пейзаж европейского мастера, сперва отдаешь должное колориту, затем оцениваешь качество живописи и, наконец, мысленно благодаришь тот реальный уголок природы, который послужил поводом для создания картины. Русский пейзаж воспринимается прямо в обратном порядке».

Александр Жолковский (Лос-Анджелес). Антонов огонь. — «Новая русская книга», 2002, № 2 (13) <<http://magazines.russ.ru/nrk>>

«Фактографическая густота письма [Александра Чудакова] призвана свидетельствовать о мемуарной подлинности текста [„Ложилась мгла на старые ступени“], но доведена до какой-то невозможной суперкондиции автором — теоретиком „вещного“ подхода к миру писателя (в частности, „Миру Чехова“). Читать эту „Степь“ длиной в 500 страниц трудно, но по знакомству и из профессиональной ревности не отступаешься».

См. также разные *виньетки* **Александра Жолковского**: «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 1; «*Toronto Slavic Quarterly*», 2002, № 1 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/012002>>; 2003, № 3 <<http://www.utoronto.ca/slavic/tsq/032002>>

Сергей Земляной. Родина и революция по сходной цене. — «Отечественные записки», 2003, № 1.

Из жизни Израйля-Александра Гельфанда-Парвуса (1867 — 1924).

Михаил Золотоносов. Подполье вышло наружу. — «Московские новости», 2003, № 10.

«Однако „Шатуны“ [Юрия Мамлеева] так и могли бы остаться редким образчиком „черного шестидесятничества“ <...> а попутно — пародией на „Привычное дело“ (1966) Василия Белова, воспевшего „народного человека“ Ивана Африкановича, если бы не одно обстоятельство. В более чем тридцатилетней ретроспективе роман воспринимается как попытка, едва ли не единственная в 1960-е и последующие годы, создания русского философского романа, в котором автор попытался схватить „вечные проблемы“, которые входят в „русскую матрицу“ и от которых не избавиться никогда. Самое странное, что автору это удалось: литературно роман неровен, местами затянут и скучен, но все зафиксированные писателем тенденции, тогда задавленные, загнанные в подполье, пышно развились в последующие годы, когда давление вдруг прекратилось. <...> В будущее „пророс“ не Иван Африканович, а его литературный ровесник и антипод Федор Соннов. Поэтому Василия Белова и его Ивана Африкановича забыли, а Мамлеева переиздают и читают».

Михаил Золотоносов. Теплый и родной ужас. — «Московские новости», 2003, № 11.

«В книге Петрушевской [„Девятый том“] приведены слова В. Л., заместителя главного редактора „Нового мира“, который гордо признавался, что приложил руку к тому, чтобы Петрушевская при Твардовском в журнале не была напечатана. Это характерно для либерала-шестидесятника, привыкшего дышать ворованным воздухом».

Михаил Золотоносов. Конец секса. Издательство «Эксмо» выпустило сборник рассказов Баяна Ширянова «Занимательная сексопатология». — «Московские новости», 2003, № 14.

«Однако не будем торопиться с осуждением. Ибо скука эта в высшей степени доброкачественная, потому что именно Воробьеву-Ширянову выпала историческая роль: завершить ту, условно говоря, „сексуальную революцию“ в нашей литературе, которая началась в 1990 — 1991 годах и к 2003 году окончательно иссякла как „революция“, как эксцесс, превратившись в общее место. Было бурное начало, много „первых“, а вот „последний“ всего один — Ширянов».

Наталья Зоркая. Чтение в контексте массовых коммуникаций. — «ПОЛИТ.РУ», 2003, 18 апреля <<http://www.polit.ru>>

«Если в 1991 г. почти три четверти всего подписного тиража газет в России составляла подписка на центральные издания, то уже в 1997 г. это была, напротив, подписка на издания местные».

Андрей Зубов. «Упадок и сомнительное исцеление России». — «Посев», 2003, № 3, 4.

Полемика с американским русистом Томасом Грэмом (*Thomas E. Graham*): «Грэм считает, что СССР Россией был, я — что [СССР] Россию отрицал».

Энрико Каваккиоли. Интервью под цинандали. Публикация Л. А. Селезнева и Н. В. Королевой. Предисловие Леонида Селезнева. — «День литературы», 2003, № 4, апрель <<http://www.zavtra.ru>>

Неизвестное интервью Маяковского 1924 года корреспонденту итальянской газеты «Мессаджеро» писателю-футуристу Энрико Каваккиоли (газета поддерживала Муссолини). Впечатление итальянца: «Я не знал, смеяться мне или испытывать человеческое чувство жалости. Я был ошеломлен той вульгарной смесью банальностей, которую дипломированный поэт красного коммунизма выплеснул в целях пропаганды».

Владимир Казарин. Вавилонская башня *new*. Глобализация и языковое многообразие современного мира. — «Литературная газета», 2003, № 14, 9 — 15 апреля <<http://www.lgz.ru>>

«Мы ослабили „смертную связь“ (используя слова Николая Рубцова) с Родиной и ее языком, а потому нас можно переспорить, переубедить, переиначить, переделать, переломить. Если русский язык для нас, его носителей, не миссия, он тогда всего лишь предмет преподавания в школе, а предмет можно и переменить. Но в этом случае народ становится этнографической группой, а мировое содружество языков превращается в языковой концлагерь, в котором каждый обреченно ждет часа своей кончины и благодарит охранника, что тот не послал его на смерть сегодня, отсрочив казнь на завтра». Автор — доктор филологических наук, профессор, заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым.

Юрий Казарин. Антология «Последнее стихотворение» (XVIII — XX вв. русской поэзии). — «Уральская новь», 2003, № 15 <<http://magazines.russ.ru/urnov>>

«Антология „Последнее стихотворение“ — собрание последних стихотворений, созданных русскими поэтами на протяжении 18 — 20 вв. Книга содержит уникальные поэтологический материал, касающийся судеб 100 поэтов, оставивших в русской культуре заметный след. <...> „УН“ публикует фрагменты теоретической части Антологии Юрия Казарина по одной простой причине: неизвестно, когда Антология выйдет в свет, а читатели журнала должны знать, что эта уникальная книга существует» (от редакции).

Руслан Киреев. Вокруг Толстого. Заметки читателя. — «Литература», 2003, № 15, 16 — 22 апреля <<http://www.1september.ru>>

Разное.

Николай Коняев. Мать православного героя. — «Наш современник», 2003, № 4. Любовь Васильевна Родионова — мать солдата Евгения Родионова, убитого в 1996 году в чеченском плену за отказ отречься от Христа.

Геннадий Костырченко. Депортация-мистификация. Прощание с мифом сталинской эпохи. — «Наш современник», 2003, № 3.

Переселение советских евреев на Дальний Восток в начале 1953 года не планировалось, утверждает историк Г. В. Костырченко, автор книг «В плену у красного фараона» и «Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм». Цитата: «<...> все так называемые конкретные доказательства („свидетельства“ Н. Н. Полякова, Н. А. Булганина, «еврейское письмо» с просьбой о переселении и проч.), на которых зиждилась депорта-

ционная версия, либо сфальсифицированы, либо, в лучшем случае, носят сомнительный характер». В редакционной врезке подчеркивается, что этот автор им не свой («из „другого стана”»).

В. Красильников. Америка готовит удар... по России? — «Огонек», 2003, № 14, апрель <<http://www.gopnet.ru/ogonyok>>

Интересные факты, цифры. См. эту статью также: «Лебедь», Бостон, 2003, № 308, 26 января <<http://www.lebed.com>>

С В. Красильниковым *как бы* — по касательной — полемизирует **Максим Соколов** («Огонек», 2003, № 14): «<...> иметь крепкий ракетно-ядерный кулак и даже периодически показывать его нашему стратегическому союзнику, чтобы тот признавал: „Могилой пахнет”, — совершенно необходимо, но впадать при этом в антиамериканскую историю нет совершенно никакой необходимости».

Владимир Крылов. Заметки о духовном развитии России и Запада в XX веке. — «Наш современник», 2003, № 3.

Илья Репин, а не Казимир Малевич. Эндрю Уайетт, а не Энди Уорхолл.

Константин Крылов. Антикоммунизм как беда. — «Консерватор», 2003, № 11, 28 марта.

«Практически все интеллектуальное наследие Маркса актуально до сих пор — причем в 2003 году это куда более понятно, чем в 1993. После ликвидации Великой Исторической Аномалии — то есть Советского Союза — капитализм вернулся к своему естественному состоянию. И оказалось, что это Марксов капитализм, с его „концентрацией производства”, „империализмом” и даже обнищанием».

См. также: «„Оставшиеся” [в России] чувствуют, что эмигранты не просто сменили место жительства, а именно что перебежали на сторону победителей», — пишет **Константин Крылов** («С этого берега» — «Консерватор», 2003, № 13, 11 апреля).

См. также: «Если меня спросят в лоб, „люблю ли я пьяных мужиков у подъезда”, я честно скажу, что вообще не люблю пьяных. Но еще менее я люблю пустые подъезды, в которых свищет ветер. И если выбор будет между пьяными мужиками и вымершей страной, я предпочту пьяных мужиков. Они-то протрезвеют — а вот мертвые не воскреснут. И поэтому всякая нардофобия мерзка. Аморальна. И небогоугодна», — пишет **Константин Крылов** («Но...» — «Консерватор», 2003, № 14, 18 апреля), полемизируя с опубликованной рядом статьей **Александра Житинского**.

Константин Крылов. Вместе лет двести. — «Консерватор», 2003, № 13, 11 апреля.

«О фактологическом содержании книги [И. Р. Шафаревича „Трехтысячелетняя загадка”] можно долго не говорить: труды, посвященные еврейскому вопросу, оригинальными не бывают. <...> В общем, несмотря на очевидный антиеврейский пафос книги, с ее выводами может согласиться любой еврейский ортодокс».

Сергей Кузнецов. Девятые врата. — «Русский Журнал», 2003, 3 апреля <<http://www.russ.ru/krug>>

«Линор Горалик демонстрирует иной способ работы с ужасом. Ее тексты — не про ужасное, а про ожидание, предчувствие ужаса. Точнее — про предчувствие мира, в котором ужас является нормой».

См. также: **Линор Горалик**, «Не местные», М., «АРГО-РИСК», Тверь, «*Kolonna*», 2003, 76 стр. («Библиотека молодой литературы», выпуск 22) <<http://www.vavilon.ru/texts/goralik1.html>>

Сергей Кузнецов. Быков *slowly*. — «Русский Журнал», 2003, 17 апреля <<http://www.russ.ru/krug>>

«<...> „Орфография” не просто не сводится к публицистическим идеям Быкова — она им некоторым образом перпендикулярна».

См. также: «<...> что с орфографией ни случись, „Орфография” попадет в струю. Пиар способствовал ей много к украшению. Репутация автора тоже. Повторялась история с „Кысью” Татьяны Толстой <...> Подобно „Кыси” „Орфографию” назначили в шедевры до публикации», — пишет **Андрей Немзер** («Благие намерения» — «Время новостей», 2003, № 69, 17 апреля <<http://www.vremya.ru>>).

Анна Кузнецова. А. А. К. (опыт радости за другого). — «Русский Журнал», 2003, 24 марта <<http://www.russ.ru/krug>>

«Каждая из миниатюр Вишневецкой — синтез повести Пушкина с фрагментом Монтеня, а вернее, Паскаля <...>».

Анна Кузнецова. Круги текста. — «Русский Журнал», 2003, 14 апреля <<http://www.russ.ru/krug>>

«Дорога обратно» Андрея Дмитриева как *абсолютный шедевр*.

Евгений Курдаков. Стихает жизнь и не хватает света... Стихи. — «Наш современник», 2003, № 4.

Последние годы жизни поэт Евгений Курдаков (1940 — 2002) провел в Новгороде. См. также эссе Евгения Курдакова «Птицы Христа» — «Гостинный Двор», Оренбург, 2001, № 10.

Виктор Лошак. Русские? Евреи? Русские евреи? — «Московские новости», 2002, № 50.

Говорит Александр Солженицын (в связи с выходом второго тома его книги «Двести лет вместе»): «Нет, я полностью исключаю, что моя книга послужила каким-нибудь образом развитию напряженных чувств. <...> До середины 90-х годов [XX века] я просто уже не могу дотянуть прежде всего потому, что историком современности быть невозможно. Очень многие явления происходят за кулисами, не публикуются, их подробности будут известны лет через 20, а то и 50. И значит, писать серьезно и ответственно невозможно. <...> Да невозможно и мне — уж я на исходе своих сроков».

См. также: «Достаточно прочитать второй том книги Александра Солженицына „Двести лет вместе“, чтобы прочувствовать это глубинное разочарование русского писателя в своей собственной русской истории», — пишет Александр Ципко («Независимая газета», 2003, № 5, 17 января <<http://www.ng.ru>>).

См. также: «<...> евреи сыграли такую, а не иную роль в русской истории потому, что в силу особенностей местного коренного населения им пришлось стать русскими. Русские по каким-то своим тайным причинам от этого воздержались. Возможно, их подвиг еще впереди», — пишет Дмитрий Быков («Двести лет вместе» — «Русский Журнал», 2003, 8 января <www.russ.ru/ist_sovr>).

С Быковым полемизирует Павел Басинский: «Поручик Ржевский» — «Литературная газета», 2003, № 1, 15 — 21 января <<http://www.lgz.ru>>

С Быковым полемизирует и Владимир Бондаренко: «Вместе с евреями: разбор полетов» — «Деловой вторник», 2003, № 3, 28 января <<http://www.vtornik.ru>>; в частности, он считает, что «солженицынскую книгу <...> уже оспорить невозможно <...>». А также: «Был у нас на Руси варяжский период, был татарский, был немецкий, был и еврейский — все прошли». См. эту же статью под названием «200 лет спустя» в газетах «Завтра» (2003, № 5) и «День литературы» (2003, № 1).

См. также: Керстин Хольм (*Frankfurter Allgemeine Zeitung*), «Евреи сделали русскую историю вместо русских» — *inoСМИ.Ru*, 2003, 29 января <<http://www.inosmi.ru>>

См. также: Андрей Немзер, «Как вместе мы жили в аду. Издана вторая часть книги Солженицына о „русско-еврейском“ вопросе» — «Время новостей», 2003, № 2, 10 января <<http://www.vremya.ru>>

См. также: Надежда Кожевникова, «Изгой, герои, изгнанники, просто евреи» — «Русский Журнал», 2003, 16 января <http://www.russ.ru/ist_sovr>

См. также: Лев Пирогов, «Двести лет вместе. Полет нормальный» — «НГ Ex libris», 2003, № 1, 16 января <<http://exlibris.ng.ru>>

См. также: Русские и евреи: 200 лет вместе или 200 лет врозь — «Известия», 2003, № 8, 18 января <<http://www.izvestia.ru>>; в этой подборке материалов — статья Мариэтты Чудаковой «Невыполнимый замысел осуществлен», беседа Мариэтты Чудаковой с Александром Осовцовым, мнения читателей газеты.

См. также: «Культ Солженицына существует исключительно в воспаленных мозгах его неутомимых ниспровергателей», — пишет Андрей Немзер («Время новостей», 2003, № 7, 17 января <<http://www.vremya.ru>>).

См. также: Авигдор Эскин, «Великое Смещение» — «Литературная газета», 2003, № 8, 26 февраля — 4 марта <<http://www.lgz.ru>>; «<...> мы должны выразить признательность Солженицыну <...>».

См. также: Константин Мильчин, «Еще сто лет ненависти» — «Книжное обозрение», 2003, № 2, 20 января <<http://www.knigoboz.ru>>

См. также: Абрам Торпусман, «Вместе ли? По страницам первой части книги А. И. Солженицына о евреях России» — «Время искать», Иерусалим, 2001, № 5.

См. также: Александр Этерман, «Обернись в слезах» — «Время искать», Иерусалим, 2002, № 6; «Глубокая статья, очень меня порадовавшая», — говорит о ней Солженицын («Московские новости», 2002, № 50).

С Александром Этерманом полемизирует Дмитрий Сливвяк: «Наши позорные предки» — «Время искать», Иерусалим, 2002, № 7.

См. также: Ефим Клейнер, «Александр Солженицын о евреях» — «Русский Базар», Нью-Йорк, 2003, № 6, 30 января — 5 февраля <<http://www.russian-bazaar.com>>

См. также: Марк Штейнберг, «Воины или шкурники?» — «Русский Базар», Нью-Йорк, 2003, № 15, 3 — 9 апреля <<http://www.russian-bazaar.com>>

См. также: **Василий Пригодич**, «Двести лет рядом, или „Помнить и признавать”» — «Лебедь», Бостон, 2003, № 308, 309 <<http://www.lebed.com>>

См. также: **Валерий Лебедев**, «Какой русский полюбит всех евреев? Размышления над вторым томом Солженицына „Двести лет вместе”» — «Лебедь», Бостон, 2003, № 309, 2 февраля <<http://www.lebed.com>>; «Книга Солженицына вовсе не антисемитская, как убого и примитивно вопят национально озбоченные младорасисты. Она, по существу, русофобская. Нет, не в плохом смысле слова. Она — тот самый овод, с которым сравнивал себя Сократ на народном суде в Афинах. Овод, который жалит мощно-го, благородного, но тучного и ленивого афинского коня».

См. также: «Сегодня на Западе существует потребность в своего рода интеллектуальном алиби для того, чтобы, оставаясь демократом и правозащитником, перестать в обязательном порядке быть юдофилом», — утверждает **Гейдар Джемаль** («Понять евреев... Попытался Александр Солженицын во втором томе истории их жизни в России» — «Смысл», 2003, № 2, 1 — 15 февраля).

Полный текст книги **Александра Солженицына** «Двести лет вместе» (оба тома) см.: <http://sila.by.ru>

Валерий Лукос. Национальная идея сквозь призму праздничного стола. — «Отечественные записки», 2003, № 1.

Оливье. Винегрет. Шпроты.

Рой Медведев. «Диссидент диссиденту рознь». Беседу вел Юрий Рябинин. — «Литературная Россия», 2003, № 13, 4 апреля.

«Мне сейчас 75 лет, и я могу утверждать, что были годы во много раз худшие, чем нынешние».

Ирина Медведева, Татьяна Шишова. «Гарри Поттер»: стоп. — «Наш современник», 2003, № 4.

«Примерно треть обрядов, описанных в ее книгах, с гордостью заявляла Роллинг [в радиоинтервью, 1999 год], основана на настоящих оккультных действиях».

Александр Мелихов. «Во все времена мир был трагичным». Беседу вела Елена Елагина. — «Литературная газета», 2003, № 14, 9 — 15 апреля.

«Я думаю, что альтернативой оптимистическому мировоззрению должно стать трагическое мировоззрение, которое знает, что все живет за счет другого, может быть, не менее прекрасного, что прогресс в одном неизбежно вызывает регресс в другом и любое достижение тонет в лавине непредсказуемых последствий. Противоречивость и непредсказуемость мира — эти две компоненты трагического мировоззрения способны в принципе избавить нас от фашизма, но в то же время — увы — не могу поверить, что трагическое мировоззрение может стать массовым».

«<...> мы всегда выбираем не между добром и злом, а между различными видами зла, и государственный суд в данном случае, видимо, все-таки меньшее зло [чем суд Линча]».

См. также: «Государство — способ упорядочения человеческих страстей, оно абсорбирует тот процент зла, который в его отсутствие может разрастись в геометрической прогрессии», — говорит **Леонид Бородин** («Литературная газета», 2003, № 15, 16 — 22 апреля <<http://www.lgz.ru>>).

Сергей Митрофанов. Тщетные поиски русских в России. — «Со-Общение», 2003, № 3, март <<http://www.soob.ru>>

«Отсутствие русских в России объясняется другими, но не менее известными и исследованными причинами. Усталостью и деморализацией русского этноса, понесшего в XX веке невосполнимые человеческие потери — в двух мировых войнах, в Гражданской войне, в репрессиях, а в промежутках — от собственного начальства, не пожалевшего сил, чтобы жизнь русских всегда была тяжела и беспросветна. Русская нация устала. Если бы она не была уставшей нацией, то война в Чечне, например, давно бы закончилась и победе русских не помешало бы предательство отдельных жуликов, наживающихся на торговле оружием и бесконечном восстановлении и списывании материальных ценностей. Жулики, как бы они ни были богаты и влиятельны, все же в меньшинстве, а русские добровольно пошли бы в военкоматы и настояли бы на массовой отправке добровольцев. Командирам не оставалось бы ничего другого, как привести их к победе численным перевесом. Но война идет бесконечно. Пацифизм русских — тот же признак усталости. Они не хотят воевать в Ираке (даже не своими руками, а руками американцев), не хотят сражаться с международным терроризмом. То, чего они не хотят, можно перечислять бесконечно. Они не хотят бороться с коррупцией, с бедностью, со СПИДом... <...> Если бы они ни были уставшей нацией, они бы сказали своим переговорщикам в ПАСЕ: „Вы не добились для нас свободного и дешевого проезда по Европе из Калининграда. Уходите!” Автор — обозреватель журнала «Новая модель».

Александр Михайловский. «Грустно теперешнее зрелище праздника...» — «Отечественные записки», 2003, № 1.

Гоголь, Федоров, Розанов, Флоренский и — праздники.

Алексей Мокроусов. Габриеле Д'Аннунцио. Поэт во френче. — «Новое время», 2003, № 15, 13 апреля <<http://www.newtimes.ru>>

«Вообще, влияние Д'Аннунцио на русскую культуру заслуживает отдельного разбора: в частности, Гумилев видел, видимо, в [лысом] итальянце образец для подражания и даже в одежде военизировался вполне под стать ему <...>».

«Наше общество развращено неверием». Беседу вели Ольга и Александр Николаевы. — «Литературная газета», 2003, № 15, 16 — 22 апреля.

Говорит **Леонид Бородин**: «<...> ограничению подлежат все способствующие уничтожению жизни на земле — и хищничество в отношении природы, и такие, допустим, явления, как гомосексуализм и лесбиянство, ведущие к прекращению человеческого рода».

См. также: «Тем, что люди сегодня во мне ценят, я обязан лагерю», — говорит **Леонид Бородин** в беседе с Сергеем Шаповалом («Наказание любовью к Родине» — «Независимая газета», 2003, № 79, 18 апреля <<http://www.ng.ru>>).

Александр Неклесса. Анатомия аномии. — «Русский Журнал», 2003, 9 апреля <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> попробую выразить через введение нескольких ключевых понятий. Первое — „статусная декапитализация России“. Второе — „путинщина“. Третье — „люмпен-элиты“. И четвертое — „люди воздуха“...»

См. также: **Александр Неклесса**, «Инновация и революция» — «Дружба народов», 2003, № 4 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>

См. также: **Александр Неклесса**, «Трансмутация истории. 11 сентября 2001 года в исторической перспективе и ретроспективе» — «Новый мир», 2002, № 9.

Андрей Немзер. «И пою, как поют все небесные птицы...» Издательство «Время» выпустило однотомник Леонида Губанова [«Я сослан к Музе на галеры...»]. — «Время новостей», 2003, № 61, 7 апреля.

«<...> страниц двадцать отведено под „джентльменский набор“ — с портвейном, полицейским произволом, недугами и срывами, большими надеждами, цензурой, историей глумливого погрома, учиненного над теми единственными восемью строками, которые поэт увидел напечатанными. И со всякими пафосными словесами, в разговорах о погубленных гениях столь же обязательными, как формулировка „политически грамотен, морально устойчив“ в партийно-профсоюзной характеристике. „Есть мнение, что он — лучший русский поэт второй половины XX века“, — сообщается в „как бы вступительной статье“ (страница пустых, равнодушных слов). *Есть мнение...* — оборотец стоит *Поэзии священного безумия* (заголовок отписочной заметульки) и скуловоротной Воландовой мудрости о рукописях, которые, дескать, не горят (куда ж без нее). <...> Рукописи отлично горят — не говоря уж о том, что не читаются, не рецензируются и не возвращаются».

Андрей Немзер. Поговорим просто так. Издательство «Время» приступило к Собранию Фазила Искандера. — «Время новостей», 2003, № 71, 21 апреля.

«Искандер — писатель неровный, но обаятельный, предназначенный для всеобщей любви».

Ср.: «<...> на мой сугубо субъективный взгляд, „Сандро из Чегема“ есть большой хорошо написанный анекдот, но не более», — говорит **Леонид Бородин** («Литературная газета», 2003, № 15, 16 — 22 апреля <<http://www.lgz.ru>>).

Арсений Несмелов. Из литературного наследия. Предисловие Евгения Витковского. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2003, № 230 <<http://magazines.russ.ru/nj>>

«Винтовка № 572967», «Новобранец», «Родине» — три стихотворения из омской газеты «Наша армия» (октябрь 1919 года).

Сергей Нехамкин. Сержант Соломин и капитан Солженицын. — «Известия», 2003, № 70, 19 апреля.

Подробная беседа с фронтовым другом Солженицына — Ильей Матвеевичем Соломиным (82 года, живет в Бостоне). Много фотографий из личных архивов Натальи Решетовской и Ильи Соломина.

Олег Николаев. Новый год: праздник или ожидание праздника? — «Отечественные записки», 2003, № 1.

«Праздничное предощущение фактически заменяет собой эмоциональное проживание».

Илья Ничипоров. Мотивы песенной поэзии Игоря Талькова. — «Литературная учебка», 2003, № 1, январь — февраль.

«<...> явилась художественным выражением эпохи крушения Системы <...>».

Людмила Оболенская-Флам. Воздушными путями. К 50-летию передач радио «Свобода». — «Посев», 2003, № 3.

«1 марта 1953 года впервые на коротких волнах <...>».

Михаил Огарев. «Откровение» от алхимика. Несколько критических эмоций, потревоживших автора этих строк после прочтения им книги Пауло Коэльо «Алхимик» («София», 2002). — «Наш современник», 2003, № 3.

«<...> несколько модифицированный старый добрый эмпиризм, занятно прикрытый восточной чадрой».

Дмитрий Ольшанский. Керженский дух, игуменский окрик. — «Консерватор», 2003, № 14, 18 апреля.

«Несть числа дряни, что говорена о Ленине в последние пятнадцать лет, — повторять ее неудобно даже для опровержения. <...> Подобного пошиба либеральная публика визжала о „германских деньгах“ и в те времена, стыдливо умалчивая о средствах английских и общемасонских, потраченных на нее, такую неподкупную».

«<...> главный исторический смысл сделанного Лениным и его младшими товарищами был расквитаться с Западом за новации гнусного Петра, стряхнуть с России пыль и грязь фальшивого насквозь „псевдоморфоза“, как называл послепетровскую эпоху дедушка Шпенглер. Ленин совершил Чудо — он взял реванш за царевича Алексея, он перенес столицу из мертвого Петербурга в чудесную Москву».

«Именно Владимиру Ильичу должны мы сказать спасибо за то, что у нас до сих пор, слава Богу, не Европа — то есть жива вера (вере ведь страшен не большевизм, а экуменизм), обсуждение проблем трансвеститов не является главной общественной проблемой, а люди еще знают, что такое настоящая свобода, в отличие от „свободы“, пропагандировавшейся в ленинское время кадетами, а теперь — американскими президентами».

«<...> великое ленинское Революционное Государство было античеловеческим, слишком античеловеческим с точки зрения нашей обыденной жизни, да и просто *очень страшным делом*, однако разве не страшна, не античеловечна, на взгляд материалистической цивилизации Запада, Россия как таковая, разве не ужасно в сравнении с удобной, комфортной доктриной кальвинистов „богатый — значит, спасенный“ православие, с его, что уж там стесняться, *священной ненавистью к миру?*»

«<...> Ленин был наш выдающийся государственный и *консерватор* <...>».

«Нам сейчас не хватает Ленина. <...> Никогда не унывать, никого не бояться, всегда настаивать на своем, наводить порядок там, где все разорвано, и, самое главное, внушать надежду самым бедным людям этого мира — тем, кому решительно не на кого надеяться сегодня».

Ср.: «В нашем историческом шкафу лежит самый настоящий, неметафорический, скелет — и никому нету до этого никакого дела. При всем том политики в один голос твердят, что общество не готово к прощанию с телом вдохновенного людоода», — пишет Александр Архангельский («А гроб и ныне там» — «Известия», 2003, № 71, 22 апреля <<http://www.izvestia.ru>>).

См. также беседу Константина Катаняна с историком Акимом Арутюновым: «Правда о лжи. Ленин никогда не был членом РСДРП и не жил в шалаше» — «Время MN», 2003, 22 апреля <<http://www.vremyamn.ru>>

Наталья Осминская. От литературного ренессанса к гуманитарной революции. — «НГ Ex libris», 2003, № 13, 10 апреля.

Говорит Ирина Прохорова («НЛО»): «Искусство всегда ангажированно, но это многообразная ангажированность, поскольку функции и жанры искусства многообразны, а вот тоталитарная логика сводит его только к обслуживанию власти, эдакому идеологическому менеджменту. Нечувствительность современной критики к принципиальному различию игр художественных и политических уже имеет свои нерадостные последствия. То, что идеологическую стряпню Проханова можно с успехом выдать за литературное событие, а политическую деятельность Лимонова — за художественный жест, говорит об отсутствии в обществе элементарной системы координат».

Сергей Павлов. Алхимический брак с Востоком. Православный взгляд на роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота». — «Москва», 2003, № 4 <<http://www.moskvam.ru>>

«Не станем утверждать, что Пелевин сознательно идет на беспримерное кощунство <...>. Но вот тот, кто водил его рукой, точно знал, на что покушался».

Памяти Семена Липкина. — «Литературная газета», 2003, № 14, 9 — 15 апреля.

«Липкин скончался, сойдя с крыльца своей переделкинской дачи, — упал лицом в снег. Его супруга — поэт Инна Лиснянская — была возле...» Некролог подписали — Александр Солженицын, Наталья Солженицына, Фазиль Искандер, Олег Чухонцев, Юрий Кублановский, Лев Аннинский, Наталья Иванова.

См. также: Алла Латынина, «Преодоление» — «Время MN», 2003, 8 апреля <<http://www.vremyamn.ru>>; «Смерть его не поразила безвременностью: как-никак девяносто второй год. Похороны оказались событием внутрилитературным».

См. также: Елена Иваницкая, «„О Господь, я прочел твою книгу“». Памяти Семена Липкина» — «Консерватор», 2003, № 12, 4 апреля <<http://www.egk.ru>>; «Присутствие этого патриарха в нынешнем изрядно-таки приклатненном мире давало надежду тем немногим, для кого поддержание традиции что-то значит».

См. также: Станислав Рассадин, «Человек преодолевший. Ушел Семен Липкин. Осталась победа судьбы над жизнью» — «Новая газета», 2003, № 24, 7 апреля <<http://www.novayagazeta.ru>>

См. также: Дмитрий Шушарин, «Семен Липкин. Альтернативный некролог» — «Русский Журнал», 2003, 1 апреля <<http://www.russ.ru/krug>>; «Однако главное впереди, а именно — переоценка имперского наследия, понимание того, что „на просторах родины чудесной“ русский язык, которому служил Семен Липкин, был, есть и будет языком диалога, объединения в многообразии, языком постимперского культурного кондоминиума».

Лев Пирогов. Режьте, братцы, режьте... Величие России прирастет цензурными комитетами. — «НГ Ex libris», 2003, № 13, 10 апреля <<http://exlibris.ng.ru>>

«Говорят, что цензура — враг информации, а информация — кровь общества, доставляющая к его могучим мозгам живительный кислород. Но это грандиозный пропагандистский миф. Только идиот полагает, что, плясь в книгу (уж не говоря о газетах или выпусках новостей), он получает сведения об окружающем мире. <...> „Информированностью“ у нас называют либо эффект ложного присутствия, либо эффект ложной причастности. В результате у людей нарушаются практические рефлексы: они считают себя участниками кажущейся действительности. Такой человек абсолютно не способен действовать в реальных обстоятельствах — например, дать или получить в морду. Он прячется в „текст“, как черепаха в панцирь. Этот тип поведения называется в психиатрии шизоидным. Сегодня шизоидность стала не медицинской и эстетической, а социальной проблемой. Впору изымать у населения телеприемники...»

См. также: «Я всегда подозревал, что самые горячие сторонники цензуры — вовсе не зануды охранители, этикие Беликовы — „человеки в футляре“ <...> а, напротив, люди бешеного творческого темперамента. Они чувствуют в себе силы столь буйные и разрушительные, что начинают сами себя бояться и даже искать некую внешнюю обуздывающую инстанцию», — откликается на статью Льва Пирогова Александр Агеев («Время MN», 2003, 12 апреля <<http://www.vremyamn.ru>>).

Лев Пирогов. Как написать другой рассказ того же писателя. — «Топос», 2003, 31 марта <<http://www.topos.ru>>

«„Алеша Бесконвойный“ — это рассказ о счастье. О любви, которая не требует „в муках замарать“, о любви, которая дарит радостью. Редкое состояние. В смысле мало кому доступное. Раньше мне даже казалось, что в „Алеше Бесконвойном“ есть некий буддийский выверт, я запальчиво сравнивал его с повестями Сэлинджера — сегодня не уверен, не знаю. То, к чему герои Сэлинджера мучительно продираются через пять десятков страниц исполненной табачного дыма мировой культуры, соплей и молитв повести „Зуи“, Шукшину дается без объяснений: как говорят музыканты, „ты мне не объясняй, ты лучше сыграй“. А сыгранное сложно пересказать словами. Если мне когда-нибудь удастся написать о рассказе Шукшина „Алеша Бесконвойный“, я, наверное, умру. Или испытаю „иллюминацию“. Это как расшифровать Имя Бога. Ведь в рассказе содержится ответ на вопрос, „как жить“. Заметьте, без связки „надо“. Просто — как жить. Как есть Репу. Вечно».

См. эту же статью Льва Пирогова под названием «Хозяин бани и огорода» — «НГ Ex libris», 2003, № 14, 17 апреля <<http://exlibris.ng.ru>> Там же другие статьи о Шукшине: Игорь Касаткин, «Космос, нервная система и шмат сала»; Анатолий Дуров, «Танцующий Шива».

Письма Георгия Адамовича А. В. Бахраху. 1969 — 1972 гг. Публикация Веры Крeid. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2003, № 230.

«П том Ахматовой? Мне почти ничего в нем не нравится, а стихи Сталину можно было выпустить, потому что о полноте и академизме вообще не может быть речи. Зная ее, я уверен, что она возмутилась бы. А помимо сего, — но тут редакторы ни при

чем, — мне не нравятся ее статьи. Не женское это дело, очевидно» (от 14 марта 1969 года). Письма Адамовича к Бахраху см. также № 216, 217, 224 и 225 «Нового Журнала».

Письма Ф. И. Панферова И. В. Сталину. Публикация В. Ф. Панферовой. — «Наш современник», 2003, № 3.

«8 августа 1934 г. Товарищ Сталин! Очень прошу Вас помочь мне освободиться от редактирования журнала „Октябрь“. Я журнал редактирую уже десять лет. За это время, видимо, я многим надоел, да и мне надоели. Жму руку. Ф. Панферов».

Абель Поссе. Пражские тетради. Роман. Перевод с испанского Е. Лысенко. — «Иностранная литература», 2003, № 4.

Че Гевара — между Конго и Бolivией.

Захар Прилепин. Отборный козий изюм. — «День литературы», 2003, № 4, апрель.

Памфлет о Татьяне Толстой (преимущественно — на основе ее эссеистического сборника «Изюм. Отборное»).

См. также: **Дмитрий Быков**, «Татьяна Толстая. Из бывших» — «Консерватор», 2003, № 5, 14 февраля <<http://www.egk.ru>>

Эдвард Радзинский. «Пошлость бессмертна». Беседу вела Лариса Алимamedова. — «Труд-7», 2003, № 50, 20 марта <<http://www.trud.ru>>

«<...> драматург подобен телевизору с выключенным экраном: слышны только слова и, к сожалению, остается тайной та картинка, которую он видит, когда пишет. Что делать, таков закон Театра: пишется одна пьеса, ставится другая, а зритель смотрит третью».

См. также: «Почему все как-то умаляют достоинства Эдварда Станиславовича как пьесиста?» — удивляется **Рената Литвинова** («Консерватор», 2003, № 11, 28 марта <<http://www.egk.ru>>).

Татьяна Разумовская. «Шедевры Метража». — «Сетевая словесность» <<http://www.litera.ru/slova/razumovskaya>>

«Последние пять лет жизни в Советском Союзе, вплоть до 1988 года, я проработала младшим научным сотрудником Эрмитажа...»

Цитирую:

«У Мадонны Бенуа. Группа из Москвы.

— Вот вы тут говорили о трагическом будущем этого младенца. А что с ним случилось?

— Когда он вырос, его распяли.

— А, спасибо».

См. также на сайте «Сетевая словесность» забавную статью **Андрея Мадисона** «Левый Лев: Толстой как хиппи, панк и анархист» <<http://www.litera.ru/slova/madison>>

Рустам Рахматуллин. На возврате. Эссе. — «Новая Юность», 2002, № 6 (57).

«Свои опыты метафизического градоведения, собранные в будущую книгу „Две Москвы“, Рустам Рахматуллин начал в „Новой Юности“ десять лет назад...» *За аналогичные опыты в этом жанре Рустам Рахматуллин получил редакционную премию «Нового мира» за 2002 год.*

Михаил Ремизов. Будущее одной секты. — «Русский Журнал», 2003, 4 апреля <<http://www.russ.ru/politics>>

«Сегодня я могу только пожелать, чтобы волны горячей нефти и горячей крови разлились по миру достаточно широко и бурлили достаточно убедительно, чтобы мы окончательно уяснили, что нам некуда „интегрироваться“. Нам пора *интегрировать*».

См. также: «Михаила Ремизова без всякой лести и без особого пафоса можно назвать одним из немногочисленных интеллектуальных лидеров современного российского консерватизма. В этом движении Ремизов взял на себя почетную и ответственную функцию носителя критического, вдумчивого здравомыслия», — пишет **Егор Холмогоров** («Средство для промывки полковничьих мозгов» — «Консерватор», 2003, № 14, 18 апреля) в связи с книгой Михаила Ремизова «Опыт консервативной критики» (М., «Прагматика культуры», 2002).

См. об этой книге также: **Кирилл Якимец**, «Просто критика. И как результат — консервативная чистота философии» — «НГ Ex libris», 2003, № 7, 27 февраля <<http://exlibris.ng.ru>>

Ирина Роднянская. София-«хозяйка»: С. Н. Булгаков как ранний критик потребительства. — «Посев», 2003, № 4.

Мещанство (духовное мещанство) как особая антропологическая категория. Горизонтальное существование. Свиночеловечество.

Галина Романова. «Если жизнь тебя обманет...» Рассказ В. В. Набокова «Круг» с разных точек зрения. — «Литературная учеба», 2003, № 1, январь — февраль.

«Творчество В. В. Набокова — излюбленный предмет изучения в школе и вузе...» См. также: Олег Лекманов, «Принцип не совсем обманутых ожиданий. По рассказу Владимира Набокова „Весна в Фиальте“» — «Литература», 2003, № 3, 16 — 22 января.

Александр Силаев. *C'est moi*, Дубровский. Рассказ. — «День и ночь», Красноярск, 2003, № 1-2, январь — март.

«Поймали как-то жиды мальчонку и давай ему Пятикнижие вслух читать...» Шутка. Здесь же — поэма (?) Александра Силаева «Раскрытое письмо к Арыбану».

Александр Скидан. Любовь холоднее смерти. — «Русский Журнал», 2003, 6 марта <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

«<...> во Франции, на родине автора, роман [„Платформа“] вызвал скандал: [Мишеля] Уэльбека обвинили в „оскорблении ислама“, „пропаганде секс-туризма“ и „унижении достоинства женщин“». Странно, что в этом списке отсутствует пункт об оскорблении западной цивилизации или ее ценностей. <...> Удобнее перевести стрелку на „частичные объекты“ (ислам, женщины, секс-туризм), потому что в противном случае придется разбираться с существующим миропорядком в целом, рискуя утратить под ногами твердую почву, конституирующую и узаконивающую *status quo*, политико-правовую платформу, в том числе и для осуждения самой „Платформы“...»

Здесь же: «<...> Уэльбеку плевать на современную европейскую культуру точно так же, как на правых и левых: развернутая ее критика нужна ему совсем для другого. Люди представляются ему страдающими существами, зажатыми между двумя жерновами: собственной биологической природой и социальным устройством мира. Признание неодолимости первой и жесткая критика второго нужна Уэльбеку для того, чтобы спасти еще одну ценность: сострадание», — пишет Сергей Кузнецов («Наслаждение и сострадание» — «Русский Журнал», 2003, 6 марта <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>).

См. журнальный вариант романа в переводе Ирины Радченко: «Иностранная литература», 2002, № 11 <<http://magazines.russ.ru/inostran>> и полный вариант этого перевода: М., «Иностранка», 2003, серия «За иллюминатором».

О романе см. также: Михаил Золотоносов, «Проект „Афродита“» — «Московские новости», 2002, № 49 <<http://www.mn.ru>>; Виктор Канавин, «Новый правый» — «Итоги», 2003, № 4 <<http://www.itogi.ru>>; Кирилл Куталов, «Смерть им к лицу» — «НГ Ex libris», 2003, № 2, 23 января <<http://exlibris.ng.ru>>; Игорь Порошин, «Трах и трепет» — «Известия», 2003, № 32, 21 февраля <<http://www.izvestia.ru>>

Об откликах нашей критики на роман Уэльбека «Элементарные частицы» см.: Евгений Ермолин, «Частицы боли» — «Континент», 2003, № 115 <<http://magazines.russ.ru/continent>>

См. также: «Я ведь был в России однажды. Запомнил ее как страну для Бальзака. <...> Чтобы Бальзак ее описывал. Это общество, в котором одни люди вдруг стали богатыми, а другие остались бедными, — вот Бальзак умел описывать быстро меняющееся общество. Как у нас после Великой Французской революции. Только мне кажется, что в России нет писателя, который бы мог это описать. И я думаю, что он все-таки вам нужен. Такой — очень реалистичный, очень ясный...» — говорит Мишель Уэльбек в беседе с Александром Гавриловым («Французу трудно быть сентиментальным» — «Книжное обозрение», 2003, № 12, 24 марта <<http://www.knigoboz.ru>>).

См. также стихи Мишеля Уэльбека в переводах Михаила Яснова — «Иностранная литература», 2003, № 3.

См. также отрывок из новой повести Мишеля Уэльбека «Лансароте» в переводе Нины Кулиш — «Книжное обозрение», 2003, № 9-10, 11 марта.

См. также: Наталия Бабинцева, «Последний девственник Европы. В издательстве „Ad Marginem“ выходит сборник статей Мишеля Уэльбека „Мир как супермаркет“» — «Время новостей», 2003, № 54, 27 марта <<http://www.vremya.ru>>

Сергей Солоух. Цех. — «Русский Журнал», 2003, 20 марта <<http://www.russ.ru/krug>>

«<...> именно исходя из насущной необходимости возродить ремесленный, цеховой принцип организации творческих рядов, не надо, ни в коем случае нельзя хоронить толстые журналы. Слава Богу, что они еще есть. Выжили. У них великое будущее, а не прошлое. <...> Ядро групповой клетки. Коллективный организатор и агитатор. Конспиративная квартира, явка. Точка».

«Писательство из сферы психических расстройств и антиобщественных деяний обязано переместиться в разряд общественно полезной активности. Встать в один ряд с кино, казино и стоматологическим кабинетом».

Сто десять вопросов Александру Севастьянову. — «Русская Правда». Всероссийская газета русского национально-освободительного движения. Учредитель, издатель и главный редактор А. М. Аратов. Газета издается по благословию Волхва Святюрского Ратебора. [Чуть выше логотипа — «Слава Яриле!»]. 2003, № 32-33 <<http://ruspravda.cjb.net>>

На все вопросы отвечает сопредседатель НДПР А. Н. Севастьянов: «Если же выражаться ненаучно, то в России есть всего четыре категории населения: 1) русские; 2) желающие быть русскими; 3) друзья русских; 4) враги русских. Но это, конечно, не партийная точка зрения».

См. также: Александр Савин, «РФ — неоапартеид для русских?» — «Завтра», 2003, № 15, 8 апреля <<http://www.zavtra.ru>>; *русские в РФ (82 — 85 процентов) как дискриминируемое меньшинство, «согласно Конституции РФ, русского народа в России не существует».*

Анатолий Строганов. О возможном контакте. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 313, 2 марта <<http://www.lebed.com>>

«Видимые проблемы при вступлении в возможный контакт. 1. Нет международного свода законов, национальных законов, регулирующих, кто, как, где будет осуществлять контакт, кто, как и в каком объеме будет сообщать о развитии контакта всем землянам. Земляне по умолчанию предполагают, что внеземная цивилизация должна действовать на земле в соответствии с международным правом, законодательством стран. <...> 2. Нет публичных оценок возможных негативных последствий, к которым может привести потенциальный контакт, например, возможны массовые самоубийства на основе разрушения религий, верований. Неизвестно, существуют ли исследования по этой проблеме, вырабатываются ли компенсаторные решения...»

Александр Строев. Нос русского путешественника. Ароматы и запахи в культуре. — «НГ Ex libris», 2003, № 10, 20 марта.

«При въезде в город [Ландо] ошибла нас мерзкая вонь, так что не могли мы уж никак усомниться, что приехали во Францию» (Д. И. Фонвизин, 1777 год).

«Так легла карта жизни». Беседовал Игорь Шевелев. — «Время MN», 2003, 1 марта.

Говорит Петр Вайль — в связи с его новой эссеистической книгой «Карта Родины»: «XX век провел полевые испытания множества идеологических моделей, и все они потерпели крах. Идеологическому слову больше не верят. Вымышленному — тем более. Кое-как еще держится факт — отсюда такой бум нон-фикшн. Есть иллюзия правды».

См. также: «Публицистика <...> не самый сильный пункт книги. Точнее, не самый адекватный. А вот злость, и тоска, и отчаяние — то бишь эмоции — от наших неоправимости, беспомощности, тупой повторяемости, бездарности, кичливости, бесцельности и безысходности — да что там, даже отчаянная оторопь, что никакая империи в римском смысле у нас толком никогда и не было и даже за этот хвост не ухватишься! — эти совершенно новые для „Вайля в нашем представлении“ эмоции взрывают и разрывают, на мой взгляд, „Карту Родины“, переводя ее в категорию взвинченного памфлета», — пишет Глеб Шульпяков («Карты в руки» — «Русский Журнал», 2003, 12 марта <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>).

См. также: «Как кому, а мне разглядывать эту карту было скучновато. Я на своей родине живу и все это вижу каждый день. Юрий Левин издал однажды для иностранных студентов комментарии к поэме Веночки Ерофеева. Очень занимательное получилось чтение. Что такое Кремль и в каком смысле „Слеза комсомолки“. Новая книга Вайля тоже для иностранцев. Но только для тех, которые пока не успели заглянуть в Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Лескова», — пишет Майя Кучерская («Большой абoriginal» — «Русский Журнал», 2003, 12 марта <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>).

См. также: «<...> у [Петра] Вайля полностью отсутствует чувство трагического. <...> Автор [книги «Карта Родины»] путешествует по нищим провинциям некогда великой империи; и это повод для очень большой и личной боли, но ее нет и не может быть у сознательного эмигранта — вместо нее этакая элегическая грусть заезжего туриста», — пишет Дмитрий Ольшанский («Перемещения Вайля» — «Консерватор», 2003, № 11, 28 марта <<http://www.egk.ru>>).

См. также: Александр Архангельский, «Аргументы и факсы. Петр Вайль разметил „Карту Родины“» — «Известия», 2003, № 67, 16 апреля <<http://www.izvestia.ru>>

«Твоя мысль — очень верная...» Вступительное слово Владимира Бондаренко. — «День литературы», 2003, № 4, апрель.

Переписка — не полемическая, но от этого не менее примечательная — в связи с опубликованными дневниками Сергея Есина. Андрей Мальгин — Сергею Есину, Есин — Мальгину, Мальгин — Есину.

Виктор Тимошенко. «Украина не является суверенным государством». — «Консерватор», 2003, № 13, 11 апреля.

Говорит **Александр Дугин**: «По моему убеждению, Украина сегодня не является суверенным государством и не имеет для этого ни исторических, ни футурологических, ни ресурсных оснований. Кстати, РФ также не является и не может стать государством-нацией. Таким образом, я не являюсь противником Украины и ее государственности, я противник всякой государственности, возникшей на территории Советского Союза. Ни одно из постсоветских государств, включая страны Прибалтики, не имеет шансов состояться как полноценное государство. Нынешние геополитические процессы в мире — не самая удачная среда для возникновения новых государств».

Виктор Топоров. Резервация APC'S. Об академиках, Толстожурналье и литературе. — «НГ Ex libris», 2003, № 10, 20 марта.

Ругается однообразно. Ему зачем-то возражает **Карен Степанян**: «О Топорове и „толстяках”» — «НГ Ex libris», 2003, № 11, 27 марта <<http://exlibris.ng.ru>>

См. также беседу одного из соредкторов питерской «Звезды» **Якова Гордина** с корреспондентом Сергеем Ачильдиевым: «Алфавит», 2003, № 5, 6 февраля <<http://www.alphabet.ru>>

Игорь Тюленев. Ветка омелы. О поэме Юрия Кузнецова «Сошествие в ад». — «День литературы», 2003, № 3, март.

«Русская поэзия должна оторвать свою толстую ленивую задницу от многочисленных колен набежавших на Москву за последние десятилетия князьков и царьков. Выдернуть из ушей, как серные пробки, „трели соловья” и упасть перед Ю. Кузнецовым на колени! Потом уж по-бабьи можно сморкаться в платок или реветь белугой, но сначала — упасть на колени!»

«Когда пишут ныне необоснованно растиражированные Мандельштам, Пастернак или Бродский — виден глазомер, ум и стопка русских литературных словарей. Но нет глубинного живого русского языка. Который им, к сожалению, по какой-то причине недоступен. Если считаешь их стихи спокойно, без газетно-журнальной мишуры — скажешь, что эти стихи писали люди, но не гении... Когда же пишет Юрий Кузнецов, то стихи его вздымаются, как планетарные валы мировой истории».

«А ведь у Пушкина и Лермонтова нет ничего подобного. Данте? Но у него местечковые замашки — в ад он загнал в основном своих личных врагов, а Вергилий у него за экскурсовода...»

«<...> теперь Юрий Кузнецов, по написанию этой поэмы, стал столпом мировой поэзии!»

Не пародия.

Ср.: **Николай Переяслов**, «Жизнь журналов» — «День литературы», 2003, № 1, январь.

Альберт Урман. «Город Солнца» в сибирской глубинке. Община Виссариона глазами журналиста. — «День и ночь», Красноярск, 2003, № 1-2, январь — март.

Все равно — секта.

Владимир Уфлянд. Русский Конрад бежит и после смерти. — «Новая русская книга», 2002, № 2 (13).

Краткий мемуар о писателе Александре Кондратове (1937 — 1993). «Его смерть — логичное завершение Сашиной алогичной жизни. Соседи по коммуналке, заметив необычайную бледность, предложили вызвать для Саши „скорую”. Но он сказал, что для його его уровня любая болезнь — пустяк. Он справится сам. К утру он умер от прободения язвы желудка». Здесь же — **Александр Кондратов**, «Из цикла рассказов „Продолжение следует. Сказ о майоре Наганове”».

О питерском литературном сообществе, в которое входил А. Кондратов, см. большую подборку материалов: «„Филологическая школа”. 40 лет» — «Литературное обозрение», 1997, № 5.

Борис Федоров. «Я — цивилизованный националист». Беседу вел Константин Крылов. — «Консерватор», 2003, № 10, 21 марта.

«Я считаю, что любой человек должен абсолютно открыто защищать интересы своего государства, своей нации. <...> За четкую, жесткую политику в сфере миграции. Если ты не хочешь ассимилироваться, становиться русским в России, то извини — живи где-нибудь еще».

Рут Фэйнлайт. Цвет сахарной бумаги. Поэма. Перевод с английского М. Боролицкой. — «Иностранная литература», 2003, № 4.

«Я комнату пыталась описать / в квартире ленинградской, где была я / в году шестьдесят пятом и где стены / хранили с девятнадцатого века / такую точно краску, —

описать / подруге из Нью-Йорка, в девяностых...» Здесь же — статья **Нины Королевой** «Анна Ахматова — современный миф». Она пишет: «<...> еще раз повторю свое мнение: фактические неточности в поэме-легенде об Анне Ахматовой есть, но их исправлять не надо».

Михаил Харитонов. Осенний крик ястреба. — «Консерватор», 2003, № 11, 28 марта.

«Прекрасный поэт Гандлевский написал на редкость неприятную — чтобы не сказать противную — книжку [„<НРЗБ>”]».

Владимир Харыбин. О мюзикле и его заложниках. — «Наш современник», 2003, № 3.

«<...> между *мюзиклом* (как видом модного развлечения) и *террором* (как одной из форм современного насилия) с высшей точки зрения существует некая глубинная смысловая связь <...>».

См. также: **Егор Холмогоров**, «Кто победил?» — «Спецназ России», 2002, № 11, ноябрь <<http://www.spcspaz.ru>>

Эдуард Хлысталов. Предатели с маршалскими звездами. — «Литературная Россия», 2003, № 12, 13.

Тухачевский — не герой, а предатель.

Ср.: **Константин Ковалев**, «Контрольные выстрелы в расстрелянных героев» — «Left.ru/Левая Россия», 2003, № 5, 11 марта <<http://www.left.ru/2003/5>>; Тухачевский — герой, а не предатель.

Егор Холмогоров. Русский горизонт. — «Спецназ России», 2003, № 3 (78), март.

«Без народа человек лишен языка, лишен культуры, лишен той спасительной системы предрассудков и предрешений, без которой он остается умственным и психическим слепцом или импотентом».

«<...> русофобия — это не неприятие определенного уровня культуры, а ненависть к определенному направлению культуры, которое и определяет то специфически русское, что есть в русских».

Егор Холмогоров. Оборонное сознание. — «Консерватор», 2003, № 11, 28 марта.

«И офицерский, и солдатский состав русской армии должны приобрести характер открытой касты, в которую вход — рубль, выход — вперед ногами. Другое дело — как достичь этого, преодолев демократию либеральную и социальную, как вызвать таким переходом у народа не недовольство, а энтузиазм?»

Александр Ципко. На западном фронте. — «Литературная газета», 2003, № 14, 9 — 15 апреля.

«<...> наша полемика с Игорем Клямкиным в конце восьмидесятых — начале девяностых годов по поводу истоков сталинизма как раз и была началом диалога между возрождающимися тогда „либералами-националистами” и зарождающимися „либералами-западниками”...»

«Новые западники говорят себе, что их больше всего заботит благосостояние, которого никогда в России не было, заботит будущее свободы в России. Но на самом деле ими, как я убежден, движет слепой, но всемогущий инстинкт разрушения российской государственности».

«<...> на мой взгляд, на сегодняшний день главной угрозой для России являются не остатки державного сознания ее граждан, а, напротив, политика и идеология так называемой „смены парадигмы”».

Юрий Цурганов. 50 лет без вождя. Сколько лиц было у Иосифа Сталина? — «Посев», 2003, № 3.

Весной 1917 года Сталин и Каменев пытались «объединить большевиков и меньшевиков в единую партию, поддерживающую Временное правительство и выступающую против ленинской концепции перерастания данной революции в социалистическую <...>».

Израэль Шамир. «И все-таки — единая Палестина!» Беседует Владимир Бондаренко. — «Завтра», 2003, № 9, 25 февраля.

«Мешает миру не еврейская кровь, а еврейская идеология».

«В мире происходит война идей. <...> Даже силы зла, темные силы действуют не ради куска золота или нефтяных запасов, а во имя своих темных идей».

«Я хочу, чтобы Израиль прекратил свое существование».

См. также беседу **Израэля Шамира** с Олегом Головиным: «Русский Журнал», 2003, 17 марта <<http://www.russ.ru/krug>>; «<...> русская литература есть и будет. Это только

после 1991 года было ощущение, что литература больше не нужна, надо только торговать булочками. Но, слава Богу, те времена прошли. <...> Если говорить об идейной наполненности произведений, то самым мыслящим писателем я бы назвал Пелевина. Это писатель настолько глубокой мысли, что далеко не сразу, не в ущерб ему будь сказано, до тебя начинает доходить вся глубина построенной им конструкции. <...> Она [Америка] сейчас представляет собой определенный эквивалент Советского Союза 1934 года, съезда победителей. Там сейчас, я надеюсь, уже наступил апогей неолиберальной диктатуры. Им кажется, что они стоят на пороге великих свершений. На самом деле это уже начало конца. <...> В Америке за последние 10 — 15 лет не было написано ни одной заметной книги».

См. также эту беседу Исраэля Шамира с Олегом Головиным: «НГ Ex libris», 2003, № 10, 20 марта <<http://exlibris.ng.ru>>

Игорь Шевелев. «Все это похоже на притчу...» О Давиде Самойлове и его дневниках. — «Новое время», 2003, № 13, 30 марта.

Говорит Александр Давыдов, старший сын поэта: «<...> и так слишком много было задетых и обиженных. Большие отрывки из дневников печатались в „Знамени“, в „Огоньке“. И я вижу, как с того момента на Самойлова начал сочиться яд. Прежде он был всеобщим любимцем, как священная корова, которую нельзя трогать. А тут такое пошло».

Он же — в ответ на предложение собеседника рассказать о романе Давида Самойлова со Светланой Аллилуевой: «У меня сохранилась пачка ее писем. Это не компромат, конечно, но и не для публикации — письма сильно влюбленной женщины, своих чувств не умеющей и не желающей скрывать. Со всем темпераментом ее папы, Иосифа Виссарионовича. Правда, как мы знаем, это была не единственная ее влюбленность. Отец даже как-то намекнул, что было бы хорошо после его смерти эти письма уничтожить. Я уничтожать их не буду, но, может, заложу на хранение на сто лет».

См. также другую беседу Игоря Шевелева с Александром Давыдовым: «Комментарии к дневнику» — «Время МН», 2002, № 212, 23 ноября <<http://www.vremyamn.ru>>

См. также: А. Солженицын, «Давид Самойлов» — «Новый мир», 2003, № 6.

Михаил Шугаев, Николай Колчурицкий. Чудо Благодатного Огня. — «Москва», 2003, № 4.

Чудо.

Глеб Шульпяков. Дядюшкин сон. — «Новая Юность», 2002, № 6 (57).

«Конопля в Барнауле растет прямо на улице...» Путевой очерк.

Эдвард Эбби. Кодекс эковоина. Сокращенный перевод, адаптация и послесловие В. Борейко. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2002, том 4, выпуск 2 <<http://www.in.com.ua/~kekz/human.htm>>

«Сопровитляйся много, подчиняйся мало! Больше лососей! Меньше коров!» Из книги 1990 года. Автор — один из идеологов международного радикального природоохранного движения, соорганизатор радикальной американской экологической организации «Прежде Земля!».

См. также: Владимир Борейко, «Дикая природа: любите или не приближайтесь. Охрана природы как культурное делание и религиозный опыт» — «Новый мир», 2002, № 7.

Михаил Эдельштейн. О ежах и сусликах. — «Русский Журнал», 2003, 20 февраля <<http://www.russ.ru/krug>>

«<...> [наша] литературная критика как экспертный институт хронически не справляется со своей основной задачей — задачей отбора».

См. также: Владимир Губайловский, «О критике» — «Русский Журнал», 2003, 26 февраля <<http://www.russ.ru/krug>>; *объясняет Эдельштейну, что он не прав.*

См. также: Анна Кузнецова, «О конях и слонах» — «Русский Журнал», 2003, 26 февраля <<http://www.russ.ru/krug>>; *объясняет Эдельштейну, что он совсем не прав.*

См. также: Алла Латынина, «Суслики и звезды» — «Время МН», 2003, 25 февраля <<http://www.vremyamn.ru>>; *объясняет Эдельштейну, что он не вполне прав.*

См. также: Михаил Эдельштейн, «Конь vs. суслик» — «Русский Журнал», 2003, 6 марта <<http://www.russ.ru/krug>>; *объясняет своим оппонентам, в первую очередь — Анне Кузнецовой, что прав он — Эдельштейн.*

См. также: Петра Аретина, «Как поссорились... Репортаж с колючками на холке» — «Русский Журнал», 2003, 13 марта <<http://www.russ.ru/krug>>; *иронически излагает дискуссию Эдельштейн — Кузнецова.*

См. также: Михаил Эдельштейн, «Аполлон не разобрал „НРЗБ“» — «Русский Журнал», 2003, 7 марта <<http://www.russ.ru/krug>>; *недоволен.*

См. также: Михаил Эдельштейн, «Новые средние» — «Русский Журнал», 2003, 13 марта <<http://www.russ.ru/krug>>; *недоволен*.

См. также: Михаил Эдельштейн, «Сад расходящихся тропок» — «Русский Журнал», 2003, 20 марта <<http://www.russ.ru/krug>>; *недоволен*.

См. также: Михаил Эдельштейн, «Куда расходятся тропки» — «Русский Журнал», 2003, 27 марта <<http://www.russ.ru/krug>>; «главным событием в прозе последних полутора десятилетий для меня остается роман М. Шишкина „Взятие Измаила“...»

Сергей Эйгенсон. Малая загадка «Золотого ключика». — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2003, № 321, 27 апреля <<http://www.lebed.com>>

«Я, собственно, совершенно не имею в виду ту загадку, что так буземно волновала Буратино & Со — то есть куда этот самый ключик вставлять. Нет сомнения, что самый заухалый психоаналитик прекрасно разъяснит <...>».

«Вышеупомянутая Мальвина точно так же взбунтовалась против культа личности главрежа и покинула театр. Живет в собственном коттеджике, пьет какао, ястребы ей приносят жареную дичь, использует она исключительно натуральные мази и притирания, волосы выкрашены в модный цвет, верный Артемон командует подрядчиками и приходящей прислугой, стирает хозяйкино тонкое белье и по совместительству служит бодигардом. „Где деньги, Зин?“ То есть я хочу спросить, кто это все спонсирует? Не Дуремар же, в самом деле, как это огульно утверждает фантаст Андрей Столяров. Я бы предположил, что в прошлом прелестную приму явно связывали с художественным руководителем не одни только творческие отношения, да и сейчас не все порвано. То есть в зависимости от исхода сражения под линией и дальнейшего развития сюжета наша дама еще сможет доопределиться, с кем ей проводить ближайший отпуск: с главрежем, с бардом или с этим длинноносым, но очень обаятельным».

«<...> и подумаем об истинной загадке Золотого Ключика. На мой взгляд, она вот в чем — а кому, собственно, принадлежит то, что скрыто за дверцей с нарисованным очагом?»

«Экспансия». Беседовал Константин Крылов. — «Спецназ России», 2003, № 3 (78), март.

Говорит координатор Движения против нелегальной иммиграции Александр Белов <<http://www.dpni.org>>: «<...> я не хочу называть скинхедов экстремистами. Их появление — вполне естественная реакция гражданского общества. <...> Но тем не менее мы не одобряем их методов».

См. также: Александр Белов, «Через двадцать лет в России будет Косово» — «Консерватор», 2003, № 6, 21 февраля <<http://www.egk.ru>>

Асар Эппель. «Перевод — многообразное свидание с непредсказуемыми роскошествами». Беседовала Елена Калашникова. — «Русский Журнал», 2003, 19 марта <<http://www.russ.ru/krug>>

«Кроме того, я не брался за перевод, когда мне нравился уже существующий».

Составитель Андрей Василевский <<http://www.avas.da.ru>>

«Вопросы истории», «Вышгород», «Дружба народов», «Звезда», «Наше наследие», «Новое литературное обозрение», «Октябрь»

Николай Богомолов. Несколько размышлений на заданную тему. — «Новое литературное обозрение», № 59 (2003, № 1) <<http://magazines.russ.ru/nlo>>

Собственно, это концептуально растянутый на десять страниц крик «Караул!». Поскольку весь номер «НЛО» посвящен теме «история литературы», крик порождает долгое гуманитарное эхо. В том числе паническую инвентаризацию внутри статьи.

«Взглянем только бегло на сферу, непосредственно подлежащую моему вниманию как узкого специалиста, то есть конец XIX и начало XX века. Слава Богу, продвигается академический Горький, — но академический Блок застрял на пятом томе (да и вышедшие взывают к критическому разбору, особенно подготовленные в ИМЛИ). О Леониде Андрееве говорить нечего, равно как о Куприне. Хорошо цензурированный Короленко никак не может быть признан годным к употреблению. У Мережковского (равно как и у Гиппиус) достойно изданы только стихи, проза же остается в непонятном небрежении. Сологуб в который уже раз представлен обкромсанным и изуродованным

собранием избранных сочинений (без поэзии!!!) (а том в „Новой библиотеке поэта“? — П. К.). Брюсов не только изуродован советской цензурой, но и представлен чрезвычайно неполно. Андрей Белый в виде собрания сочинений издается так, что лучше бы и не издавался. И так далее, и так далее, *ad infinitum*. Нет, еще: «Никем всерьез не осмыслен опыт альманахов „Минувшее“ — 25 книг, занимающие целую полку на стеллаже, используются лишь в очень малой степени. А последнее дело, начатое Владимиром Аллоем и продолженное после его смерти, — альманах „Дiaspora“, три тома по 750 страниц каждый?»

Список длинный, я бы не забыл и издающиеся книги мемуарно-исторической библиотеки, руководимой А. И. Солженицыным. Кто рассказывает о них?

Л. Н. Бровко. Дитрих Бонхёффер. — «Вопросы истории», 2003, № 4.

Биография крупнейшего теолога прошлого века (именем которого названо Международное общество с отделениями во многих странах), чтимого в Германии, где он был казнен в апреле 1945 года, вместе с другими участниками заговора против Гитлера в 1944 году. «Христианство, утверждал Бонхёффер, в отличие от других религий, не является религией спасения. <...> Христианская вера — это мировоззрение жизни, а не попустороннего мира. Она призывает человека к реальной жизни на земле, к жизни Христа. Каждый должен пройти путь Христа, земной путь, и пройти его достойно, чтобы потом свободно и осознанно покорить последнюю крепость на пути к свободе — смерть — и воскреснуть вместе с Иисусом Христом». Смерть Бонхёффер считал естественным продолжением жизни, однако призывал не героизировать ее — для этого жизнь слишком велика и дорога. Он не согласен с теми людьми, которые обращаются к Богу только в болезнях, перед концом, на исходе человеческих сил, на грани человеческой жизни. На грани лучше молчать, считал Бонхёффер, а «Бог должен быть узнаваем в жизни, а не только в смерти, в здоровье и силе, а не только в страданиях» — в середине жизни. Причина такого понимания — в откровении Бога в Иисусе Христе: он — середина жизни. Бонхёффер по-своему понимал Иисуса Христа, считал, что Бог помогает не всемогуществом, а силой своей слабости, своего страдания. Для этого он призывал еще раз вернуться к Библии и внимательно посмотреть на жизненный путь Христа. Тогда можно увидеть, что Христос слаб, что он нуждается в помощи, в защите, что ему страшно (перед казнью он просит учеников побыть с ним в Гефсиманском саду). Этого нет ни в одной религии, но именно этим Христос и дорог нам, Христос, который, преодолевая свои страдания, добровольно и свободно идет на Крест, и «как раз и только поэтому он при нас и помогает нам».

Интересно, что Бонхёффер в своих поздних записях часто отмечал, что становится все более старозаветным, подчеркивая, что и все человечество еще живет по-старозаветному, «греша и каясь...». Ваш обозреватель не теолог, но, кажется, последние строки этих — местами убедительных — заключений как раз и должны вызывать тоску по *спасению*, разве нет?

Юрий Бродский. Соловки. Двадцать лет Особого Назначения. — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-публицистический журнал. Таллинн, 2002, № 6 <<http://www.veneportaal.ee/vysgorod>>

Ю. Бродский — исследователь истории Соловков, профессиональный фотограф, автор множества публикаций и первой в СССР «лагерной» экспозиции в Соловецком музее-заповеднике. Книга «Соловки. Двадцать лет Особого Назначения» впервые была опубликована на итальянском языке издательством *La Casa di Matriona* (Милан, 1998). То есть почти пять лет назад. Эта печальная книга, насыщенная документами, фрагментами воспоминаний и фотографиями, и заполняет почти целиком настоящий номер «Вышгорода».

Борис Голлер. Возвращение в Михайловское. Роман. — «Дружба народов», 2003, № 3, 4 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>

Понятно, снова о Пушкине. Залезаем в него и пишем *как бы* изнутри.

«Само течение времен открывалось ему в своей наготе и беспредельности. Века зади, века впереди... И в этом видении была такая жизнь, что он вздрогнул.

— Я хочу исповедаться, — сказал себе — но громко и отчетливо, словно бросая вызов. — Я хочу исповедаться — но только самому Богу!

И вдруг добавил — без всякой связи:

Бог — любовь! Для Татьяны любовь — это Бог! Письмо — исповедь!.. Исповедь!

И почти задохнулся — от счастья...

Над изодранным шатром в степи — вставала огромная луна».

Ну и прочее чтение в сердцах. Переработан огромный материал, имеется даже схолия. Подробно и тонко выписаны постельные эпизоды, пропитанные, вестимо, разнообразными экзистенциями.

Иоханнес де Грааф. Этика имморализма. Перевод, вступительная заметка, примечания Александра Оглоблина. — «Звезда», 2003, № 3 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

Очерк голландского религиозного философа и гуманиста де Граафа (1911 — 1991) вышел в свет сорок три года тому назад и много раз издавался. «Этическими идеалами и основой этики были для И. де Граафа личность Христа и Нагорная проповедь, а материалом для разработки этического учения — окружающая его противоречивая действительность» (из предисловия).

«Заглавие этой книжки как будто содержит противоречие: имморализм означает отрицание всякой морали; как же можно говорить об „этике“ имморализма? Это все равно что сказать „богословие атеизма“. Ответ на этот вопрос дает приведенная выше цитата из М. Метерлинка: „Человек — существо настолько моральное, что, даже когда он отрицает всякую мораль, само это отрицание несет в себе зародыш новой морали“. <...> Под этикой имморализма мы будем понимать теоретическое обоснование практического отказа от традиционной морали, теоретический поход против ее устоев и авторитета. Мы увидим, что эта антиморальная этика — не одно сплошное отрицание, оно предлагает и кое-что позитивное» (из введения).

Джон Стюарт Дюррант. «Уж такова наша судьба...» Варшавские годы Д. В. Философова. — «Наше наследие», 2002, № 63-64.

Послеэмиграционная судьба соратника Гиппиус и Мережковского мало исследована. Между тем здесь (с приложением публикации писем) подробно и с обилием редких фотографий рассказывается о том, как «в Польше Философов сумел привлечь внимание и даже вызвать восхищение польской интеллигенции, которая засвидетельствовала его главенствующую роль в интеллектуальной жизни Варшавы в период между двумя войнами». У автора настоящего исследования хранится ныне архив Д. Ф. (Сент-Джонс, Канада), из писем особенно примечательна эпистолярная пощечина Борису Савинкову (1924), начавшему работать с красными и выманивавшему эмигрантов в Россию для сотрудничества с режимом: «В глубине души Вы должны признать, что все Ваши так называемые „показания“ и „покаяния“ — сплошная литература, и притом очень плохая. Я не буду доказывать, как это делают уже многие, что Вы были всегда „подлецом“ и что от Вас всегда можно было ожидать „всего“. Не буду, подобно Вам, прибегать к „сенсационным“ разоблачениям дурного тона. Не буду, потому что с большевиками Вы боролись честно. И только тогда, когда силою вещей вам пришлось перейти на положение скромного эмигранта, Вы не выдержали. Авантюризм оказался сильнее вашего ума, воли, совести и чести. И Вы очертя голову кинулись в последнее предательство. Для меня Вы — мертвый лев...»

Инна Кабыш. Митька-космонавт. Стихи. — «Дружба народов», 2003, № 3.

Как же все-таки хороша Кабыш в этих своих маленьких поэмах: ясная, «мускулистая» в стихе, отчаянная и простодушная в изложении. Чувственная в интонации.

Элла Крылова. Стихи. — «Звезда», 2003, № 3.

Как хорошо, что мы так мало знаем,
огромной тайною окружены,
что нету телефонной связи с раем —
воскресшим наши друзья не слышны.

Мы видим яркий сон и называем
Его своей земною жизнью, друг.
Когда проснемся мы — все станет раем.
Но тайны не убавится вокруг.

(«Бедные рифмы»)

Дмитрий Кузьмин. План работ по исследованию внутрисловного переноса. — «Новое литературное обозрение», № 59 (2003, № 1).

Интересно соотнести этот многослойный, поражающий размахом систематизации труд с одним из недавних эссе Александра Кушнера об эксплуатации рифмы при разрыве слова.

Литература и война II. — «Новое литературное обозрение», № 58 (2002, № 6).

В исследовании **Анны Бродски** «„Лолита“ Набокова и послевоенное эмигрантское сознание», входящем в этот блок, читаем: «Это воистину шокирующий шедевр, — и ослепительный, но одновременно тревожный образ Гумберта Гумберта не поддается простой концептуализации». А какой? «Однако, по моему мнению, сила и глубина конфликтов, сформировавших Гумберта — его порочную жизнь и его блестящее искусство, — обретают смысл лишь в зловещем свете („зримой тьме“) (внимание! — П. К.) —

Холокоста. <...> Лишь после того, как массовая бойня Второй мировой войны обнажила всю глубину и вседусущность человеческой способности ко злу, давнишний интерес Набокова к жестокости смог по-настоящему проявить себя».

Анатолий Найман. Все и каждый. Роман. — «Октябрь», 2003, № 1, 2 <<http://magazines.russ.ru/October>>

По-моему, это один из лучших романов писателя. Как всегда, скрупулезно прописанный, он содержит в себе *как бы* несколько зеркал-судеб, которые «скрепляют» отчетливая фигура главного героя — архитектора Андрея и не фантомная, но укрывающаяся за обыденным «величием» и «пошлостью» жизни всех и вся фигура его бывшей жены, по-евангельски названной Марфой. Не знаю, читая эту вещь, я понял ее как историю приближения-удаления к тому / от того, что люди религиозные именуют «воплощением». Главный персонаж — органическая частица своего времени, усвоенных нравов и морали — постепенно выходит из безусловного летаргического сна, свойственного миллионам соотечественников, а не только его «староновоорусскому» окружению — кстати, состоящему отнюдь не из монстров, а из *научившихся жить*, в чем-то даже трогательных циничных господ. Выходит медленно, обрстая заслуженными потерями и приобретенным «вторым зрением». Вопрос: куда? К себе? К ступенькам, ведущим на предпоследнюю «строительную площадку» (еще не вполне осознаваемую), освоив которую он окажется перед лицом Господа?

Очень компактный и лиричный, роман кажется длинным из-за присутствия в нем эпической интонации. Во всяком случае, *время* в нем дышит не схемой, но пережитым и продолжающим переживаться опытом. Автор сочинения, как всегда, аптекарски точно навешивает событийную и «моральную» нагрузку на своих героев, среди которых со временем появляется и Анатолий Найман. Замечу, что в повествовании как-то особенно отсутствуют резкие краски, полярности и *деления на*. И не так уж много «узнаваемого». Кроме, пожалуй, боли, которая, к счастью, не торопится выступить вперед, охотно представляется читателю и брать его за пуговицу.

См. также: Анатолий Найман, «Б. Б. и др.». (Часть третья) — «Октябрь», 2002, № 3.

См. также: Анатолий Найман, «Сэр» — «Октябрь», 2000, № 11, 12; 2001, № 3.

Александр Нилин. Белая глина. — «Октябрь», 2003, № 2.

Публикуется проза сия под рубрикой «Нечаянные страницы». Несколько цитат, извиняюсь, вырванных из контекста.

«Как человек определенных занятий, но так и не определенной профессии, я пережил происшедшее со страной без особых мук. Меня никак не коснулась смена профессиональных приоритетов. Но и я в русле общих настроений нервничал из-за того, что в нашем обществе стираются привычные знаки, которые, вероятно, считал для себя ориентирами». «В моем возрасте винить за то, что не пробился, можно только одного себя. Но я и на седьмом десятке оправдываюсь, убеждая — кого только? — что не писательство интересовало меня вовсе, а литературная жизнь. Причем даже не участие в ней, что тоже — колоссальный (пусть и мартышкин по большей части) труд. А ее хроника с позиций стороннего наблюдателя. Люди из литературной среды наверняка бы удивились, узнай, что я, с ними чаще всего незнакомый, подолгу думаю едва ли не о каждом из них, держу в памяти подробности чужой жизни».

Неуютно как-то. Но эти подробности, видимо, для других, будущих страниц. Пока же главный герой сочинения (кроме эпохи и автора, разумеется) — прихотливый в обещаниях откатать из ямы дерьмо перedelкинский ассенизатор Гиви, с которым автор «Периодики» тоже знаком, сталкивался. «И я на обратной дороге опять думаю, что, выполни Гиви свое обещание приехать к нам в ближайшие дни, все бы в моей жизни кардинально изменилось. Психоз? Наверное, психоз». Тут я некстати вспомнил о замысле Чуковскийского написать роман о Перedelкине и назвать его «Разложение».

О пользе и вреде современности для истории. Подготовка материала и послесловие Ильи Кукулина. — «Новое литературное обозрение», № 59 (2003, № 1).

Говорит Леонид Костюков: «Вредная и опасная тенденция, которую я последнее время наблюдаю и в литературном процессе, и в литературной истории, — автороцентризм. То есть репутационный и по сути — авторитарный подход. В фокусе внимания оказываются по совокупности заслуг. Это глупо с точки зрения читателя: он предпочтет одно замечательное произведение десяти хорошим. Это губительно для авторов, от которых культурный социум ожидает повторения и тиражирования уже состоявшихся удач. В общем, идет речь о некоей ловушке. <...> С определенной точки зрения писатель — лишь приемник, который на определенной частоте ловит некую эфирную волну. Представь себе, как на вопрос: „Какую музыку ты любишь?“ — тебе отвечают: „Вот из этого синего приемника“. Абсурд. Но не просто абсурд, а доведенная до него автороцентрическая стратегия». *Что-то тут не так*, как сказано в известном стихотворении Гандлевского о скором поезде.

После серебряного века: документы и реконструкции. — «Новое литературное обозрение», № 58 (2002, № 6).

Любопытен «Проект „Акмеизм“» (вступительная статья, подготовка текста и комментарии Н. А. Богомолова), где представляются материалы звукового архива Ю. П. Иваска (1907 — 1968), который в конце 50-х годов начал записывать на аудиопленку воспоминания и свидетельства условных и безусловных участников «движения». Пока найдены расшифровки бесед, изложения разговоров и письма. Вот — из послания Георгия Адамовича: «Ваш план о собрании парижских поэтов — не понимаю и, признаюсь, не одобряю. Кроме позора и чепухи ничего не выйдет. Все перессорились, все выдохлись или почти — не стоит для этого добиваться магнитофонного [так!] бессмертия. Во всяком случае, я от председательствования отказываюсь. Да и вообще, раз об акмеизме, не лучше ли ограничиться прошлым, историей? <...> Вообще, дорогой друг Юрий Павлович, я несколько опасаясь Вашего энтузиазма и доверия. Например, — что вы знаете о редакц<ионной> работе в „Аполлоне“? Знаю, что редактора все сотрудники считали дураком. Насчет этого мог бы кое-что рассказать. А Маковский будет врать, что он всем руководил и даже „открыл“ Анненского. Одоевцева тоже будет врать: о том, какие тайны ей поверял Гумилев. И так далее... Бог в помощь, но „надежды славы и добра“ у меня мало. Не забудьте Артура Лурье: для всего, касающегося Ахматовой, это — лучший источник. И едва ли будет врать. Терапиано об акмеистах не знает ровно ничего. Простите за холодный душ. Но не ждите в Париже откровений...»

Потом Адамович стал все-таки *наговаривать*. «Г. Иванов жил у своего родственника-генерала, который ложился очень рано. Мы водили на его квартиру солдат и матросов. В передней нарочно выворачивали генеральскую шинель, чтобы видна была малиновая подкладка, — видишь, тут генерал живет. Делалось это во избежание скандалов. Было у меня и с Жоржиком Ивановым. Это он меня соблазнил. Один парень говорил Георгию Иванову: „Лучше бы в бане, ведь заодно и вымоешься“. Потом мы любили повторять: „...заодно и вымоешься“. Есенин любил только женщин. Но одно время он жил с Клюевым, который очень его ревновал...» (главка «Петербургские анекдоты»). Интересный проект.

Семиотика детства. — «Новое литературное обозрение», № 58 (2002, № 6).

В статье Марии Порядиной «Две вещи несовместные» рассказывается, в частности, об учителях, посещающих семинары и консультации по книгам и периоды для детей. «Вы бы видели, кто приезжает на эти семинары! „Добровольно“-принужденные тетки, которым в часы работы не нужно ничего, а в часы досуга — ничего, кроме телесериала. Разговариваешь с одной из таких учительниц литературы: „А скажите, какого автора вы в последние годы открыли для себя, для своих учеников?“ Долгая пауза, потом осторожный ответ: „Ну, наверно, Айтматову... Мы ее и наизусть учим, на конкурс поэзии...“». У вас еще достает сил изумляться, г-жа Порядина?

И. В. Сталин в работе над «Кратким курсом истории ВКП(б)». (Выступления Сталина на совещании пропагандистов и руководящих работников по пропаганде Москвы и Ленинграда «по вопросам об изучении истории ВКП(б)», 27 сентября 1938 года) — «Вопросы истории», 2002, № 11, 12; 2003, № 3, 4.

«Сталин: <...> Сама история у германцев очень небогата. О чем, собственно говоря, писалось в истории германской социал-демократии? Есть у них несколько пафосных моментов, боролись они там с ... (не слышно) ..., но потом от него избавились и успокоились. Сравните этот материал истории германской социал-демократии с материалом нашей партии: ведь у нас такое богатство, товарищи, что утонуть можно. Значит, материал страшно богатый, очень серьезную историю прошла наша партия, можно сказать, перевернула вверх дном все бытие народа и мышление, перевернула вверх ногами. Думать, что такой материал, хотя бы в основной части, можно обнять, хотя бы в кратком курсе, — это было бы ошибкой, товарищи. <...> Книга, товарищи, серьезная в том смысле, что она имеет большой уклон в сторону теоретических проблем. Это специально сделано потому, что именно в области теории наши люди отстают. <...> Ежели какой-либо фашист появится, чтобы наши кадры знали, как с ним бороться, а не пугались его, а не ретировались и не преклонялись перед ним, как это произошло со значительной частью троцкистов и бухаринцев, бывших нашими людьми, а потом перешедших на их сторону. И вы не думайте, что все эти кадры, которые помогали троцкистам и бухаринцам, были их кадрами. Среди них были наши люди, которые потом свихнулись и впредь будут продолжать свихаться, если мы этот пробел не заполним теоретической подготовкой наших кадров...»

Александр Тимофеевский. Кулинария эпохи застолья. — «Дружба народов», 2003, № 3.

Дарю издателям идею и надеюсь на приглашение к презентации. Берем, значит, и ваяем книжную серию (сквозное оформление, карманный формат, дорого): «Писатель

и трапеза». Кое-что в заглавнике, простите за каламбур, *уже есть*, дело за передачей авторских прав: «Русская кухня в изгнании» Вайля и Гениса, кое-что из Вен. Ерофеева и Ник. Гоголя («Старосветские помещики») и др., и др.

Вот — «Борщ»: «Пусть „Слався” разнесится Глинки и русских певцов голоса, мы ставим вариться грудинку на два с половиной часа. Хвала поварскому искусству, где главное скрыто в простом — бульон заправляем капустой, а все остальное — потом. Морковь, помидоры и свекла под лезвием острым ножа блестят и сверкают, как стекла на солнце внутри витража. О, жидкость багряного цвета. О, овощи, снятые с гряд! В борще отражается лето, как в китежском озере град. Ведь борщ — это, братцы, поэма, где можно прочесть между строк, что мясо не главная тема, а главная тема — чеснок! В ней должен звучать по идее антоновки яблочный дух, изысканный вкус сельдерея и трав еще трех или двух. И вот в заключительных строчках последняя тайна борща — не лопайте борщ в одиночку, его надо есть сообща». Чуть ниже — тринадцать строк ингредиентов.

Не могу удержаться. Перед борщом, должно быть, полагается «Наливка рябиновая»: «Мы живы, а глядишь — помрем, свободе гимн не допиликав. „Наш август смотрит сентябрем”, как некогда сказал Языков. Что делать, раз такой расклад, раз не укрыться от судьбины, не приготовить ли оршад или наливку из рябины? Оршад — из миндаля питье, я это, братцы, помню четко. А для того, кто не дите, нужна рябиновая водка. Так, стало быть, о ней и речь, и раз назвался ты мужчиной, рябину ставь на досках в печь, чтоб ягода пошла морщиной...» И т. д. и пр.

Тут, кажется, я должен прерваться и закусить.

См. также рецензию на поэтическую книгу Александра Тимофеевского в этом номере «Нового мира».

Тысячелетняя культура России в XXI веке. — «Наше наследие», 2002, № 63-64.

Беседа Председателя Совета Федерации Федерального Собрания (давшего согласие войти в редакционный совет журнала «Наше наследие» и стать председателем редакционного совета) **Сергея Миронова** с главным редактором журнала «Наше наследие» **Владимиром Енишерловым**. Цитата: «Ежегодно Россия теряет 150 памятников истории и культуры, а за последние десять лет утрачены 2,5 тысячи таких памятников».

Так, глядишь, и утрем нос американам, разбомбившим древние иракские камни.

Вислава Шимборская. *Chwila*. — «Октябрь», 2003, № 2.

Журнал полностью публикует — что в журнальной практике впервые — сборник стихов нобелевского лауреата (1996), любовно переведенный Асаром Эппелем. Как явствует из предисловия, поэтесса ценит его работу и была обрадована решением взяться за «Хвбллю».

Довольно сказать Грядущее,
И первый слог тут же отделился от прошлого.

Стоит вымолвить Тишина,
И я ее тотчас уничтожаю.

Молвлю Ничто,
И получается нечто, не востимое ни в какое небытие.

Александр Эткинд. Русская литература, XIX век: роман внутренней колонизации. — «Новое литературное обозрение», № 59 (2003, № 1).

«Русская филология остается так же далека от истории или социальных наук, как она была далека от них восемьдесят или двадцать лет назад. Русская филология не прошла методологических циклов, увлечений и дебатов, через которые прошли и продолжают проходить коллеги по региональным и сравнительным исследованиям. Проблемы и подходы, которыми занимаются коллеги в таких сходных областях знания, как исследование американской, французской или, скажем, постколониальных литератур, многим сегодняшним русистам кажутся бесконечно далекими от их собственных интересов. Такое отчуждение вполне взаимно; но если так, откуда ждать студентов?»

Избегание теории, интеллектуального дебата, критической мысли приобретает характер, близкий к панике. Филология превращается в сообщество эрудитов, объединенных интересом к безвозвратным временам и брезгливо смотрящих на современность. Ностальгический характер их рассуждений обоснован теми вполне реальными потерями, которые их авторы понесли, неожиданно очутившись в новых временах. Объединение коллег по обе стороны океана, на которое в свое время возлагалось немало надежд, родило парадоксальные эффекты. Налетавшись вдоволь, многие с грустью убедились в сходстве бюджетных проблем и, что еще более неприятно, карьерных надежд. За океаном боятся прекращения финансирования русских программ, в России уповают на его

возобновление. Все вместе порождает характерную атмосферу, в которой уныние курьезно соединяется с самолюбованием. Классическая ностальгия русских эмигрантов соединилась со сходными чувствами отечественных интеллигентов, так и не ставших новыми русскими, порождая иронические, но часто и ужасно серьезные спекуляции на тему „советского богатства”. Ностальгия становится мотивацией ученых занятий и соответственно привилегированным предметом исследования.

Составитель Павел Крючков.



АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).



АДРЕСА: Лев Данилкин — о новых книгах: <http://afisha.ru/books>



ДАТЫ: 3 (14) июля исполняется 260 лет со дня рождения Гаврилы Романовича Державина (1743 — 1816); 12 (24) июля исполняется 175 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828 — 1889); 15 (27) июля исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853 — 1921); 7 (19) июля исполняется 110 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893 — 1930).



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июль

10 лет назад — в № 7 за 1993 год напечатана повесть Виктора Пелевина «Желтая стрела».

55 лет назад — в № 7, 8, 9 за 1948 год напечатан роман Василия Ажаева «Далеко от Москвы».

70 лет назад — в № 7-8 за 1933 год напечатан фрагмент книги Андрея Белого «Начало века».

SUMMARY



This issue publishes a novel by Yury Buyda «Koenigsberg», three stories by the co-authors Nina Gorlanova and Vyacheslav Bukur, as well as stories by Aleksey Smirnov and by Marina Stepnova. The poetry section is made up of the new poems by Olga Yermolayeva, Boris Romanov, Svetlana Kekova, Sergey Khomutov. This section also contains the poems by Nikolay Chukovsky written in 1920-40-ies.

The sectional offerings are as follows:

Close and Distant: «Moscow Midcrosses» — an article by Rustam Rakhmatullin.

World of Arts: «A Harmony within the Note» — an article by Zhanna Golenko on the new productions of ballets in Russia.

Literary Critique: a selection of three articles under the general title «Supplementing the Studies on Vladimir Nabokov». The authors of the articles, Svetlana Chekalova, Nikolay Melnikov and Sergey Kostyrko are discussing new biographic books on the distinguished writer.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,
А. Г. Волос, Д. А. Гранин, В. А. Губайловский, Б. П. Екимов,
Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина,
Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова,
Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,
О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филипова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.03.2003 г. Подписано к печати 27.05.2003 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 8900 экз. Зак. 3228. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова присуждается с 2000 года автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, рукописи и сетевые публикации не рассматриваются).

По итогам 2000 года лауреатом премии стал ИГОРЬ КЛЕХ, по итогам 2001 года — ВИКТОР АСТАФЬЕВ (посмертно), по итогам 2002 года — АСАР ЭППЕЛЬ.

Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации. Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию имени Юрия Казакова» до 1 декабря 2003 года.

Объявление лауреата 2003 года и торжественное вручение премии состоится в начале 2004 года. Состав жюри и размер премии будут объявлены дополнительно.

Контактный телефон: (095) 209-57-02

E-mail: newworld@newtimes.ru